№ 1

Слова
л . о . в . а
Л.О.В.А

2.0.1.4

«Водолей»
Чикаго–Москва

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
С48

РЕДСОВЕТ

Витковский, Евгений *(Россия)* – председатель

Афанасьева, Вероника *(Россия)*
Басова, Ирина *(Франция)*
Бонч-Осмоловская, Татьяна *(Австралия)*
Клугер, Даниэль *(Израиль)*
Кольчужкин, Евгений *(Россия)*
Комков, Олег *(Россия)*
Левчина, Эльвина *(США)*
Ли Мэн *(США)*
Мичковский, Олег *(Россия)*
Хиива, Ирья *(США)*
Яблонский, Александр *(США)*

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Моло́дый, Вадим *(США)* – главный редактор
Лемехов, Сергей *(Россия)* – главный художник
Александровский, Сергей *(Украина)* – перевод
Бабанская, Алена *(Россия)* – поэзия
Драгунская, Ксения *(Россия)* – драматургия
Кузьменков, Александр *(Россия)* – критика
Мазурова, Анна *(США)* – проза
Слепухин, Сергей *(Россия)* – эссеистика
Собакин, Тим *(Россия)* – поэзия для детей
Чёрный, Антон *(Россия)* – сайт альманаха

ISBN 1502382210
ISBN 9781502382214

© Авторы, 2014
© С. Лемехов, оформление, 2014
© Издательство «Водолей», оформление, 2014

От редактора[1]

Вадим, Вы член редколлегий нескольких литературно-художественных журналов и ведущий «Антологии мировой поэзии» в чикагском еженедельнике «REKLAMA». Что побудило Вас начать издавать собственный альманах и какова его концепция?

Я действительно состою в редколлегиях екатеринбургского «Белого Ворона» и «Плавучего моста» (Германия–Россия) и высоко ценю оба журнала и их издателей – Сергея Слепухина и Виталия Штемпеля. С ними, кроме общих литературных интересов, меня связывает и личная дружба. Не сомневаюсь, что наше творческое сотрудничество будет продолжаться. Поэтому мое решение издавать собственный журнал не имеет ничего общего с конкуренцией или несогласием с редакционной политикой. Мне просто захотелось сделать что-то свое.

Концепция альманаха очень проста. Никакой политики, никакого спорта, никакой рекламы и, главное, никаких платных графоманских публикаций. Я глубоко убежден, что настоящее искусство элитарно, и в выборе авторов и произведений буду основываться именно на этом. Выходить альманах будет в одном из самых элитарных московских издательств, издательстве «Водолей», а раздел переводов будет базироваться на работах моих коллег со столь же элитарного, закрытого для графоманов сайта «Век перевода».

На какую аудиторию рассчитан журнал?

На хорошо подготовленную. Оставим Ленину убеждать пролетариев всех стран, что искусство принадлежит народу. Пролетарии в это, может быть, и поверят, но ни один образованный человек – нет. Народу принадлежит не искусство, народу принадлежат Михалков и Донцова, Церетели и телесериалы. Помните, у Ходасевича:

Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

1 Выдержки из интервью, опубликованного в журнале «Время и Место».

Понять то, что мы собираемся печатать в альманахе, разумеется, можно, но для этого требуется достаточно серьезная подготовка. До уровня кухарки, управляющей государством, мы опускаться не будем.

Наряду с современными авторами в альманахе будут представлены Серебряный век и ранняя эмиграция. Мы надеемся, что альманах займет свое место на книжных полках читателей (тем более, что многие крупные произведения будут печататься с продолжением), поэтому формат у него будет книжный, а объем – страниц четыреста-пятьсот. Выходить альманах будет четыре раза в год, причем в продажу поступят как отдельные номера, так и годовые подписки.

Вы заговорили о разделе переводов. А какие еще разделы войдут в журнал?

Поэзия, проза, драматургия, критика, эссеистика, детская поэзия, философия, графика и еще один раздел, о котором я хотел бы сказать несколько подробнее. Это – «Поэтическая ойкумена», раздел, посвященный литературе российской провинции. В первом номере это будет Кострома, во втором – Вологда, ну а дальше будет видно. Русская культура, что бы ни говорили по этому поводу столичные снобы, существует и за пределами Москвы и Петербурга, и в провинции есть талантливые поэты и прозаики, о которых практически никто не знает. Вот я и хочу дать этим авторам возможность найти своего читателя, а читателей познакомить с авторами, интересными не связями с власть имущими и участием в никчемных союзах, сборищах и конкурсах, а своим даром. К сожалению, почти все периодические издания оккупированы членами различных литературных банд, читать которых не только неинтересно, но иногда и просто противно.

А как у вас в альманахе будет представлена литературная критика?

Ну, прежде всего, этот раздел будет называться «Школа злословия». Разумеется, никакого отношения к телепрограмме двух мегер это название не имеет – я принадлежу к тому поколению, которое успело прочитать Шеридана. Вести этот раздел будет замечательный писатель и критик из Нижнего Тагила Александр Кузьменков. Не знаю даже, что я больше люблю – его прозу или его критические эссе, но отношение к собратьям по разуму и продуктам их жизнедеятельности у нас с ним одинаковое.

Шмуцтитулы нарисовал замечательный петербургский художник Сергей Лемехов.

Мы начали интервью с того, что альманах будет выходить в Чикаго и Москве. А как это будет осуществляться технически и как можно будет его приобрести на территории США?

Верстку, подготовку к изданию и оформление взяло на себя московское издательство «Водолей», которое будет печатать альманах и распространять его по книжным магазинам и в Сети. Западный читатель сможет приобрести альманах в интернет-магазине «Амазон». Разумеется, одновременно с выходом бумажного журнала номер будет полностью выставляться в Интернете, скорее всего – с дополнительными материалами. Заботы о сайте взял на себя российский поэт, переводчик и веб-дизайнер Антон Чёрный.

Будете ли вы платить авторам гонорары?

Нет, не будем. Мы все работаем на чистом энтузиазме, это не коммерческое предприятие, а попытка сохранения русской культуры в то время, когда в самой России эта культура планомерно и последовательно уничтожается. Многие наши авторы широко востребованы и получают от коммерческих издательств высокие гонорары, однако для альманаха все они согласились давать свои произведения бесплатно. Тем не менее я бы хотел напомнить читателям, что издание книг и альманахов сопряжено со значительными расходами, и мы никогда не смогли бы выйти в свет без помощи и поддержки наших спонсоров. В каждом номере мы будем печатать поименный список тех, кому небезразлична судьба русской культуры и благодаря кому стал возможен выпуск данного номера. Если кто-либо из читателей захочет внести свою лепту в издание альманаха, он может перевести деньги в издательство «Водолей» (в России) или на счет благотворительной организации NPF Chicago Connect (в США). Не забудьте только указать, что деньги предназначены на издание альманаха «Слова, слова, слова».

В заключение я хотел бы сказать, что первый выпуск альманаха посвящается светлой памяти выдающегося писателя, драматурга и поэта Рафаэля Залмановича Левчина.

Уважаемые дамы и господа!

Вы имеете возможность прочитать этот альманах благодаря щедрости наших спонсоров. Имена приводятся в алфавитном порядке.

Ольга Аронова (ARONOFF FOOT AND ANKLE CLINIC)
Михаил Бухало (ALTMAN DERMATOLOGY ASSOCIATES)
Виктор Джаноев (WHY, Inc. MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES)
Сергей и Юлия Зацепины (РАДИО «НАРОДНАЯ ВОЛНА»)
Лев Кипнис (HEALTH BOX CLINIC)
Марина Либова (REAL ESTATE BROKER)
Леон Линтон (SOLEX COLLEGE)
Эрик Нагаж (ADVANCED ARLINGTON MEDICAL CENTER, Ltd.)

Кроме того, я хочу выразить свою глубокую благодарность газете «REKLAMA» и Виталию Кравченко, без помощи которых этот альманах вряд ли был бы когда-либо издан.

Вадим Моло́дый

Светлой памяти
Рафаэля Левчина
(1946–2013)



Вадим Моло́дый

РАФАЭЛЮ

Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.
Георгий Иванов

Допустим, да, а может быть – и нет,
но между тем кому какое дело,
кто на себя примерил это тело –
и был он человек или поэт?

И чью выносит душу на бумагу
поэзии высокая стезя?
Кому Эвтерпа, пальчиком грозя,
дарует безоглядную отвагу?

Кто, несмотря на жизни суету,
пренебрегает славой и успехом,
и сам с собой прощается со смехом,
переходя последнюю черту?

Невнятность отдаленного родства,
неясность звуков, непонятность речи –
ложатся на подставленные плечи
значенья естества и шутовства.

Вершатся непонятные дела,
рифмуются бессмысленные звуки,
на берегу, заламывая руки,
Офелия стоит, белым-бела.

Скучает парус, рушится анчар,
орел топорщит перья у решетки,
и на ходу сапожник рвет подметки,
и месит глину сумрачный гончар.

Итак, и да, и нет, и может быть,
все сбудется по сказанному слову,
и мы бежим навстречу крысолову,
пытаясь не понять, а не забыть...

* * *

Рафу

...Холодный сумрак портала
в тени крепостной стены,
где Бог с головой шакала
продаст мне чужие сны,

чужие древние речи,
забытые письмена
и тайну случайной встречи
под рокот веретена.

Клото не жалеет пряжу,
но Атропос вопреки
снимает Лахесис клажу
моей вины и тоски.

Отпущенные на волю,
срывая одежды слов,
бредут не спеша по полю
Щелкунчик и Крысолов.

Но вскоре, попав в засаду,
получат и он, и он
заслуженную награду –
ведущий на дыбу сон...

ПУТНИК НЕТОЧНЫХ РИФМ

Забывший запах дома
лежит в чужой земле.
В разодранных обновах
он шел навстречу мне.

Шел, окруженный сонмом
воительниц нагих.
Был меч его поломан.

Осколками брони,
рассыпавшимся прахом,
обрывками знамен,
был путь его усеян.
...идущий напролом.

Замешенный на гнуси
намерений благих,
я молча оглянулся
и взглядом проводил...

Ведет меня дорога
в увядший вертоград.

Усталая природа
не хочет воевать.

* * *

И ты – хлопок одной ладони...
Илья Будницкий

Коан. Достиженье сатори.
Хлопок одинокой руки.
Высокой античности зори.
Налитые кровью белки

вдохнувших дыхание Этны,
лизнувших обугленный лед...
Попытки забвения тщетны,
и тщетно движенье вперед.

Олег Комков

ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ ЛЕВЧИНА

Я не имел чести быть знакомым с Рафаэлем Левчиным, я многого не знаю о нем и творчество его открыл для себя очень поздно. Точнее сказать: только начинаю по-настоящему открывать. Но именно по этой причине для меня – читателя, только еще вступающего в пространство того события, каким стал и продолжает быть в мировой культуре Рафаэль Левчин, – его феномен лежит не столько в «ретроспективе» памяти, сколько в перспективе настоящего и будущего, являясь частью моего теперешнего длящегося духовного переживания и, подобно самим темам его поэзии, смыкая по-новому осмысленное прошлое культуры и мысли с неким, еще не осмысленным, неведомым грядущим. И одна из главных вещей, которые я сейчас вижу, это совершенно невероятный опыт предельной (одновременно хочется сказать и беспредельной) широты слова – опыт, благодаря которому этот удивительный поэт вовлекает читателя и слушателя в совершенно особое измерение языка и бытия. Соблазнительно говорить о «глубине» – но я хочу подчеркнуть именно широту, имея в виду не только пространственные, но и, если угодно, акустические ассоциации (амплитуда звука, могущая простираться за грань физиологического слуха), и проецируя эти ассоциации на смыслы, тематизм, фактуру поэтического языка. Такая широта – не от знания (о широчайшей образованности и эрудиции Рафаэля Левчина много говорилось), ибо не знание делает поэта, но – ведение – видение – ведание. Это не широта «кругозора» или «горизонта» (который может вмещать и немой, безжизненный ландшафт), но всеохватность причастности бытию через язык. В такой широте пребывали творцы Вед, знавшие только одно подлинное жизненное пространство – простор священного слова, где всякое имя есть вещь, а всякая вещь есть мир. И поэтическое слово Рафаэля Левчина хранит, как мне кажется, этот истинно ведический размах – или, выражаясь в терминах более поздней – и одновременно столь же духовно ранней культуры, близкой сердцу поэта, – орфическую мощь, единящую логос и космос. Чего бы не коснулся поэт – бытового или возвышенного, низменного или священно-

го, «политического» или «частного» – именованием он проникает в самую суть вещи, в самую суть опыта... Чтобы проиллюстрировать эти мои неловкие попытки ухватить существо неуловимого, потребовалось бы цитировать слишком много – но мы знаем ведь, что «иллюстрации» здесь не нужны, что поэзия не нуждается в анализе: она нуждается только в том, чтобы звучать.

Пусть прозвучат любые несколько строк:

мой страх матёрый твой юный страх
единый по сути страх
но тот который плясал впотьмах
тот будет плясать впотьмах

темны дозоры их сны в слезах
к нам солнце забыло путь
но тот который плясал впотьмах
допляшет уж как-нибудь

а что я помню железный прах
дым чопорный смех морской
но тот который плясал впотьмах
мне скажет кто я такой

<...>

Именование и именуемое здесь не разделены, слова не «облечены» в образы и ритм – это текучесть ритмосмыслов и звукосмыслов, свойственная заклинанию (оно же есть подлинный гимн, оно же есть подлинное молитвенное воззвание), тайну которого ведает и тайной которого ведает (владеет) видящий и слышащий.

Или пронзительный финал «Сложной биографии Катулла»:

Тьма плещет в улицах и в душах.
Отмотан срок, и жизнь пуста.
Он из горла водяру глушит
у разведённого моста.

<...>

Ползёт вдоль грязного канала
из-под земли неясный гул:

«Умрёшь – начнёшь – опять – сначала –
Кибела – Клодия – Катулл...»

Так много хочется сразу об этом сказать, что, еще только собравшись сказать, уже тонешь в словах – тех самых, уСЛОВных, из которых соткана повседневная речь и которые не есть поэзия, а потому здесь они – лишние. Я лишь отмечу: мгновенное, молниеносное слияние высокого и низкого, временных пластов и ассоциаций, мифологического и (авто)биографического в этих строках, как и повсюду у Рафаэля Левчина – некий «транскультурный» и «трансвременной» синтез – не техника, не прием, но живая звучащая плоть слова, тождественного с целым человеческой жизни и целым мира.

А вот изумительная поэма-диптих «Рыбы»... Не касаясь даже ни тем, ни графики «иероглифического» письма (пусть знающие скажут сегодня о работе Рафаэля Левчина в области пластических искусств, о связи слова и пластики!), заметим, как слова возникают и стоят (мы знаем это стояние, это stehen хотя бы по Паулю Целану) в сердцевине чистого листа, в сердцевине тишины, как будто всякий раз в сердцевине мира и сердцевине мысли, в полноте силы и шири, в самостоятельности, самостийности, стихийности, как ВСЕГДА ПЕРВЫЕ слова – и объемлют собою весь простор пространства («и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход») и времени – до родной древности, до истоков рода.

рыбы мои
я возвращаюсь
к тебе о мой народ
о неслышные крупные
руки отрубленные
о единственный мой народ
вод
становой хребет

о чешуйчатый мой народ
не такой как все
разве не больно нам
если нас уколоть
разве не почитаем мы
круг
или цифру семь
разве мы не храним

уничтожая
плоть

рыбу задушишь
вскинув лишь
над собой
ну а в воде
да хоть
тысячу лет
души
это
такие
тела
у кого
хоть вой
не было
нет
и не будет
одной
души

<...>

о мой народ мой сын
уходящий вперёд
я как и ты
один
рыбы мои
мой род

родина
род родник
родовитая спесь
родос остров из книг
даже если ты здесь
перламутр
бирюза
тень
биение тел
сеть судьбы полоса
рыбы рыбы
предел

Оказавшееся последним в приведенном фрагменте слово «предел» означает, конечно же, не границу, за которой все кончается, но – в контексте поэтики Рафаэля Левчина – границу, У КОТОРОЙ только и может осуществиться полнота человеческой жизни – как говорят, «на пределе» – и получить оправдание человеческое существование как «поэтическое пребывание на земле» (Гёльдерлин).

Я умолчу сейчас о многом, чего хотелось бы коснуться (об «интертексте» Рафаэля Левчина, пронизанности его стихов цитатами и аллюзиями, о его мастерских и самобытных переводах), ибо перед этим высочайшим образцом «поэтического пребывания» человека в мире уже впал в непозволительное многословие. Но возможно, я вернусь к попытке говорить об этой высокой поэзии, имея больше знаний и больше права. И я глубоко благодарен Рафаэлю Левчину за тот опыт слышания, который открыли и дарят мне его стихи.

Мне очень хотелось бы, подражая примеру многих поэтов, почтить память Рафаэля Левчина стихотворением. Увы, новых строк у меня пока не сложилось. Но один сонет, написанный около года назад, мне ныне видится и слышится хотя бы в малой мере созвучным тому облику поэта, который предстоит моему мысленному взору. Тем более, что о его античности я почти не сказал... И я буду рад, если этим стихам будет дана возможность прозвучать сегодня в честь Рафаэля Левчина и в память о нем.

АНАНКЭ

О, сколько б тусклый прах земных дорог
нога комедианта ни топтала,
вовек о скорбной участи Тантала
трубить надрывно будет древний рог!

Железной хваткой горло сдавит рок,
и вновь подъемлем с ревностью вассала
мы камни слов – священные кресала,
чтоб жертвы огнь возжечь в урочный срок.

В пылу агона нет с судьбою сладу;
как миф, страшна космическая роль, –
и, коль в игре добьемся мы успеха,

нам от богов достанутся в награду
пространства опрозрачненная боль
и страждущих светил глухое эхо.

Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет



Рафаэль Левчин

СОНЕТ

Я раньше никогда не умирал,
как бусы, как серебряные ложки.
Воспоминанья по природе ложны –
блескучая воздушная икра.

И снился город мне – как Ленинград,
чуть серый, удалённый, непреложный;
и сон сужался в маленький экран.
И я забыл её неосторожно.

Но ей дозволено и то, что богу сложно.
На сером пляже – чёрно-белый храм.
Куб жертвенника гладок невозможно.

Протянешь руку – но пришла вчера.
Днём вспоминаю, бережно, подкожно.
Нет никого, и кажется – игра.

* * *

Я был игрушкой, заводным Орфеем,
несбывшегося хора корифеем,
бормочущим строку «Упанишад».
Душ-лепестков теплился еле-лепет,
свечей погашенных, вдвойне нелепых.
Я помнил только предыдущий шаг.
И в шорохе, как свет, клубившем плечи,
Аристофан шагал ко мне навстречу
(его сопровождал слепой конвой).
Вождь вакханалий с мыслями аскета,
полу-Шекспир эпохи нерасцвета,
эпохи тюрьм и превентивных войн,
он постарел. И мертвые стареют.
А так как нету в лимбе брадобреев,
он наступал на седину свою.

Он путал Фидия и Еврипида
и только помнил, как злащеный идол
переступил Афины, как скамью.
Он, приближаясь, съёжился и сжался,
и на плече его уселась жаба.
И это был уже Тулуз-Лотрек.
И что-то он мне объяснить пытался...
Но в разговор по-прежнему вплетался
шум Леты и других подземных рек.

РЯЖЕНЫЕ

НЕПОЭМА

(ОТРЫВОК)

XII

Мы говорим о пустяках и горестях,
о том, что прочно дело на крови.
Плывёт, плывёт, не изменяя скорости,
заносчивая лодочка любви.

Который век вот так уже болтаем мы,
и нет для нас ни смерти, ни жены.
Плывет сквозь упованья и отчаянья
старательная лодочка Луны.

СЛОЖНАЯ БИОГРАФИЯ КАТУЛЛА

ПОЭМА

(ОТРЫВКИ)

13

Мутанты, ларвы, выблядки Победы,
взыскующие призрачную суть,
мы выросли, читая Кастанеду,
чтоб букву к Иероглифу вернуть...

18

Штамп на штампе, буквы на трубе,
праздник отвращенья и свободы
нас уводит от себя к себе
в тёмные невидимые воды.

Где друзья? и кто мои друзья?
Так бы вас и двинул, негодяи!
Но руки поднять уже нельзя,
и башка осталась под трамваем.

Он гремит, тяжёлый, сквозь Подол,
громыхнёт Садовой и Фонтанкой,
только до Джанкоя не добрёл,
заторчав на энском полустанке.

Жизнь прошла, проскрежетала смерть,
вот теперь бессмертие проходит.
Пьём его слабительную смесь,
очищаясь от страстей и родин.

Остаются только облака
в небе городов, в глазах любимых.
Остаются ветер и тоска,
неизбывны и неистребимы.

Где же наши книжки, где листки?
Оргий председательница, кто ты?
Школьной от до гробовой доски
всё реминисценции, длинноты.

О поэт Катулл, поэт Катулл!
Мы воруем строки и сюжеты.
Бросил взгляд божественный на ту,
руки щедро возложив на эту.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ИЛИ ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЗАБУБЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЧЁРНЫХ МАГОВ

ПОЭМА-КОЛЛАЖ

(ОТРЫВКИ)

М.

– Вы слышали?
БОГ УМЕР!
– Как, опять?
А впрочем, что ж...
Ему не привыкать.

*

Как я устал и как болит рука...
(«А где твой брат?».
А что я, сторож брату?!)
Часы в пространстве, соль в крови, река...
Мы никогда не рады, чем богаты.
«Усни под дождь», – писал мой друг-поэт.
«И станешь ты дождем», – писал когда-то.
Уж нет того дождя.
Поэта нет.
Ни друга, ни возлюбленной, ни брата...
Тот страшный суд, что сами предрекли,
стал нудной нормой, вроде сигареты.
Но кто ж мог знать, что будет просто лето?
Куда пышнее: Деву, мол, сожгли!
Всё ухнуло в густую пустоту
(назвать ее судьбою – много чести!).
Друг превратился в рыбу на лету,
я позабыл о доблести и мести
и больше не клянусь...

*

(Заглавием обещанный сюжет
Возьми же и разрушь своей рукой.
Ты свет –
а я не видел этот свет, –
покой –
но я
не заслужил покой.

Трава не помнит, что сулил огонь,
тебя касаясь тысячами губ.
Не уходи же! –
Вот моя ладонь!
Ещё побудь со мной.
Ещё побудь...)

Вы знаете меня не первый день.
Меня любили сорок восемь дев.
А если точно – девяносто шесть.
И в этом, несомненно, что-то есть.

Но это запотевшее число
похоже на уплывшее весло.
Подумать только, к сотням дев иных
не я, совсем не я
вторгаюсь в сны!
И сотни тысяч дев, в конце концов,
меня не знают даже и в лицо
и не подозревают обо мне...

Так вот, зашли мы в этот...
Сад камней.
В моей руке была ее рука.
Нам Сириус сиял издалека.

А может, и не Сириус.
Плевать.
Любить – всегда милей, чем убивать.

Но тут вошел астральный мой двойник.
Куда мне до него? Я сразу сник.

(Ещё побудь! –
Бессмысленный призыв.
На штампе штамп.
Мы гибнем, полюбив.)

*

– Как тебе живется?
– Смутновато.
– Это потому, что не вдвоем...

Прилетали Эрос и Танатос,
щебетали каждый о своем,
бог и бог,
на крыльях стрекозиных,
им не попадайся на глаза...
(Путь земной пройдя до середины,
повернул и зашагал назад.)

– Как тебе живётся?
– Мне живется
так, как в окружающих домах.

...Вон ещё один крылатый вьётся.
Вон ещё...
Их тысячи!
Их тьма!!

*

Ты ужас!
Ни рук, ни дороги
не видно, и крики в горах,
и сумрачный бог однорогий
всё ближе, как чёрный овраг.
Скорей
превращаешься в ветку,
утратив глаза и язык,
как это случалось нередко
друзьям виноградной лозы.
Вот ветка,
и эхо ответа
в коре, как улитку, сберечь.
Тень тысяч таких же, как эта,
отринувших зренье и речь.

*

И проклят я
под тысячу мелодий.
Так смешней.
И белых кукол вкруг меня проводят,
а не людей...

Олег Комков

СЛОВА

Скользит по радужной волне
Корабль в сияющем просторе,
А днище в тёмной глубине
Влачит живые тайны моря.

Так, тягостный собрав улов
Налипших истин, издалече
Плывут челны надмирных слов
Сквозь толщу человечьей речи

И вязнут, замедляя ход,
Притянутые влажной бездной.
Кто счистит наросль и вернёт
Слова их родине небесной?

ACCIDIA

Иссякла ночь – и снова бледный день,
Пронизанный безмолвием звенящим,
Меж былью снов и мутным настоящим
Раскидывает призрачную тень.

В листах сокрыв болезненную лень,
Мой лавр устало притворился спящим…
Когда же вновь с тобою мы обрящем
Ветров и звёзд ласкающую сень?

И строчки падают, как лепестки
Увядших роз невидимого сада,
Бестрепетны, покорны и легки,

И слабым мановением руки
Сметается прозрачная преграда,
Что сладость отделяла от тоски.

ВЕЧЕР

Окаменел сгустившийся покой,
И света в небесах почти не стало –
Как будто ветхий дух провёл устало
По их челу замшелою рукой.

И кажется, что в меркнущей дали,
Где истлевает окоём багрово, –
Безмолвствует, огромно и сурово,
Как сновиденье, на краю земли
Ещё никем не сказанное слово.

ДУИНО

Небо над горней клетью –
Словно хладная сталь;
Близкому новолетью
Внемлет, немея, даль.

Сердце внемлет, немея,
Дням, что таит простор;
Бледен, точно камея,
Сумерек стылый взор.

Грозно, из ниоткуда,
В заворожённый час
Вдруг врывается чудо
Сонмом гласов и глаз.

Страшен трепет воскрылий,
Плоти дрожит юдоль;
Вновь из призрачных былей
В память врастает боль.

Вновь процветшая лира
Древний рождает стон,
Тёмную завязь мира,
Хрупкой души бутон.

Грех иль промысел рока –
Зрея в муках, терпеть
Вечность, куда до срока
Слову дано успеть?

Вероника Афанасьева

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

...И вдруг мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх.
Н. Гумилёв

И входит... страх. На мягких лапах
Крадётся он в гнетущей мгле.
Как зверь, почуя крови запах,
Минуты ждёт, припав к земле.

Он ждёт. И ты в оцепененье,
И ужас рвётся на дыбы.
Мучительно ползут мгновенья...
Но ты не сдашься без борьбы!

Но мысль, отточенная остро,
Прорежет молниями тьму,
Мелькнёт змеёй, живой и пёстрой,
Вопьется в голову ему...

И лишь очнувшись в час рассвета,
Когда синеет неба твердь,
Ты вспомнишь и поймешь, что это
К тебе подкрадывалась смерть.

* * *

«Наши шеи тоньше волоска»...
В самое непрошеное время
Тянется к петле моя рука,
Жжет и жмет пегасье злое стремя.

Как бы долюбить! Да и дожить
Не мешало б! Но куда же деться?

Крутится, разматываясь, нить,
Тот клубочек праведного детства!

Где вы, сказки и напевы фей?
Где же ты, обещанное сердце?
Злобы злей и ворожбы черней
Нашей жизни выблеванной мерзость!

Нам вериги совести легки:
Тот продажен, тот добит, тот пропит..
И слова людские, и стихи
Переводим на язык эзопий.

И невольно тянется рука...
Но не торопись подставить шею:
Друг-цирюльник с бритвой у виска –
Чистит, мылит, гладит, душит, бреет!

АДРИАН – АНТИНОЮ

Мой Антиной! Стоишь передо мной,
Окован мрамором, с улыбкой странной,
И катятся волною за волной
Воспоминания – за раной рана.

Как под касанием искусных рук
Желанье золотилось и смуглело,
И плавилось послушно и не вдруг
От чутких ласк мальчишеское тело.

Как долгий взгляд из-под тугих ресниц
И алый луч застенчивой улыбки
Одаривал, как вспышками зарниц,
Победою сомнительной и зыбкой.

Ужели был настолько глух и туп,
Чтобы сейчас, в тоске нечеловечьей,
Чтоб воскресить пытаться шорох губ
Твоей споткнувшейся гортанной речи?

Свобода одиночества – в тюрьму
Или за грань неведомого дверца...
Но ты меня покинул, и кому
Откроется истерзанное сердце?
Кому скажу, владыка битв и стран:
– Несчастный, жалкий, старый Адриан!?

МОЛИТВА-ПОСВЯЩЕНИЕ

Сколько дорог я прошла,
Прежде чем встретились мы,
Энхедуана!
Сколько веков ты проспала,
Прежде чем я разбудила тебя?
В буйных напевах твоих
Прозвенеть дашь ли,
Энхедуана?
Голос мой в твой перелить
Смогу ли? Дозволишь ли ты?

Ирина Басова

* * *

Лгала, молчала, берегла
Покой, печалью озаренный,
И притворялась невлюбленной
Пока могла и как могла.

Но лгать бумаге – выше сил,
И все раскрылось, все открыто,
И белой нитью правды шито
Все то, что бедный ум таил.

* * *

Ничего не хочу объяснять.
Разлюбила? Не знаю. Быть может.
Эта новая благодать
Мое сердце так сладко тревожит.

И поет, замирая в тиши
Предрассветного зябкого часа
Одиночество малой души,
Возвышаясь до вещего гласа.

* * *

Вот уж счастье – остаться одной
В светлой комнате. И часами
Ликовать и томиться словами
И беседовать только с собой.

Но к исходу короткого дня
Голос твой возвестит окончанье
Золотого, как небо, свиданья.

И опять я сама не своя.

* * *

Привел на край и повелел:
– Смотри!
И не держал ни за руку, ни словом.
Уйти хотела – не давал уйти,
А вырвалась – вернул к обрыву снова.
Так и живу у бездны на краю
И обмираю над обвалом зыбким.
Но все-таки – ты слышишь? Я пою
За ломаный пятак твоей улыбки.

Андрей Кротков

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Розово-серый закат – словно лампы ртутной
Мертвенный свет. Тишина. Вялый ветер лёг.
Долго жужжит-разгорается уголёк
В колбе светильника. Улицей однопутной

Робко бредут прохожие, ни о ком
Думать не смея и ни о чём не споря.
Слабосолёный запах ближнего моря
Плавает в комнате с выгнутым потолком.

Чад керосинок. Ругань хлещет, как плеть.
Крест переплёта на стенке зловеще выткан.
И, распаляясь праведным гневом, плитка
Хочет заставить чайник тихонько петь.

Чревом нависнув по-над водой, мосты
Слушают хлюпанье волн. И, заклята скверной,
Хрупкая женщина, стоя боком к Шпалерной,
За реку смотрит, где ржаво-красны «Кресты».

РИМЛЯНИН

Глухая ночь холодновата;
На темени холма пустом,
На фоне алого заката
Шесть парных древ – косым крестом.

Ночная тьма неодолима,
Но повелел центурион:
В предместьи Иерусалима
Стеречь злодеев должен он.

Легионер, устало куксясь,
Отворотив лицо своё,
Макает губку в тёплый уксус,
Насаживает на копьё,

С полуулыбкой злобноватой
Несёт казнимому ко рту:
«Ты пить хотел? Испей, распятый!
Что продлеваешь маету?»

Густая тьма втекла в долины,
А на холмах горят огни.
Невнятный шёпот с крестовины –
«Или, лама савахфани?» –

Звучит, как шелест древней книги.
Тоска солдатская остра.
Подошвой стоптанной калиги
Он гасит угольки костра;

Спиною к ветру, холодея,
Он думает, и мысль проста:
Когда три мёртвых иудея
Освободят его с поста?

ЛЕДОХОД

Он был наверняка обещан,
Но отлагал себя. И вот
Молниеносной сеткой трещин
Вразбежку покололся лёд.

Гудят раскаты громовые,
И льдины, ярости полны,
На берег лезут, как живые,
Выламывая валуны.

Удар сменяется ударом
В речной сумятице дурной,
И липким мутноватым паром
Заполнен воздух ледяной.

Лютует сила ломовая,
Непобедима и проста,
Как с голодухи отрывая
Куски дернины от куста.

У звероящера-отродья
Зубцы-торосы вдоль спины,
Но раскрываются разводья
Чернильно-чёрной глубины,

И, волю вспомянув былую,
Сметая тягу мёрзлых гор,
Река идёт напропалую,
Проламываясь сквозь затор.

НА ПАЛУБЕ

Забавный старый теплоход,
Подрагивая дряхлым телом,
Идёт по стиснутым пределам
Кувшинковых текучих вод.

Надстройка палубы груба.
Он тарахтит неутомимо,
И ровные колечки дыма
Вымётывает вверх труба.

На маленькой смешной волне
Покачиваясь, словно утка,
Он полон здравого рассудка
И победителен вполне.

Его тупой курносый нос,
Пыхтя, расталкивает хляби,
И серым покрывалом ряби
Под ветром взыгрывает плёс.

Что колоброд и лиходей,
Гордится мощью молодецкой
Трофейный дизелёк немецкий
Силёнкой в сотню лошадей.

Считая вспять порожки лет,
Я начинаю запинаться.
Россия. Август. Мне семнадцать.
В руках студенческий билет.

Ты что, душа, невесела?
Засаду чуешь или пулю?
...Я еду хоронить бабулю.
Она намедни умерла.

Григорий Стариковский

В ПОЕЗДЕ

в. ч.

занавесили складень оконный –
вровень с ночью – холстом *ржд*,
расшиваются перегоны,
отражаясь в небесной воде.

зуд пчелиного света внезапен,
узловат, но не жалит совсем;
высверк ка́пли, скользящей за каплей,
источается в темь.

волчий час – ни звезды, ни подруги,
полустаночков пыточный ход,
и чужая бессонница в руки,
как убитая птица, плывет.

* * *

о. б.

молчи про *ветхий пар*, когда ты – в птичьем праве,
не *чешуя земли*, но – оперенья высвет.
весна, весна уже, распахнутая куртка,
паленый *бог земли* за пазухой живет.

утиный мрамор, разве он утин,
с утра белес, потом иссиня-горклый,
лед на фонтанке, вот апрельский мрамор,
беспомощный, ты говоришь, и *жуткий*.

сфинкс не пропустит, оленька, в коломну.
выкладывай, кто здесь скользит на трех

конечностях, бродяга, не кончаясь,
походкой пёсьей, *кровью или костью*;

он дышит сослепа в себя
(дыши ему навстречу)
и выбивает палочкой кривой
весь этот мякотный и немощный,
иссиня-чалый мрамор.

ВАГИНОВ

а.ш. и м.я.

сердце бьется тихой музыкой,
словно ветка в певчем воздухе.
это плещет, блещет шерсть стиха
и заласкивает досуха.

кто поёт, не беспокоится,
что ни капли не останется;
золотая ость усушлива,
шерстяная, вроде шепота.

с тем, что родилось из воздуха,
предстояла ставка очная,
там, где выплакана досуха
между льдом и льдом проточная.

оживала ветка певчая,
сердце, сжатое свечением;
здравствуй, слово неслучайное,
с возвращеньем, возвращением.

* * *

не выбросишь из головы
вещественные доказательства
предощущения листвы
и прочие её свидетельства.

казалось бы, ты с темнотой
соединился горькой схожестью,
но в воздух выгляни густой,
там льется зелень принадлежности.

как длинный перечень родства,
полопавшихся почек зарево,
и восхищеньем вещества –
в жизнь обрываемое дерево.

Елена Тверская

* * *

Ю. Трифонову

Что за память у прозаика! Не забыл он ничего.
Как чудесная мозаика память скроена его.

Он глазами стрекозиными и снаружи, и внутри
Видит знаки негасимые, видит в смолах – янтари.

Он запомнил имя длинное и названья странных птиц,
И глаза его былинные видят небо без границ.

Знает он расположения звезд – по центру и в глуши,
И мельчайшие движения нашей неженки-души.

Все выстраивает в линию, редким зреньем наделен
Эту гибель голубиную видеть гибелью времен.

Он так пристально внимателен к пустяковинам смешным,
Как положено писателям и заказано – иным.

Оттого сижу в тумане я с тонкой книжицей в руках
Над рекой воспоминания о кисельных берегах.

ДЕКАБРЬ

Это декабрь – мандарины и хвойный дух,
Солнечно днем, тепло, но ночами – холод.
Всюду обертки, расцвечены, как петух,
И весь Фейсбук распух, на елки наколот.

Это декабрь, кто – в снегу, кто без снега, сам.
По утрам – облака, словно там и звезд нет.
В декабре вспоминают пап, вспоминают мам.
Время лежит между рам и немного мерзнет.

ТУТ И ТАМ

Ноябрь с одним дождем, желтеют листья
Или краснеют вдруг, как по капризу,
И сойки скачут, с белками дружны.

А где-то – в снег запрыгивают лисы,
Скользят вороны с белых горок книзу,
И множатся сосульки на карнизах
И ждут весны.

КИНЬ МОНЕТКУ

Сыну

В переходе кинь монетку
Музыканту, не забудь.
Он сыграет оперетку,
И из Брамса что-нибудь.

Он на клавиши-педали
Давит в городском саду,
Чтобы звуки налетали,
Догоняли на ходу.

В каждом городе есть площадь
(Знает каждый экскурсант),
Где стоит в упряжке лошадь
И играет музыкант.

Кинь монетку музыканту –
Он играет за гроши.
Если дал господь таланту,
То сыграет от души.

За пятак услышит каждый,
Как бывает хороша
Утоляющая жажду
Музыкальную душа.

Георгий Жердев

КАК ОБЫЧНО

Ранена мама рамой:
Драит ее с утра.
Шаг –
От рамы до драмы.
Здравствуй, город Петра!
Трели твоих трамваев,
Тролли твоих дворов –
Я
Тебя забываю,
Значит, опять здоров.
Снова готов, как прежде,
Не претендуя на,
Пялиться в глаз надежде –
В мыльный пузырь окна.

Слава маячит справа,
Слева мурлычет лень.
Ночь
Чугунной оправой
Окольцевала день.

ГОРОД-МУЗЕЙ

Где гранит лежит пластами:
Век на веке, пыль в пыли –
Похотливыми устами
Нас целуют упыри.

Здравствуй, стадо молодое,
Незнакомое на вкус!
Потянуло к водопою –
Напои собою муз.

Ибо вечно лишь искусство,
Что священный град хранит.
Ты ему – на два укуса,
И прессуешься в гранит.

АВГУСТ-2002.
СПб, УЛ. САДОВАЯ

Пока Европа отплывала –
Роились нои у руля –
Такой жары давно не знала
Санкт-Петербургская земля.

Светило жгло без передышки,
Желтея, будто алыча.
Санкт-петербурженки-ледышки
Мне в ноги таяли, журча.

Бредя не в ногу, вольный трутень,
Садовой ул. наперерез,
Я рассекал пикантный студень
Полурастаявших телес.

АВТОПОЭТ

Поэт, я лиру посвятил
И долго буду тем народу,
Что бренный мир, не зная броду,
На красный свет переходил.

Переходив десятый срок,
Я так же строг в своих желаньях,
Но изощренней и жеманней –
И это видно между строк.

Я не спешу исторгнуть плод.
Отчизна ждет, а я спокоен.
Я улетаю за строкою –
И долго длится мой улет.

Елена Атланова

ЧУЖАЯ

Разломили каравай
накрошили
и ушли

Быть бы мне зерном ...

Увы, черствой горбушке
и на сытой чужбине –
не прорасти

* * *

Свое
Детство
щедро и расточительно
мы дарим всем окружающим

Свою
Молодость
бездумно просто
мы отдаем чужим и нелюбимым

но как скупо и неумело
мы делимся Зрелостью
со своими детьми
со своими любимыми

Ты спросишь про Старость...

Старость
мы унесем
с собой

* * *

Еще остывающая ладонь
хранит след торопливого поцелуя
еще взволнованные волосы
помнят прикосновения усталых рук
еще взгляд не отпустил Твоей ускользающей тени
а я уже жду нашей завтрашней встречи
чтобы вновь все повторилось
и продолжилось...

* * *

По улицам
затравленно бежит
совсем одинокий дождик

Прохожие
тыча в него остренькие зонтики
втаптывают в грязь чистые прохладные капельки

Высунувшись наполовину
я распахиваю окно
протягиваю отверженному руки
и он
со всех ног
припускается прямо ко мне
благодарно целуя разжатые ладони

Тамби Уру

ХВОРОСТ

Ирье Хиива
и её «Из дома»

Мне приснился твой сон. Из берлог
выходили красивые люди.
Вместо ног колыхали их лыжи,
вместо рук возносили их крылья.
И, как волны, в снегу вместо стоп
отпечатков – в зените полудня
их накаты взбирались все выше
и вкатились на божий порог
уж, казалось бы, в пене бессилья.

Не откроешь ли двери нам, дядька,
деверь наших былых любимых?
Мы тебя приглашали на свадьбы,
ты ж не зыркнул и на казнимых.
Ну а он прорычал: чай, не март вам,
притворившись февральским медведем.
Из ноздрей – утомленным паром:
два пути вам и оба не в двери.

Коронована мглистой тиарой,
словарем двуязычной трёхлетки,
ты своих собрала, что хворост,
ты чужих обняла, как ветки.
Полыхнули твои, что порох,
да дотлели на стылых нарах,
а чужие принесть корону
обещались, забрав тиару.

Из принцессы всея народа
в почухонки хотели, в девки.
Только финка-то – в ножнах имя,
волчий вой – колыбель-распевки

ей. Кому-то царить – корону
подавай и невзятый Зимний.
Ей зима сотворяет троны
в каждой снежной своей ложбине.

Ей Нева не державная речка –
горсть воды зачерпнуть для смеха.
Ей любовь не полунной течкой,
ей перина порой – помеха.

Несмеяна и смех захлёба...
И завидует старая Ингрид,
что земля молчаливой кровью
отошла голосистой финке.

И в тебе не разжижена в морось
эта вязкость любви и рока.
Ну и что, что всего-то хворост?
Ты смотри, как горит высоко.

* * *

Будешь долго жить, приснилась мертвой.
Хулиганка, милый мой ребенок.
Кисть, рука...Чу, из холстов-пеленок
вылупилась новая тоска
и бредет по венам распаленным
холодом ухмылки: «Никогда». –
Будешь долго жить, приснилась мертвой.

Будешь вечно знать, что не бывает
вещих снов. Поломанная кукла
тяжче, чем утопленный ребенок.
Змей бескрылый, ангел оскопленный
(в трубы-похоть каждый завывает)
в сон войдут. Остепененной суки,
будешь вечно знать, о не бывает
[вещих снов поломанная кукла].

Вещих снов поломанная кукла
будет обещать, что танец будет.

Будет обещать, что чудо танца
будет жить в осанке полногрудой,
что веревок рвань, осколки-будни
принца выкроят из оборванца,
в сон введут разгоряченной суки
(обещанием, что танец будет).

Будешь долго жить, приснилась мертвой.
Я ж, явившись в сон твой: принц-ребенок,
февралем по льду немых поземок
утеку, уткнув Богиню-суку
словно в чистый снег горячей мордой.
Будешь долго жить в невинной скуке.
Будешь долго жить, приснилась мертвой.

* * *

Милая мила мне до охри́па,
до неверья в силу так хрипеть.
И она порой окрикнет сыто:
«Цыть, дурак, ну ж стало сипло петь».
Вот и пьешь ее живую воду
в тишине за по́скулы стыда.
Что ж, как волк завоешь на погоду –
на любовь теперь молчать века.
И в берлоге тычешься в волчиху
теплым носом, холодом страстей...,
а она возьмет и скажет тихо:
«Пой же, волк, сипи о мне своей».

* * *

Ольга-неольга, Ольга-неольга,
Ольга-неольга: ну и не больно.
По берегам рек, широких и вольных,
тропы порой запорошены солью
высохшей крови и пота взалканья.
Крылья-некрылья под куполом медным
дрожью по славе святого летанья
в тяжком уверии грехопаденья.

Ольга-неольга, крылья-некрылья,
пришлый фотограф: смерти и свадьбы.
Сестры ревниво столы понакрыли,
крылья споили ревнивые братья.
Реки-нереки, реки-нереки,
реки-нереки: имени пропуск.
То, что в графу занесут, то навеки,
наша фиалка ночная – не крокус.
Благоухание медь не начистит,
запах соленый слащавые лица
к ликам богов и святых не причислит.
Ангел-неангел, птица-нептица
давится клекотом, давится мыслью.
Слово-неслово, слово-неслово...
Если их не было или повисли...
Крылья, бывает, возносят нас снова.

Алёна Бабанская

БАБА

От каменной бабы в степи начинается зной.
Глаза ее – ястреб, лодыжки ее – перегной.
Скудны ее груди, а в косах полова и сныть.
Обет ее труден: рожать, подымать, хоронить.
Ах, сколько вас бродит, и каждый могуч и горазд,
У каменных бедер, вселяя вселенский оргазм,
Ах, сколько вас сгинет, батыров, народов, племен,
На плоской равнине. Ведь сердце ее – скорпион.
Не ведай, что будет, кровавых даров не жалей,
Скудны ее груди, дыханье ее суховей.

НЕЛЕТАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Ангелы поднебесные,
Мокрые, точно курицы,
Будет и вам, болезные,
Праздник на нашей улице.
Будет вам поп с гармоникой
Раны души залечивать.
И на комоде слоники,
И танцевать до вечера.
Что ж вы забились в панике,
Перья взъерошив белые?
Сладких достанет пряников –
Столько замесов делали!
Дров пять кубов наломано,
Сотни бойцов положены...
Будет салют в Коломенском,
Бабы и цирк с мороженым.
Будем мы, дурни, истово,
Кто как горазд, отплясывать,
Горний мотив насвистывать,
Ангелов вверх подбрасывать.

БЛЮДЕЧКО

Слепи меня из теплой глины,
Оттенка меда и кармина.
Вдохни в меня простор долины.
Несытый взор вложи совиный,
Как острый меч влагают в ножны.
Ты знаешь, мы с тобой похожи...
Раскинь мне небосвод под кожей,
Свяжи с водою пуповиной.

Растут кристаллы, тают льдины,
Ползет в пустыне царь змеиный,
Пылает куст неопалимый,
Но нет ни света, ни покоя.
Когда же я вернусь с повинной,
Пройдя сквозь зеркало сухое,
Дай смерть мне легкою рукою,
Как в детстве блюдечко с малиной.

ПО НОВОЙ

В луженом брюхе января
Какого ваньку не валяй,
Все тихо в околотке,
Слова замерзли в глотке.
Поставишь чайник на плиту
Погреть Полярную звезду.
В пуху нежнейшем поле,
И Млечный Путь не торен.
А утром, вежды отворяя,
Едва затеплится заря,
По снежному покрову
Писать лыжню по новой.

Алексей Нехорошев
1965–2014

* * *

Ничего на свете нет –
Кроме веры и надежды.
И тебя – родной и нежной,
Словно знаю с малых лет.

И Садовое кольцо
Претендует на взаимность –
Как счастливая повинность –
Сыпать дождиком в лицо.

Все проходит. Жизнь прошла
Переулками и рощей.
Умереть, наверно, проще,
Но дела, дела, дела...

* * *

Розовощекий и безусый
Ходил на привязи, а ты
Носила кольца, серьги, бусы,
И не стояла у плиты.

Стояла ты на задних лапах,
Хвостом подергивая лишь.
У ног твоих (чуть косолапых)
Лежал блистательный Париж.

* * *

«Была бесснежная зима...»
Г. Шпаликов

Уйти в работу – как в запой,
Потом в запой – как на работу.
Но жить тобой, одной тобой –
И в понедельник, и в субботу.

«От всех зимой отгородясь,
На прожитье оставив денег»,
Понять, что эта ипостась
Неотделима от падений.

А что нас ожидает ТАМ?
Наверно, будет, как обычно:
Нальют граненые сто грамм –
Родной, проверенной, столичной...

* * *

Кто-то занят важным делом –
Надо юбку раскроить.
Кто-то тоже занят делом –
Надо череп раскроить.
Всех делов не переделать,
Надо в проруби нырять;
Обнажая свое тело,
На мансарде загорать.
Надо юбку раскроить –
Топором или стамеской,
Под Стамбулом и Смоленском...
Сколько дел на свете белом:
Как приятно между делом
Себе череп раскроить...

Анна Павловская

* * *

Птица в комнате летает – знак дурной.
Неужели прилетела ты за мной?
Узнаю в тебе родимые черты,
может, это дядя Паша из Читы,
может, долго путешествовал отец
и нашел мое окошко, наконец.
Что там, в небе – тишина и благодать?
Научи меня, как надо умирать.
Я устала от предчувствий и примет,
от грозящих нам погибелью планет.
Как хотелось бы мне плечи распрямить,
без боязни в небо птицу отпустить.

* * *

Когда бы я могла встряхнуть края низины,
где ходят камыши на тонких каблуках,
взяла бы я себе не прежний взгляд совиный,
а ветер в волосах.

Пускай себе гроза бубнит и солнце прячет,
мой вывернутый зонт пусть улетает ввысь,
и промокну вся, пока дойду до дачи,
и ты произнесешь, смотри не простудись.

Мы будем пить чаи под старым одеялом,
выискивать просвет, на водосток глазеть.
Ты видишь, я учусь, я рада крохам малым –
подмокшим выходным, июлю и грозе.

* * *

Болеешь всю зиму – то грипп, то ангина,
сшивают пространство кристаллики сплина,
и чем холоднее, чем день анемичней,
тем все нереальнее и фантастичней.

Нет города будто за этим пределом,
и надо дыханьем заполнить пробелы,
почувствовать контуры, дать перспективе
слепиться в дурашливом детском наиве.

Где что и осталось – то санки и горка,
кривой снеговик и нелепая елка,
закутанный шарфом до самых гляделок,
ребенок, кормящий бессовестных белок.

Подвыпивший парень, что метит снежками
по толстой румяной подвыпившей даме,
что громко хохочет и ест мандарины...
И снег, засыпающий эту картину.

* * *

Жажда славы берет на тебе аккорды –
просыпаешься утром с опухшей мордой,
весь расстроенный, с порванною струной
и не можешь напиться простой водой.

Это все тщеславие, нервы, бренди.
Ты сегодня проснулся в своей легенде.
Ты – на грифе измятый, поникший бант,
ты скорее клоун уже, чем франт.

Все похерено, все навсегда разбито,
ливень бьет в стекло слюдяным копытом,
на тебя надвигается из окна
бледный всадник с именем тишина.

Александр Хабаров

ЗЕМЛЯ МОЯ

Земля моя, ты прах… И я таков,
И я из праха вышел, червь двуногий…
И что с того, что девять пиджаков
Имею от щедрот терминологий?
Вещизма раб, я так люблю предмет,
Щелчок и хруст, удобство рукояти,
Защелку, зажигалку, пистолет
И кнопку «пуск» в секретном агрегате.
Люблю весь мир, как собственность свою,
Как часть, как малость, розданную нищим.
Земля моя! Как черную змею –
Люблю тебя, чтоб ты под сапожищем…
Да я и сам давно лежу во тьме,
Окутанный безбрежными снегами,
Как вещь в себе, как частное в уме,
Как черная земля под сапогами…

БЕЛАЯ РУБАХА

Зачем, скажи, мне белая рубаха?
В таких идут на смерть, отринув страх;
В таких рубахах, брат, играют Баха,
А не сидят за картами в Крестах.
Пора менять свободное обличье
На черный чай, на сигаретный дым,
Пора сдирать овечье, резать птичье,
Пора обзаводиться золотым.
Пора точить стальное втихомолку –
Под скрип зубов, под крики из ночей.
Пора отдать без спора волчье – волку,
А человечье – своре сволочей.
Пора искать надежную дорогу
Туда, на волю – Родину, сиречь…

Пора отдать вон то, святое, Богу,
А это, в пятнах, – незаметно сжечь.
Пора идти, не предаваясь страху,
На острый взгляд и на тупой оскал;
Ведь для чего-то белую рубаху
Я в этом черном мире отыскал?

ВИЗАНТИЯ

Белым бела моя бумага,
Хитон мой грязен, пуст мой рот.
Я византийский доходяга,
Космополит и патриот.
Рука невидимая рынка
Определяет жизнь мою.
Мой завтрак – бледная сардинка,
Обед – поэзия в раю.
Хожу, голодный и свободный,
Цепями ржавыми звеня,
И Константин Багрянородный
Как брата чествует меня.

УТРО

Я встану затемно, и мне Господь подаст
Всего, что я просить уже не в силах –
Он сам, Господь, от всех щедрот горазд
Убогих оделять, больных и сирых.
А я не сирый, даже не больной,
Ну, чуть убог... Иное – исправимо.
Чего просить мне? Крыльев за спиной?
Тепла побольше да поменьше дыма?
Земную твердь снегами замело,
Следов не счесть, да к небу нету хода...
Весь мир осел узором на стекло,
И вместо смерти – вечная свобода.
Чего уж тут выпрашивать, молить
В безвременье, где даже век – минута.
Я помолчу, мне незачем юлить
Перед лицом Творца и Абсолюта.

Мне незачем пенять на вся и всех,
Шарахаться шагов и резких свистов,
Я всех людей простил за глупый смех,
Я даже раз просил за коммунистов,
Но за себя? Нет прихоти чудней –
Выпрашивать, теряясь в общем гаме,
Того-сего… успехов, денег, дней –
Огня не замечая под ногами…

Наталья Камовникова

* * *

Помнишь ли стон моря,
Помнишь ли вздох леса,
Помнишь ли в темных кварталах
Отзвук моих песен?

Разум мятется, пугаясь
Памяти черных провалов.
Море и лес? – Пусто –
Эхо в полночных кварталах.

Каменный зов лабиринта,
Стужа его влаги.
Чтоб с Минотавром сразиться
Память важнее отваги.

Знать и забыть – горе.
Мир без тебя тесен.
В гулкой дали лабиринта
Отзвук моих песен.

* * *

Вновь фейерверка залп. Рассвет уж близок.
Я – сон, я – тень, я – карнавальный призрак,
Мой разум с сердцем вечно не в ладу,
Мне легче закружиться в вихре пляски,
Где шляпы, перья, веера и маски
Сливаются, как в Дантовом аду.

Пестрит мой маскарад своей игрою:
Смеюсь распутно, прячусь за чадрою,
Я говорю на чужеземный лад.
И ночью – пляски бешеного бала,

А днем – черед другого ритуала –
Над пропастью протянутый канат.

Одета в домино, иду без страха:
Мне все одно – паденье в бездну, плаха –
И в ожиданье тихнет древний град.
Я прохожу – и взрыв рукоплесканий,
И, в сердце затаив тоску желаний,
Я вовлекаюсь в новый маскарад.

* * *

Зажгу ночник. Задерну плотно шторы,
Оставлю треволнения и споры,
Присяду с книгой тихо у огня.
Мне сон нейдет, и вновь мне не до чтенья,
Хотя меня оставили сомненья,
Что не любить не можешь ты меня.

Я сердцем раны ближних верно знаю,
Сквозь них своею кровью истекаю,
И то – мой крест, и тяжек его гнет.
И боль твоя – со мной, всегда, как прежде,
И боль того, кто с тающей надеждой
Веселой птицей юности зовет.

Тоска в глазах одних, в других – тревога.
Сколь можно мне просить защиты Бога,
Коль испытанье брошено судьбой.
Пора мне дров набрать, костер мой справить
И мартовской Снегурочкой растаять,
Оставив светлый образ за собой.

* * *

Бродяга безобидный – не злодей,
Хотя порой закон его карает.
А коль душа покоя век не знает,
Сильны ли здесь параграфы статей?

Бродяга я. Мне мир везде родной,
Мне всюду праздник без конца и края.
Рюкзак лишь взять с собой да попугая
(Он все равно увяжется за мной).

Нам в путь пора, хоть некуда спешить.
Певучий странник с птицею крылатой
Уйдут смотреть на чуждые закаты,
Чтоб грусть о доме в сердце заглушить.

Георгий Ефремов

В КРУГУ ЧУЖИХ ОБЪЯТИЙ

Я рано в сокровищницу проник,
но это и был не я.

Ей не хватало во мне других,
а в них не хватало меня.

Слова – как ножны: они не нужны
пламени и любви,
и наши тела нам были скучны –
слишком они свои.

Был удушающий поцелуй,
противоборство ласк,
как будто дымящуюся иглу
кто-то держал у глаз.

Мне лучше, когда она не со мной,
и проще, что я не с ней,
и в этой неверности нашей двойной
всё – явственней и верней.

Истина, как говорят, в вине –
безмерна моя вина,
и пусть после судорог стынут во мне –
он и она.

Как лунная рыба плывет ладонь,
спрашивая: ты жив?

С детства тянуло в чужой огонь.
А мой пусть греет чужих.

* * *

В распавшейся жизни, где ветер и ложь,
ты слабую душу мою бережешь.

Ты птица земная, подруга светил,
и холод небесный тебя осенил.

В тоске ли, в объятьях – так страшно молчать,
а ты и под пыткой не станешь кричать.

Ребенка лелеешь и нянчишь зверье,
и вещи тепло сберегают твое.

И, боли полны, говорят о любви
деревья, и травы, и реки твои.

Ты рядом со мною идешь по земле
и легкое небо несешь на крыле.

В ЧУЖОЙ НОЧИ

Прислушаешься к шарканью и лязгу:
тупая сталь скребет по мостовой;
и сразу вспомнишь скомканную ласку,
глаза раскроешь, – а она с тобой.

Но трогать и будить ее не станешь:
что говорить? и как ее зовут?
Всё там, вчера: хмельной и тесный танец,
туман объятий, обморок, закут.

А после сон, что кто-то целит в спину,
и, будто в детстве, страх небытия
и пробужденье: я умру, я сгину,
о господи, когда-нибудь и я!

И хочется опять поверить в чудо,
и, липкий сумрак отерев с лица,
ты смотришь на нее – твою и чью-то:
глаза раскрыты, на щеке слеза.

И вдруг лицо в ее ладонях спрячешь,
прижмешься к равнодушному теплу
и, если спросит: «Почему ты плачешь?» –
«Боюсь», – ответишь, а потом: «Люблю».

ВСАДНИЦА

Всегда верхом во время любви
и вечно ко мне спиной –
лишь иногда поворот головы
и в сторону взгляд слепой.

Там на стене оленьи рога
и плакат с цитатой: «Не пей,
ибо спьяну можешь обнять врага!»,
и Эйнштейн, как большой репей.

А ты, смотря на плакат, пила
и курила во время ласк,
и плакала, что любовь слепа:
«Надо же – увлеклась!»

Ты мне до конца не давала губ
и моих не брала:
«А то совсем улететь могу.
Я там уже была.

Душный, безлюдный, бездушный сон.
В этой тоске слепой
я не могу быть к тебе лицом –
я ведь вообще не с тобой.

Вот и давай не сохни по мне».
Порознь всплывать со дна
это и значит наедине:
один
и одна.

Юрий Беликов

ТАНЕЦ С КОЛЧАКОМ

Я видел старуху – она с Колчаком танцевала,
а я ей со сцены зеркального Блока читал
и выбор оценивал взявшего Пермь адмирала,
как если б мой выбор оценивал сам адмирал.
Хоробрых – так звали старуху. И только с такою
фамилией можно решиться на круг с Колчаком.
И только Колчак прозревающе-властной рукою
мог выбрать Хоробрых из барышень, с кем не знаком.
Откуда он знал, что никто из тех барышень, кроме
прелестницы этой, не сможет уже удержать
ни спинки прямейшей, ни памяти, но не о крови –
о вальсе воздушном, влекущем ход времени вспять, –
туда, где «из глуби зеркал ты мне взоры бросала»,
сюда, где ей сызнова Блока со сцены прочтут,
и в первых рядах комсомольцы не выйдут из зала,
но, как олигархи, примерным вставаньем почтут?..
Вся в пятнах пигментных, взирая на этих пигмеев,
последнее, что изощрится подумать она:
«Повесить бы парочку на фонарях да на реях!» –
и спину покажет. И будет прямою спина!
Однако пред тем как исполнить призыв адмирала –
уйти с Колчаком, да и танец отсюда унесть, –
столетней красавице, что с Колчаком танцевала,
я всё же успею зеркального Блока прочесть.

ДЕРЕВЦЕ-МНОГОГЛАЗ

Воздух дышит землёю дождя…
Но пред тем как на клей осязанья
посадить – и листвы не щадя,
и прильнувшего к ней мирозданья –
свет представший, вмещается сплошь
предвесеннее деревце в зренье:

сколько глаз ему выделил дождь! –
изумление? нет, напряженье –
в каждой капле, чью оптику он
всклень на всякую почку примерил, –
с четырёх, вероятно, сторон
разглядеть себя, хрупкое, в сквере
жаждет, равно как свет, где ему,
деревцу, суждено оказаться –
ставит на́ кон древесную тьму:
ну а стоит ли света касаться?

ГАРМОНЬ, РАЗОРВАННАЯ НАДВОЕ

Я представил, что Россия, как гармонь, со мной взята,
я услышал сквозь мехов свистящий вздох,
как бегут по-на две стороны Уральского хребта
запыхавшиеся пальцы поездов.

Давит-давит-давит-давит на басы свои Сибирь,
и, по кнопочкам до струйки нисходя,
там, за Псковом дарит-дарит откровения сивилл,
голося в тумане, родина дождя.

Ты, одна шестая суши, расскажи, о чём звучишь?
То ли милостыню просишь, то ль сама
тем, что лезешь Богу в уши, ты частям остатним, ишь,
чудо-музыку вливаешь задарма?
«Дыр, бул, щил» – совсем не заумь, а гармонь блажная та
в дырах, бульках, щелях – раны таковы.
Можно сжать её без звука до Уральского хребта
и разжать её без звука – до Москвы.

Кто гармонь к себе притиснул? «Дырбулщылит» у лощин?
Что сложить не могут рваные меха?
«ПростоДЫР...», потом – «БУЛатом...», а в концовке – «улеЩИЛ».
Ах, не кровушкой ли пахнет от стиха?

Половина той гармони уползает на восход,
половина уползает на закат.
Разорвали её, дьяволы! Сижу, зажавши рот.
То ли зубы, то ли клавиши летят.

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАВШИЙ ЗВЕРЯ

Я умираю в собаке, которую предал.
Жду, что умру.
Дабы мой след опознав, не считала она его следом
в Божьем миру.

Спас от собачников, вынянчил, слух разузорил
кличкой – и вдруг
сбагрил. О, сколько в её ошарашенном взоре
веры и мук!

Зверь приручённый не может предать человека –
крепок сей наст.
Но человек – жадный выкормыш плети и стека –
зверя предаст.

Сопоставимы ли та и другая потеря?
Жаль мне людей:
ибо предательство не человека, а зверя –
крест полютей.

Кто на Голгофу незримо взошёл с Иисусом?
Тенью прирос.
Пётр отрекался и блохами не был искусан.
Всё же – не пёс...

Может быть, это Его самый верный апостол,
взвывший средь вый,
хоть и не стал он ни стражей, ни паствой опознан:
«У! Не убий!»?

И всколыхнулась, взыграла людская клоака:
– Пробил твой час!
– Люди! – Он молвил, – во мне умирает собака...
Впрочем, и – в вас!

И заскрипела не мачта – распятье ответно.
Вырвался стон.
И, клокоча, запредельным наполнился ветром
парус-хитон.

И с той поры до скончания света и мрака
очи – горé:
– Господи Боже! Во мне умирает собака.
Та, что я пре...

Столько нарыла земли у ворот и забора!
Морда в грязи.
Скоро она шар земной повернёт до упора
против оси.

Лишь бы – к хозяину прежнему. Ближе и ближе.
Кликну её.
Сходит с ошейника, вертится, прыгает, лижет
ухо моё.

Лапы трясутся во сне. Ну а сон – одинаков:
мясо даю,
долго кормлю и веду сквозь туман до бараков.
И предаю.

Сергей Слепухин

* * *

Век високосный, жар подкожный.
Не шевелись и не дыши:
Искусственный и ненадежный
Хитиновый покров души.

Рудиментарные привычки
Оставь, мы все сошли с ума,
И те, кто к черту на кулички,
И те, что гаснут, словно спички,
В конторе с надписью «тюрьма».

Шалеет пьяная дорога,
Стареет школьная тетрадь.
Ты погоди еще немного!
А сколько, брат, «еще немного»?
Год-два? Иль три-четыре-пять?

Мы все учились понемногу,
Как провожать родных в дорогу,
Вздыхать и плакать по ночам,
И не мечтать о лучшей доле,
А замирать на валидоле,
Внемля бессовестным врачам.

Но вот уж на закате осень,
И самолет крылами просинь
Успел, вздыхая, распороть.
Ах, рачья кожица хрустяща!
Бесстрастна и неговоряща,
Тиха остынувшая плоть.

* * *

Пружинят тени в мутном ресторане,
Скрипач с лицом кузнечика затих,
Но черной розы нет в твоем стакане,
Презрения в пустых глазах твоих.

В тылу отчаянья, в смятенье роз и терний
Сминает свет остатки Мажино,
Все кончено, все умерло, поверь мне,
Раздвинуто, забыто, сожжено.

* * *

Разве йод разъедает затычку-пробочку?
Коромыслом душа – да не в этом дело!
Задымилось семя, разнесло коробочку –
Дезертиром энзэ из приюта тела.

Солнце плавит женщину тенью смазанной,
Но и женщина плавит солнце илисто,
О любви... Про нее ничего не сказано.
По губам куда-то стекло извилисто...

* * *

Подсекая дождевые плети,
Ветер гонит палую листву.
Крестоносец умер на рассвете:
Смерть от грёз во сне и наяву.

Побредёт на солнечном осляти
В радужной мечты Ерусалим.
Полыхают грозовые рати
И костер походный стелет дым.

Там внахлёст не дождь, а только манна,
Гроб Господень манит глубиной,
Там платок уронит донна Анна
Не в одно столетие длиной...

Алексей Козловский

* * *

Четверг закончится в субботу,
Минуя пятницу... и вот,
Шагают граждане с работы,
Воды набрав тяжёлой в рот.
Свинцово стиснутые губы...
Ради... активная вода
Им выщелачивает зубы,
Молчат покорные стада.
Но понедельником суббота
В прыжке закончит выходной,
И снова люди на работу
Идут угрюмою толпой.
В толпе любовники, соседи,
Ученье бросивший школяр.
Они слова сквозь зубы цедят
И выдыхают перегар.

* * *

Бабушка распускает старый носок
И сматывает нить в клубок.
Старуха совсем не Парка,
Хочет быть полезной и её жалко;
Бессловесная, покорно согнутая судьбой,
Кажется, она не была молодой,
Так и появилась на свет старухой
Полуслепой, с затухающим слухом.
Распустить бы носок – желания её предел,
Боится остаться не у дел.
В холщовом мешочке уже три клубочка.
Распускает и боится умереть досрочно,
А так бы связала маленькие пинеточки,
Никому, сама себе...

Всех похоронила – себя забыла
И доживает век у чужих людей
Обузой – умереть бы скорей.
Душа просится из бренного тела –
Так бы и полетела дорогой белой.
Может, смилостивятся там, куда все уходят,
За последнее добро,
За маленькие пинеточки?

* * *

«Десять лет без права переписки»...
А его как раз не расстреляли,
Проморгали выщепить из списков,
Как баул, забыли на вокзале.
Рано нынче вызрели арбузы
На бахче у тётки Параскевы,
Тяжело замужней жить без мужа,
Совестно заглядывать налево.
Хотя кто теперь её осудит,
Десять лет в неведенье проходят,
Вот уже с войны вернулись люди,
Голодуху пережили вроде.
Вышла в поле тётка утром рано,
Кто там в кацавейке полинялой
На краю осеннего баштана
(мужика Параска не признала).
Всё как полагается: небритый,
Выживший, расстрела избежавший,
По указу списан и рассчитан,
Для неё был «без вести пропавшим».
Броситься бы в ноги ему бабе,
А она застыла истуканом.
Солнце занялось в небесной хляби
За осенним выцветшим баштаном.
Встретились, друг друга не узнали,
В голос зареветь друг с другом впору.
Чья вина, что жизнь их распластала
Надвое, безжалостно и споро.
Сникла тётка, а слыла двужильной,
Руки, как в наручниках закованы,

Нет у мужика её напильника,
Чтоб спилить постылые оковы.
Обнялись, чужие, но для вида,
К встрече запоздалой не готовы.
Знать, своё отжившим инвалидам,
Начинать приходится по новой.

* * *

Из хаоса свиные рыла
И крючковатые хвосты,
Полуразрытые могилы
И полусгнившие кресты.
Из хаоса в дверные щели
Строений затрапезный вид:
«Фиорованти» и «Растрелли»
В скоплении кариатид
И в оскоплении искусства
Приказами из верхних сфер,
И флаг, воздвигнутый на бруствер,
Как знак похеренных химер.
Любовь, как некий пережиток,
Ещё чуть теплилась в стране,
Не до конца ещё изжитым
Порочным веяньем извне.
Твердя про ядерную гонку,
Что затянуть пора ремни,
Всех стригли под одну гребёнку
В отпущенные Богом дни.

Сергей Кузнечихин

* * *

Бронза на Руси всегда свинцова.
Храм не трудно превратить в тюрьму.
Вологда, убившая Рубцова,
Памятник поставила ему.
Водрузили и спокойней стало.
Отдан долг, замолены грехи.
Сдобренные мощью пьедестала,
Кажутся значительней стихи.
И сама собой приходит гордость
За талант и славу земляка.
Рядом, сознавая непригодность,
Неуместность, вряд ли с языка
Слово покаянное сорвется,
Чтобы кануть в прорву громких слов.
Сколько их друзьями назовется
Бывших непроявленных врагов?
Это ожидаемо, так было
Испокон – слетались на беду.
Может зарасти его могила,
Памятник все время на виду.
Невозможно сразу всем потрафить –
Реализм не годен для икон.

Есть престижный фон для фотографий,
Есть кому собой украсить фон.

С ЧЕГО БЫ ВДРУГ?

Почему-то небо не такое,
Тучи все не на своих местах,
Непонятно, что их беспокоит,
Только сердцем чую в тучах страх.

И земля какая-то чужая,
Зыбкая, закутанная в смог,
Но овраг, как лоно, обнажая...
Что это, простите, за намек?

И деревья, что они здесь встали,
Чахленький пейзаж изобразив?
Лучше бы брели в иные дали,
Где светло и не бывает зим.

И еще, простите, несерьезен
Человек, висящий на березе.
Лучше бы висел он на сосне
И язык показывал не мне.

ТУНГУССКИЙ МОТИВ

Икону в праздничном углу
Прикрыли байковой портянкой,
А сами на чужом полу
Расположились. Злобно тявкает
Хозяйский пес, рычит на дверь,
В которую вошли без страха
Самец и самка, чует зверь
Густой дразнящий запах паха.
А пол холодный. Пол скрипит.
Иконочку, на всякий случай,
Прикрыли и разлили спирт
Противный (теплый и вонючий),
Разбавленный напополам.
Мы не в ладу с сухим законом –
Привыкшие к чужим углам
И не привыкшие к иконам.
А здесь подделка – ну и что ж –
Откуда взяться настоящей?
И между нами тоже ложь
Безбожная – и даже слаще.
А стекла забивает гнус
Густой, что даже штор не надо.
Мне говорил один тунгус,
Что вера их не знает ада.

Им легче лишь на беглый взгляд,
А мы полны другой надеждой.
И этот дом на спуске в ад
Не станет долгою задержкой.
Который день тайга горит.
До неба дым. Глаза слезятся.
А где-то там метеорит
Уже давно готов сорваться.

ФЕДЯЕВ И ФЕДУЛОВ

Федяев пил.
А кто из нас не пьет?
И разве грех – на кухне, по старинке,
когда не пьянства ради – дружбы для.

Но этот жаден был, глотал, давился.
Она не шла в него, рвалась назад.
Он судорожно дергался, стараясь
сдержать её трясущейся рукой,
а из под пальцев выползали сопли,
и что-то мутное текло из глаз,
наверно, все же слезы, но казалось,
что крепкий, многоопытный мужик
заплакал водкой,
или плачет водка.
И все-таки заталкивал. Пьянел
после четвертой или пятой рюмки
и делался надменен и хвастлив,
плел черт те что, не видя и не слыша
в застолье никого, кроме себя,
роняя пепел, брызгая слюною,
потом вдруг начинал подозревать
в стукачестве сидящего напротив,
искать неуважение к себе,
грозился въехать в морду,
но забывал, и в одиночку пил,
чихал, сморкался...
И потом хозяев,
изрядно подуставших от гостей,
а он частенько уходил последним,

бредовыми прожектами терзал
или втянуть пытался в обсужденье
знакомых общих.
Словом – надоел.

Но бросил пить.
И, должен вам заметить,
сам завязал, без помощи врачей,
однажды с перепоя испугавшись,
что может сдохнуть или пришибут.

И человека словно подменили.
С таким занудством проповеди плел
о вреде алкоголя на здоровье,
не только человека – всей страны,
и призывал бороться, выявляя,
любые нарушенья и карать
безжалостно. Кричал, впадая в пафос,
ну ладно – на собраниях, везде:
на отдыхе, на даче, на работе.
Ударился в общественную жизнь.
И преуспел. И вред нанес изрядный,
и лично, и с другими сообща.
Уж лучше б пил.

Федулов сочинял стихи.
И так случилось,
что завязал. Аки Федяев с водкой,
но в стихосочинительстве своем
и в той поре, что наступила после,
Федяева Федулов повторил,
как под копирку.
Правда, выпивая,
Федулов вел себя вполне прилично,
так и Федяев не писал стихов.

Вячеслав Тюрин

* * *

В тесноте своей комнаты нищей
ничего я от мира не жду.
Одиночество стало мне пищей,
я в тревоге смотрю на звезду,

что во мраке свободно пылает
и к себе мою душу зовёт.
А собака на привязи лает,
проклиная ночной небосвод.

ПОДРОСТОК

Прописаны по старым адресам,
мы в новых лавках делаем покупки.
Нас критик отличит по голосам
и скажет пару слов о свойстве губки.
К чему роптать, одышливый рапсод,
что вечность отпускается в рассрочку?
Как золотой порядок строгих сот,
природе подражая, ценишь строчку.

Весною, по заразному снежку,
по брошенным на эту слякоть доскам
исходишь вдоль и поперек тоску
сбежавшим от родителей подростком,
усильем мысли с глаз долой гоня –
как ложные плоды воображенья –
свои сомненья в искренности дня,
подобного дну кораблекрушенья.

Итак, душа, молитву сотвори
за свой успех в делах шитья и кройки.
А мне пора проведать фонари
на кварталах гудящей новостройки.

Пора. Многоэтажные места
мертвы, распространяя запах тленья.
Смерть есть осуществленная мечта:
растягивай же миг осуществленья!

Мы встретимся: подобный разговор
оконченным считается при встрече.
На расстоянье выстрела в упор.
И незачем скликать на стогны вече,
раз речь идет о собственности на
ту землю, что была землей попыток
узнать, о чем мечтала тишина
воспоминаний, кем-то позабытых.

ПОВСЮДУ ВЕЩЬ

Я замкнут угловатостью полей
убогого периметра свободы.
Растут из глины перья тополей,
шумят о чем-то буйные народы.
Повсюду вещь и собственная жуть.
Она то нарывает, точно чирей,
то прячется, как джинн в бутылку, чуть
коснешься только маятника с гирей,
мгновение желая задержать
и расспросить о вечности подробней.
Объятия бессонницы разжать
и посмотреть в упор на мир загробный.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Гитарного развитью грифа
сродни железная дорога,
полна тоскующего скрипа,
ночного лязга, стука, вздрога,
к окну прикованного взгляда,
как исповедь или баллада.

Столбы напоминают руны
безумца тем, что телеграфны.

Чем провода тебе не струны?
Ведь ложь от правды
практически неотличима,
пока состав влачится мимо
каких-то будок в дачном духе,
торчащих кое-где скворечен,
этой символики разрухи,
в которой, очевидно, грешен
взгляд пассажира без особых
примет, объекта густопсовых
охот, троллейбусного зайца.
«Не огрызайся», –
кричат ему грачи вдогонку,
словно ребёнку,
наслушавшемуся пластинок.
И вместо девичьих косынок
прощального с платформы плеска –
тоска сквозного перелеска.

Задумчивая проводница
давно проверила билеты.
Ушла к себе уединиться,
пить чай, разогревать котлеты.
Я лягу спать на верхней полке,
пускай внизу мелькают ёлки,
а где-то к середине грёзы
пойдут осины да берёзы.
Начнётся голая равнина,
кустарник побежит к оврагу.
Разбужен запахом бензина,
я поднимусь и снова лягу.

Ведь не бросать же на съеденье
действительности сновиденье,
догадливыми докторами
тут же подвергнуто разбору.
Во сне блаженно, как во храме,
бродяге, проходимцу, вору.
Священником же быть – отрада,
как быть лозою винограда.

Во сне ведь очутиться проще,
чем забулдыге на Канарах.

Там апельсиновые рощи,
пока ты спишь на шатких нарах.
Гортанные пастушьи крики
через холмы Заиорданья,
смех невредимой Эвридики,
растерянный Орфей, рыданье
вдаль устремлённого потока
по всем, кому здесь одиноко.

Снаружи нечто, без оглядки
несущееся восвояси.
Ботвой увенчанные грядки,
шлагбаум, отделенье связи
с наглядностью того, что снова,
после внезапного тоннеля,
не говоря тебе ни слова,
несётся дальше, пустомеля.

Гремит угрюмый позвоночник,
ворочается с боку на бок
видавший виды полуночник,
в пути приобретая навык
устраиваться на Прокрустом
изобретённом ложе с хрустом.

Мы переходим из вагона
в вагон, как будто потеряли
друг друга. Скверная погода
Байкал-Амурской магистрали
расшатывает наши нервы,
но с нами вечная свобода
сойти на полустанке вербы,
под облаками небосвода.

Благодарю Тебя, Владыка,
за то, что наши ночи в звёздах.
Что соловьям живётся дико,
поётся, не сидится в гнёздах.
За всё, чем нравится гвоздика.
Благодарю Тебя за воздух,
которым дышат эти строки.
Веди меня, дневник дороги,

через ухабы чернозёма
к степному горизонту. Через
утраченное чувство дома,
когда в квартиру лезет ересь,
как будто выкрест в синагогу
через погромные трущобы,
и начинает понемногу
гипнотизировать. Ещё бы!

Ведь у неё шаманство ритма,
заскоки, разночтенья, сдвиги
страниц, отточенных, как бритва,
внутри захлопнувшейся книги,
где говорят друг другу «сударь»
перед началом поединка.
Сейчас показывают удаль
иначе. Здесь уже глубинка
по отношенью к той эпохе.
Впрочем, дела не так уж плохи.

Конечно, цоканье копыт во
сто крат изящнее, чем ропот
автоматического быдла
на светофор. Конечно, робот
не понимает человека.
Но посмотри: фонарь, аптека,
мерцанье лужи, блеск витрины.
Черты всё той же незнакомки.
Всё те же странные смотрины.
Вернее, съёмки.

На этом можно было б точку
поставить, если б запятая
не провоцировала строчку,
строфу спиралью заплетая.

Так в облачном столпе вожатый
скитается по ниве, сжатой
серпом, подвешенным всё там же.
Вселенная не стала старше.
Скорее уж помолодела
до беспредела.

Но Будда не успеет даже
моргнуть невыспавшимся глазом,
как кончится вся эта лажа,
где правит коллективный разум,
чья заповедь: дышите ровно
все поголовно.

Забудь вкус жертвенного тука,
в дороге завтракая наспех.
Тех, у кого с деньгами туго,
дорога поднимает на смех,
когда споткнёшься. Что за притча
на грани китча?

В башке сквозняк, на ветках почки.
Хорош отсиживаться в бочке.
По рельсам катится дрезина.
По обе стороны – трясина,
засасывающая пуще
кишащего людьми вертепа,
среды, чьи стриженые кущи,
досуг и царство ширпотреба
заманивают, увлекая,
как весть, по-своему благая.

Но привыкаешь постепенно
и к чуду метрополитена,
разглядывая те же своды,
но с точки зрения свободы
внезапно содрогнуться: где я?
Всё это, так сказать, идея
восстанья, мятежа и бунта,
осуществимая как будто.
По крайней мере, на бумаги.
В мозгу бродяги.

История подобна теме,
развитой в свою пользу теми
загадочными существами,
что нас не спрашивают с вами,
как самочувствие. Хотя бы
ради приличия. Масштабы

настолько разные, что страшно
вообразить, ежели брашна
попробуем однажды сдвинуть,
кому из нас придётся сгинуть.

Топыря скрюченные пальцы,
нагие вётлы, постояльцы
железной музыки дорожной,
как эпизод из жизни прошлой,
где можно обивать пороги,
но ничего нельзя поправить
по существу, – стоят в упрёке
за всё, к чему брезглива память.

Вот вороньё замельтешило
на бирюзе: лузга полудня.
Дорога, что воловья жила,
подрагивает, ибо лютня
готова колыбелью звука
стать, извлекаемого ради
забавы, нежной, как подруга,
что хороша в любом наряде.

Чему же сердце внемлет чутко
в плену рассудка?

Лесному свиристу пичуги,
молве ручья да храпу вепря.
Погоде свойственны причуды,
меняя направленье ветра,
теченье мысли, путь Улисса,
ландшафты, лица.

В конце пути должна разгадка
блеснуть ночными жемчугами.
Сверкнуть очами, как цыганка.
Да мы и сами чуть цыгане,
князья певучего наречья.
К чему нам пункты назначенья,
раз наша доля человечья –
шатры любви, костры кочевья.

Владимир Монахов

ДУДОЧКА ЯНВАРЯ
МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА

Памяти Ирины Монаховой

1.

Гладь вязкой пустоты, где камушком по водам
Бегут секунды, вечность раскрошив,
И памяти птенец под звёздным небосводом
Глотает жадно зернышко души.

Собою белый свет наелся до отрыжки.
На флейте крысолов ведёт весь день игру.
Армяк небытия жмёт бытию под мышкой,
И смерть бросает в жизнь спасенья легкий круг.

2.

Если я тебе должен, то приди и возьми,
А не можешь, так заткнись про старинный долг.
Я давно положил усталый прибор на мир,
Который с восходом солнца задирает подол.
Срок годности жизни моей еще не истек.
Я строгаю, пью, создаю за куплетом куплет...
И когда за окном вызревает кровавый отек,
Слышу голос жены с того света, которого нет.

3.

Спасает каждый жизнь внутри себя,
Другого – до беспамятства любя.
И если ты любил или любим,
То даже в смерти быть тебе живым!
Спасает каждый жизнь вокруг себя,
Иного в бескорыстии любя,

А если не любил иль не любим,
То даже в жизни не был ты живым.

4.

Я в мир иной не тороплюсь,
Концом пути не скован.
Я личной смерти не боюсь –
Страшит лишь смерть другого:
Того, кто рядом жизнь ведет,
Родня родные лица,
Кто смерть свою бесстрашно ждёт,
И лишь моей – боится!

5.

Между соленым и сладким
Жизнь прошмыгнула тайком.
Вымерло всё без остатка,
Землю, собрав бугорком.
Замерло слово под кожей,
Сердце молчит ему в такт.
До бесконечности множим
Бога на мертвых устах!

6.

Детали Бога все переписать
на чистый лист, что вырван из контекста,
где черному глаголу вволю места,
что мелким бесом точит небеса.
И падает средь точек, запятых –
червивый небосвод теряет звезды,
а разум мировой вбивает гвозди
в мой тихий дом, где дочки держат тыл...

7.

Никто не знает – как, зачем идти?
Но каждый верит, что он будет первым
В дороге, что покрылась едким пеплом
Сгоревших душ – их Бог списал в утиль!

8.

Чем дольше без тебя, тем ближе Бог,
Что видит всё глазами тьмы и света.
Я без тебя стоптал уж семь дорог,
Но до тебя не выдали билета…

9.

Свет попутный по краю
Вдоль горизонта ребра
Адамова в сторону рая
Движется по утрам
Гущей воды и хлеба
Замесом текущих дел
Корочкой черствого неба
Но к путеводной звезде

10.

Между нами разлад,
Как смертельная трещина,
Вяло сердце стучит,
Душу жмет холодок.
Господи, как одиноко
Теперь без женщины,
Что была в моей жизни,
как твой поводок!

11.

Под моим окном страна в непроходимых заносах.
Жизнь с трудом выбирается из снежного холста.
Господи, я посылал ежедневно на небо доносы,
Ты их иногда перелистывал, если не читал?

Понимаю, небеса задыхаются от земного спама
Людей, желающих выиграть в халявную лотерею.
Пусть мои послания почитают жена, папа и мама:
И в холодную зиму эта мысль мне душу согреет!

12.

Жизнь набирается силы и роста,
Звезды печально с неба глядят.
Траурной тенью в снегах января
Память врастает в деревья погоста!

13.

Тело становится необитаемым –
С последним выдохом сходит на нет,
И только души скупая проталина
В памяти держит прощальный свет!

14.

Где-то жизнь течет в запое
Я смотрю цветные сны
Между мною и тобою
Бродит ангел тишины
Каждый день напоминая
Наш счастливый миг удачи
Как любовь твоя слепая
Душу сделала мне зрячей
. . . . . .
Но навылет жизнь несёт-
ся в переулочках крутых
Отражая анти-сё
В анти-то зеркал кривых

15.

Черный квадрат памяти
На белом холсте
Января бродит мимо моих
Зашторенных окон.
Но нет от тебя с того света
Ни худых, ни благих вестей,
Видимо, ты загробный мир
Увела за собой далеко-далёко!
Думаю о тебе почти каждый
Безбожный свой день,

Создавая из суеты сует
Неприкосновенный запас.
И ты со мной всюду,
А я без тебя нигде,
Потому что весь свет
С високосного года
Пропал и угас.
Думалось – стану свободным
И научусь обходиться с любой,
Но вышло, что жизнь
Без тебя протекает зря.
И тут хоть дрова коли,
Хоть куплетами вой,
А смерть заводит
Прощальную песнь
В дудочку января.

16.

Мне жена изменила со смертью:
Шар земной без неё опустел.
Где могила – там в дудочку ветер
Что-то нежно-щемящее пел…

17.

ну вот и всё – смерть подвела итог
и щелкнула затвором – ненавижу!
а я стоять остался как влитой
у стенки мёртвых, что мне стала ближе…

18.

Мой милый Бог уж заметает свет…
Кому светить, когда в кромешной тьме, положим,
удобнее всего хранить на склоне лет
молчание, как на ночном, так и на смертном ложе…

19.

Запомнил всё – и то, что не сбылось,
О чем в дороге только помечталось,

Особо то, что мимо пронеслось
И к прошлому травинкою прижалось.
Теперь я знаю – кладезем надежд
Был мир заполнен, но они не сбылись.
И в Лету канул наш прощальный день,
Всё гуще зарастая небылью и былью.

20.

Я – Бога частица. Меня расщепить
Можно только на слово,
Хоть черти пытались меня подловить,
Но нет в преисподней улова.

Вечность играет со мной в поддавки,
Стирая земную картину,
Швыряет под ноги лужи-плевки
И смертью толкает в спину.

Но я продвигаюсь сквозь заросли мглы,
Неся чуть живую душу,
И к берегу неба стараюсь доплыть,
Границу рая нарушив,

Где встретятся мертвые, чьи имена
Засеяли путь звездномлечный.
Но равнодушно смотрит страна
Памяти искалеченной!

21.

Ничего я больше не должен белому свету.
Всех дел, что представить Богу озябшую душу.
Но жизнь продолжается новой песней поэта,
И кто-то за горизонтом песенку эту слушал.

Александр Шишкин

* * *

Жизнь прошла непроглядная
От тюрьмы до сумы,
С Дон Жуаном и Анною
У Демьяна-Косьмы.

На Ордынке шесть метров
И пустая кровать,
И от детства «зупинка» –
Вспоминать, вспоминать...

* * *

– Нету сладу! Нету сладу!..
День как день. Чуть поближе к аду.
Сохнут кроссовки, промокшие в слякоти.
Неужели и мы подростками блякали,
Бабки пороли нас, матери плакали,
А отцы натирали на бляхах якори?
Ерунда какая-то. Быть не может.
День как день. Только ад моложе.

* * *

Передали мне от матери посылку,
Сапоги да бушлат,
Чтобы долго их носил я
Без заплат.
Чтобы не студился,
Не мок,
Чтоб, когда сносился,
Кончился срок.

* * *

Русский раб – всегда свободный,
Русский раб – всегда голодный,
С желтым ногтем от махорки,
С матом, перхотью и горклым
Запахом корявой плоти,
Замордованной в работе,
В грязном, гаженном исподнем,
Не с нательным, а с нагольным
В кожу набитым крестом,
С исполнительным листом
И наколкой на кисти:
«Господи, меня прости» –
Доходной и ушлый раб,
Хоть сейчас готовый в рай,
Раб без Господа господний,
Похотливый, подлый, гордый,
Пьяный, битый и глумной –
Раб, доношенный страной.

Илья Будницкий

* * *

Какие бывают закаты? –
Багровый, багряный, седой,
Ликующий и бесноватый,
Бегущей по небу ордой,
Языческий, пепельно-серый,
Свинцовый, тяжёлый, больной,
Пускающий к югу химеры,
Шафрановый, беглый, льняной,
Мерцающий, вяжущий тучи,
Как тени с востока к утру,
Холодный, лиловый, колючий,
Последний, но я – не умру...

КАБАК

Дюймовочка со снулыми глазами
У стойки подражает дефиле,
И пьяницы мечтают о сезаме,
Как грешники – о рае на земле,

Достойное сравнение – не так ли? –
Любой из нас – творец своей судьбы,
И роли в беспорядочном спектакле
Довольно примитивны и грубы.

И быть уже не хочется, и в споре
Не истина, но хорошо, коль – блажь,
Почти что Ксанф – я осушаю море,
Но всё-таки не чувствую кураж. –

Быть может, жизнь – всего лишь подражанье,
Угасших звёзд у стойки дребезжанье...

* * *

Очнёшься в лесу на поляне,
овеянный сонной травой,
и скажешь – Вы видите, пани, –
я умер – и снова живой! –
а пани ответит – не знаю, –
дышите внимательней, пан! –
я принципам не изменяю,
и глупый прощаю обман –
Вы живы, и этого много –
а прочее – сон и мираж, –
я света просила у Бога,
а смерть – это прихоть и блажь –
всё сон, что за нашей спиною,
всё – марево, сумерки, блик,
в былые любови длинною,
в судьбу перехожих калик…

* * *

криви душой, сказав – чем хуже, –
тем лучше, или всё равно,
фонарь, коптящий небо в луже,
в любом прохожем видит дно,
не за спиной – в пустых ладонях
и неуверенных шагах,
в любви бессмысленных погонях,
в козлах, капусте, пирогах,
планетах с розами, с шипами,
песчаных дюнах, мотыльках,
белье со вшами и клопами, –
всё одиночество и прах.

Не рифмой единой



Рафаэль Левчин

КАМЕНЬ КАМНЯ

Он шёл уже много часов. Деревья расступались перед ним, образуя тропу там, где её заведомо не могло быть, едва завидев отблеск Камня у него на груди. Лишь однажды на него бросилась жёлтая птицерыба, самое свирепое и самое тупое существо в лесу; она рассыпалась в прах, едва коснувшись щупальцем Камня.

Он даже не взглянул на неё. Он устал. Это выдумки, что люди их цеха не устают. Не так быстро, конечно, как простые смертные, но зато гораздо сильнее. Когда он снимет Камень... но об этом сейчас не хотелось даже думать.

Кусты шарахнулись влево и вправо, и он вышел на поляну. По периметру её возвышались менгиры, а в центре – полуразрушенный нураг, уменьшенная копия той, Первой Башни.

Он подошел и коснулся Камнем стены Башни. Стена расступилась, и он шагнул...

...и оказался в начале своего пути. Так было уже дважды, и он знал, что рано или поздно возьмёт верх. Пусть живущий в Башне сопротивляется сколько может...

Он снова вышел на поляну и снова коснулся стены Башни. И на этот раз Живущий в Башне вышел ему навстречу, и при виде его пришедший впервые ощутил смутное беспокойство, потому что сила Камня велика, но не беспредельна, а на каждую силу есть своя противосила...

И Живущий в Башне рассмеялся, и смех его был невесел, и сказал, что об этом надо было думать раньше и что ежели Пришедшему так приспичило его уничтожить, то так тому и быть. Но поскольку и Поляна, и Лес, и весь Этот Мир, в том числе и Пришедший, созданы им, Живущим в Башне, то всё это исчезнет вместе с ним.

– Ты готов? – спросил он, и Пришедший не нашел, что ответить, а только схватился за Камень. И Живущий снова рассмеялся коротко и заколебался, точно нагретый воздух. И Пришедший взглянул на себя, потому что он не был трусом, и увидел, что то же происходит и с ним.

И тогда оба обратили взгляды к Лесу, чтобы увидеть распад своего мира. Но Лес только ближе придвинулся к Поляне, ибо и

деревьям свойственно любопытство, а страха, в отличие от людей и магов, они не ведают.

И тогда Живущий и Пришедший обратились в камни, неотличимые от прочих камней на поляне, потому что когда маг уничтожает созданный им мир, это не обязательно означает исчезновение мира для кого-нибудь, кроме самого мага...

...И тогда я, автор, вышел на Поляну и взял Камень с поверхности того камня, что был ближе к краю. Он не изменил свой цвет, и это означало, что силы его на пределе – молодой Камень убил бы меня мгновенно, и этот рассказ не был бы дописан. Правда, и за прикосновение к старому Камню расплата неминуема, но ведь за всё приходится платить. Хотя мы, авторы, наловчились оттягивать расплату до бесконечности и так привыкли к этому, что искренне удивляемся, когда нам всё же предъявляют неизбежный счёт.

И я отнес Камень ей, свету моего дыхания и дуновению моих глаз, но, конечно, не отдал в руки и даже не позволил посмотреть на него, а только зажал покрепче в кулаке и попросил её назвать самое заветное желание; и всеми своими силами, которых оставалось не так уж много, потому что нести даже старый Камень очень трудно, если ты не маг, пожелал: пожелай того же, чего желаю для тебя и я!

Но она, и этого следовало ожидать, лукаво пожелала, чтобы я написал этот рассказ. И я, куда денешься, написал его и ещё много других рассказов, и не только рассказов, и получил «нобелевку»; правда, инфляция к тому времени достигла такого размаха, что премии едва хватило купить ей мороженое. Хорошо ещё, что она очень любит мороженое; а я к тому же купил самое её любимое, земляничное.

А расплата ко мне пришла в своё время – я тоже окаменел. Но это оказалось совсем не страшно – куда страшнее мне было, когда в юности я предсказал себе, что превращусь в дерево.

Я счастлив теперь – когда она летит за своими эмрами, то иногда отдыхает на мне. Я пытаюсь сказать ей что-нибудь, и она понимает мой язык, хотя и не говорит на нём. Но разве недостаточно, если тебя понимают?

И тишина...

Андрей Кротков

ВОЛОСЫ ЛОРЕЛЕИ

1.

Война не дошла до деревни три версты.

С начала октября стала слышна сперва глухая, потом все более явственная и громкая канонада – рокочущие звуки, похожие на проползающую стороной грозу, сменились тяжкими и тупыми, бухающими, раскатывающимися ударами.

Пожилые мужики, бывшие ещё на германской, прислушивались, толковали:

– Эк лупит! Десятидюймовка, не меньше.

– Теперь в дюймах не считают. Теперь в энтих... как там... миллиметрах.

– Один хрен. Лупанёт по избе, и костей не соберёшь.

– А похоже, мужики, дело худо. Немец вон куда зашёл. Поди, скоро и к нам ждать надо дорогих гостей.

– Ты что думаешь?

– Думаю, сидеть надо, пока сидится, а уж коли ясно станет, что не миновать нам под немца лечь – сниматься и уходить с войсками. Одни пойдём – пропадём, а при военной части чем-нибудь да поживимся.

– Поживишься тут... Видал, вчера наши проходили? Спросил командира, куда – он мне: кудыкать плохая примета, папаша, идём на переформирование. Зима, похоже, лютая будет, а они в ботинках с обмотками да в шинелишках поверх гимнастёрок. И голодные все – аж глаза блестят.

– Да-а, напинал нам немец так, что зад дымится. Москву, похоже, кругом обложили.

– Кабы кругом, так они бы с восхода появились. А там пока тихо. В клещи норовят взять. Я вчерась у учителя книжку школьную попросил, энту... как её... географию, ну, где карты нарисованы.

– Атлас.

– Во-во. А командир-то вчерашний мне политинформацию сделал, как я ему сказал, что мы тут без радио пропадаем: говорит, немцы стоят под Калинином и под Тулой. По картам выхо-

дит – точно, клещи. И ещё он мне втихаря буркнул, что они уже в Клину и на Дмитров прут.

– Едрит твою! Это ж до Москвы рукой подать!

– Рукой, да не ногой. Ты кругом Калинина бывал?

– А то.

– Так должен знать: что здесь, что там в наших местностях сплошная мокреть, болото. Вон снегу сколько нападало – по самое это самое. И дороги отродясь были такие, что кони по пузо вязли. Вот я и думаю: не пройдут немцы за Волгу – завязнут зимой в снегу, летом в трясине. Растянулись они широко, выдохнутся скоро. Из самой Германии идут, две тыщи вёрст, как не растянуться.

– Тебя бы в генералы произвесть.

– Не зуди, Трофимыч. Ай на войне не был?

– Та война – этой не чета.

– Не скажи. Мы тогда в окопах вшей давили и в атаку пешком ходили. А теперь война быстрая. И кто сдуру без удержу разбежится, тот первый язык и высунет.

Вьюн слушал пожилых мужиков внимательно. Они его от себя не гнали, потому что он никогда не вмешивался и вопросов не задавал – только слушал. Не гнали потому ещё, что жалели парнишку – от отцовой дури на сенокосе пострадал, тот его посылал бежать впереди косилки, глядеть, чтобы камни не попались, а то поломается косилка, и пришьют вредительство – и запнулся малый, упал под ножи, отец недоглядел. Пересекло сухожилия на левой ноге. Возили в город, лечили-лечили – без толку, вывернулась нога чуть не коленкой назад. Траченый остался парнишка, ни на войну не возьмут, ни девки замуж не пойдут за колченогого. А Вьюном прозвали за то, что ловко умел плавать – в деревне мало кто умел, плескались у берега, взрослые мужики так и совсем не купались, считали зазорным. Он и теперь, с вывернутой ногой, воды не боялся, всё так же ловко перемахивал речку туда-обратно.

Ранним ноябрьским утром у всех захолонуло сердце: за околицей, в полуверсте, прямо у дороги мелькали видные даже в мутноватом тумане отблески машущих лопат – окапывался стрелковый взвод. Пролетел слух: «Наши в оборону встали. Стало быть, немец рядом. Вот-вот будет здесь». Деревня попряталась по избам. Сидели тихо, как мыши, некоторые молились.

Бой начался неожиданно, вроде как ни с того ни с сего. Винтовочные выстрелы, пулемётные очереди, разрывы гранат. Затих – и опять начался. Часа полтора шла стрельба, непонятно было, что делается, кто кого – поглядеть боялись даже издали. В середине дня разом всё стихло. Наконец послышался нестройный топот

ног – и отрывочные разговоры долетели. Говорили по-русски. Через деревню, поломав строй, толпой уходили десятка полтора человек – всё, что осталось от взвода.

Пожилые мужики вышли им навстречу. Взвод вёл старшина – грязный, словно в луже вывалявшийся, неделю не бритый, с обтянутыми сизыми скулами.

– Что там, ребята?

– Отбились. Уходим. Патронов больше нет.

– А немцы где?

– С десяток их там остались лежать. И наших столько же. Вы, мужики, если сможете, похороните. На мотоциклетках они были, вроде как разведку делали. У нас приказ был – задержать.

– А командир ваш где?

Старшина невесело ухмыльнулся.

– Теперь я взводный командир. Повышение вышло. Да вы, мужики, особо не дёргайтесь. Немец, похоже, сюда не сунется. Сил у них уже нету по фронту наступать. Я вам точно говорю: они засели в Калинине, южнее прорвались до Яхромы – клиньями, там их везде держат. Скоро сибиряки подойдут, Первая Ударная – слыхали? Тогда и повоюем. Да вы на меня не глазейте, я не штабной, я с тридцатого года в форме, нюх имею. Вы вот что скажите – не найдётся ли мерина какого кривого с телегой? Мне бы раненых посадить, а то не добредут.

Старшина оказался прав.

С полмесяца деревня жила в глухой неизвестности. Слышалась на юге канонада, наносило по небу жидкие клочья желтоватого остывшего порохового дыма, словно от дальнего лесного пожара, пролетали изредка самолёты – но немцы деревню не занимали, и наши ниоткуда не подходили. Никто не появлялся, даже районное начальство. Мужики втихаря пересмеивались: драпанули, сердешные, аж до самого Рыбинска, и дорогу назад со страху позабыли.

В середине декабря стали просачиваться слухи, что Калинин отбили, что Москва стоит, что из-под Яхромы немцы откатились на запад дальше Клина. А больше под серым куполом декабрьского неба, в глубоких снегах, под треск сильных в этом году морозов – ничего не происходило, словно было здесь не ближнее от столицы место, всего-то две сотни вёрст, а таёжная сибирская глушь.

К марту в деревне остались только трухлявые деды невоющих возрастов, инвалиды, пожилые бабы, сопливые пацаны и девчонки – и колченогий Вьюн. Вернулось районное начальство и начало командовать. Всех годных к делу прихватили и по-

разобрали приказами кого куда – на лесозаготовки, на торф, на погруз-разгруз.

Было голодновато. От одного взгляда на мёрзлую картошку мутило, хлеба не видали уже давно. Однако деревня кое-как выживала старыми ухватками и запасливостью. По подклетям почти у всех были припасены кадки солёных грибов, мочёной брусники и клюквы, хранилась в песке потыренная в неразберихе с колхозного поля кормовая брюква – не больно вкусная, живот с неё пучит, но сытная, особенно если запарить в горшке. Травознаи запасали земляничные листья для «чаю», калгановый корень – лечить цингу и заеды. Некоторые даже сумели тайком завести в лесной чаще старинные дупляные борти – ставить ульи на усадьбе не решались, начальство грозилось обложить их налогом. И конечно, все втихую рыбачили. Чинёные-перечинёные бредни и верши заплетали по прорехам суровыми нитками и берегли запрещённые орудия лова пуще глаза.

Вьюн ещё в январе стал примысливать насчёт известной ему в дальнем речном затоне зимовальной ямины – там набиралась пропасть рыбы, только зимою её сквозь толстенный лёд было никак не добыть, а в марте – самое время, пока лёд не взялся водой и рыба не начала очухиваться.

Под вечер, таясь, он отволок к месту добычи салазки и корзину-плетушку, закопал в снегу на опушке леса. Переждал ещё сутки – и вновь под вечер, прихватив топорик, острогу и пешню на короткой рукояти, пробрался задами и раменьями к затону.

Всё вышло, как он хотел. Пробил пешней лунку, стал обкалывать её по краям топориком, лёжа на животе. Когда раскрылась майна приличная, полусонные, задохшиеся в зиму рыбины начали подвсплывать к свету и свежему воздуху. Он следил за ними, ловко выхватывал и отбрасывал подальше в сторону, чтобы прихватило морозом. Потом взял острогу и прогрёб-протыкал дно ямины. Повезло – насадились несколько налимов и пара сомят. Выколотый лёд он побросал обратно в майну, накидал пригоршнями снегу – чтобы за ночь опять схватилось, а то пуганая рыба, надышавшись, взбодрится, отойдёт с ямины, и тогда ищи-свищи её. Лучше всего было бы, конечно, по старинному способу протащить через две полыньи подо льдом бредень, выгрести рыбу начисто – да такое дело без помощников не сладишь, а помощники свою долю потребуют.

Было уже совсем темно, когда он приволок пудовую тягу на салазках домой. Отец не видал – спал. Мать тихонько погладила его по спине, накинула платок и побежала на двор перекладывать

рыбу в бочку. Он выпил кружку отвара брусничного листа, съел пару склизких, как мокрое мыло, варёных картофелин и улёгся на лавке под тулупом. Засыпая, подумал: хорошо, что снег пошёл – к утру все следы засыплет. И беда – соли нету. Придётся рыбу так смолотить, пока мороженая, засолить нечем; чуть потеплеет – она и завоняется.

Другую зимовальную яму он пошёл брать, когда дневные тени от деревьев из зеленоватых сделались синими, а вокруг стволов появились в снегу круглые выемки – солнце пригревало, двинулся под корой сок, зима шла на убыль, хотя по ночам ещё заворачивало холодом.

Продолбил лунку, вырубил полынью, прилёг на живот, подложив под себя две поперечные ольховые слеги – для острастки, лед уже был слабоватый – и изготовился не пропустить, когда в чёрной воде мелькнёт тусклым серебром бок всплывающей рыбины – как вдруг из-под кромки полыньи в мягко вспухающих водоворотах стремнины вымахнула ему навстречу человеческая рука.

Айкнув от страха и неожиданности, он отпрянул. Но быстро справился с собой – привык быть всегда один и рассчитывать только на себя. Натянул, от брезгливости, дырявую рукавицу, подполз обратно, глянул.

Рука всё так же моталась в струях.

Невезуха. Пришёл за рыбой, нарвался на утопленника.

Стиснув зубы и глухо выругавшись, он ухватил мёртвую руку, потянул. Она подалась легко – в неровном чёрном вырезе полыньи показалось тело лицом вниз. Привстав на колени, он чуть подался назад от края, чтобы лёд не обломился под внезапно удвоившейся тягой, примерился и с силой рванул на себя. Тело до половины выскочило на лёд. Он ещё немного попятился, сдвинул под себя слеги, лёг, вцепился в холодную кисть и начал отползать, не отпуская.

Когда лёд перестал заметно прогибаться под ним и слегами – а это значило, что глубины нет и лёд лежит на прибрежном дне – он встал в рост, склонился и с усилием перевернул мёртвое тело на спину.

Это была баба. Молодая. Не наша.

Вьюн видал убитых. Вернее, одного умершего. В двух верстах от деревни, в лесу, на сухом бугре, когда ходил за грибами в конце сентября, поднимался по склону бугра, шаря под приметными кустами в поисках подберёзовиков (их тут раньше страсть сколько водилось), и, подняв невзначай голову, до смерти перепугался: в десяти шагах от него, прислонившись спиною к стволу берёзы, сидел наш, солдат, мёртвый. Шинель от пояса донизу с правой

стороны была густо пропитана кровью и уж побурела, по серому лицу ползали ленивые сентябрьские мухи, тусклые приоткрытые глаза ничего не видели. Похоже было, что отбился от части раненый, заплутал в лесу – и умер от потери крови. А может, со страху мотанул наобум, обессилел, сел – и больше не встал.

Вьюн тогда никому ничего не сказал. На другой день вернулся – поглядеть. Так целую неделю возвращался к лесному покойнику, сперва дрожа мелкой дрожью от страха, а потом перестал бояться – только заходил с наветренной стороны, потому что от покойника сильно смердело – сентябрь стоял теплый. И наблюдал, поташниваясь, прикрывая рот рукой, как день ото дня менялось мёртвое тело, как раздулся безобразным барабаном живот, как подогнулись в коленях и раскорячились ноги, словно покойник собрался пуститься вприсядку, как округлилось и опухло лицо и набрякли чёрные губы, а сквозь лопнувшую на правой ноге порточину выпирает бедро в густеющих чёрно-зелёных пятнах...

Выпал снег, ударили морозы, покойника припорошило и скрыло. Вытаял он только к апрелю и был уж другой – иссохший полускелет, кое-где лишь сохранивший лоскутья кожи, жалко и вроде как недоуменно глядевший пустыми глазницами склонившегося набок черепа, над которыми из-под сопревшей шапки торчали и жутковато пошевеливались на ветру пряди уцелевших волос, словно просивший милостыню в вывернувшиеся наружу и распавшиеся костяные пальцы, похожий в почти не повредившейся шинели на одинокую сморщенную горошину в завялом стручке.

А эта была не такая. С ней что-то неладное сотворилось.

Вьюн уж тогда совсем удивился, когда, напрягая все оскудевшие от голода силёнки, сволок её со льда к урезу, под торчащие из снега ракиты.

Холодная – да. Понятное дело – в ледяной воде была, подо льдом. Но не восковая, не с синеватым от удушья лицом, как обычные утопленники – белая и чистая, словно только что окунулась. Одежда на ней была мужская, форменная – куртка, брюки, ботинки – но ладно пригнанная по фигуре и совсем целая, нигде не повреждённая. На руках, лице и шее – открытых местах – ни царапины, ни ссадины. Узкие чёрные погоны, по краям отделанные белым, на погонах по одному кубарю, на левом рукаве куртки чёрная лента с непонятной немецкой надписью серебристыми буквами, на правом рукаве – нашивка, на груди куртки справа над карманом угловатый фашистский орёл.

Вьюн вытащил её на берег, положил навзничь. Отдышался – и поволок дальше, наверх. Как во сне, приподнял тело – странно

лёгкое, покойники всегда тяжелыми кажутся – и прислонил к стволу сосны, уместив в той же позе, в какой тогда нашёл мёртвого нашего.

Думать не хотелось, однако он пытался.

Речка бежит с запада. Стало быть, девка эта – немка, форма на ней немецкая, на наших девок вовсе не похожа – утопла уж давно, когда немцы недалеко стояли, всю зиму подо льдом пробыла, и вот сейчас, как на грех, вывернулась ему в руки – принесло течением, что ли... Ерунда! Не могла она такою остаться, будто с полчаса как ушла под воду. Вода человека не бережёт.

А – вот она.

Снег вокруг лежавшей немки пропитался сбежавшей с мундира водой, светлые волосы на ветру начали заметно просыхать. И губы у неё были не синие – розовые. Вот-вот сейчас откроет глаза.

Ведьма. Русалка. Колдунья немецкая.

Позабыв про рыбу, он тихонько попятился, не сводя глаз с утопленницы, потом повернулся и что было сил зашкандыбал на подворачивающейся ноге прочь. Но не побежал – совестно было и неловко.

2.

Лето обещало опять быть жарким, как и первое военное. Солнце в конце апреля припекло, в считанные дни вершины бугров и пригорков оголились и просохли, речки и ручьи переполнились мутной водой. Только в ложбинах на северной стороне и по чащобам прятались сугробы грязного снега.

Деревню лихорадило – посевная. Сей в грязь – будешь князь. Грязь грязи рознь, говорили старые мужики, после такой зимы в холодную землю сеять опасно, закоченеет зерно и вымокнет, подождать надо до Николина дня, – но их быстро затыкали: фронту нужен хлеб.

Вьюна приспособили кочегаром на жуткую машину – газогенераторный трактор. Целыми днями он, набивая кровавые мозоли, колол осиновые поленья на чурки, заправлял чурками башенку-печку газогенератора, разжигал – а однорукий, вечно пьяный тракторист поглядывал на его работу и бурчал, что медленно справляется; потом командовал: «Залезай, убогий!» – и резко рвал с места; притулившись позади кабины, Вьюн следил за вихляющимся, кое-как починённым кузнецами плугом, дышал угаром от газогенератора; несколько раз надыхивался едва не до потери сознания и вовремя успевал соскочить, чтобы не свалиться под ле-

мехи. От угара тошнило, стучало в висках, дико болела голова, потом отпускало.

Тракторист день ото дня становился всё злее. Когда он вернулся с фронта без руки, от него ушла жена. Он запил, запивал тяжелее и тяжелее – пока однажды в середине рабочего дня, отойдя в кусты справить малую нужду, вдруг сипло обматерился, заскрипел зубами и упал ничком – помер, сердце разорвалось.

Другого нашли не сразу – послали в город, в соседних деревнях никого знающего не было. Вьюну выпали несколько свободных дней. В один из них он скрадом ушёл в лес.

Вокруг приметного места он сперва долго кружил – боялся. Последние шаги одолел, присев на корточки, полуползком, борясь с желанием лечь в сухую прошлогоднюю траву. И когда присмотрелся сквозь голый красноватый бересклет – увидал её. Осторожно подполз, огляделся, хрипло прошептал: «Эй!» – самому показалось, что крикнул.

Она не двинулась. Все так и сидела, как он её усадил – прислонившись спиной к стволу сосны, руки на коленях, голова слегка запрокинута, глаза закрыты. Ничуть не изменилась – не тронула её смертная гниль. Только лицо было чуть припорошено розоватой сосновой пыльцой.

Тронув не без робости её руку, Вьюн подумал, что рехнулся умом: рука была тёплая. Но не человечьей теплотою живого тела – а просто гораздо теплее тела мёртвого, так, как бывает тепловата и одновременно прохладна нагретая солнцем кора рябины или молодой берёзки. Поднял кисть руки, отпустил – она безжизненно упала.

Быстро свернув из берёсты крохотный туесок, Вьюн спустился к речке, набрал воды – глотка два. Оттянул ей нижнюю губу и попробовал влить воду в рот. Не приняла – вода отстранённо скатилась по подбородку. Ожесточась, он царапнул её по тыльной стороне ладони острым краем бутылочного донышка, которое носил в кармане заместо ножа. Царапина появилась, но кровь не выступила.

Оставалось одно. Он дрожащими пальцами расстегнул у ней ворот куртки. Под курткой оказалась вроде как гимнастёрка, но тоже на пуговицах, распашная. Он расстегнул и её. Дрожа и тяжело дыша, распахнул – первый раз так близко видел нагое бабье тело, раньше только издали подглядывал за купающимися девками – приложил грязную, всю в цыпках ладонь ниже левой груди.

Та же странная древесная теплота, но сердце не билось, как он ни прислушивался.

Вдруг накатило дикое желание снять с неё всю одежду. Он даже задохнулся от этого наплыва, шумно задышал, будто бежал, в ушах зазвенело.

Не смог. Запахнул ворот гимнастёрки, с трудом позастёгивал пуговицы куртки назад. Усадил сдвинувшееся от прикосновений и толчков тело поровнее.

Больше в этот день он ничего не делал. Притулился в нескольких шагах в сторонке и тихо, безмысленно просидел несколько часов рядом с нею – не живой, не мёртвой – жуя травинки и глядя то по сторонам, то на неё. Чувства будто притупились. Не было ни боязно, ни противно, ни тревожно.

Когда солнце начало сходить к закату и пахнуло острым весенним холодком, он встал. Неожиданно для самого себя сказал:

– Ты сиди тихо. Не отходи никуда. Увидят – убьют. Я ещё к тебе приду.

И удивился тому, что сказал: как это – убить неживую?

3.

В июне он заметил, что у неё волосы отрастают. У корней они были совсем не те, что на концах – золотистые, как свежая ржаная солома. Тогда, весной, были волосы совсем короткие, а теперь отросли почти до плеч.

Он приходил к ней каждую неделю раз – чаще не получалось. Обметал с лица и век соринки, пыль, приставшие листья и сосновые иглы, что сыпались сверху. Зачем-то сделал ей подстилку из еловых лап и менял в каждый приход. После сильного ливня на Троицын день, увидав её насквозь вымокшую, долго возился, вбивал колышки – соорудил над ней шалашик.

Ему уже ничего не казалось и не мерещилось, ничто не пугало и не отвращало, на грешные мысли не тянуло. Так всё шло, будто она спит, а он оберегает её сон.

Обломком черепахового гребня он расчесывал её отрастающие волосы, совершая это неумело – и ему казалось, что, раздирая спутавшиеся прядки, он делает ей больно. Попробовал один раз заплести ей косу, но не справился – видел, как быстро и ловко делают это девчонки, но повторить не сумел, коса выходила слабая, разлезалась.

А она ничуть не менялась, словно заговорённая. Со спокойно закрытыми глазами, не дыша, сидела, прислонясь спиной к сосновому стволу. Лицо оставалось розовато-белым, губы – бледно-розовыми, на веках просвечивали синеватые жилки, розовели ров-

но подстриженные и не отраставшие, не в пример волосам, ногти. Ни мыши, ни землеройки, ни мухи, ни птицы её не трогали – их даже рядом не видать было.

Он привык говорить с ней. Понимал, что говорить без толку, однако после двух-трёх разговоров безответных все равно привык. Рассказывал про дела в деревне, пересказывал то, что доходило из военных сводок – новости с войны приносили в деревню те, кому удалось побывать в районе, радио так и не наладилось, оборванные провода мужики тайком растащили по домам.

Как-то раз он спохватился, что за всё время не додумался проверить у неё карманы. Осторожно обшарил – и в нагрудном кармане куртки обнаружил тоненькую книжечку, два сложенных листа плотной бумаги. На обложке сверху – все тот же фашистский орёл и длиннющее слово, внутри – слова, напечатанные заковыристыми буквами, а справа от них – слова буквами попроще, должно быть, имя, фамилия, звание и должность, как он видел в красноармейских книжках, и ещё что-то совсем мелкими буквами. Разобрать он ничего не мог – из-за войны в школе не дошёл до немецкого языка, а сейчас и вовсе никто не учился, говорили – после войны доучитесь.

Книжечку он хотел было забрать себе и спрятать, но передумал – вдруг найдут, как бы чего не вышло. Положил назад в карман куртки.

В августе, когда после Ильина дня не ко времени настали сильные жары, он всё же решился – уж больно грязна стала на ней одежда. Медленно и бережно поснимал с нее всё, отнёс мундир и исподнее на мелководье, притопил, придавил камнями, чтобы не закачало волнами и не унесло. Знал, что в мягкой речной воде через два-три часа любая грязь отмокнет. Тщательно пробил-промылил отмокшую одежду белой пузырящейся глиной, долго полоскал и отжимал по-бабьи, скручивая кулаки встречь, потом развесил на молодых сосенках. Возясь, то и дело оглядывался на берег, где розовело тело, целомудренно прикрытое в двух местах пучками папоротника. Подумалось было и её самое тоже окунуть, обмыть – но волочить нагое тело по земле не хотелось, а отнести её на руках он не смог бы из-за своего увечья. И почему-то вдруг эта мысль сделалась ему неприятна: а ну как вода захочет её обратно взять?

А осенью, когда дела на фронте были хреновые и народ опять отчаянно волновался и толковал про Сталинград, он угрюмо слушал разговоры, чуя, что про то, что с ним и с ней происходит, никому нельзя даже словом обмолвиться – и очень переживал, что наступают холода, скоро снег выпадет, каково-то ей там придёт-

ся одной в лесу. Без неё уже не мог – и чувствовал себя вроде как предателем.

4.

В июне месяце сорок третьего в версте от того места, про которое Вьюн не мог спокойно думать, затеяли новую лесосеку. Старые мужики ругались и плевались: долботрясы городские, ни уха ни рыла не разумеют, только командовать здоровы, кто же лес летом валит, высохнет на солнце – его винтом скрутит и щелями порвёт, валить надо зимой, по-дедовски, когда сок не идёт. Однако приказ есть приказ.

Вьюн затревожился. Сказавшись больным, на работу не пошёл – был сенокос. Сбежал к ней. Сделав волокушу из жердей и лапника, потащил её на Кобылью Топь – верховое болото в пяти верстах от деревни, считавшееся непроходимым; прозвали его так по памятному событию, когда в нём в двадцать седьмом году утопла самая завидная кобыла из деревенского табуна.

Только не для него болото непроходимо было – он давно уже разведал ход через трясину в самую серёдку болота, тропку среди осоки и кочкарника, под которой, похоже, лежали то ли валуны цепочкой, то ли песчаная грядка, потому что вода на тропке редко стояла выше щиколотки, а в жаркие дни бывало, что и вовсе уходила; в серёдке болота на кучу старых серых лиственных коряг-пней наметалась-насеялась земля, после гари густо поросшая иван-чаем, пушицей и багульником; островок этот был зыбкий и неверный – если как следует попрыгать, весь ходил ходуном над топью – но сверху сухой и вполне мог держать двоих. Только вот комаров и слепней там, на болоте, было ужас сколько.

Волокуша – штука ненадёжная. Ему пришлось связать спящей руки и ноги бечёвкой, чтоб не разбрасывались, а обрывком вожжей, пропущенным под руки, припутать её к скрещённым вверху жердям – и то всю дорогу он боязливо осматривал волокушу: развалится – начинай сначала.

Обошлось. Даже по сырой после дождя болотной тропе он протащил её сравнительно легко. На островке рухнул и с полчаса лежал, не в силах пошевелиться – так устал.

Ей ничего не сделалось. Её даже кровососы не жрали. Растряслась немного по дороге – волосы спутались, упали на лицо, взъехала куртка, обнажив полоску тела. Он прибрал спящую, обтёр запылившееся лицо мокрым платком из крашенины, обмыл ей руки – палец за пальцем, отдельно – расчесал волосы. Усадив её

в привычную позу, разломал волокушу и закинул жерди подальше в топкое место, из лапника сделал, как всегда, подстилку и навес над спящей.

Здесь не найдут. А найдут – некуда бежать.

До заката было ещё далеко – июнь. Ветер стих, небо очистилось, солнце сделалось особенно мягким и ласковым. Вьюн порадовался, что, не задумываясь – как-то само собою вышло – усадил он её лицом на юго-запад, в самую сухую и тёплую сторону – не то что в гнилой северо-западный угол, откуда все дожди и сырые ветра.

Примостился рядом, положил её голову себе на правое плечо, правой рукой взял её левую, скоро пригрелся на солнышке – и задремал.

Никогда ему ещё не было так хорошо и покойно.

5·

Война ушла из России. Починённое наконец радио – чёрная хриплая тарелка – передавало, что Красная Армия в Польше, Румынии и Чехословакии. В деревне было полсотни, не меньше, вдов – почтальоншу каждый раз ждали со страхом. Семеро мужиков вернулись начисто покалеченные – без руки или ноги; один вернулся слепой, трое – контуженные, вроде как не в себе.

Начали подгребать семнадцатилетних. Бабы выли воем, начальство их успокаивало: сперва в военную науку отдадут, в офицерское училище – офицером станет, порадуешься ещё, в эти годы прямо на фронт по закону отправлять не полагается, а там, глядишь, и войне конец. Деды мрачно качали головами: всё врут, суки драные, какое офицерское училище для деревенских ребят, они ж едва грамотные. Фронтовики с ними спорили: почему б и нет, поучат с полгода, выпустят сержантами, а на фронте чины быстро идут.

По вечерам в избах шло повальное гаданье на картах. Загадывали – «доживёт-не-доживёт». Выходило, что к следующему лету война кончится, и кому восемнадцать будет после пасхи – те вернутся живые.

Вьюна два раза таскали в город. Глядели на его вывернутую ногу – и отпускали. На третий раз какой-то майор с сизым лицом и налитыми кровью, как у быка, глазами, вдруг начал орать: «Симулянт херов! Что кособочишься? А ну, ступани прямо! Знаю вас, Миколы-запасники, Исусово войско! Морды в тылу нажираете, а мы...» Оборвав ор, замычал, брякнулся со стула, забился в судорогах, наделал под себя – в комнате засмердело.

Другой офицер, молчаливый, плешивый, в железных очках, вывел Вьюна в коридор, сказал:

– Иди, братец, иди. Не обращай внимания. Никто тебя больше не тронет, и так всё понятно. А на майора не сердись – у него вся семья погибла в Смоленске, потом в бою шибануло, мозги набекрень съехали. Ты и сам хорош. Что молчишь? Тебе же по документам всего пятнадцать. Сельсоветским грамотеям волю дай – они голопузых пацанов на фронт тягать начнут.

Дома отец лежал на лавке, стонал – ущемилась грыжа. Подозвал Вьюна, сказал:

– Отбоярился? Ладно. Бог троицу любит. Говорил я им, что ты годами не вышел, да разве дуракам втолкуешь. А мне вот фершал говорит – в больницу надо, на операцию. Кила замучила. Не ко времени вылезла проклятая. Да когда ж это ко времени бывает? Ты вот что: гляжу я, ты всё куда-то бегаешь далеко, зачем – не говоришь. Смотри, парень. Время военное, сейчас и за простую игру к ответу потянут. Старайся на виду быть. А то вон в Михалёве енкаведешники Гришку-дурачка и то арестовали. Он игрался – в лесу землянку вырыл, портрет Сталина повесил, а рядом икону. За подрыв авторитета товарища Сталина теперь пойдёт в Сибирь кандалами звенеть. Советская власть хоть не дура, да шуток не понимает... Ступай к матери, помоги ей баню истопить. Чуток попарюсь перед больницей, а то совестно.

После бани отцу стало только хуже. На подводе, устланной соломой, его отправили в район. Старики, кряхтя, вынесли его, уложили. Он молчал, глядел в небо, на прощанье слабо махнул рукой.

На другой день после работы Вьюн опрометью помчался на болото. Помня отцов совет, был осторожен – обошёл деревню с другой стороны, нарочно пройдясь перед тем по главной улице, чтобы все видали, а когда вошёл в лес – со всей возможной быстротой припустил опушками, почти без отдыху отмахал крюк вёрст в семь.

Она всё так же лежала – спокойная, чистенькая, одинокая, временем не тронутая. Вьюн был озабочен. На днях у фронтовика выпросил старое заржавленное бритвенное лезвие; тем лезвием начал торопливо спарывать с неё погоны, орла фашистского, нашивку и ленту с рукавов, книжечку из нагрудного кармана тоже вынул. В стороне запалил маленький костерок из сухой травы, сжёг все немецкие причиндалы, затоптал пламя и растёр ногой золу.

Волосы у неё отросли так, что чудно было глядеть – ниже пояса, она вроде как в те волосы куталась. Отросли густые, тяжёлые, гладкие, золотистого цвета. Он мучился, расчёсывая их редким гребнем; расчесав, собирал в лошадиный хвост-султан, пере-

вязывал то бечёвкой, то обрывком мочала, то жёсткими, как проволока, стеблями повилики, перекидывал ей за спину. А они всё росли и росли.

6.

Все бродили как пьяные, ловили слухи, прилипали к радио. Наши уже в Берлине, американцы с другой стороны заходят, загнали волка в угол, припёрли рогатиной – а он всё щерится. Усталость от войны была зверская, тоска долила, терпенья не хватало дожидаться, когда ж закончится.

Пасха в этом году была поздняя, пришлась на шестое мая. Пронеслась молва: в михалёвскую церковь приедет батюшка, будет служить пасхальную – разрешили. И крестный ход будет. Сам Сталин разрешил. Бабы волновались, белили в щёлоке платочки, гладили юбки и кофты, доставали из заветных щелей, законопаченных мохом, нательные крестики.

Вьюн не находил себе места.

Пятого вечером мать оделась по-праздничному. Перед уходом достала фотографию отца – тот не снёс операции, помер – поглядела, всплакнула. Потом спросила:

– Пойдёшь со мной?

– Не. Дома буду.

– Ну, как хочешь.

Едва мать вместе с табуном баб ушла в Михалёво, Вьюн стал лихорадочно соображать. Служба протянется долго, мать вернётся едва ли к утру. Значит, ему придётся сейчас рвануть на болото, там же и заночевать, чтобы под утро назад успеть.

Поразмыслив, Вьюн решил не горячиться – уйти утром. Всё равно завтра работа не сладится – пасха, мужики напьются, начальство тоже своего не упустит. Да и в лесу ночью, как хорошо ни знай все тропинки, обязательно заплутаешь – на то он и лес. И отговорка есть: пошли сморчки, можно набрать на варево, раньше ими брезговали, а теперь всё идёт, что в рот без смазки полезет. Нарочно достал с потолка корзинку, вытряхнул сор, поставил на видное место.

...Её уже совсем не видать было в такой роскоши волос – они дотянулись до ступней, окутали её сплошной золотой гривой, подстелились под спину, закрывали грудь, прятали руки, волнами спадали на бёдра, раскинулись прядями в стороны. Только бело-розовое личико покоилось среди их потока, и прямой тонкий нос сильнее выступал под скрывшимся лбом.

Он не знал, что делать. Иной раз думал прихватить старые овечьи ножницы и всё срезать – а что потом?

Что потом – только сейчас он вдруг остро почувствовал, что «потом» может и не быть. Война вот-вот кончится. Ему скоро семнадцать. Жизнь должна перемениться. Год за годом ходил он к ней, среди суматохи и общего горя, когда каждому своих забот хватало, когда любопытные не досаждали. Кому рассказать – словам не поверят. А открыться, показать – набегут толпой, начнут хватать руками, живо придумают и пустят сплетню – народ языкастый и злой. Может и до добра не дойти. Как объяснишь, что выловил из проруби мёртвую немецкую девку, которую земля не принимает, и три года ходил на свидания к покойнице, к живым мощам?

Он опустился на колени, осторожно взял рукой тяжёлую прядь золотых её волос.

Тихо было вокруг. И что-то начало меняться.

По вершинам вокруг болота пошёл-зашумел ветер. Пошёл странно – кругом, словно заворачивая под невидимой уздой. Вот уже громко и тревожно шумели все берёзы, белой тонкоствольной стеной окружавшие топь, сгибались в треть и кланялись под ветер – а в середине было тихо.

Полился свет, и не с неба, не от солнца – за вытянутыми вершинами вставало зарево, яркое, белое, быстро накалявшееся, заливавшее всё вокруг светом нестерпимым, бестенным, потому что лился он отовсюду.

А она, окутанная волосами с головы до пят, стала медленно приподниматься с земли – лёжа, вверх спокойным лицом, словно плыла на незримой лодке или лежала на невидимых носилках. Поднялась вровень с его лицом.

Он выпустил прядь волос, попытался выпростать её руку и схватить, удержать. Но рука, хоть и была тонкая и мягкая, от тела не отнималась.

Он заскулил от страха и тоски, схватил её в обхват, поперёк тела – и почувствовал, что вздымающая сила хоть и легка, но упрама, с ней не сдюжить. Почувствовал, что ноги отрываются от земли, что тянет их обоих вверх тяготением неодолимым.

Что-то шелестнуло, скользнуло по спине сперва в одну, потом в другую сторону. Он скосил глаза, сколько мог: золотые волосы обхватили его, опутали, обвились вокруг ног, спеленали, словно паутина муху, притиснули к ней вплотную, грудь к груди, лицо к лицу.

И они поднимались над землёю, уже высоко, выше берёз, в середине крутящегося ветра.

Он был как пьяный, понимал, что должен бояться – и не боялся. В голове и теле словно опустело и сделалось легко. Вершины берёз ушли вниз, болото казалось маленькой круглой плешинкой среди леса, яркий ниоткудашний свет бил в глаза, а наверху была только синева без единого облачка.

Теряя сознание, будто засыпая после тяжёлой работы, он с трудом вышевелил губами:

– Ведьма. Колдунья. Русалка. Куда ты меня...

И показалось, что это сказал кто-то другой.

Посреди ветра, среди света, в синий колодец – туда, где ничего нет.

На мелькнувшем «ничего нет» он уже и перестал понимать и различать «есть» и «нет».

В том не было надобности.

Анна Мазурова

ВИВАРИЙ
(Отрывок из романа «Транскрипт»)

Пока Муравлеев сидел на скамейке с больными, уткнувшись в какую-то книжицу, его поминутно отвлекали – то дергали за рукав и заглядывали в лицо, то ободряюще хлопали по колену, порываясь выяснить, кто он такой. Внутри тоже пахло, будто здесь готовили или стирали. Муравлеев на все реагировал спокойно, от расспросов тактично уклонялся и подчеркнуто погружался в книгу, дожидаясь своей очереди. Наконец, когда особо навязчивый идиот, забежав сперва справа, а затем и слева и низко наклонив лицо, стал допытываться о муравлеевской фамилии, Муравлеев с достоинством захлопнул книгу и встал.

– Вы переводчик! – вдруг догадался тот. – Зачем же вы здесь, с... пациентами? Пойдемте, я вас провожу!

Дорогой он, отводя деликатно глаза, спросил: «Вы, видимо, первый раз?», и Муравлеев немного обиделся (подумаешь тоже, бином Ньютона: шизофрения, психопатия, раздвоение личности, какие еще там могут быть слова?), хотя, в сущности, атмосфера психушки ему не была неприятна. Нельзя сказать, чтоб там было лучше, чем в суде, но, безусловно, демократичнее. Нигде в коридорах здоровый, сытый и образованный человек не издевался над уродом. Не то чтобы даже они отличались чем-то между собой – те же шишки на черепе, та же воющая речь и постоянно оказывающиеся не у дел конечности, хотя некоторые были в халатах. «Ну ничего, – утешил его провожатый, вводя в небольшую комнату и усаживая на уютное место в уголке. – Когда придет время, обращайте поменьше внимания, а там он, может, и вообще не спустится». После мягкого намека на свою некомпетентность Муравлеев решил не выяснять, что значит «не спустится».

Дверь открылась, и в комнату вошел совершенно нормальный человек. Врачи немедленно подтвердили наблюдения Муравлеева:

– Ай, какой молодец! – сказал один, пролистывая бумаги. – Да вы садитесь, садитесь! Золотце, а не больной!

Муравлееву стало приятно за успехи современной медицины.

– Сам душ принимает, – с удовольствием рассказывал врач. – Сам ест. В сортир не спускает лекарств. Если так дальше пойдет...

Опустив глаза, Муравлеев увидел, что одна нога обсуждаемого стоит на месте, а другая непрерывно топчется, будто пытается раздавить окурок или вытереть пятнышко на полу. Естественно, нервничает человек, успокоил себя Муравлеев и по-местному, деликатно отвел глаза.

– Жаль только, по-прежнему наблюдается активное участие в мультипликационных фильмах, – вдруг мягко добавил врач.

Больной дернулся, и голова осталась приклеенной к плечу. Теперь он топтался ожесточеннее, чем раньше, сотрясаясь всей той половиной тела, где приклеилась голова. «Ну не надо, не надо, – подумал Муравлеев. – Они добрые, я уже чувствую, что отпустят, а мультики... взять хоть Рому, и тоже Ире не очень нравилось, когда ползают по полу с автоматом, но что поделаешь? Массовая культура», а педсовет крепчал:

– Считает, что он – герой мультфильма. Что все вокруг – мультфильм, – мрачнея, перечислял врач. – Поет, скачет, кричит на разные голоса, гоняется за санитарами, публично мочится в коридоре, ломает кровати и бегает нагишом.

– Вы не мультфильм, голубчик, – вмешался другой. – Мы вас подлечим.

– Переосвидетельствование через шесть месяцев, – холодно, жестко сказал первый, окончательно бросив ломать комедию.

– Но я не мультфильм! – вскричал несчастный и вскочил на ноги. Муравлеев увидел, что приговор раздавил его так, что от былой нормальности не осталось и следа. Выглядел он теперь как птенец, плохо вылупившийся из яйца – головка набок, ножку приволакивает, и в редких седых волосенках остатки скорлупы. – Но я не мультфильм! Со мной нельзя так!

Старый знакомый Муравлеева ласково обнял больного за плечи и стал выводить.

Следующей прорабатывали женщину. Она тоже вошла нормальная – рыхлая, бледная, но нормальная, хотя после первого же обвинения в *полидипсии* (Муравлеев начал держать ухо востро) принялась раскачиваться и шептать.

– Это неправда! Я пью нормально! – шептала она все быстрей и быстрей. – И *он* больше не мой врач!

– Как же неправда, когда пьете?

– Вы мне больше не врач!

– Результаты анализа натрия, – откашлялся тот.

– Я не пью, только душ принимаю! – с отчаянием крикнула она.

– Выписка представляется преждевременной, без контроля больная немедленно доведет себя до тяжелого состояния чрезмерным потреблением жидкости.

Женщина горестно раскачивалась и шептала, ее выводили, а Муравлеев сидел и думал, как это – пить и не мочь никогда напиться, как это – жаждать и знать, что за каждым глотком следят, и, наконец, встать в душ, под струю, открыть рот... Натрий какой-то придумали.

Люди как люди, дряблые, детренированные, они разваливались в хлам, как только на них возводили симптомы, синдромы, диагнозы и решения медкомиссии. Одни с головой уходили в себя, другой, прирожденный правозащитник, холодно бросил: «Двенадцатая поправка к конституции. О врачах-подлецах, заведомо ставящих ложный диагноз». Неприязнь Муравлеева к консилиуму росла. Любой будет нормальным, когда ему ничто не угрожает. Я вон тоже, когда один, сама норма.. И не мог решить, от чего же ему так скверно. И тут в дверь, приоткрывшуюся, чтобы выпустить правозащитника, скользнула струя коридорного воздуха. Не готовкой, не стиркой, Муравлеев вдруг *прочитал* этот запах, как открытую книгу, и сразу же понял, на каком это языке: виварий!

Там Муравлеев сразу понравился, и тон был взят доверительный.

– Я скажу откровенно, у нас седьмой проект и седьмой переводчик, – рассказывал ответственный коллаборатор. – Не буду кривить душой, в массе своей вы прекрасные ребята, и большую берцовую с малой никто не спутает, но... малохольные все какие-то, – он искоса взглянул на Муравлеева. – Что ни баба, то в обморок падает, а как мужик – острит не по делу. Я вас прошу убедительно...

– Да мне как-то, – пожал плечами Муравлеев. – Я все-таки профессионал.

– Ну и молодцом! – похвалил коллаборатор. – Надо, знаете ли, сработаться: и вам хорошо, и нам.

Можно представить, какие пассажи позволяли себе до него молодцы из ларца, и какие душистые слезы лила здесь Карина (одно дело охота на хитрую, наглую Львицу, другое – мучить маленьких беззащитных существ). Но спустя небольшое время он больше о них не думал, он ходил в защитном скафандре – халат, бахилы, душевой колпак на голову, очки, прилегающие к вискам наподобие водолазной маски, а в придачу к маске хотелось получить трубку, чтоб вставить загубник в рот и дышать, но трубки к костюму не полагалось, и Муравлеев задыхался, иногда снимая очки, чтобы вылить из них небольшую лужицу пота. Ближайший очаг курения

располагался на расстоянии четырех миль, но даже если б Муравлеев туда дошел, его б ни за что не впустили обратно на КПП, и он постепенно привык к пустоте в месте солнечного сплетения, к невесомости и скафандру, к смотровым окошкам в дверях, подающихся только если навалиться всем телом, а уж захлопывающимся и вообще будто отсюда уже не выйти. К тому, что голос, машинально продолжающий переводить, оседает в колпаке и в очках, и к местным жителям с характерными этническими чертами – узкое лицо, втянутые щеки, безвольный подбородок, подслеповатые глаза темно-розового венецианского стекла, желтеющий с возрастом мех, голый хвост и голые лапы на решетке пола.

– А почему те лежат носом в угол, а эти бегают?

– Это самки, – охотно объяснил коллаборатор. – Они активней. Хотя если кто и укусит, то точно самец.

«Верно!» – подумал Муравлеев.

В руках лаборантки раздался короткий возглас.

– Они не немые! – сказал восхищенный Муравлеев.

– Нет, но звуками между собой не общаются. Только от дискомфорта. Наверное, ему неудачно ввели зонд. Друг с другом они молчат – может, общаются запахами или ультразвуком. Они плохо видят, зато отлично ориентируются на запах. Реагируют даже на инсулин, если неопытный лаборант боится. Тогда и они начинают нервничать.

Большинство охотно взвешивалось, разевало рот навстречу зонду, позволяло осматривать уши, хвосты и пальцы, за время исследования они становились ручными. Лаборантка в фиолетовых резиновых перчатках поглаживала животик, проводила пальцем по спинке, машинально, как теребят кусочек меха, и они к ней тянулись, как дети из Дома малютки, изголодавшиеся не просто по человеческому прикосновению, а вообще по любой сенсорике. Они, вероятно, ждали этой минуты весь день, как человек ждет редких случаев вмешательства в свою жизнь провидения – достали из клетки, с решетчатого пола, кладут на ладонь, рассматривают, как ты, что ты (выделения из носа, рваные уши, облысение, дрожание, отеки, пилоэрекция – Муравлеев в восторге запоминал, это когда волосы стоят дыбом – или, вот еще, с т е р е о т и п и и, не путать со стереотипами, навязчивые действия вроде взад-вперед ходит по клетке, бегает кругами, переминается с ноги на ногу, подпрыгивает на месте, бьется головой об стенку, зевает или склонен к самонанесению травм) – и так приятно, так ободряет это внимание, что просто не хочется думать, что единственным мотивом провидения служит введение новой дозы того, с чем ведется эксперимент.

На другой день, на третий, на пятый Муравлеев совсем оправился, по-свойски заглядывал в клетки, прикидывая относительно собственных размеров тела – в длину в полтора раза больше, чем лечь, в ширину много места тратится на кормушку, в высоту нормально, но лучше не прыгать... Лично я предпочел бы лежать в опилках, – поворачиваясь, сообщил он своему верному Вергилию, и тот, оправдываясь, принялся рассказывать, что для чистоты эксперимента лучше б им не есть своих фекалий, потребляя двойную дозу, а пусть проваливаются через решетку. После этого эпизода Вергилий несколько похолодел – не зная, что наступает на больную мозоль (лежать на решетке уже объявлено негуманным в ряде стран, да и Муравлеев, при всей неподготовленности, усомнился, в двойной ли дозе все дело – уж конечно вынимать и выкидывать одноразовые поддоны из-под решетчатого пола было проще, чем чистить клетку), Муравлеев продолжал обсуждать жилищные условия. «В каждой стране устанавливаются национальные нормы, – стараясь не раздражаться, а использовать этот случай для работы с враждебной науке общественностью, сказал коллаборатор, – и у нас здесь, конечно, не Швейцария. Там в полтора раза больше».

Так, голым хвостом, мелькнул на секунду возможный ответ на частенько предъявляемый Муравлееву комплекс вопросов, где лучше, там или здесь. Везде, мог отныне бы отвечать Муравлеев, свои национальные нормы – здесь, например, в полтора раза больше, хотя тоже не так, как в Швейцарии. Однако Муравлеев в тот день был рассеян, плохо запоминал, и какое-то недоброе предчувствие гоняло его от клетки к клетке. С того раза, как он услыхал тот вопль, Муравлеев прислушивался и принюхивался – а вдруг что-нибудь пойму? Можно было бы стать ценнейшим специалистом. Наверняка эти запахи можно как-то выучить. И тогда... Что там стереотипии! Может, им просто скучно? Тут любой, в этой клетке, заходит кругами, займется хвостом, а то вообще ляжет да и подохнет. Интересно их мнение! И вот если бы все это с запахов перевести... Вот что должно представлять подлинный научный интерес. Но оставил эту затею – наверное, очень сложно, тем более начинать в таком возрасте, это с детства стоило, как балет.

Сегодня коллаборатор был особенно склонен к демонстрации последних достижений гуманизма: то ли Муравлеев окончательно его разочаровал, то ли этого требовала внутренняя, пока непонятная Муравлееву, логика исследования... Коллаборатор много рассказывал о новой программе обогащения жизни лабораторных животных, что прямого отношения к Муравлеевскому исследова-

нию даже и не имело – исследование было таким коротким, что в нем особого обогащения не полагалось, раздадут иногда по кусочку марли из пачки, чтоб в клетке играть, и все. А вот в долгосрочных исследованиях... И коллаборатор сам зачем-то рассказал про кролика, в ходе обогащения удавившегося в цепи, на которой висела игрушка – сунул голову, бедняга, хорошо вовремя успели составить отклонение от протокола, а то, – и Муравлеев явственно ощутил, что все это рассказывается для передачи его невыловленным единомышленникам, – дня через два защитники прав животных пронюхали и готовы были уже раздуть целую историю! Норовя угодить, напоследок побаловать, по пути коллаборатор завел к обезьянам. В перерывах между получением дозы обезьяны ели попкорн и смотрели телевизор, на колесиках вкаченный к ним в палату. И этот случай обогащения, надеялся коллаборатор, тоже будет передан на волю. Наконец, пришли.

Перевозной стеллаж с клетками, деликатно отвернутый от столика лаборанта, здесь тоже все делалось быстро, гуманно и ловко – в контейнер с газом, потом на столик, щипал за лапку, чтобы проверить, заснула ли, брал кровь в две крошечные пробирки и тут же совал в другой контейнер, с газом уже окончательным, а через пару минут закреплял на доске булавками за четыре лапки, выбривал живот, чтоб шерстинки не попадали внутрь, доску же нес прозектору в соседнюю комнату с приоткрытой дверью. Муравлеев взглянул на клетки. Где самки и где самцы, теперь было не разобрать: все лежали, как белые камни, носом уткнувшись в угол. На досках знакомые лица, впалые щеки, темно-розовые глаза, женский безвольный подбородок, но теперь они лежали полностью распрямившись, с булавками в розовых пальцах, в знакомой и узнаваемой позе прямохождения в смерть. Первое, что делал прозектор, это чик, ножницами отрезал неуместный теперь хвост.

Муравлеев резко повернулся к коллаборатору.

– Зачем же вы их разворачиваете? Чтобы не видели?

– Все по инструкции, – подтвердил коллаборатор.

– Вы же сами сказали, они не зреньем, не звуком, а так, что нам с вами не видно, не слышно.

Коллаборатор недовольно смотрел на него и, казалось, не понимал. Муравлеев вспомнил, что перед ним не специалист, и попробовал объяснить:

– Сигналы, для вас лишенные всякого смысла или вообще не воспринимаемые вашим ухом...

– Извините, нам пора продолжить работу, – сухо сказал коллаборатор.

– Погодите! Ведь это важно. Они читают судьбу, как раскрытую книгу. Представьте, что здесь происходит, если все это, с запахов, перевести.

Коллаборатор, не слушая, отстранил Муравлеева, и принялся демонстрировать зарубежным ученым взвешивание органов, в уме уже составляя текст: отмечая высокие профессиональные качества, прошу больше не присылать курящих, т.к. беганье по лабораториям с выпученными глазами производит неприятное впечатление на сотрудников, сказывается на процессе и противоречит политике отдела кадров в отношении здорового образа жизни. Про высокие профессиональные качества, это будет справедливо, как он там говорил? Перевод с сигналов, невнятных уму, а то и не слышных уху? С этим, верно, все было в порядке.

Так случилось, что больше Муравлеев туда не попал и их языка не выучил. И вот нежданно-негаданно, посреди психиатрической лечебницы, с ним случилось чудо из тех, в которые он не верил. Он, конечно, читал, как в шоке, во сне, в гипнозе люди болтают на языках, о которых и не подозревали, но считал это все одним из беспочвенных светлых мечтаний человечества, как бы так, не уча падежей, устроить, вроде зуда своих клиентов *пообщаться с ними запросто*. Даже в те времена, когда на судьбоносный урок фонетики к нему валили толпы ночных цветочниц, времена, которые запомнились Муравлееву как эпоха сказочного богатства и беспорядочных половых связей, даже тогда Муравлеев говорил им всем: «Учите неправильные глаголы: никакое внушение, погружение и опрощение вам не помогут». А теперь вот случилось чудо. Без зубрежки, хлопот, словаря, без какой-либо подготовки он слушал запах, все в нем понимал и запахом мог ответить.

Он пришел в себя оттого, что его постучали по плечу. Над ним, с утроенной деликатностью, склонился старый знакомый. Со стыдом Муравлеев отметил, что сидит лицом в угол, а как и когда развернулся, не помнит. «Вы свободны, пришлите счет, – говорил знакомый. – Ваш больной отказался спуститься».

Муравлеев вышел из корпуса и двинулся по направлению к машине, думая о своем больном, с которым так и не познакомился, но уже заочно гордился: такого надо выписывать, вот один изо всех с головой на плечах (что там даже трудиться спускаться на первый этаж, когда ясно любому, что так, поболтают, унизят и оставят в больнице). Тех, кто ходит на эти консилиумы, на что-то такое надеясь, этих точно следует запирать. А его больного, порвавшего цепь не просто нелепых (опасных!) иллюзий, – такого могли бы и выпустить. Он втянул в ноздри запах хвои, он дышал полной

грудью, но странно, что-то здесь ни души, одни пустые машины, а он бы вывел их всех на прогулку. Вот терапия! В аллеях, парами, врач-больной, а завтра наоборот, чтоб никому не обидно. Досада берет, такой парк, и запах вивария почти не слышен: только небо, земля и старая хвоя. Не пускают их, что ли? Или они не умеют выйти? Ведь голова – не клетка.

Счет он, конечно, пришлет, но что-то во всем этом явно не так. И вдруг понял, чего ему так одиноко: он привык по судам, что после решения за ним должны гнаться, умоляя составить прошение, объяснить, что же все-таки произошло, или немедленно позвонить по телефону, где знают, чья кошка собаку съела. Здесь же никто не гнался. Ни один политзаключенный с открытым письмом, ни один экстрасенс с романом-предупреждением, а между тем должна же здесь быть своя интеллигенция, палата, как принято выражаться, номер шесть (Муравлеев так выучен был, что в любом муравейнике, где солдаты, рабочие, фараон, должна быть интеллигенция). Как каждый раз, застав чужую профессию в халате, он убедился, что быть сумасшедшим нестрашно, небольно и неинтересно. Быть сумасшедшим, в первую очередь, скучно – каждый день, шаг за шагом, перебирая руками по одной и той же цепи рассуждений, упираться в единственный вывод, который – никуда не выводит, а просто кончается цепь.

Так, никем не преследуемый, он дошел до машины, завелся и съехал с хвои. Просыпаться утром и знать, что сейчас все будет по-старому. Депозиция, Павлик, транскрипт, поясница и шея по Рихтеру в десять баллов – а надо как-нибудь по-другому, перевернуть блокнот вверх ногами, писать справа налево и левой рукой, по диагонали, в зеркальном своем отражении, или выучиться стенографировать, чтоб триста раз, когда переводишь, не делать одни и те же пометки, или... да выучился он давно уже стенографировать! Вот это все может записать одним крючком. ...Или хотя бы давайте сменим цитатник. Что в истории слышно? Кто может – грабит, кто не может – крадет. Проблемы? Две. Дороги и дураки. Демократия? Есть плохая форма государственного устройства, только лучшей пока никто не придумал – бросать курить совсем не сложно, я сам это делал множество раз. Ну, выучили эти десять, давайте еще теперь какие-нибудь десять выучим. Следующие. И так, постепенно... Мы же все будем знать. Кто что сказал. Давайте сделаем ремонт – переклеим, перекрасим, самим же будет просторней, чище, светлей, мы тут все засалили, засрали, затерли... Впрочем, не ходи все живое предсказуемыми путями, как бы мы переводили? Как сбывали бы с рук этот фокус – не секунд-

ное отставание, как кажется со стороны, а надежное опережение чужой мысли и речи? Давайте сменим цитаты – и что? И я пойду по миру с рукой? Здесь у меня уж хозяйство налажено, заточен Киплинг на «восток дело тонкое», и вообще... С ходу-то и не сообразишь. А сколько других, видимо, есть профессий, столь же зависимых от повторяемости, как моя – и что, всем на свалку? Нет, не будет ремонта, в этой вонючей, пролежанной дыре нам всем придется помирать...

Фима резко вскочил, налил коньяку в два бокала и, прижав их фигушками к груди, как когда-то обозначал определенный тип девушек, пошел проталкиваться к дивану, туда же проталкивая Муравлеева. Он пронес бокалы нерасплесканными, но, сев на диван, забыл и о них, и о Муравлееве. Теперь он держал их в вытянутых руках, опустив на журнальный столик, и машинально поглаживал пальцем стекло. Склонив голову, он со странным оскалом рассматривал толпу беснующихся гостей. Были все те же: Фимина теща и Ебаный-В-Рот (далее «ЁВР»), где-нибудь в ванной, подкрашивая съеденные поцелуями губы, до поры до времени притаилась ДБС, а судя по двум противням куриных ног, в гости ждали и Л: ее не прокормишь, такая... бой-баба. (Муравлеев всегда удивлялся, как слово бой-баба лишено голливудских и педофилических коннотаций, а Л, обглодав, всегда возмущалась, что косточка – черная: «Вспомните, какая у нас была косточка! Белая-белая!») Фима быстро очнулся и подал Муравлееву кровавый янтарь, успокоившийся в бокале, потеплевший от Фиминых пальцев.

– На! – сказал он ворчливо. – Давай выпьем за нашу дружбу.

Они отпили по глотку.

– Поразительно, – с неприязнью сказал Фима. – В старении самое отвратительное – это чувствовать себя дураком. Ведь вот каждый из них знает про тебя нечто, чего ты сам о себе не знаешь.

Фима почти откровенно ткнул пальцем в очень молодого человека, пораженного той болезненной хилостью, когда лицо из последних сил на весу держит нос. Это был чей-то сын или внук, но никак не клон. Похож? Конечно, похож, и тысячу раз видан, но – методом минимальных, микроскопических, пар – не тот. Во-первых, намного моложе...

– Смотришь на себя в зеркало и думаешь: ничуточки не изменился. А между тем каждый из них – каждый! – *видит*. По-моему, чудовищно.

Тихий ангел пролетел. Тихий демон, скопленье теней, русалок, голосами серебряными, как колокольчик, пересмеивающихся по ветвям, комната вдруг наполнилась ими, Муравлеев услышал

всплеск волос в отдаленном углу, у себя за спиной, под носом, они постоянно меняли место и тихо смеялись. Это напоминало игру в жмурки, то и дело русалки подставлялись под руки, но, хватая, гости зачерпывали воздух. Муравлеев видел, как неумолимо сближаются двое, и, зависнув над их головами, тут же являлась русалка. Чтобы схватить, достаточно протянуть руку, кончик ее хвоста щекотал ноздри, в предчувствии удачной охоты те двое, сходясь, улыбались, неловко краснея от счастья, но при первой же фразе: «Ну ты как вообще, чего?» русалка с тихим серебряным смехом, похожим на плач, снималась и отлетала. Мужественно стиснув зубы, они продирались сквозь дебри недавнего гриппа, плечом к плечу сквозь студеную скуку, и ни один не смел сказать: я говорил с тобой по ночам и там, во сне, ты отвечал другое.

Это тело моего друга, с которым я больше никогда не поговорю. Я сижу за блинами и оливье, опасаясь, как всегда в таких случаях, смотреть на ветчину, и отдаю последнюю дань, включая и то, что заваливается за подкладку, и готов отдавать еще лет двадцать-тридцать (дай нам всем Бог здоровья!) и лично возить в орду. Лить здесь слезы мне не по чину – за столом и мать, и жена, и любовница, держащиеся молодцом, потому голосить об утрате мне, человеку, лишь однажды видевшему юбиляра… собственно говоря, живым, было бы дерзко и непочтительно к чужому горю.

Они пили, кричали тосты, и теперь серебряный смех был почти и не слышен, заморили уже червячка, затравили тихого ангела, общались вовсю – бодрствующие рожи, смеющиеся рты, сознательные позы, разинутые глаза…

Но от одного слова «горе»… нет, не так по углам звенели русалки, вздымался сквозняк, поднимались торчком усики под носом самых красивых женщин, не так они пели, а по-другому – настолько, что Муравлеев секунду был сытым, счастливым и пьяным. Упоенным. Ведь все-таки было! Пусть лишь несколько раз, это все же не секс, который можно наладить два раза в неделю. Это редкое, уникальное явление природы, как какое-нибудь затмение, совпаденье сияний и дисков, астрономическое чудо – будь счастлив тому, что удачно родился. Есть музыка, о которой никогда не узнаешь ни названия, ни композитора. Пальмы, цветущие раз в семьдесят лет. Крепость, куда по несчастному совпадению попал во время отлива и не нашел ничего особенного. Книги, прочитать которые все равно что выучить новый язык, продираясь слово за словом, осваивая фрикативные и взрывные, и вот, когда этот язык ты почти уже выучил, можешь общаться, приблизительно понимаешь, книга тут же кончается, и говорить на этом с трудом освоен-

ном языке уже не с кем. И дело не в том, что все они умерли (они не все давно умерли), но если встретиться с ними не в книжке, обнаруживаешь, что сами они этим языком не владеют, несвободно, и первые же удивятся, если ты вдруг залопочешь на том, фрикативном... И потому счастье хоть раз совпасть – это чудо. Поговорить на одном языке без несносного переводчика, без Муравлеева, пропускающего целые периоды оттого, что в уме умножал беседу на почасовую ставку, – это чудо, золотая удача, след которой, золотая пыльца, золотая печать, навсегда остается на лбу постороннего человека, которого с тех пор зовешь другом и с которым никогда больше не поговоришь.

И Муравлеев, растрогавшись, разыскал в этом зверинце Фиму, крепко чокнулся с ним и выпил, а Фима, кометой давно пронесшийся вдаль, посмотрел на него удивленно и покачал головой.

Сквозь толпу к Муравлееву продрался ЁВР.

– Ты все еще переводишь, – спросил он, прожевывая маковый рулет, – бабушек через дорогу? Слушай, давай организуем гастроли!

Муравлеев покраснел от удовольствия.

– На паях, – продолжал ЁВР. – Честное слово. Шоу-иллюзион.

– И что я должен делать? – с интересом спросил Муравлеев, воображая нечто из Вольфа Мессинга. (А ЁВР что? Музыкальная пауза? Будет ходить по канату с шестом?)

– Для начала – перевести сценарий, – снисходительно пояснил ЁВР, убеждаясь, что Муравлеев ни аза не смыслит в организации гастролей. – А потом надо будет куда-нибудь его пристроить. У тебя есть знакомые в шоу-бизнесе?

Тут Муравлеев слегка запнулся (представитель в Чечне по правам человека – это шоу-бизнес?), но было уже поздно.

– Жаль, – безжалостно резюмировал ЁВР. – А что ж Фима говорил... Ну да ладно, можно и с улицы. Настолько хорошее шоу, что можно и с улицы. Честное слово. Так вот, потом, значит, сделаешь синопсис, потому что у них не хватает терпенья читать. Знаешь, сконцентрированно все лучшее – но это, я думаю, ты умеешь. А дальше – звонить, рассылать...

– Я не умею звонить-рассылать, – сказал Муравлеев, мгновенно нащупав знакомое чувство, что вот на глазах рассыпается еще один шоу-иллюзион. И все почему? По тем же причинам, по которым большинство переводчиков отказывается выучить программу SDXL – им и демо-версии шлют, и саму программу предлагают со скидкой, и знакомые обещают показать, а воз по-прежнему находится в той точке, где переводчика с мару-мару найти гораздо про-

ще, чем переводчика, способного работать в SDXL. Неманевренный, консервативный народ, в упор не желающий видеть, что достаточно минимального усовершенствования в механизме – дружелюбной улыбки, лишнего неперехода через дорогу, лоб в лоб столкнувшись с кем-нибудь из влиятельных знакомых, или просто пыль протереть с монитора – и ржавая консервная ЭВМ, изготовленная в прошлом веке – да что там! в прошлом тысячелетии! – вполне сойдет за новехонький жизнеспособный лэптоп. Ему стало грустно, но вместе с тем и спокойнее – будто из блеска и грохота прибыльного иллюзиона снова попал в безмолвную мышеловку Матильдиных апартаментов, где, хоть и давит на шею, никто не заставит ходить по канату с шестом.

– А я тебе помогу! Единственно, я без языка, – бойко соврал ЁВР, именно им снимая маковое зернышко с зуба. – Но с цифрами я тебе помогу. Смету расходов я дам, а что касается моих комиссионных, то их я могу назвать тебе прямо сейчас: я хочу получить с этого дела двести тысяч плюс пять процентов от каждого сбора. Ведь пять процентов – это по-божески? Честное слово!

Муравлеев не мог не отметить, что у ЁВРа появилась новая присказка и, хотя знал ЁВРа давно (Руслан, телефон с «Аидой», шведское гражданство), вдруг усомнился, что это тот же.

– Оборудование я перевезу сам, – распоряжался ЕВР. – У меня есть контакты. Но будет проблема с напряжением.

– Будет, – согласился Муравлеев.

– Надо двести двадцать вольт. И это тоже ты должен решить. Плюс шестьдесят герц.

Муравлеев расстроился, что это он тоже должен решить – но ничего, как-нибудь решу: пересчитаю со справочными таблицами. Хотя в футах было бы проще. И тут же спохватился:

– Оборудование можно достать где-нибудь здесь. Чего там: кабина, комплект наушников...

– Этого точно я не знаю, – сказал ЕВР. – Лучше пусть пляшут со своим. Держи!

И он тут же вручил Муравлееву два десятка страниц, прошитых скрепкой, нимало не сомневаясь, что Муравлеев тут же начнет их читать.

– Это золотая мина.

«При плохой игре», – подумал Муравлеев.

Выручила его Фимина теща.

– Здравствуй, Женечка, – сказала она, неприязненно косясь на ЁВРа. – Я, наконец-то, нашла, чем тебе заниматься!

ЁВР обиженно отошел.

– Помнишь, тогда говорили – роман? Не роман, а что-нибудь интересное людям, что-нибудь действительно полезное... Фима, подай мою сумку!

И теща, порывшись в трех сумочках и поочередно извлекши из них запасной памперс, собачий поводок и плоскую жестянку от леденцов, служащую портсигаром, нашла, наконец, свою и выудила из нее много читанную и Муравлееву смутно знакомую книжку.

– Вот! – с торжеством сказала ФТ. – Вот если бы это перевести! Я специально, зная, что ты здесь будешь...

– Мне кажется, я уже это один раз переводил, – неуверенно проговорил Муравлеев, чувствуя, как от одного взгляда на обложку в комнате распространяется аммиачный запах.

– Исключено! – отрезала теща. – Тогда бы уже была революция в медицине. Если ты мне не веришь, спроси у доктора Львив. Знаешь, как она загорелась! Сама хотела перевести, но – ты знаешь.

– Знаю, – сказал Муравлеев. – Доктор Львив под судом.

– Под судом? – удивилась теща. – Ты, наверное, путаешь. Я другое хотела сказать: у нее две клиники, ей не до книжки. А вот ты бы как раз, на досуге...

Муравлеев с секунду поколебался, не сделать ли доброе дело. Предложить через тещу Львице слегка отредактировать текст. Можно же попросить Карину? Неудобно все ж на процессе, когда в транскрипте будут всякие эканья, беканья, незаконченные предложения, просто некрасиво выраженная мысль, да еще прокурор-мерзавец станет на каждом шагу уловлять: «Как вы "этого не говорили"? Страница восемь, строка двадцать третья...»

– Я понимаю, что это немалый труд, но он окупится с лихвой. Конечно, ты можешь найти себе спонсора, – брезгливо подобрала губы теща, – но, боюсь, что спонсор, как только увидит, в чем дело, сразу скажет....

Тут теща перешла на разные голоса.

– За перевод я вам заплачу сколько скажете, – вкрадчивым голосом ненавистного спонсора.

– Еще бы! – цинично, зло.

– Но вот после этого вы отказываетесь ото всех прав, – снова паскудным, любезным писком.

– И купоны стричь мы, так сказать, будем сами! – с ужасным нажимом в каждом слоге.

– Конечно, ты можешь поступить, как хочешь, – сказала теща нормальным голосом, обрывая инсценировку. – Я не запрещаю. Вот тебе книжка, я специально ее принесла. Если решишь искать спонсора, воля твоя. Но я бы рискнула. Что тебе? Перевести один

раз, а дальше – проценты с продаж, с переизданий, ты вообще, считай, застолбил эту область – может, тебя, как специалиста, начнут вызывать в разные санатории, клиники... Переводить. ...Но раз ты сомневаешься, – вспыхнув сквозь пудру, вдруг заявила теща. – Я сама готова тебе оплатить! Потому что, в отличие от тебя, я в этой книге не сомневаюсь!

С содроганьем Муравлеев заметил, что на глазах у тещи заблистали упрямые слезы, а руки поехали рыться в сумочке, хорошо еще за платком, а то чуть не за оперным, в бисере, кошелечком (причем из недр сумочки вырвалась новая волна аммиачного запаха). Его выручил ИВИВ, как всегда чуть не падающий от смущения. Он передал какой-то конверт «от общих знакомых». Теща, обиженная, отошла.

ИВИВ мялся, но тоже, видно, считал, что Муравлеев, не отлагая, должен открыть конверт и, возможно, тут же черкнуть ответ. С этой сумкой своей на ремне он даже похож был на почтальона. Непревзойденные мастера социальных отношений, оба молчали в голос. Муравлеев сам был на грани предложить какую-нибудь petit jeu. В этой маленькой корзинке и наряды и ботинки, черный с белым не берите, да и нет не говорите, вы поедете на бал? И тут заметил, что предлагать поздно. Бал и так был в разгаре. Раскрасневшись от танцев, вина, духоты и тайных желаний, вальсировали нарядные пары, умело огибая мебель, таких мудаков, как Муравлеев с ИВИВом, и все встречающиеся на пути острые углы. Заприметив даму свою, без собачки, в руках ЕВРа, Муравлеев вспыхнул. Тысячей острых стрел ревность и боль пронзили сердце. Ему даже казалось, она сама жалобно смотрит из рук ЁВРа, словно просит Муравлеева: «отбей! спаси!», но от одного воспоминания, сколько там правил, подкашивались ноги. Черный с белым? Да вы смеетесь! Не черный с белым, вообще ничего нельзя брать в руки, вам скажет любой адвокат!.. И сколько другого еще надо помнить! Середину алфавита, чтоб чувствовать грань между «да» и «нет», три креста, где по протоколу для очистки совести следует узнать, продолжается ли эксперимент... А сколько не помнить! – ужасное то, что увидел о них, о себе по судам, по психушкам, по тюрьмам, по овальным залам, виварiям, под крахмальной скатертью конференций, в домах престарелых, в крестовых походах, – он же все же не дипломат, как не смутиться, не отвести глаза, как сделать вид, что ничего этого не видел?

Впрочем, у страха глаза велики, общенье с людьми – как то преступление: чем чудовищнее, тем ты сам все это придумал. С другого конца комнаты жалобно смотрела на него ДБС, но он мог толь-

ко ответить ей взглядом: «Я трус. В темноте шарахаюсь тени лифтера. Получаю багаж чужими руками, стоя всегда только там, где лучшие чемоданы уже разобрали. Но не мотаться же нам по мотелям. Мой удел – узнавать тебя в лицах и жестах посторонних людей. Ведь я никогда не вернусь». И подумал, что вот она смотрит, а перед глазами, по его волосам, рукавам, пляшет желтое это пятно, то, что он о себе никогда не узнает (только ль старение, Фима!), вот стоит перед ним ИВИВ – и видит, а он никогда не увидит... Бррр! Познаваться в социальных отношениях было больно и неприятно. Однажды он читал, зачем Робинзон Крузо завел себе обезьяну. Весь рассказ состоял строчек из двадцати, но Муравлеев прилежно читал его до конца рабочего дня. «Робинзон Крузо, – писалось в рассказе, – завел себе обезьяну для того, чтобы иметь перед глазами карикатуру на самого себя. Когда обезьяна кисло почесывала себе животик, с угрюмой гримасой вперившись в небо, Робинзон Крузо стоял рядом и покатывался от смеха». Так вот для чего, догадался Муравлеев, завели всех нас, и вот для чего я завел себе «я», и задумался, безответственно так рассуждать или не безответственно: глядя со стороны, получалось, что он открещивается, дает карт-бланш, вместо того чтобы приструнить...

Ну да ладно. Вокруг все ревниво следили каждый за эволюциями собственной макаки на поводке – сейчас по горло залезет в варенье, завертся, или слишком уж скромненько держится, другие макаки затопчут, – краснели, бледнели, науськивали, тянули из кучи-малы за хвост... Однажды такая макака, по обыкновению всюду суя свой нос, заглянет в магический кристалл. Сколько будет потом усилий засадить ее за работу, сколько разочарований – ничего из увиденного не запишет, просто не знает таких слов, все в размер ее убогому умишку, взглянешь – тошнит, какое-то зеркало, портрет обезьяны. Разве так? Разве т а к там все было, в магическом-то кристалле?! А мы-то, помнится, думали, что к кристаллам подпускают только самых достойных, мы-то, скажу откровенно, и не сомневались, что если кому покажут кристалл, то дело в шляпе: значит, готов. Дудки! Писать-то все – обезьяне. Да еще особо нельзя наезжать, а не то вдруг заявит, я больше не буду, устала, чаю хочу, обогащаться, как те другие макаки – попкорн, телевизор... Что тогда? Встать перед ней на колени? Ну потерпи, ну хотя бы как можешь, гримасками слов... все, молчу, не мешаю.

По утрам Робинзон Крузо порол обезьяну.

И опять вспомнилось, шестнадцать умножить на два, тридцать два и еще по стольку, да если у каждого по макаке! – тесно мне, господа, здесь яблоку негде упасть, самый воздух слоится

сотнями лиц, в социальных отношениях все б хорошо, но душно... Из угла за ним следила не только Дама без собачки, но и еще одна пара глаз. Филькенштейн! Муравлеев бросился к нему, чтобы сказать, как он благодарен, он все тогда так и сделал – когда по телефону они обсуждали гражданственность. Без колебаний отрёкся от самого дорогого. Но Филькенштейн встретил его как-то холодно, будто не было между ними ни прогулок в заснеженном парке, ни длинных ночных разговоров, будто Муравлеев – посторонний ему человек, с назойливой периодичностью встречаемый на чужих днях рождения, или будто Муравлеев – чем-то его обидел... Ну что ж, так – так так.

Его выручил зять старика Хоттабыча (что-о-о-о? изумился Муравлеев, но Фима ему объяснил: в старом фильме, ты помнишь?.. он сам, к сожалению, умер..)

– Да вы не бойтесь, – усмехнулся ЗСХ. – Я сам обеспечу охрану. Естественно, будут мешать, но я ведь не отступлюсь. Не такой человек. Издать эту книгу на всех языках – мой гражданский долг.

Муравлеев помялся.

– Это будет бомба! – сказал ЗСХ, потирая руки.

«Золотая мина», – подумал Муравлеев. До него доносились обрывки чужих разговоров: «Такой был словарный запас! Толстого читал!» – «Ничего, если вдруг пригодится, тогда жизнь научит».

– Когда вашу жену заставят надеть паранджу, – декламировал ЗСХ, – когда вас заставят завести гарем!...

По надрыву его не понять: ламентирует? бредит? мечтает?.. Жизнь научит? Муравлеев не разделял этой счастливой уверенности. Ведь как поставлен учебный процесс? Ходят все на головах, а поднимешь голову – читают. Но если вглядеться, то учебник у каждого на всю жизнь заложен на одной странице. Разве кто-нибудь видел, чтоб жизнь кого-то куда-то – переводила? Учителям трудно, мы все это знаем, и зарплаты низкие, и чернила в чернильницах замерзают, – но не может же быть стопроцентного поголовья тупиц? Значит, не такой уж хороший учитель. Перехвалили. Вокруг сплошные прорывы, в педагогике, в методологии, надо же сочетать каналы восприятия, нельзя же простым механическим повторением! Чья бы корова, конечно, мычала: сколько муравлеевских учеников, разбросанных по свету, сейчас, как жуки по стеблю, выкарабкиваются по контексту! Взглянуть на того же ИВИ-Ва! Конечно бы он постеснялся в глаза обвинить жизнь в педагогической несостоятельности. Однако чутье подсказывало: в самом подходе учителя что-то не то, уже в равнодушном лице с выраженьем «вас много, а я одна». ...Впрочем, не надо впадать в пес-

симизм. Легко так огульно: «научить никого ничему не возможно» и все тут!... А можно иначе: скажем, жизнь неважный учитель, но где-то ведь есть и хорошие?..

– Из-за таких равнодушных, как вы, – уже полукричал ЗСХ. – К власти пришел...!

Из этой неприятной ситуации его выручил Фима.

– Я давно за тобой наблюдаю – ты зарываешься, брат. Я все понимаю, однако зачем ты обидел Елизавету Дмитриевну? Она тебе когда-нибудь хоть слово дурное сказала? Все «Женечка, Женечка»... Кстати, во всем этом может и быть зерно. Ты знаешь, как я к ней отношусь, но в смысле делового чутья...

Муравлеев машинально повел носом.

– Ну да Бог с ней, Петряку-то зачем отказал? С ума сошел связываться с таким человеком?

Фима постучал по собственной голове.

– Наживать такого врага! Ну, неохота тебе ввязываться, сказал бы: «Пришлите, я посмотрю, это очень интересно». А потом бы сказал: «Боюсь, не осилю, не хватит знания языка. Не хочу губить хорошую вещь». И все. Он бы понял. Ну ладно, поезд ушел...

Муравлеев обвел глазами комнату и увидел, что выручать его больше некому. Груздь на сборище не явился. (Злые языки успели нашептать Муравлееву, что Груздь лег в психбольницу, но Муравлеев, всегда неравнодушный к Груздю, не поверил ни на секунду, что тот симулянт – просто история с доктором Львив его подкосила. Как, в самом деле, не спятить от мысли, что за твое неношение ошейника человека посадят в тюрьму? Был бы ошейник и множество маленьких черненьких снимков, похожих на кадры из фильма «Орфей спускается в ад», не посадили бы, как не сажают сто тысяч других, с отменной, почти переводческой памятью. Ну никогда не собьются! Если их нанял истец, то покажут в суде, что подобное сплющиванье позвонков происходит от травм – а, точнее, конкретно от этой. А если их нанял ответчик – доложат присяжным, что если любого из них лет так в сорок раздеть и как следует щелкнуть, получится тот же Орфей. «Вы, конечно, не медики, но объясню на доступном примере: как "Дженерал Моторс" выискивает на помойках обломки своих творений, чтоб впредь не делать такими прочными части, пережившие мотор; вам все равно, а им экономия». Они никогда не собьются и прибудут в «Дженерал Моторс» с чистейшей совестью – все сносил, все позвонки, все зубы, был рентабелен, разве что портил воздух и жрал бензин, но кто из нас без греха.) Расходились последние гости, и ЕВР (вот лживая сволочь!) на прекрасном уличном сленге, разя сабвеем, помо-

ями и кокосовым маслом, прощался с Ромой, а Ира, бесстрашная птичка, грудью бросившись между ними, защищала птенца (кукушонка, должно быть, потому что ростом и весом птенец ровно вдвое превосходил мать):

– Прекрати! Он не говорит, но все понимает!

Он отвлекся лишь на минуту, но Фима окончательно разошелся:

– Ты всегда был мизантропом, но теперь ты стал еще и надменен и груб, а это уже похуже! – и Фима вдруг покрутил под носом Муравлеева пальцем. – Ты избаловался! «То я не буду переводить, это я не буду переводить!» – и палец, и аргументация по ролям, все манеры Фима вдруг перенял от тещи. – Ты что же, действительно вообразил, что можешь выбирать? Кто ты такой?! Я скажу тебе, кто ты такой! Ты тень чужих мечтаний о лучшем будущем! А ты вообразил, что можешь обойтись без оригинала! Черт знает что такое! Просто Андерсен какой-то!

Фима остановился, чтобы перевести дух, и как-то невольно обмяк, но продолжал ворчливо:

– Радуйся, что хоть что-то умеешь делать…Радоваться должен и благодарить. Ты на всех смотришь свысока, а эти люди срать бы с тобой не сели, если бы не язык… Подумаешь, цаца! Как тогда со столиком, – вдруг уточнил Фима.

– Фима, ты пьян, – просто сказала Ира, проводившая последних гостей.

– Радоваться и благодарить, – твердил Фима, икая и кланяясь и пятясь мелкими, то ли лакейскими, то ли конфуцианскими шажками. – Радоваться и благодарить!

И вдруг с грохотом упал на пол.

Одеваясь, Муравлеев смотрел на железную женщину с благоговейным ужасом – пусть опыт с Ромой не удался, все же нельзя не признать, что хотя бы частичная русификация семьи осуществилась успешно. Муравлеев впервые видел Фиму мертвецки пьяным.

Александр Яблонский

ИМПРОВИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРОГОГО КОНТРАПУНКТА И ПОСТЛЮДИЯ

Два отрывка из романа

. . . . . .

– Какое это имеет значение? Эрмитаж, Филармония! Много ты ходишь в Эрмитаж?

– В Филармонию – часто. А сам факт того, что в любое время ты можешь пойти в Эрмитаж или Русский...

– Перестань! Филармонии и там есть. И не хуже нашей.

– Не хуже, но не наша.

– Ты сама мне цитировала Мережковского: «Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли все мыслимые злодейства, а то, что они существа другого мира».

– Правильно! Так надо бороться с ними здесь, а не драпать. Делать ноги – подло. По отношению хотя бы к нашим друзьям.

– Танюша, родная, так наши друзья либо уже на полпути, либо сидят на чемоданах и при первой возможности...

– Не все!

– Не все, но многие. А те, кто остается, поверь, дозреют рано или поздно. Если не посадят или не разотрут в порошок, лишать профессии, личной жизни. Существа другого мира...

– А остальные, что, не люди?

– Люди, Тань, и в большинстве своем хорошие люди. Но им нравится жить так, как они живут. Они не просто привыкли, они не понимают и не хотят понимать, что это не жизнь. Ты послушай, что говорят о Сахарове порядочные люди, не партийные ублюдки?! Что ему, мол, ещё надо: академический паек, «кремлевка» – все почти бесплатно, личная машина ЗИС, квартира – хоромы, дача, три Звезды Героя, Сталинские премии – как кот в масле катается, а ещё рыпается. То, что человеку нужна не только колбаса и отдельная квартира, им не понять! Те, кто это понимал уже давно – с 17-го года сигают за кордон. И ты хочешь бороться? – С

кем?! С этими хорошими людьми, которым все нравится? Ты хочешь силком на аркане потащить их в мир разума и справедливости, в мир, где надо думать и работать? Ты хочешь превратить их из очень симпатичных баранов во львов? Это бараны ходят стадом туда, куда их погонят – радуются этому; львы – поодиночке и куда хотят. Гнать кого-то стадом к лучшей жизни – большевизм чистой воды, только с другим знаком. Все эти хорошие люди порвут того, кто попытается шелохнуть устоявшийся миропорядок, венцом которого являются шесть соток в Синявино. Ты помнишь, что говорили в 72-м во время процесса Буковского? – Говорили не темные замордованные бытом люди, а наши коллеги, интеллигенты, слушающие «голоса», питающиеся «Хроникой текущих событий» – помнишь?!

– Помню. Но Юрий Орлов открыл на днях Хельсинскую группу.

– Это личность удивительная, мужественная и благородная. И физик выдающийся. Но, поверь, долго на свободе он не погуляет. Не только Хельсинскую группу не простят, но Международную амнистию, и письмо в защиту от клеветы Буковского. Главное – не простят независимости мышления и свободы поведения. Это для чекистской своры есть не просто преступление. Это – нарушение сакральных запретов, это – скверна, подлежащая немедленному уничтожению. Звания, научный авторитет, международное признание не помогут. Растопчут. Да, он в отличие от нас, умрет, дай Бог ему долгих лет, с чистой совестью: он сделал все, что мог. Но ничего и его подвиг, и подвиг десятков других не изменит.

– Этого не может быть! Не мо-жет! Это мертворожденная систем, и она обречена.

– Обречена. Хотя... Армянское радио спрашивают: «Доживем ли мы до коммунизма? – Мы не доживем, но детей жалко!» Когда-нибудь рухнет, но придет нечто другое и, возможно, более страшное. Попомнишь мои слова: не пройдет и двадцати лет, как этого Бровермана будут вспоминать с ностальгической тоской: мол, мудак был Леонид Ильич, конечно, но не кровожадный, не ворюга и колбаса была за 2.20. Бровастый даже не этот петрозаводский стихоплет, до смерти напуганный в 56-м. А за Андропом стоят другие – молодые, тупые, стихи не пишущие и не читающие. Лучше не будет по определению. Какие-то просветы возможно, но в целом...Будет хуже.

– Но, Миша, есть же какие-то закономерности развития. Бывают отклонения, есть провалы, как в Германии 30-х годов. У нас это продолжается дольше. Но закончится, рухнет. Всё же должно

быть общее поступательное движение, подчиненное вселенскому разуму. Не может жить огромная часть человечества – и далеко не худшая, по принципу сменяемости катастроф и деградаций?

Миша долго молчал.

– Тань... Может... Русский народ обычно не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией...

– Но там нет Перельмана.

– Да, там Натана Ефимовича нет. Но, Танюша то, что он тебя прослушал, ещё не значит, что он возьмет в свой класс. Всё это важно, но, пойми, второстепенно.

– Но там, прости меня, одни евреи. Чужой язык, все чужое. Миша, ты сам оговорил, что в большом количестве...

– А вот это другой вопрос. Я тебе говорю про вызов из Израиля, а не про конечный пункт. Хотя не путай израильтян и Фиму из Вторсырья. Правильно говорят, что в любой нации есть свои евреи. Я – полукровка и, конечно, человек русской культуры. Однако считал бы за честь быть вместе с этими людьми, выбравшими свободу и умеющими ее защищать от многомиллионной сволочи. Хотя и там есть свои Фимы из Вторсырья.

– Я боюсь. Миша, я боюсь. Ты хоть врач, хирург – золотые руки. Я же кто? – конь в пальто! Среднее музыкальное образование. А там – и в Штатах, и в Израиле мировых звезд – пруд пруди.

– Во-первых, тебе будет легче. Ты не звезда, прости, но учить музыке детей сможешь. Наша школа – одна из самых котируемых в мире. Врачу же ох как трудно придется подтвердить свою квалификацию, причем на языке. Но мы прорвемся. Похлебаем говна, но прорвемся. Я же люблю тебя. Это второе и главное!

– И я тебя.

– Не волнуйся. Обдумаем не спеша. Как говорит Елена Георгиевна, коммунизм – это Советская власть плюс эмиграция всей страны. И ещё: умные люди, а евреи, как правило, люди умные, подразделяются на тех, кто уезжают, и на тех, кто думает, что не уедет.

– И на тех, у кого есть мужество остаться и жить так, как будто ИХ нет, или так, чтобы ИХ не было.

– Ты права, как всегда, Танюша. Но... разве не заманчиво начать новую жизнь... Ещё одну...

Таня обожала Ленинград. Таня любила Мишу. Таня было счастлива с Мишей в Ленинграде. Она была бы счастлива с Мишей в любой другой точке земного шара. Но не так, как в Ленинграде. В этом городе все родное. Филармония, где она была завсегдатаем и завела подружку из капельдинеров – бывшую певицу «Ленконцерта» на пенсии, и Елисеевский, который она посещала после

стипендии или халтуры, чтобы побаловать себя копченой колбаской («200 грамм, мелко-мелко»), а после встречи с Мишей и отовариться по-крупному: «полкило красной икры, пожалуйста, пеленгвица, грамм 600, осетрина, если свежая, 500 грамм; и хватит на сегодня». Толкучка у Львиного мостика, где в водовороте других людей – молодых и старых, приезжих и ленинградцев, грустных и беззаботных, трезвых и протрезвевших, беременных женщин без мужей и младших офицеров Советской Армии с женами и чемоданчиками в руках – всех тех, кто пытался снять или обменять комнату или угол, – в этой толпе она довольно долго промаялась в поисках жилья, пока тетка Фелиция не сжалилась... И «Сайгон»... О, «Сайгон», сказал бы поэт... Там – на углу Невского и Владимирского, в кафе рядом с рестораном «Москва», – был рай. В «Москве» степенно ужинали командированные со случайными спутницами, гуляли удачливые цеховики и завмаги средней руки, доценты технических вузов поднимали фужеры с водкой за новоиспеченных кандидатов наук, обманутый муж сидел в углу и хлебал свои сто пятьдесят с капустным салатом. В трех метрах от «Москвы» наблюдался Запад. В «Москве»: «две пол-литра, язычок с хреном две порции, семги три порции на четверых, огурцов соленых и котлетки по-киевски». В «Сайгоне»: «маленький двойной». Изредка – пятьдесят грамм армянского. И все. На весь вечер. Почему «Сайгон»? – Говорили, что какой-то мент сделал замечание закурившей девушке (периодически в кафе запрещали курить): «Что вы тут делаете? Сайгон какой-то устроили!». Так и повелось. Спасибо безымянному менту. Часто бывать там Таня не могла, времени не было, но когда вырывалась, казалось, что она в другом мире, в другом измерении. Быстро миновав небольшой бар у входа, где давали коньяк, она устремлялась к Стелле, к которой постоянно была очередь: Стелла лучше всех заваривала кофе. Получив заветное: «маленький двойной», – она пристраивалась в уголке и наблюдала. Часто приходил Довлатов, он был в моде. Таня его рассказов не читала, но в «Сайгоне» говорили что его «Компромисс» – почище Хемингуэя. Как-то давно, незадолго до высылки бывал Бродский. Один или со своими друзьями – «ахматовскими сиротками», Рейном, Уфляндом. Таня их стихи не знала, но уверяли, что Бродский – гений, травимый гебней. Поэтому он стал Тане симпатичен. Два раза она встречала в «Сайгоне» живого Смоктуновского. Это было незабываемо. «Идиота» в БДТ она, конечно, не могла видеть, так как в 1960-м году, когда «князь Мышкин» покинул владения Товстоногова, ей не было пяти лет. Но она была на «Царе Федоре Иоанновиче» в Малом театре – Миша устроил ей

подарок ко дню рождения – и это потрясло ее. Да и фильмы: превозносимый «Гамлет» ее раздражал примитивизмом ассоциаций, но Смоктуновский был прекрасен, и «Девять дней одного года», и Порфирий Петрович. Хотя Деточкин был лучше всех. Смоктуновский жил в Москве, но иногда приезжал в Питер.

...Кого только не было в «Сайгоне»: фарца с Невского и от «Европейской», хиппи, стрелявшие «прайс» на «маленький простой», известные и неизвестные джазмены, студенты МУХИ и герлы от «Фалоса в лифчике», как точно прозвали идиотский монумент у Московского вокзала, изредка появлялись «суки в ботах», то есть приезжие провинциалы, квартировавшие в гостинице «Балтика» по соседству, чаще – бакланы, филфаковцы и вечные профессиональные тусовщики. Кстати, здесь Таня познакомилась с Лешей, который обещал сосватать ее Эдику – московскому портному, который шил классную джинсу для избранных, в его творении ходит сам Окуджава. Тане подвезло: пару лет назад на Барахолке внутри «Апрашки» она отхватила чудный импортный вельвет глубокого бутылочного цвета. Из такого же материала она видела прикид у Лизы Минелли в журнале «Америка». Не знала, кому пристроить. И тут Леша в «Сайгоне»! Она отдала драгоценный вельвет, но ... с концами. Этот чудо-портной – Эдик Савенко, ставший Эдуардом Лимоновым – намылился за бугор, так что плакали и вельвет, и мечта. Помимо мечты плакала и Таня, но недолго... Когда появился Миша, «Сайгон» сошел на диминуэндо. Миша не любил этот «богемник» и считал, что он полностью под колпаком гебухи: «Ты посмотри на это зеркало во всю стену, вот там эти дятлы и крысы сидят, записывают, и снимают». Впрочем, и сайгоновцам Миша не глянулся. Таня слышала, как приколист Федя сказал: «У Татьяны с Кулька унитаз на подтяжках появился!». Таня обиделась: в Кульке, то есть в «Институте культуры и отдыха» она никогда не училась, а училась в Училище при Консерватории, а это две большие разницы, и Миша не был «унитазом на подтяжках» или «конем педальным», то есть престарелым ухажером. Он был единственным родным и любимым человеком. И тридцать пять лет – совсем не возраст для мужчины. Да и сотрется разница довольно скоро. А жаль. Потому что Миша был не только выдающийся хирург, умница, эрудит, острослов и верный друг, но мужчина. Таня не подозревала, что может быть такое. Даже кончики пальцев холодели, и сердце выскакивало из груди, когда он приближался к ней, притрагивался к ее плечу или груди, легко целовал в мочку уха. Ещё они были единомышленниками, а это так немаловажно в совместной жизни. Так что и «Пышечная» на Садовой, около которой он подхва-

тил ее в тумане морозного рассвета, была родным местом, без которого она не представляла своей жизни.

Вообще здесь все было родное: и та же гебуха, и очереди за колготками, и щель у «Астории», и бочки с квасом, и запах корюшки в начале июня, и занудные соседи-моралисты, и белые ночи, и треугольные пакетики с молоком и кефиром, и ночные переклички на подписные издания, и даже ненавистная «Пионерская зорька», когда глаза не разомкнуть. А автоматы: где ещё в мире можно выпить стакан газировки за 3 копейки, если с сиропом, и за копейку без оного. Появились автоматы с квасом, пивом – бросил двадцать копеек и имей кружку, правда сильно разбавленную водой, и даже с вином. Таня пиво и вино в автоматах никогда не пробовала. Радовал прогресс – того и гляди, Америку догоним по автоматам... Если уж пить пиво, то делать из этого действо, праздник. Отстоять с девчонками очередь, скажем, в пивной на углу Невского и Маяковского. Там по осени бывали раки, и собиралась приличная публика, можно было встретить знакомых студентов Консерватории, они казались небожителями. Или попытаться прорваться в «Медведь», что напротив кинотеатра «Ленинград». Там при входе возвышался огромный мужик с белой ручной крысой на руках, крыса пила пиво из кружки, стоя на задних лапках. Это было круто. В «Медведь» хаживали известные спортсмены, барыги, мелкие киношные чиновники из Главка, расположенного в «Ленинграде», спекулянты театральными билетами и художники-неформалы. Или зайти с подружками в «Щель», а если география позволяет, то в низок на Невском рядом с ВТО. Взять сто на пятьдесят, конфетку и чувствовать себя королевой Шантеклера. Гляди, и Стржельчика встретишь. Честно говоря, Таня редко позволяла себе такие роскошества. «Сайгон» «Сайгоном», «Щель» «Щелью», а свои пять-шесть часов роялю отдай. К Михаилу Иосифовичу неподготовленной идти было невозможно. Плюс ансамбль, аккомпанемент, лекции по музлитературе, гармония, сольфеджио. А история партии, физкультура в зале или в садике около Института Лесгафта, педпрактика и прочая мутотень! Как без этого можно жить?..

И жить, что ни говори, стало лучше, верно же ведь, Миша. Все катаклизмы 60-х, вся эта дурь с позором в Чехословакии позади. Сытнее, наряднее. Кофточки импортные, сапожки, плащи, даже итальянские шмотки! Да, с очередями, да, по блату, да, с переплатой, но – раньше разве было такое?! – «Это пока нефть дорогая», – бормотал Миша, но как-то неуверенно. И свободнее. Да, Солженицына выслали, а могли и посадить. – «Точно, мог и бритвой полоснуть», – парировал Миша, однако и это было неубеди-

тельно. А выставка в ДК Газа, случившаяся два года назад? Разве можно было представить себе нечто похожее даже в вегетарианские время Никиты, не говоря уж об одуревших нынешних старцах? Обошлись без бульдозеров – прогресс! Таня простояла два часа на морозе, ног она уже не чувствовала, но свои 30 минут, отпущенные милицией на осмотр выставки, она провела с максимальной пользой. Более того, когда художники, по договоренности с ментами, взявшись за руки, стали выдавливать очередную партию зрителей, чтобы впустили следующих, она пристроилось к Юрию Жарких, организатору выставки, и заморочила ему голову минут на десять, выгадав для себя ещё полчаса. Смышленая Таня не столько знакомилась с картинами, сколько с их авторами, справедливо полагая, что в домашних условиях она увидит и узнает значительно больше. С Белкиным и с Рухиным не удалось, а вот с Овчинниковым, Юрой Галецким и Андреем Геннадиевым – вполне. Там же она была представлена и отрекомендована Жоре Михайлову, то есть получила официальное разрешение посещать его квартиру, этот заповедный центр гонимого искусства. Таня была счастлива.

(То, что Жору года через полтора посадят, и он от звонка до звонка будет валить лес в Сусуманской зоне на Колыме, а по освобождении опять пойдет уже по расстрельной статье – будучи в зоне, не уследил за судьбой своих картин, оказавшихся народным достоянием, – от расстрела его спасет начало Перестройки и Президент Франции Миттеран, обо всем этом Таня догадываться, конечно, не могла.)

Главное же – она не представляла свою жизнь без Матвеева переулка и, возможно, дай то Бог, без Театральной площади. Она заканчивала у Михаила Иосифовича ми-мажорной Прелюдией и фугой Баха из первого тома, Седьмой сонатой Бетховена, Ноктюрном до-диез минор и Четвертым этюдом Шопена, Третьей сонатой Прокофьева и До-минорным концертом Моцарта. Года три назад ей удалось попасть на концерт Рихтера. Он играл этот концерт, дирижировал Николай Семенович Рабинович – легенда и гордость ленинградского дирижерского искусства. Таня вообще-то предпочитала Гилельса – волшебника фортепиано, но то выступление Рихтера с Рабиновичем и оркестром старинной и современной музыки было потрясением, и она дала зарок закончить Училище этим концертом. Михаил Иосифович долго сопротивлялся, но когда она сыграла ему экспозицию первой части, сдался. Таня молилась на него, каждый урок был для нее спектаклем, на котором Михаил Иосифович был и режиссером, и артистом, и педагогом, взыскательным и профессионально требовательным. Это было празд-

ником, как, конечно, вся ее жизнь в Училище на Матвеева. Праздником изнурительным, изматывающим, но праздником. Помимо этого от Училища было рукой подать до Пряжки, где лежала Настя, жена, вернее, уже вдова несчастного Сани, так нелепо и страшно погибшего. Оставить Настю, уехав из страны, Таня тоже не могла и не смогла бы. Все это ложилось на весы в ее спорах – размышлениях с Мишей, которые в последнее время делались все интенсивнее. Однако маленький юркий червячок соблазна начать все заново, попытаться прожить ещё одну новую, манящую своей неизведанностью жизнь, это червячок медленно, но упорно делал свое дело, подтачивая непоколебимую уверенность Тани в невозможности бросить все родное и привычное...

Увы, от всех переживаний и раздумий носик не потерял свою строгость, ямочка на левой щеке не перестала свидетельствовать о непобедимости оптимизма в Танинной душе, брови удивлялись и легкомысленно взлетали. Только глаза, обрамленные мохнатыми ресницами, потемнели, но это даже и к лучшему – вид серьезнее.

Незадолго до выпускного экзамена, прямо после ночной репетиции в зале, рано утром они расписались «в рабочем порядке» в районном ЗАГСе на углу Садовой и Майорова, и Таня стала Коробковой. «Мадам Коробкова – разве это звучит? Особенно где-нибудь Западе!» – «Ничего, Танюша, зазвучит». Кто знает... Все может быть, все...

. . . . . .

Гарь и смрад стояли над разрушенным Храмом. Неясный, ни на секунду не прекращающийся монотонный гул стелился по земле, казалось, уничтожая все живое, пригибая все растущее, завораживая все мыслящее. Жара раскалила камни, расплавила доспехи, иссушила землю, раздавила человека, превратив его в низшее существо, занятое лишь тем, чтобы найти глоток гнилостной теплой желтой воды. Черно-лиловое солнце тускло расплывалось в дымном мареве предвечернего неба, и казалось, что конец Храма это и есть конец света, и чувствовали это люди, кони, верблюды, птицы, ящерицы ...

Буцинаторы подали свой привычный сигнал, но резкий звук их буцин не смог прорезать монотонный изнуряющий гул. Primus Pilus – центурион, возглавлявший первую сдвоенную центурию легиона, пытался доложить, что унять резню и насилия нет никакой возможности, но Тиберий Юлий Александр не слушал его, ибо он знал: ничего остановить нельзя. То, что начало свое движение, должно его завершить естественно и закономерно. Людская масса,

как сброшенный с высокой горы огромный покатый камень, сметая все на своем пути, должна завершить свое падение, достигнув дна и продолжив по инерции свою сокрушительную работу, пока не иссякнет накопленная годами позора и унижений энергия, и горе тому, кто встанет на пути этой вооруженной людской массы.

Никогда ранее римские легионы не терпели столь унизительных поражений, никогда не подвергались откровенным насмешкам со стороны противника, казалось бы, беспомощного перед мощной армией Тита. Пятый Македонский легион под командованием Секста Цереалия, Десятый Бурный легион под командованием Авла Ларция Лепида Сульпициана, и Пятнадцатый Аполлонов под командованием Марка Титтия Фруги, а также Двенадцатый Молниеносный, жаждущий мести после позора компании 66-го года. Для пополнения численности войска, часть которого была отправлена на помощь отцу на фронта Гражданской войны в Италию, Тит призвал две тысячи воинов из египетских легионов – Третьего Киренского и Двадцать второго Деиотарианова под командованием префекта Фронтона Этерния. Легионы поддерживались восемью алами вспомогательной кавалерии, двадцатью когортами пехоты и войсками, присланными местными царями. В распоряжении Главнокомандующего Тита и Начальника его Штаба – «Начальника Войска» – Тиберия Юлия Александра была мощная группировка осадных орудий – около тысячи штук, инженерно – строительные части, вспомогательные… Общее число солдат под римскими штандартами достигало восьмидесяти тысяч человек, против, к примеру, 30 тысяч у Александра Македонского, завоевавшего полмира, 25 тысяч Юлия Цезаря при покорении Британии и Галии.

Начиная с 66-го года, когда наместник Сирии Гай Цестий Галл потерпел поражение от восставших иудеев, поражение, которое при отступлении переросло в катастрофу легионов, а Двенадцатый Молниеносный в панике потерял *аквилу* – свое знамя с орлом, самую почитаемую святыню, – начиная с 66 года, римлян преследовали позорные, непредвиденные и не обоснованные ни громадной практикой, ни выверенной теорией неудачи. Стыдно вспоминать! Разгром у Бет-Хорона – за всю историю Рима это было самое страшное поражение, которое народ восставшей провинции нанес регулярной римской армии. Позор и ужас неминуемого пленения иудеями будущего императора Тита и его – многоопытнейшего префекта Претории, героя Парфянской кампании 63-го года, соратник самого Корбулона – Тиберия Юлия Александра, призванного Веспасианом охранять и наставлять двадцатидевятилетнего сына. Это случилось во время первой рекогносци-

ровки в окрестностях Иерушалаима, когда мятежники напали на отряд, отрезали Тита и его – Тиберия Юлия Александра от сингуляриев, постыдно бежавших. Только молниеносная реакция и мужество Тита позволили избежать трагедии. Или нападение на воинов Десятого Бурного легиона, занятых строительными работами на Масличной горе. Тогда были побиты и обращены в паническое бегство, что наиболее постыдно, лучшие легионеры Десятого Бурного. И опять, невероятное самообладание и храбрость Тита, ринувшегося в рукопашную с небольшой группой воинов, спасли от краха. Или двойной успех сначала Иоанна Гискальского, а двумя днями позже Симона бар Гиора. Первый совершил дерзкий подкоп под готовые пандусы, заполнив этот подкоп горючими материалами, поджег его, и, когда деревянные подпоры рухнули, в огненной массе погибли и возведенные сооружения, и солдаты. Симон умудрился поджечь тараны, установленные на пандусах в северной части стены. Сражение было кровопролитным и бесславным для римлян. С таким огромным многомесячным трудом выстроенные осадные насыпи и сооружения были уничтожены.

Да что говорить. Четыре года беспощадной войны с маленьким народом. Благоприятнейшие кровавые распри среди защитников. Эти сикарии... Сражались они умело и дерзостно, но своей резней фарисеев и зелотов они изрядно помогли Риму. Успех осадных орудий, сотворивших разлом мощных стен Храма, и две недели страшной непрекращающейся мясорубки, в результате которой эти евреи, дравшиеся, как дикие звери, вытеснили непобедимых, гордых своей воинской славой римлян. Затем почти год полной блокады Иерушалаима. Победа над практически вымершим городом... Разве это достойно римского оружия! ...Четыре года унизительных поражений и постоянных издевок иудеев над римскими штандартами с орлами... Это должно было быть отомщенным, и сдерживать озверевших солдат было делом не только безрассудным и безнадежным, но и несправедливым.

Подошел, хромая, легат Двенадцатого Молниеносного легиона в запыленных доспехах *лорика сегминтата*, левый наплечник которых был помят, видимо, от удара камнем. Шлем без плюмажа и с отломанной защитой правой щеки, кожаные завязки панциря порваны, но вооружение было на месте – это Тиберий Юлий Александр отметил: *гладиус* располагался справа под рукой, а *пугио* между серединой центра туловища и левым бедром, точно на расстоянии вытянутой правой руки. Легат был огромного роста, с красным лицом, пересеченным от левого уха до подбородка старым шрамом, переломанным плоским носом и свежепорванной

кровоточащей губой. Лик его был страшен, и был этот лик ликом беспощадного непобедимого римского войска. «А мои еврейчики не убоялись его, изрядно потрепали», – вдруг пронеслось в голове. И тут же: «*Мои* еврейчики потрепали *мое* войско». Что есть «*мое*»?

Легат доложил об участившихся случаях резни мирных жителей Иерушалаима, сдававшихся по призыву Тита на волю победителя. Вырваться из рук повстанцев – сикариев было делом рискованным, пойманных беглецов из ада бандиты убивали на месте, но, оказалось, что и в римском лагере многих ждала жуткая смерть. Во время осады было замечено, что иногда пленные или добровольно вышедшие из Города роются в своих испражнениях в поисках спрятанных – проглоченных золотых монет, которые они пытались таким образом пронести, чтобы солдаты той и другой стороны не смогли их отобрать. По лагерю поползли слухи, что беженцы набиты золотом. Началась массовая резня. Несчастных ловили, убивали и вспарывали им животы в поисках сокровищ. В этой бойне участвовали, главным образом, солдаты вспомогательных войск – сирийцы и арабы, но были замечены и легионеры. Прежде всего, среди гастатов, то есть самых молодых и необеспеченных солдат первой линии, которые, как и все остальные воины Рима, должны были покупать вооружение и доспехи за свой счет. Уже насчитывалось, по данным находившегося при Главнокомандующем бывшем бунтаре и писателе Йосефе бен Матитьяху, около двух тысяч иудеев, убитых римскими легионерами. Тит шокирован и взбешен. Есть приказ казнить виновных в злодеяниях: солдат, согласно традициям, казнь осуществлять в виде фустуарий (забивание камнями и палками перед строем легиона), для центурионов – сечение розгами и обезглавливание. Однако, закончил легат, выявить виновных пока не удается. И не удастся, подумал Тиберий Юлий Александр и отпустил легата. И это – «мои» легионеры, мои испытанные товарищи, моя жизнь.

Неожиданно он вспомнил свою мать, зажигающую две свечи за восемнадцать минут до захода солнца в пятницу – день Шаббата, так сладко звучащие слова «*Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас своими заповедями и заповедал нам зажигать субботние свечи*». Он увидел большой стол, покрытый простой скатертью, графин кошерного виноградного тягучего вина и высокий серебряный бокал для кидуша. Он ощутил запах и вкус двух теплых хал, покрытых до трапезы специальной салфеткой синего цвета с белым орнаментом. За столом вся семья. Рядом с отцом по левую руку – самый дорогой гость и член семьи – дядя Филон. Он почитаем всем иудейством Алексан-

дрии, равно, как и греками – стоиками и платонистами этого великого города. Мальчик Тиберий Юлий Александр взирает на него с восторгом, обожанием и завистью. Он никогда не достигнет такого уважения и такой любви современников и потомков. Дядя смотрит на него с пониманием и подмигивает.

...И никогда не уйти от этого цепенящего ужаса раздвоения.

Неясный монотонный непрекращающийся гипнотизирующий гул стал распадаться на отдельные звуки, как распадается звучание мощного аккорда оркестра на голоса отдельных инструментов, когда дирижер опускает палочку. И были эти голоса хорошо узнаваемы Тиберием Юлием Александром, как давно знакомые, привычные и ненавистные. Крики, стоны, вой хищников и людей, глухие мощные удары бесчисленных таранов, завершающих свою многомесячную работу, топот калиг, скрежет и звон соприкасающихся в людской массе панцирей, лопат, мотыг, шлемов – касисов, прикрепленных к поясам – смнгулунам вместе с котелками, мисками и баклагами для воды, скрежет откатываемых осадных орудий: гелеополисов, скорпионов, баллист, онгаров, галерей. Эти голоса сплетались, создавая столь привычную атмосферу войны, с невыносимым смрадом разлагающихся трупов тысяч раздавленных, заколотых, растерзанных и разорванных воинов, стариков, детей, женщин, лошадей, верблюдов, останков собак, съеденных жителями Города во время блокады, смешивались с запахами крови, испражнений, гари, пыли и высохшей полыни. Призрак солнца растворился в перламутровом тумане молниеносного вечера пустыни, звезды прокололи свод черного иудейского неба, и ночь своим ледяным дыханием сковала то, что осталось от жизни Великого Города.

Тиберий Юлий Александр тяжело поднялся и направился к шатру Тита, грузно ступая своими калигами по толстому ковру щебня, который совсем недавно был Храмом.

. . . . . .

Рудольф Котликов

ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТЮД

Увидя меня, младшая повариха воткнула корявые пальцы в мое белое тело.

– Из чего это сделано? – Она отковырнула кусок и быстро отправила в темную щель рта с двумя-тремя неровными зубами. Я протяжно вскрикнул, будто звал кого. Были бы ноги, убежал бы далеко. Тем временем повариха опять громко зачавкала, я же заверещал тонко и нежно, надеясь вызвать жалость. Но она лишь засмеялась осипшим голосом. Шеф небрежно отодвинул её и обильно посыпал меня, словно праздничным конфетти, разными специями. По дороге в зал я любовался красивым официантом и, падая в обморок, успел послать ему воздушный поцелуй.

* * *

До сих пор не знаю, как я очутился на кухне. Я с любопытством оглянулся вокруг.

Шум, суета, предпраздничная неразбериха. Шеф-повар деловито гремел кастрюлями. Мокрая от пота судомойка подошла ко мне.

– Что это? – спросила она шефа, указывая на меня, – дай попробовать.

Она откусила мой палец, и я заплакал, вспомнил товарищей, ушедших на войну. Вошел официант. Меня положили на блюдо, прикрыв лавровым листом.

– Зачем это? – подумал я и ласково посмотрел на красивого официанта, уносившего меня в зал.

РАЗДУМИЯ

Когда повар снял фартук и колпак, он перестал быть страшным. Захотелось подойти к нему и любить его, но мешали крики слесарей, которых домоуправляющая била длинной плетью. Двор играл светом и тенью. Голуби и воробьи паслись у помойки, пернатый мир отражался в зеленых глазах рыжей кошки. Пустыни бе-

лья скрыли играющих детей. Покой медленно опускался на пыльный двор, клочьями повисая на пожарной лестнице и веревках. Я любил кошку и птиц, белье, слесарей, домоуправа и повара. И эта любовь делала страшное не страшным, больное не больным, невидимое видимым и запредельное оживляла жизнью.

* * *

Я вошел в коридор синей краски и встал в очередь. Стоящий впереди непрерывно спрашивал:

– Больно? Больно?

– Не бойся, гражданин, это быстро, – отвечали. Открылась дверь, и санитары вывезли на тачке что-то шевелящееся. Я низко опустил голову. Очередь двигалась к двери. В следующей тачке санитары провезли еще. Очередь зашумела.

– Беспокоит! – равнодушно выкрикивали они время от времени. Скоро они исчезли.

Когда я вошел в кабинет, чуть не споткнулся о ворох одежды. Я мгновенно узнал шинель впередистоявшего. Толстая санитарка отвела меня в душ и энергично растирала шершавыми ладонями. Временами она быстро и воровато откусывала большие куски моего белого тела, приговаривая:

– Это не нужно, это лишнее, а это даже мешает... – а сама торопливо глотала.

– Где все пропавшие из очереди? – осмелившись, я тихо спрашивал сквозь слезы.

– В процедурной, – отвечала она невнятно с набитым ртом. Она повесила меня сушиться на веревке, и я почти доставал до пола. Вокруг таинственные инструменты, значение которых мне непонятно. Множество пробирок с прозрачной жидкостью, в одной я заметил голову стоящего передо мной, того, кто все интересовался болью.

– А где остальное? – не удержался я от вопроса. Он не ответил. Я задумался обо всех в очереди, я-то был последний, замыкающий. Я поискал глазами свою одежду, наверняка затерялась в общей куче. А может, и не понадобится больше, успокаивал я себя. Закатное солнце сквозь мутное окошко лениво лизало колбы и инструменты и скользило по большой яркой таблице на двери «ЗАКРЫТО НА ОБЕД».

УБИЙЦЫ

Позволяющий убить разрезающий убивающий продающий покупающий стряпающий подносящий поедающий мясо – все убийцы.

Дхаммапада

– Убийцы! – закричал я в очередь. – Убийцы!

Очередь смущенно отворачивалась, но не расходилась. Очередь старалась не смотреть на прилавок, а я кричал сквозь открытую дверь кухни. Не только я, все мы, лежащие на разделочных столах, подвешенные на крюках и даже спрятанные в холодильник, все мы волновались, протестовали, изобличали. Но директор вдруг появился среди нас на кухне. Светлый кафель бликовал в его добрых глазах.

– В чем дело? – спросил он. – Меню напечатано, ничего нельзя изменить! – отчеканил он и заперся у себя в кабинете.

Я уронил голову. Да и зачем ее поднимать высоко, если очередь, смущаясь и стыдясь друг друга и, может, нас, все же двигалась вперед, неумолимая, непреодолимая, непобедимая и бесконечная.

У ДАНТИСТА

Пожилой рабочий (может, уже пенсионного возраста) занял очередь. Он устало опустился на скамью. Морщины окопами пересекали худое лицо, складки одежды бежали, хлопали двери. Оттуда на руках, а кого и на тачках, вывозили замученных.

Рабочий, заметно слабея, вполз в кабинет. Там ожидали мужской доктор в брюках и женский в сапогах, выше линия чулок метнулась горячей плетью в глаза рабочего. С восторженным блеском в глазах рабочий целовал отутюженные брюки мужского и выкрикивал лозунги. В других креслах деловито мучили. Рабочий захлебнулся чужой болью, он залпом осушил полный бокал голоса доктора и бодро, чуть шатаясь, шагнул к креслу.

ДЛИННЫЙ РАССКАЗ

Кафель стен, яркий до боли свет, суета, не мог понять: кухня или операционная. Появились санитары в забрызганных кро-

вью халатах, распахнутых на волосатой груди. Они со мной что-то сделали, раздели и разделали. Потом появились слуги в шелковых шальварах и шлепанцах на босу ногу, между прочим довольно красивые. Они понесли меня на подносе. Её я увидел возлежащую на оттоманке, она лениво скользнула по мне желтыми раскосыми глазами. Я был польщен, тут же начал кокетничать, закатывать глаза, щелкать пальцами, пританцовывать и напевать высоким голосом. Слуги ушли, жадно оглянувшись на меня, а один смуглый осмелился послать воздушный поцелуй. Она внимательно осмотрела меня и фыркнула:

– В чем дело, где твои пальцы?

– Санитары откусили, – признался я. Вошел грузный мужчина, и она тут же забыла обо мне. Они как бы вошли друг в друга, и их невнимание огорчило меня. Однако в следующий миг мужчина заинтересовался мной, он подошел, протягивая руку. Я решил, хочет познакомиться – и просиял, но он ощупал меня холеной рукой и сказал:

– Холодный, да и жестковат к тому же.

Я возмутился, но вошли слуги и унесли меня. В коридоре они подрались из-за меня. Я хотел посмотреть драку из любопытства, волнуясь и переживая за тех и других, но прирожденная гуманность взяла верх, и я миролюбиво сказал:

– Друзья... не надо... хватит на всех...

Комок застрял в горле. Они взялись за руки и закружились в хороводе вокруг меня. Они пели песенку и пускали слюну, а смуглый слуга в шелковых шальварах, который успел украдкой поцеловать меня, когда клал на поднос, подмигивал мне и посылал поцелуи, указывая на дверь. Но нет, НЕТ! Будь он трижды красивый, я принадлежу ВСЕМ. ВСЕМ. ВСЕМ.

* * *

Я лежал, а они возились надо мной, что-то делали. Я лежал тихо, а они работали. Время от времени они вынимали что-то из меня, засовывали в рот и торопливо жевали. Я поймал их беспокойный взгляд.

– Нет, не мешаете, – старался успокоить их. Они взбодрились и вынули нечто большое, отошли к окну и там поругались.

Когда вышел из больницы, почувствовал легкость необычайную. Понял, носил в себе лишнее. Но почему-то исчезли эмоции, ни страха, ни болей, ни ненависти, но и любовь тоже иссякла. За-

вяли цветочки, сморщилось солнышко. Девушки, милые девушки: дворничихи, продавщицы, рабочие, милиционерши, крестьяне и интеллигенция, инженеры и ученые, судьи, циркачки, проститутки, спекулянтки, воровки, – словом, милые девушки не обращали на меня внимания. В отчаянии я обратился к доктору.

– Много не хватает, – заключил он. А я, грешным делом, думал лишнее. Доктор колебался, но выписал микстурный рецепт и заверил, что вырастут новые. Больше я не ходок к врачам, лучше к судьям, они приговаривают, а милиционерши уводят и сажают.

У ДОКТОРА

Пленный, то есть больной, неприлично громко кричал. Сестра возилась с ним в углу кабинета, пилила, рубила, колола, резала и ещё что-то делала, а он кричал разными голосами, хрипло и отрывисто.

– Не умирает? – коротко бросила доктор. Сестра грустно качала головой. Доктор встала из-за стола, где она изучала кого-то, и наступив на отражения полированного пола каблуками блестящих сапог, остановилась над пленным, то есть больным. Внимательно осмотрев его, доктор быстрым и точным движением сняла его губы. Розовыми цветочными юными губами пленного, то есть больного, доктор и сестра тщательно отполировали свои сапоги до полного блеска. Затем доктор вынула из себя что-то и смазала этим пленного, то есть больного. Он дернулся, челюсть его отвисла, глаза немножко вылезли из орбит, и он сделал вид, что умер, сделался мертвым. Сестра дивилась искусству доктора. А когда доктор смочила затихшего пленного, то есть больного, слюной, он резко вздрогнул.

– Надо же, и мертвый боится! – восхищенно сказала сестра, глядя завороженно на круглые колени доктора, – это талант!

За белой дверью волнообразно шумела очередь.

У ДАНТИСТА

Обливаясь слезами, я припал лицом к животу доктора. Желтая лампочка навязчиво прыгала в моих глазах. Губы доктора зашевелились, она сказала, что я мешаю. В углу кабинета другой доктор гладил брюки, а его пациент тихо плакал, отвернувшись к стене. Мой доктор сделала боль, собирая и кушая мои стоны. Она низ-

ко склонилась надо мной болью, как две или три боли, или, проще, делала больную боль. Доктор в углу кабинета уже надел гладкие брюки и теперь они обнимались с пациентом. Но речь обо мне, светлые колени доктора, казалось, дышали. Я хотел всю боль от неё, но она писала в журнал, затем вызвала следующего. Я неохотно направился к двери, оглядываясь. Пациент в углу чистил своему доктору блестящие лакированные туфли, а в коридоре очередь стонала и плакала.

* * *

Опять это...

Как только я вошел в кабинет, санитары уложили меня на стол, при этом они быстро с оглядкой целовали меня. Один из них, высокий и костлявый, делая вид, что наклонился для очередного поцелуя, ухитрился выпить мой глаз. Я улыбнулся ему уже одним глазом, полным упрека и горькой слезы. Доктор умильно следила санитаров, затем быстро и мастерски выпотрошила меня. Пришла незваная боль.

– Хорошая, – сказал я боли и обнял её. Заодно попытался обнять доктора и нож, но доктор строго попросила не мешать. Хорошесть лилась теплой влагой. Я решил, если ещё что придет, все равно все будет хорошим, и я обниму это. Себя я обнять не мог, не было рук. Открыл дверь сознания и выпустил мысль.

– Обними доктора, – напутствовал я мысль, – и нож не забудь!

– Хорошо-то как, – говорила доктор в хорошести и обнимала мою мысль.

ВНУТРЕННИЙ

Я внезапно очутился на кухне. Привычным жестом осмотрел плиты, кастрюли и чаны, по-хозяйски перебрал инструмент.

– Новый? – спросили люди кухни. Я молчал. За дверью в мерцании желтых полов длинного коридора было что-то зловещее, слышался шум шагов. Люди кухни окружили меня, любопытство горело в их глазах.

– Не Внутренний ли? – спросили они с подозрением.

– А вам что?! – бросил я в их нетерпеливые лица. Я заметил, что некоторые уже кипятили воду. Подумал я в размышлении, что вот раздвину поле моего я еще на один горизонт или даже на не-

сколько... И уже не казались мне эти лица, окружившие меня, такими нетерпеливыми и злобными, скорее милыми и родными...

НА ПОСТУ

Признаюсь, характер у меня неуживчивый. Сначала поскандалил на бойне. Безобразие, конечно, доктора хоть усыпляют иногда, а эти... я всю боль взял с собой, глядя на нее, все плакали, а этот нелюдь... ну да что с него... На мясокомбинате... нет, лучше просто на комбинате, служащие потихоньку хватали и распихивали по сумкам мои куски. Я ругался и жаловался – без пользы. Потом одолжил у соседа, пока он спал. Аккуратно приладил к себе, чтобы выглядеть приличнее, как полагается среди культурных людей. Ну а в магазине совсем беда, очередь пребольшущая. На весах я вел себя прилично, в авоське молчал, а на кухне совсем примирился. На сковородке, как положено по уставу, я ворчал, больше для виду, шипел и брызгался, привлекая общее внимание соседей. Они громко обсуждали меня, склонившись над плитой так, что лица их сливались с потолком кухни, или небом моей жизни. И скажу не таясь, мне чрезвычайно льстило их внимание.

Мириам Левина

НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ

ПРО БАРОНА И ЛЯГУШКУ

Весной обеденный перерыв кажется особенно коротким. Солнце слепит, и перед глазами плывет ленивое марево. Откуда взялся дождевой червяк, дождей-то еще не было? Прутиком брезгливо откатываю его прочь с дороги. И вдруг прутик, как волшебная палочка, уводит меня далеко-далеко, в сибирское село моего второго детства.

* * *

Жду маму и прутиком очищаю дорожку, по которой она придет с работы, от гадких дождевых червей. У соседей напротив есть заколдованный сад, там дорожки посыпаны чистым речным песком. А еще там есть красивые цветы, раньше здесь таких никто не видывал. Раньше, значит до баронов, а баронами деревенские называют хозяев этого дома. Каждое утро сам барон выходит из калитки в наглаженной рабочей одежде, и я стараюсь попасться ему на глаза. Тогда он смешно хмурит мохнатые брови, и со страшным ревом сгребает меня в огромные баронские объятья. От него по утрам всегда вкусно пахнет свежей рубахой и еще чем-то приятным и незнакомым. Барон старый, мама говорит, что ему сорок пять лет. Значит, очень старый.

Местные уважают барона, но не понимают, зачем растут цветы там, где можно посадить еще картошку. Лейки и ведра у него весело раскрашены, а на баронихе всегда красивый фартук и накрахмаленная косыночка, торчащая чепчиком. Удивляются люди, зачем бароны на ерунду время тратят, какая разница, какого лейка цвета, лишь бы не дырявая. А еще барон своим и чужим мальчишкам мастерит самодельные удочки.

И все эти чудеса творятся в пятьдесят втором году, в сибирском селе, где бароны отбывали ссылку за то... ну, наверное, за то, что эти литовские хуторяне почему-то назывались баронами.

Мама ушла рано, и мне кажется, что ее нет слишком долго. Беру холодные оладьи, оставшиеся от завтрака и отправляюсь к ней на работу. День выдался жаркий, а до маминой работы надо идти через все село, а потом еще забираться в гору. Мне пять с половиной, я уже большая и хорошо знаю эту дорогу. Мама строит «заготзерно», так написано рядом на заборе. Это загадочное «заготзерно» мне не дает покоя. Я уже умею читать печатные буквы, но не понимаю, как это за целый гот – всего одно зерно. Оно – зерно – наверное, какое-то необыкновенное.

А вот и мама, она конопатит свежий сруб на горе. На ней яркие оранжевые шаровары и блузка в цветочек, перешитая из чего-то очень знакомого, из того, что было в моем другом детстве, когда папа был с нами, а мама была актрисой, и жили мы в Москве, о которой я очень много рассказывала своим деревенским подружкам. Ох, и завидовали они мне... Приходилось сочинять, конечно, и про салют, который я смутно помнила, и про самодвижущиеся лестницы в метро, которые не помнила совсем, и даже про самого товарища Сталина, который помахал нам с папой рукой на демонстрации. Теперь уже мамы нет и некого спросить, ходили ли мы с папой на демонстрации, но помню ощущение себя на плечах у папы, помню Мавзолей, с которого машет Сталин (наверное, из кинохроники) и помню объединяющее эти картинки состояние переполняющей меня гордости. Так мне вспоминалось далекое московское счастливое детство из Сибири, где мы оказались из-за маминой связи с изменником родины, то есть с нашим папой.

Барон сидел верхом на срубе, высоко над землей и обтесывал топором толстое бревно. На груди у него болталась пустая поллитровая банка, обвитая веревкой за горлышко. Солнце так жарило, что потрескивали ветки соседнего кустарника. Было скучно просто сидеть и ждать маму, расчесывая комариные укусы, но тут барон, как всегда, сделал смешное лицо и помахал мне рукой.

– Детка, можешь принести мне воды? – И на крючковатой палке спустил банку вниз.

О, это было очень важное поручение, я чуть не лопнула от гордости. И вот я уже со всех ног несусь под горку, где пенясь, шумит маленькая речка. Ее так и зовут Шумиха – холодная и очень быстрая. Берег крутой, топкий, весь поросший густой и колючей осокой. Вместо мостика – подгнившая доска. Кое-как добралась до нее, по колено проваливаясь в топкую чавкающую жижу и содрогаясь от страха. Каждый мокрый стебель казался притаившейся змеей. Прижавшись дрожащим животом к доске, я обхватила ее крепко руками и коленями и медленно поползла вперед, туда,

где неслась, разрывая осоку, безумная вода. Стараясь не смотреть на воду, от которой кружилась голова, опускаю банку как можно ниже, еще ниже и еще, но банка в воду не опускается, лишь чиркает дном по поверхности, а поток сносит ее в сторону. И ни капли воды в банке. Вдруг речка перевернулась и набросилась на меня откуда-то сверху... Я зажмурилась, чтобы унять головокружение, и еще крепче обняла доску.

Как я на берег выползла, не помню. Я плакала от пережитого страха и обиды на взрослых, что их не было рядом, и от стыда за себя, что не справилась с поручением барона, и от досады, что не смогу объяснить, почему вернулась без воды. Не скажешь ведь при маме, что чуть не утонула, она так перепугается, что мне же и влетит.

Смотрю, а совсем рядом врытая в промокший берег бочка. И бочка эта до краев наполнена водой. Тогда я решила, что бог все-таки есть и ко мне совсем неплохо относится. Слабость сразу же прошла и, стараясь не расплескать волшебным образом добытую воду, я осторожно полезла назад в гору.

Мама помогла нацепить веревку на крюк, и барон, ласково подмигивая мне, осторожно потащил банку с водой наверх. Я чувствовала себя героем и ждала похвалы от мамы, но она все конопатила и конопатила. От пережитого страха я проголодалась и принялась с наслаждением жевать мамин бутерброд с толстой котлетой и тонким ломтиком помидора. Наверху барон, фыркая и обливаясь, опустошал банку, даже не подозревая, какие подвиги я ради него совершала.

Вдруг барон поперхнулся, сильно раздул щеки, выкатил глаза и стал очень красным. Он так страшно посмотрел на меня, что я на всякий случай вскочила на ноги. Барон странно вскрикнул, плюнул в банку и швырнул ее вниз, прямо мне под ноги. Я быстро отскочила, коленки у меня подкосились, а в животе как-то противно заекало. Старясь уклониться от маминого строгого взгляда, я опустила глаза и тут увидела, как из банки в сторону кустов быстро улепетывает маленький лягушонок.

С горы я скатилась, как резиновый мяч, подпрыгивая на кочках. И уже на другом берегу Шумихи подумала, что хрупкая доска сумеет меня надежно защитить от справедливого гнева барона и мамы. Сверху до меня доносились клочки фраз, которые с трудом можно было разобрать за шумом воды: “Го...дарственный ...ект... форменное ...зобразие ... ящее вредительство!“

Я обхватила голову руками и бросилась в высокую траву. Я каталась от хохота, вспоминая лицо барона, подавившегося лягушонком. Я содрогалась от отвращения, представляя лягушонка во

рту у барона. Я была счастлива, что Шумиха позади, и ее не надо больше бояться...

Я только сначала испугалась, что меня накажут за вредительство на строительстве важного государственного объекта. Я же не нарочно, и я еще маленькая. Барон просто пошутил. Ссыльные странно шутят. Вот если бы я была взрослой... и я вспомнила, как мама шепталась со ссыльной соседкой тетей Региной, когда ее муж сломал пилу на пилораме, и мне вдруг стало снова холодно и страшно.

ПРО БАРОНА И ЕГО СЫНОВЕЙ

Младшего звали Юрис, как звали старшего – не помню. Юрис учился в десятом классе, но успевал помогать отцу на пилораме и матери по хозяйству. Он был спокойный и как-то не по годам солидный. А может, его красивые плечи по-взрослому сутулились от большого роста и недетских забот. Мальчишки в школе его считали гордецом и, чтобы не заносился, время от времени напоминали, кто его родители. Девочкам он нравился, но они его стеснялись. Иногда, правда, просили меня передать Юрису записку, говорили, что это важно. Записки были коротенькие, в конце был нарисован цветочек, а иногда – сердечко со стрелкой прямо в сердечке. Девочки их складывали треугольничком.

Жена барона сама поехала за мужем в ссылку вместе с сыновьями, хотя и могла остаться в Литве. Но таких женщин, как и ссыльных, в этом селе было предостаточно.

Дружбы с баронами особенно не водили, но если кто-то приходил в их дом, то встречали гостей приветливо, угощали охотно, а вот о себе бароны рассказывать не любили. Да и по-русски говорили не очень хорошо, а это настораживало.

Я любила к ним забегать, потому что мой старший брат меня гонял, а Юрис спокойно, по-взрослому отвечал на мои бесчисленные вопросы: почему, например, из одной луковицы лук растет, а из другой – цветок красивый. Почему он гладиолусом называется, ему, что ли, лепестки гладят, вон они какие шелковые. А кто это делает – мама или ты сам? Юрис всегда отвечал подумав, серьезно и очень уважительно.

Луковицы гладиолусов жена барона привезла с собой из Литвы, отправляясь с сыновьями к мужу в сибирскую ссылку. Барон разводил эти гладиолусы у себя на хуторе, а некоторые сорта даже сам вывел. Юрис показывал мне какую-то красивую бумагу на чу-

жом языке, которую его отец получил на выставке в Голландии. Но это было еще до того, как советские войска освободили Прибалтику. Я жалела Юриса, ему не повезло, он ведь родился в Литве еще до советской власти и никогда не был пионером. А я буду и обязательно приду к нему в пионерском галстуке и даже дам померить.

Лето в Сибири короткое, но жаркое, звонкое и веселое и пахнет лесной клубникой, которую собирают ведрами, а еще теплым коровьим молоком.

Потом пришла зима. Это тоже очень красиво, но очень холодно. Мороз не освобождал старшеклассников от физкультурной повинности. Оттаяв глазок среди замков Снежной королевы на стекле класса, я с жалостью смотрела, как мой брат, и Юрис, и брат моей подружки, каждый со своим классом, гуськом пробивают лыжную дорожку в лес. Лыжи скрипят, вскрикивает снег, постанывает набирающая силу поземка. Из леса вернутся помороженные руки и ноги, обглоданные морозом уши и страшные белые носы и щеки.

Мне было жаль ребят, но я знала, что все они уже комсомольцы, ну почти все, кроме моего брата и Юриса, а значит, должны быть смелыми и сильными, чтобы враг их не победил. Я ненавидела этих врагов, из-за которых мерзли в тайге такие хорошие парни!

И вот однажды приключилось ужасное. В тайге сломались лыжи. Не простые лыжи – казенные. Это так и называется: порча казенного имущества, – а казенного, значит, государственного. Школа затаилась. Даже мы, младшеклашки, понимали – плохо будет виновнику. Хорошо, если просто из школы выгонят, а если под суд… Дома мама с отчимом опять шептались, и в крошечной комнате ночью внятно шелестело, – только бы не из ссыльных.

Милиционер в школу приходил несколько раз. А потом состоялось собрание, которое вел сам директор. Директор сказал, что злоумышленник нашелся, и он не удивлен, что им оказался именно Юрис, потому что яблоко от яблони недалеко падает. Вот и признаться честно не может – трус!

Тогда встал Юрис и сказал, что он не ломал лыжи, но он видел, как это произошло и утверждает, что это произошло случайно. Директор возмутился ужасно и пригрозил, что если Юрис немедленно не назовет виновного, то у его отца-барона срок может увеличиться.

Юрис долго молчал, все ждали. Потом он повернулся к своему однокласснику – сыну директора и тихо так, глядя прямо ему в глаза:

– Ты же знаешь, скажи.

Тот вскочил, но молчит, не сводя с Юриса злого взгляда.

– Пожалуйста, скажи.

– Кто-кто, ты и сломал, – заорал директорский сын, тыча пальцем в грудь Юриса.

Юрис сел, закрыл лицо ладонями и только тихо повторял:

– Сознайся, пожалуйста, тебе ведь ничего не будет, ну пожалуйста.

И тут другие ребята как с цепи сорвались:

– Мы тоже видели, Юрис ни при чем. Ваш сын сломал. А что особенного, с любым могло случиться.

Директор развернулся на каблуках, громко скрипнув хромовыми сапогами, и молча вышел из класса. За ним выскочил сынок. В дверях он обернулся и злобно прошипел: «Еще пожалеешь».

Барон тяжело переживал школьное собрание. Ходил мрачный, подавленный, а потом и вовсе слег. У великана было больное сердце. Юрис с маминой стряпней в узелке каждый день ходил навещать отца. Больница стояла особняком от села, на горе за перелеском, за высоким забором с красивыми резными воротами. Раньше таких ворот в деревне не было. Еще бы, вырезал-то их барон.

Юрис уже открывал калитку, когда он вдруг напрягся, застыл, будто увидел что-то впереди, и упал, так же прямо, как падали срубленные его отцом деревья. И только потом в морозном воздухе прозвучал выстрел.

– Надо же, – удивлялись местные мужики, – прямо в ухо.

– Из берданки чего не попасть, – рассуждали другие, небось с берданкой и белку в глаз бьем.

– Пащенку-то этому чего теперь будет?

– А чего ему будет, директорскому сынку, небось и выкрутится...

За гробом молча шли все ссыльные. Местные сочувствовали, сбившись на обочине. Лицо матери было мертвее лица ее мертвого сына. Отцу ничего не сказали – он и так был совсем плох и не было уже надежды, что выйдет из больницы.

Над гробом брата старший сын барона поклялся отомстить.

Анна Степанская

ПЛУТ

Как появился в моей жизни Юра Назарцев?

Его прислала Тоня, странная и верная подруга моя. Она преподавала английский в одном из вузов, а я – русский в школе. Мы всегда принадлежали к разным социальным слоям. И когда познакомились – тоже: я была студенткой, а Тоня вела английский в параллельной группе. Она почему-то выделила меня и стала дружить, и помогать, и выручать в тяжёлые и даже критические моменты на протяжении многих и многих лет.

Я очень долго не узнавала особенный запах окружавшей Тоню атмосферы, пока она сама мне не объяснила: это антисемитизм. Тоня выросла в антисемитской семье. Её отец был одним из четырёх сыновей раскулаченного украинца, и образ еврея в кожанке навеки впечатался в сознание и память членов семьи и их потомков как символ абсолютного зла, не умаляемого более чем успешной карьерой всех четырёх: Тонин отец был деканом исторического факультета в нашем университете, его старший брат, профессор химии, – членом республиканского ЦК партии, средний заведовал крупнейшим столичным универмагом, и младший, сильно пьющий, тоже кем-то был. Не случись злополучного раскулачивания, они, скорее всего, крестьянствовали бы в своём селе, как их отец. Я не хочу сказать, что успешная карьера должна непременно затмить ужас раскулачивания. Нет, конечно. Но люди, получившие образование и занявшиеся наукой, могли бы признать, если бы хотели, что в раскулачивании повинны далеко не одни евреи. А успешную карьеру в советской стране, тем более в гуманитарной и политической сфере, можно было сделать, только приняв победившую идеологию и верно ей служа. Должно быть, чёткое обозначение навеки во всём виноватого врага и навешивание на него всех грехов его и не его собственных, прошлых, настоящих и будущих, освободило их чистую совесть от угрызений, а их самих – от ответственности.

Идентифицировав атмосферу и убедившись, что протеста она в моей подруге не вызывает, я попыталась от Тони отойти. Телефона у меня не было, а Тоня была домоседка. Я перестала звонить, и

отношения наши должны были тихо угаснуть. Но этого не случилось ни в этот раз, ни в последующие...

Всякий раз, обнаружив моё отсутствие, Тоня поднималась и шла ко мне. Это был почти подвиг, ведь обычно она выходила только на работу и за провизией.

Ничего определённого я ей предъявить не могла. Запах трудно поддаётся определению. К тому же, личное Тонино отношение ко мне было тёплым и искренним. По-моему, она в самом деле не понимала, что меня оскорбляет в её среде. Она сделала для меня и моих детей много хорошего. Одна из немногих, Тоня не оставила меня, когда случилась моя семейная катастрофа. В сущности, и она, и я – мы пробивались через стереотипы, выстраивая личные, независимые отношения. Мы тянули с двух сторон, сами того не замечая, и нам удалось, как выразился Солженицын, разорвать «кольцо обид». Или почти удалось.

Итак, Тоня прислала ко мне Юру Назарцева. Он учился тогда в десятом классе физматшколы и успел проявить незаурядную одарённость: был неоднократным победителем республиканских олимпиад по физике, а это очень высокий уровень.

Всем было понятно, что место Юры в МГУ. Однако вступительное сочинение, обязательный экзамен для каждого абитуриента в то время, помешало бы благополучному превращению Юры в студента, поскольку он не владел пунктуацией. Как он умудрился, дойдя до десятого класса, игнорировать точки, запятые, не говоря уж о двоеточиях, тире и т.п., мне не ведомо. Но в октябре ко мне обратилась Тоня и попросила помочь её крестнику. Наличие у Тони, дочери партийных родителей и внучки члена обкома партии, крестника стало для меня удивительной новостью, но на мою готовность помочь мальчику, разумеется, это никак не повлияло.

Юра стал ходить ко мне домой, и мы с ним довольно быстро заштопали прорехи в знаниях. Успеху способствовало прекрасно развитое логическое мышление ученика. Твёрдая четвёрка была ему обеспечена, о чём я и доложила Тоне. Но та попросила Юру не бросать, а постараться за оставшееся время хоть немного развить его: Юра ничего не читал, литературой и искусством вообще не интересовался.

Мы принялись читать и анализировать прочитанное. Я не помню, с чего начали и как продолжали, но к концу учебного года Юра стал читающим человеком. Книги тогда были в большом дефиците, доставались с трудом или покупались с огромной переплатой и пускались по кругу. За фантастически короткое время Юра оказался способен включиться в этот круг. Он задерживался у нас по-

сле урока и, если не участвовал в общем разговоре, то с большим интересом слушал.

Настало лето. К вступительным экзаменам готовиться почти не было нужды: Юра был уверен, что легко поступит, и решил подработать грузчиком. Разбитая на этом благородном поприще бутыль с кислотой и лёгкий химический ожог роговицы глаза роковым образом изменили Юрину судьбу. Нельзя было читать и писать какое-то время, а значит, поступление в МГУ пришлось отложить на год.

Наши занятия тоже были завершены. Я уже обрела горячую благодарность Юриной мамы, выраженную как словесно, так и материально – в виде прелестных духов «Дориссимо», которые поначалу не хотела брать, но мне не оставили такой возможности, и они стали моими первыми настоящими духами. А то, что получила я свои первые духи не от мужа (замужем я в то время была второй раз), не от поклонника, а от ученика, было знаково, пожалуй.

Юра не оставил мой дом. Он продолжал ходить и провоцировать меня на литературные беседы во время моей неизбежной возни на кухне, и мне это было интересно и незатруднительно, пока я не заметила раздражение Глеба. «Он просто влюблён в тебя», – сказал ревниво мой молодой муж, и я на всякий случай почти прекратила наши разговоры с Юрой.

Но Глеб ошибался. Почувствовав моё желание отдалиться, Юра немедленно начал дружить с моим сыном Антоном, который был на три года моложе его, что в Юрином возрасте должно было скорее помешать дружбе, если бы не произвольность намерения. С этих пор Юра позиционировался у нас как Антошин друг, что, безусловно, Антоше льстило.

Чтобы не терять год, Юра поступил в местный политех, но на занятиях появлялся редко и был отчислен за неуспеваемость. Тогда же он начал писать стихи.

Этот год стал для Юры судьбоносным. Он как будто открыл для себя огромный мир, раньше от него скрытый. Новые интересы спровоцировали появление новых друзей. Он их тоже притаскивал к нам. Я помню двух юных поэтов: крупного увальня по прозвищу Птица и изящного блондина Сергея Латышева. Иногда я встречала Юру на улицах, в шальной компании и крепко выпивши. Богема закрутила его. В сферу интересов вошла музыка, рок, что было естественно для того времени. Мой муж тоже был страстным поклонником и знатоком рока. Это их очень сблизило, и теперь Юра воспринимался всеми как друг Глеба.

Следующим летом Юра уехал в Москву, поступил в МГУ на физический факультет и полгода мы не виделись.

Он появился у нас зимой, во время студенческих каникул. Уже родился Митя, у меня пропало молоко и были проблемы с кормлением младенца, и много других. Я даже не помню, как возник Юра посреди комнаты. Звучал «Аквариум» Гребенщикова, крошечный Митя молчал в младенческой Антошиной кроватке, которая попутешествовав и послужив другим детям без малого пятнадцать лет, вернулась к нам, а Юра с Птицей возвышались в центре, и Юра говорил и говорил. Он рассказывал о философском факультете, как интересно там, и какие там настоящие люди, а на физике нечего делать, потому что всё интересное происходит на гуманитарных факультетах. Я не верила своим ушам и молчала, пока он не сказал, что на физику не вернётся, а попытается перевестись на философский или филологический, и, если не удастся, будет поступать заново. Я пришла в ужас. Перед глазами стояла Юрина мама, всегда такая внимательная и благодарная, и я чувствовала свою неизбывную вину перед ней. Почему-то именно свою.

Его, конечно, не перевели, и с поступлением тоже возникли проблемы. Юра опять жил в нашем городе, немного подрабатывал и подолгу просиживал у нас.

Летом стали приезжать гости. Юра, уже на правах друга дома, находился у нас почти постоянно и со всеми дружил. Среди моих друзей было немало православных, искренне верующих питерских интеллигентов. Обаяние веры усиливалось протестным характером такого мировоззрения. В то время оно не только не приветствовалось официальными структурами, но было почти опасно. Юру, как всегда, увлекали разговоры. А ближе к августу он уехал поступать, но уже не в Москву, а в Ленинградский университет.

Юра провалился на сочинении. Это было несправедливо. Концепция его сочинения «Народ в поэме Гоголя «Мёртвые души», рассказанная мне, отличалась глубиной и оригинальностью. Но лишних отсеивали – это была обычная практика приёмных комиссий, при чём здесь справедливость? Ведь получи он любую оценку выше двойки, пришлось бы допустить этого иногороднего без протекции к устным экзаменам и создать себе лишние проблемы.

Вернувшийся Юра был зол и негодующ, и я вполне разделяла его чувства. Но съездил он в Питер не без пользы. На груди его скромно поблёскивал крестик, любимым чтением стало Евангелие, а цитирование его – привычкой.

Наш университет был гораздо менее переборчив, и Тониного крестника приняли на филфак в том же году, несмотря на то, что сроки приёма прошли.

Учился он без большого усердия, но чтобы удерживаться на плаву и даже иногда блистать, Юре с его способностями и начитанностью усилий не требовалось. Его больше интересовали околоуниверситетские дела, всяческие акции протеста, митинги, которые начали расцветать тогда махровым цветом.

Одно из его выступлений на митинге задело университетскую администрацию, которая была ещё достаточно сильна, чтобы за такое отчислить. Юру отчисление огорчило мало, поскольку он всё-таки хотел вернуться в Москву. А пока он поступил в ученики к фотографу и даже увлёкся новым делом.

Тогда же у Юры появилась девушка. «Я поражаюсь, – говорила Тоня, – он не может быть интересен женщине. Он совсем не похож на мужчину». Она ошибалась. На мужчину Юра был не только похож, благодаря плотному телосложению, но, по-видимому, им и являлся. Идентифицировать его таким образом Тоне мешала, должно быть, Юрина склонность к ипохондрии и постоянная сосредоточенность на самом себе.

Варя была выпускницей романо-германского факультета. Маленькая ладная блондинка, смотревшая на Юру с обожанием. Они встречались совсем недолго и как-то незаметно оказались женаты.

Они ходили ко мне уже вдвоём, хотя мне было сильно не до них. Семья моя трещала по швам, не выдерживая наличия маленького ребёнка. Мой молодой и прекрасный муж, выпрашивавший сына четыре года, преодолевший при горячей поддержке друзей и родственников моё стойкое сопротивление, вдруг оказался «не готов», по его словам, к отцовству. Сначала он впал в депрессию, затем пришёл к пониманию, что не может «жить мещанской жизнью» и, в конце концов, покинул нас, – в то время как у меня, он справедливо рассудил, «выбора не было» (цитирую точно).

Выбора не было. Я даже не могла лечь в больницу, чтобы помочь себе пережить горе, снова научиться спать и чувствовать вкус пищи. До начала учебного года оставалось совсем ничего, и директриса, заметив что-то и вызвав меня на откровенность, немедленно уменьшила мою недельную нагрузку с полутора ставок до одной: меньше дать было нельзя.

– Да что вы, – сказала она, – ребёнок будет болеть, а кто вас заменит? Это означало в перспективе медленную голодную смерть, поскольку справки по уходу за больным ребёнком, кото-

рые выдавали у нас вместо больничных, не предполагали оплаты. А маленькие дети довольно часто болеют, в этом директриса была права.

Мне было не до Юры. И я не помню, когда заметила, что стали пропадать книги. Пропадали какие-то особенно нужные, и я мучительно вспоминала, куда могла сунуть или кому дала почитать. Впрочем, некому уже было давать. Мой дом, обычно заполненный гостями и дивными утончёнными разговорами, был пуст, словно зачумлённый. Меня оставили все, кроме Тони. Ещё Юра приходил часто, иногда один, а иногда с Варей.

Мама сказала сразу: книги ворует Юра. Я не позволила ей договорить, но стала замечать, что Юра не сидит со мной в кухне, как раньше, развлекая беседой, пока я готовлю еду, а прямо с порога говорит: я подожду Антона, – и направляется в его комнату, не раздеваясь и не оставляя сумку на веранде, и часто уходит, не дождавшись.

Я пыталась увлечь его беседой, или даже говорила, что будет лучше, если он посидит со мной, но Юра уже мало на меня обращал внимания и, буркнув, что он лучше музыку послушает, двигался дальше, как танк.

Жизнь моя текла своим чередом, всё усложняясь и усугубляя проблемы. В два с половиной года у Мити началась ацетонимия. Это такой синдром: из-за недостатка какого-то фермента, жиры плохо расщепляются, и ацетон поступает в кровь. Если упустить момент и не поставить капельницу, может наступить кома. Мы уже два раза попадали в больницу по скорой. Там мне объяснили, что годам к шести всё это пройдёт бесследно, если я буду достаточно осторожна, то есть уберегу ребёнка от инфекций (о детском саде не может быть и речи) и обеспечу диетическое питание. В противном случае, после шести лет может начаться диабет и различные жуткие последствия этой тяжёлой болезни: отслоение сетчатки глаза, например. Кроме того, сказали мне, у «ацетонщиков» скверный характер. Воспитывать их нельзя, только хвалить и успокаивать. И я хвалила. Митя в ярости рвал детские книжки, которые было не достать, не в силах сконцентрировать внимание при чтении ему вслух, бил посуду, которую уже негде было купить, а я гладила его по голове и говорила: ничего, деточка.

Юра с женой навещали нас часто, поздравляли с праздниками, помнили о днях рождения, фотографировали меня и Митю. Но мне с ними было неловко, и это чувство только усиливалось. «Не буду отмечать день рождения», – говорила я Юре. – «Но мы всё равно придём», – отвечал он, глядя на меня честными глазами.

Вокруг меня стали активно говорить об эмиграции и даже уезжать. Эта мысль, когда-то очень меня занимавшая, вновь вошла в сознание. При синагоге открылась группа изучения иврита, и я присоединилась к ней. Занятия вела пожилая дама, много лет назад сбежавшая из Израиля, убоявшись войн и спасая от армии подрастающую дочь. Звали даму Лея. Она владела разговорным ивритом, немного читала и вела уроки по самоучителю.

Когда-то совсем юной девушкой она прибыла в Израиль из послевоенной Польши, спасаясь от погромов. Лея с готовностью впитала идеи сионизма и принялась строить кибуц с такими же, как она, уцелевшими в Катастрофе молодыми евреями. За одного из них вышла замуж, родилась дочь...

На их долю выпало много тяжёлого труда и потерь. В одной из войн погиб её муж. Лею стали мучить страхи. Войны и провокации продолжались. Девочка подрастала, и она боялась её потерять, как потеряла мужа. Но возвратиться в Польшу она не могла – слишком много пережила там во время войны и особенно – после.

Каким-то образом Лея добилась разрешения въехать в Советский Союз для себя и дочери и осела в нашем городе. Приняли их здесь неласково: Советский Союз давно определился в отношении ближневосточного конфликта и занял позицию отнюдь не произраильскую. Должно быть, и здесь Лея с дочкой претерпели немало, и это отразилось на их лицах печатью безнадёжного уныния. Пути назад не было долгие двадцать лет.

И вот, наконец, стал возможным выезд в Израиль. Лея подала документы, а пока суд да дело, помогала «Сохнуту» в благом деле обучения будущих репатриантов ивриту.

Других книг и других специалистов в нашем городе не было. Если у кого-то возникал вопрос, Лея сердилась и вместо ответа, которого у неё не могло быть, требовала внимательно смотреть в книгу.

Меня очень заинтересовала грамматическая система нового языка, и Лея почти не мешала. Через короткое время я стала пытаться отвечать на вопросы сокурсников. Лея сердилась поначалу, но потом поняла, что это удобно, и говорила презрительно: «Не понимаешь? Спроси у Ани».

Однажды я сказала Юре, что наш отъезд – дело решённое. Реакция была неожиданной, он почти кричал: «Это невозможно! Вы русский человек, Анна Михайловна!» Я как можно спокойнее возразила: я еврейка, и он об этом знает. Но Юра продолжал говорить, что я самый русский человек из всех, кто ему знаком. Должно быть, это следовало считать комплиментом.

Освоение самоучителя подошло к концу, уехали почти все мои товарищи по группе и сама учительница Лея, а мы задержались. Зимой меня разыскала начальница новоиспечённого городского филиала «Сохнута» и предложила преподавать иврит у них. Это была авантюра, и я поначалу её отвергла. Но дама оказалась настойчивой, и я купилась на возможность учиться на сохнутовских курсах для учителей иврита в Киеве, Москве и даже в Израиле. На этих курсах преподавали настоящие учителя, нам выдали настоящие учебники и словари.

Кроме острого интереса к языку и к стране, у меня был ещё один неслабый мотив учить иврит: поездка на семинар в Израиль. Группа для этой поездки составлялась в результате конкурсного отбора. Критериями были результаты тестов, участие в семинарах и на последнем этапе – открытый урок. Шансов у меня было немного, поскольку конкуренцию мне составляли учителя из Киева, Москвы, Харькова, Львова и т.п., где «Сохнут» работал уже давно, а при нём – учителя из Израиля и все необходимые пособия.

Времени было мало. Его съедала школа, частные уроки русского языка, чтобы не помереть с голоду, тяжкий провинциальный быт, дети... Оставалась ночь. Чтобы не мешать никому спать, я расположилась на своей крошечной веранде прямо у входа. Раскрытый учебник и словари не нужно было убирать, они лежали на столе в полной боевой готовности и были доступны в любую свободную минуту.

Однажды, возвращаясь с работы, на углу своей улицы я встретила Юру с Варей и с сыном моей питерской подруги, который на сей раз остановился у Юры, поскольку с ним давно дружил, разумеется. Им было весело, но моё появление их как-то смутило, или мне это стало казаться потом? Они сообщили, что были у нас, ждали Антошу.

– Почему же ушли? – спросила я. – Антон скоро придёт.

Но они не захотели возвращаться. Я почувствовала знакомое раздражение: Юра всегда ждал моего сына тогда, когда его не могло быть дома, и уходил, как правило, перед тем, как тот должен был вернуться.

Дома моё раздражение сменилось почти шоковым переживанием. Стол на веранде опустел. Исчез учебник, по которому я занималась, и словари. Оценить такую потерю невозможно. В нашем городе этих книг просто не было. Мне казалось, что моя жизнь, которую я леплю и восстанавливаю с таким трудом, опять разрушена кем-то равнодушным и наглым. И дело было не только в том, что надежда на семинар в Израиле превратилась в безнадёжность.

Иврит тогда значил для меня гораздо больше, чем эта поездка. Он собирал меня по кусочкам и восстанавливал до нормального человека. Я выползала из своей застарелой депрессии и снова училась радоваться жизни.

Мама с Митей всё это время были в комнате. Они удивились, что гости ушли, не попрощавшись. На мои вопросы о книгах у неё ответа тоже не было...

Когда-то я уже жаловалась Тоне на Юру. Она сказала: «Ты не схватила его за руку, а значит, не можешь утверждать...» И я замолчала. Однако последнее происшествие отмело необходимость приличий, я не могла это стерпеть и опять обратилась к Тоне. Она поохала вместе со мной и сказала как тогда: «Ты уверена, что это он? Ты не схватила его за руку и уверенной быть не можешь». Но я всё-таки рассказала Антону. Он тоже не мог поверить, тем не менее, решил сходить к ним домой.

Юра с Варей снимали двухкомнатную квартиру. Комнаты были смежные, и их большая и хорошо составленная за короткое время библиотека находилась почему-то в спальне, куда посторонние не входили. Юры не было дома, когда пришёл Антон. Он сказал Варе, что, пока ждёт, хочет посмотреть книги, о которых рассказывал Юра, но получил жёсткий отказ. «Жди здесь, – сказала Варя, – туда входить нельзя».

Ситуация была совершенно безнадёжна, я оказалась бессильной что-то изменить и утешала себя тем, что скоро мы уедем навсегда, а Юра останется здесь.

Учебник мне прислали недели через три из Донецка: у кого-то оказался лишний. До семинара в Москве оставалось одиннадцать дней. На эти оставшиеся дни была запланирована поездка к морю для оздоровления детей. Поехали впятером: моя питерская приятельница с дочкой Митиного возраста и я с племянником и Митей. Сняли две крошечные комнатки, удобства во дворе. Почти вся еда – с собой. Готовка и стирка – первобытным способом.

Учебник был всегда при мне. На пляже, во время купания детей, я садилась ближе к воде, дабы успеть их вытащить в случае чего, и по возможности оберегала страницы от морских брызг, поскольку книгу предстояло вернуть. Ночью, уложив детей, усаживалась в тесной летней кухоньке: лампочка была только там – хозяева экономили электричество. За десять дней я успела прочесть этот учебник и сделать все грамматические упражнения, но потом в течение всего семинара чувствовала недостаточность своей подготовки по сравнению с другими участниками.

Юра появился у нас в день моего возвращения.

– Поздравьте меня, Анна Михайловна, я еврей! – сказал он торжественно мне, в очередной раз обалдевшей от его наглости.

– Неужели? Как вам удалось? – безнадёжно спросила я, уже понимая, чем мне это грозит.

Оказалось, что его дед по материнской линии, с которым бабушка развелась до рождения дочери, еврей. Этот факт тщательно скрывался в семье, но теперь старое свидетельство о рождении мамы извлекли из семейных тайников. Отныне они все получили право на въезд в Израиль в качестве его полноправных граждан.

Спасенья от Юры не было.

Меня всё-таки включили в группу израильского семинара – помог открытый урок. Поездка была потрясающей, незабываемой. Израиль не просто восхитил, он был по мне. Я убедилась, что хочу здесь жить и готова взять ответственность за всю семью, которая за мной последует.

Мы дожили до лета, оформляя документы, решая сложные проблемы, связанные и не связанные с отъездом, и, наконец, оказались в Израиле.

Юра в этот последний год редко бывал у нас. То ли библиотека наша сильно поредела, а притока новых книг не ожидалось, то ли потому, что он уже учился заочно в Московском православном институте на искусствоведческом факультете, и эта учёба его так увлекала, что не оставляла времени на визиты. Можно было надеяться, что он забудет о своей причастности к еврейству.

Не тут-то было. Через несколько месяцев после начала нашей жизни в Израиле было получено сообщение о приезде Юриных родителей. Мы приняли их у себя дома, помогли снять квартиру и приспособиться к новым условиям. Надя и Коля оказались добрыми и благодарными людьми, и понятно было, что их используют в качестве первопроходцев, пролагателей дорог. В свободное от изучения иврита время они немедленно начали зарабатывать деньги на самых тяжёлых и грязных работах и отсылали их сыну с невесткой, которыми очень гордились.

Юра с Варей прибыли через год. Варя была на сносях, и они решили, что родить ребёнка лучше в Израиле.

Я чувствовала себя полной идиоткой. С одной стороны, необходимо было разделять радость Юриных родителей, мне очень симпатичных, с другой – приезд человека, который уже давно вторгается в мою жизнь против моей воли, приносит столько неприятностей и даже несчастий под видом доброжелательства, вызывая бессильную ярость, от которого я тщетно много лет пытаюсь избавиться, оставаясь в рамках приличий, – радости вызвать не мог.

Однако предстоящее рождение ребёнка, даже не своего, сильно смягчает нравы и отношения. Ожидание его рождения как-то вышло на первый план, оттеснив всё остальное.

Молодые родители не хотели заранее знать пол младенца и подбирали имена и для девочки, и для мальчика – на всякий случай. Имена они выбрали еврейские, исторические: Дебора и Яаков.

Яша родился в результате кесарева сечения, белокурый, хорошенький, и я была искренна в своей радости за их семью и поздравлениях. Мне казалось, что с приходом этого младенца началась новая жизнь, Юра станет опять славным, умным и искренним, каким был когда-то. А я избавлюсь от постоянной сковывающей неловкости и ожидания подвоха.

Они приходили ко мне с колясочкой и расхаживали по всей квартире, как всегда. И когда исчез том «Золотого века испанской поэзии», поняла, что расслабилась зря. После этого я, демонстративно до неприличия, не оставляла их одних и просто ходила следом. Трудность заключалась в том, что их было двое, а я раздвоиться не могла.

Надо сказать, что они не только присваивали мои книги, но и дарили другие, и всегда что-нибудь хорошее. Ужас был в том, что у меня никто не спрашивал, хочу ли я этого, а игнорируя мою волю, они делали так, как лучше – кому? – им, должно быть.

Впрочем, однажды Юра спросил, не хочу ли я обменять девятый том Эренбурга, где продолжение «Люди, годы, жизнь», на что-то, не помню что. Я отказалась. «Если вам нужно, – сказала я, – возьмите почитать, но менять я не стану». Он взял, прочёл и вернул, я это хорошо помню. Но потом книга пропала всё равно.

Юра и Варя были на редкость гармоничной парой. Всегда вместе, всегда заодно, они стояли непробиваемой стеной, ловко отстаивая свои интересы у города, мира и собственных родителей. Надя и Коля даже как-то перестали называть их по отдельности, а обозначали словом «они».

Иврит им давался легко, они быстро продвигались. Юра продолжал свою учёбу в институте и дважды в год летал в Москву на сессию. Ему оставалось всего ничего до окончания. Он даже выяснял возможность работы иконоведом в Иерусалиме – и вдруг объявил, что остаётся в институте ещё на год, поскольку решил стать священником. Варя не возражала, разумеется, а если и возражала, этого никто не слышал. Родители сильно удивлялись, так сильно, что не могли скрыть, но на это никто вообще не обращал внимания.

Его рукоположили через год, и он приступил к службе в Назаретском храме Благовещения сначала в качестве дьякона, а по-

том – священника. Назарет (Нацерет) – древний город в Галилее, где, по преданию, прошли детские годы Иисуса Христа. Это довольно далеко от Рехавафа, и вся семья Назарцевых переехала туда.

Испытала ли я облегчение? Или не верила уже в возможность избавиться от Юры? И почему терпела столько времени его присутствие против своей воли? Почему не сказала давным-давно, что не позволяю ему переступать мой порог, или что-то другое, определённое и окончательное? Что останавливало меня? – Тонино «не имеешь права», роль учительницы, беззащитность Нади – или причина лежит глубже, в природе кролика и удава?

Они звонили сначала часто, особенно Надя, потом реже, рассказывали о красотах Нацерета и озера Кинерет, настойчиво звали в гости, удивлялись, что мы не едем. Я вяло отбивалась, а на значительном расстоянии большего не требовалось. У них родился ещё один ребёнок, потом ещё один...

Антон и все его многочисленные друзья, которых Юра настойчиво зазывал, тоже не ездили к ним и постепенно совсем перестали общаться. Я спрашивала, почему?

– Неинтересно, – отвечал мой леволиберальный сын, – скучно с ним очень стало.

Надя отошла от меня, затаив материнскую обиду на мою отчуждённость от Юры. «Зачем в Израиле такое знакомство», – жаловалась она Тоне.

– «Я тебя понимаю, – сказала мне Тоня по телефону, – православный священник в Израиле – это, наверное, компрометирует, это даже опасно».

– «Православный священник, ворующий книги, это вообще опасно, везде», – ответила я ей. Но разве дело в книгах? Разве только в книгах?

Однажды Юра позвонил после большого перерыва, и я не узнала его голос: «Юра, это вы?»

– Отец Георгий.

– Ну, какой вы мне отец, Юра. Как Варя, дети?

– Матушка Варвара и детки в добром здравии.

Оказалось, что Юре надо в Иерусалим к определённому времени, и он не придумал ничего лучшего, как заночевать в Рехавафе.

Почему я согласилась? Израиль не такая большая страна, чтобы останавливаться в пути на ночлег. Опять во мне показался кролик и разостлал уши по спине.

Он звонил с дороги раз десять, отец Георгий, Юра Назарцев из Назарета. Сообщал, что сел в автобус, что подъезжает к Тель-

Авиву, что вышел на центральной автостанции и ждёт автобуса на Рехаваф, что в автобусе напротив него сидят две нескромно одетые девицы, но он на них даже не смотрит, и наконец, – что вышел на нашей остановке.

Когда я открыла дверь на его звонок, передо мной оказался бородатый человек в простой рясе, подпоясанной чуть ли не верёвочкой. Почему-то это было неожиданно, хотя, понятно, он и не мог быть одет иначе.

Предложенная мною еда Юру не вдохновила. Он строго сказал, что сейчас пост, и борщ со сметаной не подобает священнику. Я предложила сделать салат, но Юра подумал и сказал, что будет всё-таки есть борщ, поскольку он в пути, – «Бог простит». Сметану тоже попросил не убирать.

За столом Юра много говорил о своих успехах, о замечательных своих проповедях, о том, как ценят его в Иерусалиме и знают в Москве, что в его храм приезжает много известных людей, и он со многими теперь знаком, с Никитой Михалковым, например. Как посетил храм российский патриарх Алексий II и благословил Яшеньку. Но есть и неприятное. Вот, церковный староста.... «Вы знаете, от кого произошли старосты? – спрашивал Юра. – От мытарей. Помните Левия Матвея? Тот ничего не понимал, и этот ничего не понимает».

Но я знала только, что человек произошёл от обезьяны, а насчёт старост у меня не было своего мнения. Оказалось, что их староста взял за обыкновение пересчитывать пожертвования, которые паломники давали на храм.

– Все, кто прибывает морем в Хайфу, все они сначала посещают нас и, как правило, все жертвуют, – быстро говорил Юра, – так он сказал, что я не имею права забирать всё, а должен часть оставлять для храма. А я ему сказал, что я и есть храм.

Мне трудно было согласиться, поскольку на храм Юра похож был мало.

Я спросила, на что они живут, платит ли ему кто-нибудь зарплату. Юра ответил, что никакой зарплаты у священника нет, и он считается безработным и получает пособие от Израиля на себя, матушку Варвару и всех своих детей.

Красноречие Юры иссякло так же внезапно, как и возникло. Видимо, его новости были исчерпаны, а подробности нашей жизни его не интересовали. Он сказал, что, пожалуй, пойдёт спать, и попросил разбудить его очень рано. «Зачем, – спросила я, – ведь до встречи в Иерусалиме много времени?» – «Я хочу пройти по улице, где жил. В рясе». Я уже ничему не удивлялась.

Утром я не смогла разбудить Юру. Когда он встал, ни о какой прогулке речь уже не шла, надо было просто успеть на автобус. Не знаю, почему я подошла к окну и смотрела, как отец Георгий выходит из подъезда. На секунду раньше него из того же подъезда вышла, на ходу доставая ключи от машины, девушка. Обычная израильская девица: джинсы, кроссовки, майка и самооценка на уровне крыши. Юра шёл за ней, сохраняя минимальную дистанцию, и спина его под рясой выражала предвкушение. Он рассчитал верно: подходя к машине, девица неизбежно должна была оглянуться. Она не вскрикнула: всё-таки армия за спиной, – но изумление, смешанное со страхом, на мгновение отразилось в её фигуре. В Рехавафе нет христианских храмов, и как выглядят православные священники, она могла не знать. Девушка быстро юркнула в машину и исчезла, а Юра в рясе, подпоясанной верёвочкой, с чувством глубокого удовлетворения зашагал в сторону автостанции.

Больше мы не виделись.

Через несколько лет я узнала, что Юра каким-то образом познакомился с Берлускони, и тот сказал, что в Италии тоже есть православные общины, и что такой образованный молодой священник, да ещё с такой прелестной семьёй: у Юры с Варей родилось тогда уже четверо детей – был бы очень желателен. И будто бы было получено персональное приглашение от самого премьер-министра.

Должно быть, они поспешили и что-то сделали неправильно. В Италии выяснилось, что они попали в какой-то юридический капкан, из которого выбраться и легализоваться невозможно.

Они и сейчас живут в Италии на птичьих правах, в маленьком городке, по словам Тони, больше похожем на музей, чем на город. У них уже шестеро детей, красивых, здоровых и очень умных. Содержит их, как может, маленькая православная община да ещё родители Юры помогают.

Надя и Коля уже на пенсии, но работают. Всё, что зарабатывают «по-чёрному», отсылают детям. Они продали купленный совместно с Юрой дом, поскольку огромные выплаты банку не под силу людям, получающим пособие, и пытаются восстановить так называемые «квартирные» – помощь не имеющим своего жилья. Пока это не удаётся, и они ругают Израиль. Надя тяжело болеет, ей сделали несколько операций, и она продолжает лечение. Но в городишке, куда завёз их Юра, далеко не всё лечение можно получить. Нужно ездить в Хайфу. Добираться до Хайфы без своего транспорта тяжело, и она опять ругает Израиль. Внуков она очень любит, тоскует и ездит к ним два раза в год, чтобы помочь, а Коля – гораздо реже. «Шумно там очень, – говорит, – я не могу».

Сергей Слепухин

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

«Я снова пишу стихи», – первое, что сказал Чуйков, когда «Votka» была откупорена и нетерпеливый холодный напиток протек в стаканы. «От меня ушла Трáва. Это она, она все эти годы не давала мне писать! Баста – расстались, разъехались! Неделю назад свалила в Москву, к дочери». Мы сидели на балконе маленькой частной гостиницы в Сиде. На ночном горизонте в лесах парного воздуха синели горы, в мечтательной оплошности громоздили на небо очередную вавилонскую башню. У подножия стройплощадки мерцал расплавленный битум моря.

Новых стихотворений было два. Я попросил прочесть еще раз, автор с удовольствием исполнил. «А почему *яр аметист*? – это с моей стороны было непростительной ошибкой, – аметист, он же бледный и холодный, "ярый" что-то горячее, в руках не удержать». – «Я *лучше* знаю, *как, когда и какие* расставлять слова!!!» – сомнений не было: мой старший товарищ, действительно, знал в ярости толк. Сердитый, злой, лютый, запальчивый, жестокий, резкий, скорый... *Убояхся тебе, яко человек яр еси. Муж ярый не благообразен...*

И я убоялся. «Спокойной ночи, Семен Евсеич!» Мы расползлись по своим каморкам.

Время на Востоке однороднее, потому обозримее. Наш день начинался с турецкого завтрака – хлеб, масло, вареное яйцо, оливки, непременно, чай. Это слово не надо переводить. Общее, пару веков назад перенятое соседями у русских купцов. Слух радовало волшебное – *самэвар*. Правда, турецкие кулибины давным-давно изменили конструкцию важнейшего в жизни предмета. Вместо румяной бабы на втором этаже красовалась объемная кастрюлька, заварка в ней перепаривалась, густела, ядовито бурела. Каждое утро, отпив по паре глотков этого *ярого* пойла, мы с Чуйковым собирались на море.

За калитку, мимо бензозаправки и помойки, пересекая узкую дорогу, ведущую к храму Аполлона. Обогнуть амфитеатр, протиснуться в дыру римских городских ворот. По левую руку оставить руины библиотеки Веспасиана – мраморные облицовочные пли-

ты в песке, культи колонн, настырные колючки, беспризорные панкратиумы...

Интересная парочка. Кудрявый очкарик чуть впереди – шорты, застиранная футболка, пляжная сумка. За ним злобного вида старичок – охотничья безрукавка неопределенного цвета и возраста с тысячей карманов для тысячи мелочей, необходимых одинокому мужчине на все случаи жизни. Ногу волочит, рукой загребает – краб с перебитой клешней. Угловатые поступательные движения, ускорения, выпады.

Мнимые начала, мнимые концы. Никогда нельзя было сказать, когда день начинался, а когда заканчивался. Мокли на пляже, считали «купы», точили лясы. Арбузы, персики, виноград. Солнце в зените – назад, баиньки, сиеста. По вечерам выходили на променад, растворялись в разноязычье. Масляные огни магазинов, дискотня в ушах, прибой людских толп. В полночь нас выносило к знакомой калитке Яша́ Пансиона. Терраса, террасица, походные пластмассовые стаканы, бурбоны во льду. Все карабкаешься и карабкаешься по скалам, пока, наконец, не вынырнет из глубины средиземноморских чернил незабвенный товарищ Макаренко, не водрузит свои «флаги на башнях», не прогонит спать. По палатам, пацаны, на правый бок! Чок-чок, зубы на крючок!

Говорили много – и насухо, и запивая. Он верховодил, меня совсем не слушал. «А это вам пригодится, Сережа, запомните. Как-то мы с Сашей Соколовым поутру, еще не протрезвев, разбудили-таки этих уродов. *На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ножки*... Знаете? Песня такая». Я кивал. И еще в том же духе – Проффер, Наталья Медведева, о Бродском – завистливо... Петлистые разговоры: Совок и Штаты, Ирак и Буш (который спасет мир), Лукьяненко и шельмец Пулман. Ни слова о поэзии... Достопримечательности Чуйкова не интересовали. **Bourbon** on the **Rocks** был притягательнее Тауруса в тающем шоколадном креме августа.

На четвертый день вискарь закончился. Не сообразил я вовремя, не заметил нависшей угрозы. Молча, мы тащились на пляж. Полоса непроглядной черноты разделяла нас. Ничего не понимая, я терялся в догадках. У моря Чуйков выбрал шезлонг подальше от меня, уткнулся в электронную книжку.

– Семен Евсеич, хотите водички?

– Ннет!

– Арбузика? Грушку?

– Ннет!

– Купаться пойдем?

– Мне и здесь хорошо!

Злобный фырк. И тут – случилось. Перекосило рамку надбровных дуг. Крохотное черное пятнышко появилось в каждом чуйковском глазу. Пятна ширились, расползались, бугрились, выпускали фестоны. Короткое замыкание внутреннего тока. Зашипело, заискрило, задымилось. Человек с обугленной душой враждебно глядел на меня из дальнего угла клетки, которой отгородился от всего живого. И не человек вовсе – маленькая человекообразная обезьянка. Лемур – хваткий, цепкий, мстительный. Трассирующие пули осами и шмелями вылетали из глазниц, вращались, жужжали, обретали заклинательную власть. Ненависть обжигала, царапала горло, пёрла наружу. Глотка изрыгнула поток ругательств и оскорблений. Не камни – липкие, клейкие, грязные комки – полетели в мою сторону.

– Биз-не-смен хренов! Заманил меня в этот вонючий гавнюшник! Бляди! Я этим сволочам плачу аж по десять баксов, а у них теплой воды нет! А ну, иди, разбирайся!

Что-то вроде передышки – оценить мою реакцию. Большая черная размороженная медуза изменила форму, что-то похожее на человеческие черты начало медленно проступать: гримаса, но еще не лицо. Гримаса безмолвствовала, но невысказанные убойные слова плодились, как черви, меткие плевки гневных искр шлепались рядом.

Odi et amo, ненавижу и люблю. Я любил этого ничтожного человека, любил его стихи, жалел непутевую жизнь, все прощал. Наскоро собрав манатки, я махнул наверх. Нет, не выяснять отношения с Яша́-беем, который вчера принимал гостей, засиделся допоздна, заигрался на сазе и забыл нагреть воды. Мои ласты были направлены в сторону винного магазина. Там я надеялся повстречать старину Джонни Уокера, который, как мне подсказывало чутье, станет лучшим парламентером в вечерних переговорах с Чуйковым.

– Да-а, Сергей! За такой номер в Неаполе взяли бы двести евро и еще сто пятьдесят попросили бы доплатить за роскошный вид, – как мало, оказывается, надо человеку для счастья. И оно, счастье, сулило быть безграничным и безмерным – мы и выпили-то только по первой. Уокер не сплоховал. И опять Марусенька вела задушевные разговоры с домашними птицами, два нетрезвых ухаря беспокоили мирный сон «уродов» вблизи куперовских озер, а Наташка Медведева пела что-то когда-то в каком-то затрапезном шалмане.

Не помню, какой по счету стопарь вынес на поверхность теперь уже довольно мутного разговора известную аксиому, что все

бабы суки. Ни одна Ева не была забыта в тот вечер. Семен Евсеевич вспоминал, как жена одного его приятеля заводилась с пол-оборота, устраивая мужу жуткий скандал с мордобоем. Это происходило всякий раз, когда в дверном проеме нарисовывалась кривобокая фигура Чуйкова, готового к постою в гостеприимном доме. К другому, столичному, собутыльнику Евсеич и сам не рвался в гости. Вторая половина друга-поэта промышляла тем, что зашибала неплохую деньгу, фотографировала на свадьбах, юбилеях и прочих увеселительных мероприятиях. Пополнить один из ее толстых альбомов изображениями своих пьяных художеств Чуйкову отнюдь не улыбалось. Добрые люди давно подбивали фотографиню «толкнуть» портретную галерею отдыхающих русских людей за границу. Там бы это пошло «на ура». Никто, конечно, не сомневается, что *веселие на Руси питие есть*, но чтобы такой цирк, да с такими конями!

– Ну а Тра́ва? – спросил я.

– Тра́ва запрещала мне писать! – сказал, как отрезал. Я испугался, что его снова закоротит.

– Что Тра́ва, Тра́ва ... – он произнес домашнее имя жены с какой-то особенной нежностью, с небным, но не раскатистым «р», с открытым, чистым, полным мольбы протяжным «а».

Я мало что знал об этом браке. Приятель воспоминаниями не делился, говорил скупо. Историю их отношений можно было составить по обрывкам фраз, связав их воедино строчками стихов.

Света Травчук, Тра́ва. В юности Семен был влюблен, посвящал Светлане стихи, просил руки и сердца, она же неизменно отвечала отказом. «*Одари меня, Господи, девушкой Тра́вой*». Просьба услышана не была. Их бросило в разные стороны, но имя молодой поэт навсегда увез с собой.

В Америке, женившись, Чуйков сполна намотал соплей на кулак, а Светлана – их же – намотала, выйдя замуж в России.

Потом рухнула стена, началась перестройка, Семен Чуйков нагрянул в Союз покорять столицу стихами. Скакал на белом коне, гарцевал, кругом кричали «ура», барышни, как водится, кое-что бросали в воздух. Стихи охотно публиковали «толстые» журналы, даже деньги платили. Но деньги были «деревянные», в наступавшие смутные времена на них невозможно было что-либо купить.

С букетом астр и кульком советских купюр заявился Ромео в семейное общежитие к давней зазнобе. На этот раз Тра́ва оказалась сговорчивее, уступчивее. Следила собачьими глазами, сама вкладывала в руку поводок. *Американ бой, уеду с тобой*, как без умолку щебетали тогда певчие птички. Собрав нехитрые пожитки, взяв на руки дочку, Светлана собралась на Запад. Чуйков вывез.

В последний вечер мы спустились к морю. «*Это было, увы, давно, и не помню, а было ли. Недокрученное кино: тихих ангелов корабли гнули линии, но не могли дотянуться до нас, Ли Аннабель, Аннабель Ли. Говоришь, попытаться? Но...*» Стихи, посвященные Тра́ве. Я все-таки прочитал их вслух. Краем глаза видел, как его лицо меняется изнутри. Любовь и ненависть теперь составляли единое целое, сливались в одно нераздельное чувство. Глаза – подземные озера – были изранены любовью. Любовью ли? Ненависть оставалась ненавистью, такой, как всегда, – разъедающей ядовитой кислотой. Сквозь плеск и ворчание волн слышалось неровное гудение внутри тела. Топливо жизни занялось яростью, сгорало быстро, как игорный дом.

Тра́ва стояла перед глазами – материк, со всеми его полуостровами, мысами, заливами, непроходимыми зарослями и заливными лугами, пустынями, озерами, холмами и горами. Темная патока целлулоидных губ, ладони, прикрывающие маленькие упругие груди, горячий овраг между... Наваждение, сотканное из запаха пряных морских трав. Достигнутое никогда не оправдывает ожидания – рано ли, поздно ли, а придется сожалеть о жертве. Вдали покачивалась на волнах белая точка. Это чайка села на воду и ее понесло течением. И в ту же секунду она поднялась в воздух и полетела на восток через море.

Дома, причалы, склады, корабли, смола и краска, плавающий мусор... Время тлеть темноте. Тени наползали друг на друга, тянулись когтистыми кошачьими лапами. Узкой тропинкой мы вышли в город. Самоварное золото колец и браслетов, одноглазые бациллы мобильников в витринах. Карнавальное похмелье, липнущая слепота, горячая рука удушья. Флейты, букцины и тубы, барабаны, литавры и медь. Дымилось и смердело.

Прощальный ужин. Принесли красное полусухое. Разговор не клеился. В одном из тысячи карманов неожиданно запиликала nokia, жидкокристаллическое окно высветило взгляд далекой придуманной женщины. Почудился ее голос, медовый дух, непереносимый запах плоти.

– Вспомнила, что ты вроде в отпуск собирался. Все нормально? У нас передали, курды устроили теракт на железной дороге. Ты цел?

Губы запрыгали на побелевшем лице. Щека зарделась. Внутри головы ослепло.

– Да-да, Светик! Все замечательно. Ты-то как?

В ответ – чив-чив-чирик, фьюить-фьюить, и что-то еще, неразборчивое, на птичьем языке. Ewige Weib, идеальная женщина,

аллюзия Гёте о вездесущем идеале женского начала, оставалась в нашей мужской компании еще пару минут.

– Любит! Помнит! Заботится! Волнуется обо мне! Слышите, Сережа!

Притихли песни в саду. Шорох выскользнул из листвы.

Любит! Волнуется! Неожиданно поперхнулся. Споткнулся в себе самом. И тотчас превратился в карикатуру на плод в утробе.

– Но послушайте... Как же так, Сережа?! Ведь курды взорвали поезд две недели назад! За день до моего отпуска... Я еще думал тогда: лететь – не лететь...

Кто-то властным уверенным шагом поравнялся с нашим столиком, прошел мимо, задев мое плечо. Открыл своим ключом. Перешагнул в пустые глазницы. Раздвоился. Совершенство дьявольской, источающей мускус женственности. Ангел-губитель на маленьких изящных ножках. Холодный могильный ветер протиснулся между платьем и крыльями. Щелкнул выключатель, погас свет.

Татьяна Бонч-Осмоловская

ТИШИНА

В дверь постучали, когда я готовила ужин. Осторожный, тихий стук. А я как раз делала салат: одно авокадо, очищенное от шкурки и нарезанное ломтиками, маленький кочан брокколи, кубики ветчины, свежие грибы-шампиньоны, ложка диетического джема, несколько ягод ежевики подкислить вкус, пять желтков сваренных вкрутую яиц, пучок зелени, горсть изюма, пара крупных картошек, сваренных и нарезанных кубиками, головка репчатого лука, который в России называли ялтинским, нарезанная колечками, одна морковка, натертая на крупной тёрке, нектарин для сладости, два огурца, немного петрушки, пучок редиски, свежие листья салата, крупные, желательно бычьи, томаты, печень молодой утки, десяток фрикаделек, ложка хрена, лимонная цедра, долька чеснока, шпинат, я беру замороженный, брикетом, и оттаиваю в духовке, пучок щавеля...

Снова постучали и сбили меня. Я не могу сосредоточиться, когда барабанят в дверь! Кто там? Может, это мой тайный поклонник? Сам он, конечно, не придёт, но может прислать букет роз. Нет, лучше гиацинтов. Они нежнее, и пахнут. Хотя для гиацинтов сейчас не сезон, да и тайный поклонник не знает, что я их люблю, мы же с ним никогда не говорили об этом. Мы с ним вообще ни разу не разговаривали.

Ну какие настырные! Что им надо? Если это дочка вернулась из школы, она бы давно кричала, почему не открывают. Но она не стала бы кричать – у неё ключ. И кот не стал бы стучать, для него в двери проделана дыра, на кота, не на человека, он бы пролез. Может, пожар? Или соседка пришла поболтать? Но она вежливая женщина, она не станет так ломиться! Может, это воры? Нет, зачем ворам кричать и биться о дверь. Наверно, это книги принесли, которые я заказала на Амазоне? «Якутская ароматерапия от "а" до "я"», «Юношеские бустрофедоны пострафаэлитов», «Вагинальный эротизм», «Где поставить мягкий знак?», «Детство вепря "ы"», «Восточносибирская твердозначная ересь», «Приключения щетинистого ёжика Петьки на Дальнем Востоке и Китае», «Шелкопряд: животное или?...», «Зимовка именитых чаек», «Имя цап-

ли», «Хоровой йодль», «Фанат клавикордов», «Ложный утконос», «Менструирующий таксидермист», «Новые салаты», «Основы папирусной реконструкции».

Нет, еще рано для посылки.

Они что-то кричат. Всё в порядке, голос не дочерин. Или это служба спасения? Я читала новости в Интернете: в Европе шторм, в Мельбурне град. Может, и на нас что-то надвигается, и они ходят по домам и всех эвакуируют? Но как уехать? Оставить дом ворам, они же всё унесут, оставят голые стены. Дочь придёт со школы, а в доме – пусто? И кот, когда вернётся, – коты же всегда возвращаются домой, правда? – зайдёт, а тут ничего нет! Но как же они орут, даже сквозь льющуюся воду слышно!

А, вот и перестали. Да, кажется, тихо. Ушли. Может, открыть, посмотреть, что там? В дверь осторожно постучали.

ДЕНЬ-НОЧЬ

Закрыть плотно дверь, чтобы внутрь не нанесло снега. У ворот остановиться, погладить кота, возвращающегося домой с мышью в зубах. Поздороваться с молочником, он довезёт тебя до города. По дороге рассказывать ему сказки о стране, где всегда жара, на деревьях круглый год цветут фиолетовые цветы, и белые попугаи кричат на рассвете. Когда откроются городские ворота, войти смело. Но не говорить своего имени, лучше всего назваться Никто. В библиотеке отыскать карту южного моря. Заучить её наизусть. На рынке попроситься в услужение в скобяную лавку. Остерегаться смотреть в голубые глаза молодой хозяйки. Когда сойдёт лёд, отправиться в путь. Кочегарить на речном корабле. Каждую ночь смотреть, как приближаются звёзды. Сойти, когда корабль бросит якорь в морском порту. Носить грузы, пока не придёт шхуна с какао бобами. Упросить капитана принять тебя в команду. Загрузить трюм грузом льна и янтаря. Попасть в бурю. Попасть в штиль. В открытом море остановить руку матроса, собирающегося убить пеликана. Ударить в ответ. Спокойно выслушать приказ капитана. На берегу сначала подняться в гору, потом идти вдоль ручья в деревню. Выйти в центр площади, сесть на землю и закрыть глаза, чтобы жители поняли, что ты не желаешь зла. Поселиться среди аборигенов. Выучить или вспомнить местный язык. Охотиться вместе с мужчинами. Построить дом. По ночам смотреть на южные звезды сквозь кружева папоротниковой пальмы. Однажды утром выйти из дома. Закрыть дверь, чтобы пол не залила вода. Остано-

виться, кивнуть попугаю, грызущему земляные орешки. Поздороваться со стариком, он доведёт тебя до вершины. По дороге рассказывать ему сказки о холодной земле, где снег лежит на еловых лапах, искрясь на солнце, и реки спят под твёрдой водой. Когда предки позовут тебя, идти без страха. Но не называть им своего имени. Лучше всего объявить себя Никто. Спросить у них название всех созвездий. Поступить в услужение. Убирать хижины, готовить еду. Избегать смотреть им в глаза. Когда выйдет луна, отправиться в путь. Грести на летучей лодке. По ночам смотреть, как горят на земле костры. Сойти в лунном порту. Работать на пристани. Загружать лунный свет в хрустальные бочки. Упросить капитана звёздного корабля взять тебя в команду. Подставлять паруса под солнечный ветер. Над тёмной крышей земли разбить хрустальную бочку, пролить водопад холодного света. Глядеть вниз. Спокойно выслушать приказ капитана. Ступив на твёрдую землю, осмотреться, потом идти вдоль ручья в деревню. Зайти в храм и встать на колени – так жители узнают, что ты желаешь добра. Поселиться среди них. Выучить или вспомнить местный язык. Построить дом. Работать на поле вместе со всеми. Ночью смотреть в отражения звёзд в гладкой воде. Однажды утром выйти из дома.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ

К четвертому году прогревания на антиподском континенте Лиза освоила несколько методов спасения от несусветной жары. Море, лес, парк не выручали, вода, ветер, тень – все сдавались под восторгом яростного солнца, отзывчивой расплавленностью земли, вязкой дремотой моря. Но были автобусы с холодоустойчивыми малазийскими водителями, любящими, чтобы на головы пассажира низвергалась струя воздуха, охлажденного почти до жидкого состояния. Если не заболеть, в автобусах жару переносить было лучше всего. Впрочем, проезд в автобусе стоил металла, с каждым километром – всё более драгоценного, и к тому же – рано или поздно, из автобуса приходилось десантироваться на сковороду улиц.

Ещё были торговые центры, с их кафешками, кинотеатрами, салонами красоты, сплошь укреплёнными могучими кондиционерами, щедро швыряющими в клиентов охапки замороженного кислорода. Однако долго бродить по торговому центру было обидно, тянуло купить что-то навязчиво ненужное или съесть розово-кремовую ерунду, ударив одновременно по фигуре и карману.

И были библиотеки, соблазнов в их уставленных корешками лабиринтах было не меньше, особенно если учитывать зависимость, развившуюся у Лизы от стадии лёгкого увлечения до потребности в ежедневной дозе. И всё же, взвесив выгоды и поглядев в зубы всем возможностям, Лиза направилась в районную библиотеку, как оказалось – выловить целую стайку зайцев в летней воде.

В галерее на втором этаже библиотеки проводили презентацию книги стихов известной в местных кругах поэтессы. Обнаружив, что презентация сопровождается лёгким угощением, Лиза уверенно взяла наполненный вином бумажный стаканчик и горсть крекеров. Презентация уже началась. Стараясь не нарушить почтительного внимания полсотни слушателей, она остановилась в дверях светлого зала с окнами во всю стену. Дама в игривых кудряшках на сорокалетней голове, судя по всему, издательница поэтического шедевра, уже заканчивала представление героини. Дама потрясла над головой тоненькой книжечкой в пастельных тонах, поклявшись, что над всеми четырьмя книгами, которые в год выпускает издательство, оно тщательно работает. Ослабленные за счет потерь звуковых колебаний в воздушной среде, до задних рядов доносились отголоски заверений издательницы, что она выбирает только лучших поэтов, приглашает самых ярких художников-оформителей и показывает книги в самых достойных местах – вот как уважаемая библиотека. Под аплодисменты публики издательница закончила петь дифирамбы, засунула тромбон и пюпитр под стол и уступила место критикессе. Та выступила с таким скрупулезным анализом достижений поэтессы, сидящей тут же с томной улыбкой на губах, что завистливая Лиза развернулась и вышла в предбанник галереи, не дослушав про постоянные размышления о правах человека и про поддержку государственного культурного совета, позволившую поэтессе изучить архивы на Фолклендских, Гвинейских и Британских островах.

В кулуарах галереи кучка немолодых девушек окружила джентльмена в клубном костюме.

– Я через год закончу роман, который перевернет Австралию, всё тут изменит, – с выраженным русским акцентом вещал джентльмен. – Там будут Сталин, Брежнев, Берия, Горбачев, все будут, я обо всех расскажу. Как я с Ельциным стоял у Белого дома, меня потом по Би-би-си показывали, а генерал КГБ...

Лиза подхватила ещё стаканчик вина со стойки и присоединилась к сочувственно охающему кружку.

– У меня была лаборатория, сто человек работали, потом двести, самое лучшее оборудование, но я пошел против КГБ.

– Ах! – хором восхитились девушки.

– Я, – подтвердил джентльмен, – отказался испытывать своё изобретение на сотнях тысячах советских инвалидов, и они бросили меня в тюрьму... вы читали Солженицына?

Культурные девушки закивали.

– Они меня бросили в такую страшную тюрьму, о которой даже Солженицын не рассказывает. Это было, когда Сахаров оказался в застенках КГБ, и меня тогда же туда бросили.

– И как же вы выжили? – поразился кто-то.

– Я двадцать лет занимался йогой, это тоже было незаконно, но я все равно занимался, и им было меня не сломить. А потом меня привели к генералу КГБ, он говорит, я знаю, что ты был на баррикадах с Ельциным, а я на его стороне был, я ему помогал потом, хотя зря он всё же Горбачева уничтожил, тот великий человек, затеял эти перемены, и я знал, что будет штурм Белого дома, потому что мы с командиром Альфы жили в одном доме на Калининском проспекте, у нас гаражи рядом стояли, они только в два часа ночи развернулись и перешли на сторону Белого дома. А меня снимало Би-би-си, и генерал КГБ мне сказал: я знаю, ты не враг России, хочешь – будут тебе любые фонды, оборудование, лаборатория, всё, что скажешь, или – завтра получай паспорт и уезжай, куда желаешь, и я отказался от всех их денег, взял русский паспорт и приехал в Австралию, как в десять лет поклялся, когда увидел, как мама сжигает адреса австралийских родственников. Я её спросил, зачем ты это делаешь, а она сказала – это двадцать лет тюрьмы, и я поклялся, что найду их всё равно, и когда я сопровождал министра путей сообщения, бизнесмен мне сказал, говори, что ты только хочешь, я всё сделаю, и я попросил позвонить по телефону в Канаду, и вот я в первый раз в жизни слушал, как на той стороне рыдает наша родственница. Великий будет роман, про Ельцина, как он на танке стоял, знаете?

– Да, – не выдержала Лиза, – я тоже там была, у Белого дома, – и продолжила по-русски, – а вас когда из застенков КГБ выпустили, товарищ?

Джентльмен охнул, разлил вино на интимную область клубных брюк и изменил цвет лица к оттенку, сочетающемуся с багровостью пятна.

– Ах, ну что вы так неосторожно, – упрекнула Лиза, – давайте соли насыплем, пока не впиталось.

Джентльмен нечленораздельно замычал и попятился за спины поклонниц.

Лиза пожала плечами.

– Всё равно придется разбираться, могли бы прямо сейчас решить, – бросила она вслед исчезнувшему джентльмену.

Девушки с ужасом смотрели на неё. За стеклом листва волновалась в бирюзе неба, на соседней веранде обнаженный по пояс молодой малазиец вешал бельё на гелиотроп спутниковой тарелки. Лиза подняла руки и понеслась вслед крошечному самолету, прорезающему синеву серебряным наконечником стрелы, сорвавшейся с тетивы слепого лучника.

Даниэль Клугер

ИГРОК

Готическая повесть в трех балладах с прологом и эпилогом, в которой, среди прочих, упоминаются добрый король Генрих Наваррский и великий изобретатель и художник Леонардо да Винчи.

ПРОЛОГ

15 мая 1610 года в Париже фанатик по имени Равальяк убил короля Генриха IV. Среди оплакивавших эту смерть был некто Мануэль де Пименталь, испанский эмигрант, друг и постоянный карточный партнер короля. Генрих однажды пошутил: «Король французов, конечно, я, но король картежников – безусловно, вы, Пименталь». Настоящее имя этого короля картежников было Исаак бен-Жакар, уроженец Лиссабона, и эмиграция его из Испании была вынужденной. После смерти Генриха ничто не удерживало Мануэля-Исаака в столице Франции. Он счел за благо покинуть Париж и отправиться в Амстердам, налегке – с одной лишь колодой карт в кармане.

ДРУГ ЧЕТЫРЕХ КОРОЛЕЙ

Согласно одному из толкований, карточные короли изображают следующих исторических деятелей: пиковый – Давида, трефовый – Александра Македонского, бубновый – Юлия Цезаря и червовый – Карла Великого (Шарлеманя).

Эй, девка, ставь на стол четыре кварты,
Да придержи браслетик на руке!
Картежник Пименталь раскинет карты
Сегодня в амстердамском кабаке.

За окнами дождливая погода,
Тоскует несогретая земля,
И у врагов – крапленая колода,
Но есть друзья – четыре короля!

Пиковый король – псалмопевец Давид,
Трефовый – суров Македонец на вид,
Бубновый – у Цезаря мощная длань,
Червовый король – Шарлемань.

Совсем недавно тучи стали ниже,
Совсем недавно всё пошло не так,
И Генриха Наваррского в Париже
Зарезал проходимец Равальяк.
Жизнь Пименталя повернулась круто,
И ни синицы нет, ни журавля.
Помогут ли в последнюю минуту
Ему друзья – четыре короля?

Пиковую арфу настроит Давид,
Трефовым копьем Александр пригрозит,
Бубновый штандарт держит Цезаря длань,
Червовый огонь – Шарлемань.

Пускай отныне недруги судачат,
Пускай враги твердят наперебой,
Что отвернулась от него удача,
Что был обманут Пименталь судьбой.
Уйдут в туман Парижи, Амстердамы,
Растает в небе призрак корабля.
...Венок ему сплетут четыре дамы,
Поднимут гроб четыре короля.

Молитву прочтет псалмопевец Давид,
Печально главу Македонец склонит,
И Цезарь поднимет приветственно длань,
Погасит огонь Шарлемань.

В Амстердаме Мануэль де Пименталь, подобно другим эмигрантам-беженцам, вел вполне беспечную жизнь и даже преуспевал. Между тем на его родине творились страшные дела.

АУТОДАФЕ СОЛОМЕННЫХ КУКОЛ

То, что Пименталь бежал из Испании, не избавляло его от преследований инквизиции и даже от участия в аутодафе (так называлась процедура вынесения и приведения в исполнение приговора инквизиционного суда). Для бежавших или умерших еретиков существовала процедура «**суда в изображении**» – осужденного изображала большая, в человеческий рост, соломенная кукла. В случае не побега, а смерти, к кукле привязывали ящик с останками умершего.

Спят купцы и мореходы ранним утром в Амстердаме,
Но грохочут барабаны тем же утром в Лиссабоне.
Там, на сцене-кемадеро[1] – дань трагедии и драме,
Там врагам напоминают о божественном законе.
И торжественно шагают инквизиторы, солдаты,
Следом, в желтых санбенито[2] – осужденные злодеи.
Не спасут злодеев деньги – мараведи и дукаты,
Не избегнут наказанья колдуны и чародеи.

Над столбами кемадеро, словно парус, черный купол.
Барабаны умолкают – лишь молитвы да рыданья.
Следом за еретиками на шестах проносят кукол
Из холста, соломы, красок – тем злодеям в назиданье,
Что побегом или смертью избежать суда хотели.
Имена и преступленья намалеваны на платье.
Их поймать святые судьи не смогли иль не успели,
Вместо них костер подарит куклам смертное объятье.

«...Доктор Антонио де Вергара, он же Моисей де Вергара, португалец, по роду занятий врач, иудействующий, **отсутствующий беглец, предстал в аутодафе в изображении**, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось.

Диего Гомес де Саласар, он же Абрам де Саласар, португалец, по роду занятий купец, иудействующий, **отсутствующий беглец, умерший во Франции, предстал перед аутодафе в изображении**, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось...»

1 Кемадеро – каменный помост, на котором проводились публичные казни.
2 Санбенито – одеяние еретика в аутодафе.

...В беззаботном Амстердаме, на другом краю Европы
Мануэлю Пименталю улыбается фортуна.
Он купец, судовладелец, перед ним – прямые тропы.
У причала ждет приказа белопарусная шхуна.
Вновь зовется Исааком, даже ходит в синагогу.
Хоть состарился, шагает так же быстро и упруго,
За покой и процветанье он хвалу возносит Богу,
Каждый вечер он играет в кабаке «Четыре друга».

Исаака бен-Жакара в Пименталe разодетом
Узнает купец Альфонсо за столом, в пикет играя.
«Исаак, ведь в Лиссабоне вас казнили прошлым летом!»
«Дон Альфонсо, я там не был. Козырь ваш, игра вторая!»
«Казнь была в изображенье, просто кукла из соломы,
В колпаке и балахоне, на табличке – имя ваше...»
«Жизненной реки порою столь причудливы изломы...»
Исаак тасует карты, долго-долго пьет из чаши.

«...Мануэль де Пименталь, он же Исаак бен-Жакар Пименталь, португалец, по роду занятий судовладелец, иудействующий, **отсутствующий беглец, предстал в аутодафе в изображении**, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось».

...Возвращается под утро, вновь пришла к нему удача,
В кошельке его монеты, изумруды и агаты.
Он ложится спать веселым, но во сне едва не плачет:
Исааку снятся куклы, кемадеро и солдаты.
Куклы корчатся и стонут, их вот-вот поглотит пламя,
На него ж глядит сурово инквизитор на балконе.
...Спят купцы и мореходы ранним утром в Амстердаме,
Но опять, опять грохочут барабаны в Лиссабоне...

...А вскоре появился в Амстердаме странный незнакомец. Он пришел в кабак «Четыре друга», где каждый вечер Мануэль Пименталь давал урок карточной игры. Незнакомец с тусклым взглядом и глухим голосом сел за его стол, и Мануэль проиграл ему всё, чем владел: шхуну, дом, шпагу, даже старый пистолет, с которым никогда не расставался. «Я приду за выигрышем ночью», – сказал незнакомец перед тем, как оставить кабак. На просьбу Мануэля отыграться, он повторил: «Ночью, – и добавил: – Если тебе есть, что ставить».

БАЛЛАДА О ПОЛЬЗЕ ПИСТОЛЕТОВ

Главная деталь старинного пистолета состояла из курка с зажатым кусочком кремня и колесиком с насечкой. Стоило нажать на спусковой крючок, как из кремня **высекалась искра** и зажигала пороховой заряд. Автор этой конструкции – Леонардо да Винчи, и это единственное его изобретение, получившее всеобщее признание при жизни изобретателя и просуществовавшее по сей день: сейчас так устроены **зажигалки**.

Мрачен и молчалив нынче дон Исаак.
Пальцами по столу – будто бы в барабан.
Рядом с колодой карт старый лежит тесак,
А в Лиссабоне вновь время отверстых ран.
Тает в ночной тиши стынущий темный дом.
Чьи-то звучат шаги... Кто-то сейчас войдет...
Дон Исаак давно ждет за пустым столом.
Дон Исаак давно гостя ночного ждет.

Дон Исаак вчера все проиграл ему:
Шпагу и пистолет, шхуну и этот дом.
Дон Исаак готов нынче уйти во тьму.
Он о себе грустит, сильном и молодом.
Бьют вдалеке часы, доски уже скрипят.
Дон Исаак опять молча глядит на дверь.
А на пороге – гость, он с головы до пят
В черный укутан плащ, скалится, будто зверь.

В тусклых его глазах горечь и вязкий мрак.
Вот он колоду карт мягкой берет рукой:
«Хочешь сыграть опять, бедный дон Исаак?
Что же поставишь ты, чтоб обрести покой!»
Гостя лицо бледней старого полотна:
«Немощен человек, праха земного горсть...»
Хмуро глядит в окно призрачная луна,
Хмуро глядит в глаза странный, нелепый гость.

«Я за тобой пришел, страшно, небось, смотреть?
Я из соломы был сделан, как твой двойник,
Чтоб не принять в огне лютую, злую смерть,
Послан Судом Святым я за тобой, старик.

Завтра тебя свезут стражники в Лиссабон,
Радовать палачей эдаким барышом.
Я же, хоть годным был только гонять ворон,
Буду отныне жить в доме твоем большом».

Дон Исаак сказал: «Ставлю свою судьбу,
Сто́ит она того даже на склоне лет.
Коль проиграю, что ж – в пламени ли, в гробу.
А отыграть хочу разве что пистолет!»
«Ладно, – ответил гость, – этого мне не жаль.
Ставлю – а ты давай, карты свои раскрой!»
И, королей призвав, выиграл Пименталь...
Высек курком искру – вскинулся гость ночной:

«Смеешь ты мне грозить? Я – твой двойник и смерть!
Брось пистолет, игрок, это уж через край!»
Молвил дон Исаак: «Будешь ты здесь гореть,
Я подожгу тебя, чучело, так и знай!
Ты же не человек, хоть и хитер, и смел,
Я б пощадил тебя, только не будет впрок!»
...Был, говорят, пожар. Дом, говорят, сгорел.
Чудом остался жив дон Исаак – игрок.

ЭПИЛОГ

...И в кабаке «Четыре друга» снова
Раскинет карты старый Исаак,
О страшном приключении – ни слова:
Что дом сгорел – безделица, пустяк.
У Пименталя снова ни дуката,
Пропали закладные, векселя,
Но шляпа щегольская не помята
И в рукаве – четыре короля:

Пиковую арфу настроит Давид,
Трефовым копьем Александр пригрозит,
Бубновый штандарт держит Цезаря длань,
Червовый огонь – Шарлемань.

И что ему богатство иль хоромы,
Коль он в последний миг успел понять,

Что смерть – всего лишь кукла из соломы,
А кукле человека не подмять!
Уйдут в туман Парижи, Амстердамы,
Растает в небе призрак корабля.
...Венок ему сплетут четыре дамы,
Поднимут гроб четыре короля.

Молитву прочтет псалмопевец Давид,
Печально главу Македонец склонит,
И Цезарь поднимет приветственно длань,
Погасит огонь Шарлемань.

В 1615 году Исаак бен-Жакар купил в городке Аудеркер, расположенном в 10 км к югу от Амстердама по реке Амшель, участок земли под кладбище. Оно стало первым еврейским кладбищем в Голландии и получило название «Бейт-Хаим» – «Дом Жизни». Это название кладбище сохраняет по сей день. А первым человеком, чей прах упокоился именно в этом месте, стал искатель приключений, картежник и авантюрист дон Мануэль де Пименталь – он же Исаак бен-Жакар. Может быть, он хотел обезопасить свой прах от преследований инквизиторов.

Ружье на стене



Рафаэль Левчин

РАЗГОВОРЫ В ШАРАНТОНЕ

Дух. Кто звал меня?
Гёте. «Фауст»

Я позвал тебя. Думаешь, тот,
Персонаж философского действа?
На фантастику, брат, не надейся!
Я реален, как сток нечистот.
П. Антокольский

О, сад моих друзей, мазох моих врагов!..
А. Парщиков

Темнота. Внезапно включаются звуки зрительного зала: покашливание, шипение тех, кому опоздавшие наступили на ногу, бульканье, разворачивание конфет, поцелуи...

ГОЛОС. Мы находимся в психиатрической лечебнице Шарантон, что в окрестностях Парижа.

Луч света выхватывает из темноты человека. Он молод, одет в подобие пижамы, на ногах – шлёпанцы. Он стоит, вытянувшись и глядя в зал невидящими глазами. Он красив.

ГОЛОС. Первый сумасшедший. Называет себя Фаустом.

Фауст поворачивается и уходит в глубину сцены. Его место занимает маленький старичок с огромными глазами. Пижаму и шлёпанцы он носит с небрежным изяществом.

ГОЛОС. Второй сумасшедший. Называет себя маркизом де Садом. И, насколько можно быть в чём-то уверенным в этом мире, действительно таковым является.

Маркиз де Сад, отвесив поклон, уходит за Фаустом. Его сменяет человек лет пятидесяти. Бросив в зал равнодушный взгляд, отворачивается.

ГОЛОС. Третий сумасшедший. Никак себя не называет.

Третий сумасшедший уходит. Появляется маленький человечек, похожий на большую крысу. Шныряет глазками, хихикает.

ГОЛОС. Четвёртый сумасшедший. Называет себя шефом тайной полиции Фуше. На самом деле он просто мелкий сыщик, но страдающий манией величия.

Фуше, ещё раз хихикнув, исчезает. Луч смещается вправо. В кругу света оказывается обладатель голоса. Одет так же, как и все остальные. Возраст определить трудно. Черты лица словно стёрты, лишены индивидуальности. Слегка наклонив голову, представляется:

– Пятый сумасшедший. Называю себя Творцом.

Поворачивается и уходит. Свет гаснет. Тишина. В глубине сцены загорается слабый, как будто колеблющийся огонёк, освещает лицо Фауста, силуэты остальных.

ФАУСТ. Ты безобразен, бес! А ну, катись!..

(Пауза.)

Свет меркнет.Мне, конечно, это снится.

(Пауза.)

Остался непристойный моностих,
Где что ни слово, то – во всю страницу.

(Пауза. Постепенно повышает голос.)

Рассвет остался в ракурсе земном,
воды в стаканах тяжелей и резче,
гигантский моностих во всё окно –
и мой пергаментный безрукий росчерк!

Огонёк становится ярче.

МАРКИЗ ДЕ САД. Я всегда считал, что людей с повреждённой психикой недостаточно просто изолировать от общества. Следовало бы их кастрировать – для их же собственного спокойствия.

ТРЕТИЙ СУМАСШЕДШИЙ. Начнём с вас, маркиз?

Огонёк разгорается в полную силу. Это фонарь в глубине сцены. Теперь видно, что маркиз де Сад стоит у пюпитра и пишет. Остальные сидят или лежат на койках-раскладушках.

САД. Надо, знаете ли, отличать практические рекомендации от чисто теоретических изысков. К тому же я-то не сумасшедший.

ФАУСТ *(голос совершенно другой, резкий, металлический. Это мог бы быть голос Мефистофеля)*.

Вы, поющие лишь в хоре!
Вы, безрукие каменья!
Здесь страна фантасмагорий,
окольцованная тенью...

ФУШЕ *(Саду)*. Простите, что вы сказали насчёт политического сыска?

ТРЕТИЙ *(Саду)*. Вот с вашими изысками мы и сидим по уши в дерьме!

Фуше, хихикая, слюнявит огрызок карандаша, что-то записывает на клочке бумаги.

САД *(Третьему)*. Вы ещё молоды. Я повидал гораздо больше вашего. Подумайте, я был даже секретарём секции Пик...

ФУШЕ *(хихикая)*. Да вы якобинец, а, маркиз?

САД. Отнюдь нет. Я антиякобинец. Более того, я обожаю короля.

ТВОРЕЦ. Какого?

САД. Я хочу, чтобы дворянству возвратили его блеск, ибо утрата этого блеска дворянством ничему на пользу не служит. Я хочу, чтобы король был вождём нации...

ФАУСТ *(голос вновь изменился. Возможно, сейчас он – Вагнер)*.

Сколько б грехов ни давило горой на грудь,
сколько б ни высветила ночь оком внимательным,
есть у меня мандрагоры корень и вечноживая ртуть,
и да смилуется Трисмегист над последним романтиком!

САД. Вообще же я за две палаты, как в Англии...

ФУШЕ *(записывает, бормоча)*. Английский шпион!

САД. Я не преступник. Но я провёл за решёткой более тридцати лет.

ТВОРЕЦ. Новый Вийон!

САД. Я сидел в Нормандии и на Сардинии, в Марселе и в Париже. Я сидел в Венсеннском замке и в Бастилии. Я сидел при Людовике XV, при Людовике XVI, при жирондистах, при якобинцах, при Директории, а теперь сижу при корсиканце...

Фуше хихикает, записывает.

САД. В Марселе меня хотели гильотинировать, а тело сжечь и пепел развеять по ветру. Кстати, о гильотинах – один мой знакомый, русский аристократ (людоед, между прочим), изобрёл аппарат, отрубающий головы дюжине человек зараз.

ФАУСТ *(первый голос)*.

Шиповник, бледно-розовый фантом,
как письма в пальцах вырваться пытаясь,
так я сказал душе, что я готов
сорваться, слиться в капельку металла.
Там – две рапиры на стене в тени,
там – время, разомкнувшее колени,
там – Маргарита... и ещё огни...

(Крик.)

Я больше не скучаю ни мгновенья!!!

САД. Впрочем, скоро у нас снова будет король. Не корсиканский бандит, а настоящий король, от головы до пят.

ТВОРЕЦ. Откуда такая уверенность, маркиз?

САД. Насколько мне известно, наш маленький капрал увяз в русских снегах. Это начало его конца. Мой отец, профессиональный военный и дипломат, бывал в России в качестве посланника. Он как-то сказал мне: «Упаси нас бог оказаться втянутыми в войну с русскими. Россию невозможно завоевать, но если бы даже и удалось, то уж удержать в подчинении не удастся». Отец знал, что говорил. Именно при нём у русских вспыхнула крестьянская война, самая настоящая Жакерия.

ТВОРЕЦ. Вы, маркиз, пророк задним числом. Вот что значит, периодическая печать доходит нерегулярно и с большим опозда-

нием! Российская кампания была два года тому назад, а на сегодняшний день Бонапарт выдворен на какой-то остров – забыл его название, – Бурбоны вернулись, на троне король Людовик XVIII.

САД *(равнодушно)*. В самом деле? Ну, значит, я сижу уже при Людовике XVIII. Хрен редьки не слаще.

ФУШЕ *(хихикая)*. Должен вам заметить, маркиз, что вы сейчас наговорили лет на пятнадцать строгого режима!

САД *(Третьему)*. Терпеть не могу идиотов. Вам ближе, дайте ему по физиономии.

Третий бьёт Фуше, тот невыносимо тонко визжит.

САД *(не переставая писать, лишь чуть повысив голос)*. Господин наблюдатель!

Входит Надзиратель. Трудно определить по фигуре и голосу, мужчина это или женщина. Он бочкообразен, монотонен, нерешителен и жесток. Вероятно, хороший семьянин.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Кто?!

ФУШЕ *(тыча пальцем в Третьего)*. Он, он, он!!!

Надзиратель даёт Третьему в зубы. Третий сплёвывает кровью. И все остальные, кроме Надзирателя, тоже плюют кровью.

НАДЗИРАТЕЛЬ. В следующий раз – убью! Понял?

Третий кивает и снова плюёт кровью. Остальные – тоже.

САД. Убийство есть последний предел сладострастия.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А ты, бывший... Что ты там строчишь?

САД *(не переставая писать)*. С вашего разрешения, пьесу, господин наблюдатель. Вы же знаете, романы я уже лет десять не пишу, только пьесы.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А она – не того?..

САД. Что вы, как можно. Не первый день здесь, порядок знаю.

НАДЗИРАТЕЛЬ. То-то. А ежели замечу, что ты опять подстрекаешь...

САД. Подстрекать – моё основное занятие, господин наблюдатель. Находясь в Бастилии, я подстрекал уличную толпу к штурму, крича через окно, что в тюрьме уничтожают политических заключённых.

ТВОРЕЦ. Так это была неправда?

САД. В Бастилии вообще не было политзаключённых. Кроме меня, там находилось пять человек, обвинённых в подлогах, и никто их, насколько мне известно, не собирался уничтожать... Меня тут же перевели в другую тюрьму, на следующий день народ взял Бастилию, а я просидел ещё год.

ФАУСТ *(голос Мефистофеля)*.

Посмотрите, вот потеха –
как они судьбу пытают
и, уверовавши в эхо,
головню в огне катают!

НАДЗИРАТЕЛЬ *(лениво)*. Заткнись, прибацанный! *(Саду.)* Слышь, бывший, а верно, что ты знаешь две тыщи... этих... извращеньев?

САД. Нет, господин наблюдатель, это абсурд.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Чего?

САД. Абсурд, с вашего позволения.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А-а... *(Вдруг свирепеет.)* Ты мне арапа не заправляй! Я тебя про чего спрашиваю?!

САД. Так ведь я же и говорю, что это аб... абсолютно невозможно. Какой мозг в состоянии вместить столько? Лично мне известно не более шестисот вариантов; впрочем, почти все они лежат вне европейской традиции.

НАДЗИРАТЕЛЬ *(успокаивается, услыхав знакомое слово)*. Лежат, говоришь?

САД. Вы можете ознакомиться с ними, прочитав мои ранние книги. Например, «Сто двадцать дней Содома»...

НАДЗИРАТЕЛЬ. Сожгли твои книги, бывший! На площади! Твой же сын, говорят, подпалил костёр!!

САД. Что ж, напишу новые. Кстати, у меня никогда не было сына, только дочь. Правда, она всегда любила переодеваться в мужское платье...

ТВОРЕЦ. А вы, маркиз, попробовали все шестьсот вариантов?

САД, Невозможно было бы осуществить всё то, что я постиг. Да, я был распутником, но не преступником.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Рассказывай...

САД. Впрочем, я полагаю, что ежели Творец Вселенной разделил человечество на два пола и взрастил на виноградной лозе гроздья, то будьте премного уверены, что он сделал это ради нашего наслаждения...

НАДЗИРАТЕЛЬ. Мели, Емеля!

ТРЕТИЙ. А вы, что ли, в Бога верите, маркиз?

САД. Хм… А вы?

ТРЕТИЙ *(неохотно)*. Я думаю, что Он есть, но верить в Него не стоит.

ТВОРЕЦ. Это почему же?

ТРЕТИЙ. Если Его всё же нет, то верить в Него глупо. А если есть, то Ему наплевать – верят в Него, не верят. Его не убудет.

САД *(в первый раз настолько заинтересовывается разговором, что откладывает перо)*. Любопытная точка зрения! Почти совпадающая с моей! Единственная ошибка, которую я не склонен простить человеку – это идея Бога! Что может быть отвратительнее, глупее, преступнее этой химеры?! Вы правы, друг мой: есть Бог или нет, не столь важно! Но не верить в Него – необходимо! Он – помеха на пути! Природе – вот кому стоит поклоняться, ибо она достаточно мудра и последовательна, чтобы не создать даже возможности отклонений, ей не угодных.

ТВОРЕЦ. Так, может быть, Природа и есть Бог?

САД. Но как же быть в таком случае со старой доброй традицией – по образу и подобию? Кстати, если учесть, что первые люди жрали сырое мясо, при ходьбе помогали себе руками – да что там, передними лапами! – и с головы до ног были в шерсти, то хорош же с виду ваш Боженька!

ТВОРЕЦ. Существует также мнение, что Природа – Мать, а Бог – Отец. И Мать была пуста и бесплодна, пока Бог не вошёл в неё…

САД. О-ля-ля! Этакий добрый папенька…

ФАУСТ *(голос Вагнера)*.

Скрючен подвал, череп налит огнём,
тигель, хрупкий мой след, раскалён ещё…
Там рождается он, там, за прозрачной бронёй…
Только бы в этот момент не допустить просчёт!

САД. Нет уж! Бог, если он есть, – абсолютное зло! Позвольте вам напомнить хотя бы следующее место из Писания: «Дорогою на ночлег случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего…». Вдумайтесь! Бог, бродящий ночью по большой дороге, как бандит, и покушающийся на предательское убийство! Да не кого-нибудь, а пророка, которому Он сам только что поручил вывести избранный свой народ в землю обетованную! И чем же Его можно умилостивить? Только кусочком окровавленной, ещё тёплой детской плоти! А?! Чем же этот так называемый истинный Бог лучше Молоха или Кибелы? *(Спокойнее.)* Говорят, моё имя стало нарицательным. Так скажите по чести, не

заслуживает ли этот свирепый Бог звания «Садист номер один»? Я представляю себе, как на Страшном суде этот неумолимый Бог обращается к праведникам: «Когда вы увидели, что на Земле всё порочно и преступно, почему вы упорствовали на стезе добродетели? Постоянные несчастья, которые Я обрушивал на мир, разве вас не убедили, что Я люблю только беспорядок? Разве Я не давал каждый день пример разрушения – что же вы не подражали Мне, глупцы, почему вы не разрушали?!»

ТВОРЕЦ. Но если, повторяю, Бог – это Природа...

САД. Тогда я хотел бы нарушить Её планы, противодействовать Её развитию, остановить движение звёзд, разрушить планеты, плывущие в пространстве, уничтожить то, что Ей служит, создать то, что Ей вредит, – одним словом, оскорблять Её во всех Её творениях, срывать все Её великие начинания!

ТВОРЕЦ. Вы противоречите себе, маркиз!

САД. Натурально, противоречу, а как же иначе! Потому что я спорю, потому что я мыслю! Противоречу – стало быть, существую. Не противоречат себе только такие, как наш бедный друг. (Кивок в сторону Фауста.) Да и то – кто ведает, какие вопросы задаются, какие бури кипят в их скрытом от нас мире? Да ещё не противоречат себе те, кому головной мозг – излишняя обуза. *(Лёгкий кивок в сторону Фуше и Надзирателя.)* Они и спинным прекрасно обходятся... Любопытно было бы проделать с ними небольшой эксперимент – удалить полушария! Убеждён, что они бы даже не заметили... Кстати, господин наблюдатель, не сочтите за назойливость – мне кажется, наступает время обеда.

НАДЗИРАТЕЛЬ *(всё это время смутно страдавший из-за непонимания разговора и невозможности придраться)*. Ишь чего! Жрать захотели, а? А вот не принесу! Посидите сегодня с пустым брюхом! Что, съели?

Общий ропот.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Молчать!!!

Ропот стихает.

НАДЗИРАТЕЛЬ *(растрогавшись от собственной доброты)*. Ладно, сволочи, так и быть! Без меня б вам труба! *(Выходит.)*

САД *(продолжая писать)*. Что ж, кажется, можно поставить точку. *(Ставит точку.)* Пьеса вчерне закончена.

ТВОРЕЦ. О чём она, если не секрет?

ФАУСТ *(голос Мефистофеля)*.
В этом мире маленьких предметов
и забавных плюшевых лосей
подмалёвком проступает лето
и зима ложится кистью всей.
В длинном мире брошенных предметов
круглым небом выжжена печать,
и отшелушившаяся ретушь
перхотью щекочет по плечам.
Столкновенье выпуклых предметов
поглощает линию с лихвой.
И оставят живопись поэты.
Крест.
Осина.
Дым над головой...

САД. Пьеса называется «Робеспьер в аду». Впрочем, пожалуй, я назову её как-нибудь поскромнее. Скажем, «Сны перед казнью». Содержание таково: Робеспьер спит и видит сны в свою последнюю ночь. Ему снится, что он уже казнён и пребывает на том свете, где ему приходится держать ответ за всё, содеянное им при жизни.

ТВОРЕЦ. Мы могли бы её поставить?

САД. Да... думаю, что да. Актёров нужно немного, но в пьесе, кроме людей, участвуют куклы. Так что один из актёров должен быть опытным кукловодом.

ТВОРЕЦ. Что ж, мне случалось заниматься и этим.

САД. Великолепно. Вот ваш текст. *(Отделяет часть листков.)* Куклы найдутся. Робеспьера... попробую сыграть я сам!

НАДЗИРАТЕЛЬ *(входит с подносом)*. Сегодня вам жратва сухим пайком – на кухне плита не работает. Ничего, перебьётесь. *(Раздаёт хлеб и сыр.)*

САД. Кончается пьеса тем, что распахивается дверь и на пороге появляются жандармы, пришедшие конвоировать его к месту казни. Но Робеспьер не просыпается. Он умер во сне.

ТВОРЕЦ. М-да...

Тем временем все едят: Фуше – давясь и брызгая слюной, Третий – медленно и угрюмо, Фауст отщипывает маленькие кусочки, положив хлеб и сыр рядом с собой. Творец и Сад тоже берут свои порции. Творец ест рассеянно, но с явным аппетитом. Сад моментально всё проглатывает, тянется к хлебу Фауста. Фауст не реагирует.

ТРЕТИЙ. А ну, маркиз, бросьте!

САД *(отломив кусок, невинно)*. Что именно?

ТРЕТИЙ. Положи на место, ну!

САД *(сунув кусок в рот)*. Чем это место хуже любого другого? *(Жуёт.)*

ТРЕТИЙ *(сжав кулаки)*. Ах ты!..

НАДЗИРАТЕЛЬ. Ну? Ты опять?!

САД *(как ни в чём не бывало)*. Господин наблюдатель, не хотите ли сыграть жандармов? Их, правда, двое, но вы, я уверен, смогли бы и целый взвод...

ТВОРЕЦ. И вам не стыдно, маркиз?

САД. Вы о чём? А... Нет, не стыдно. Я голоден, а он, судя по всему, в еде почти не нуждается. И вообще, как говаривал Гельвеций, угрызения совести начинаются там, где кончается безнаказанность.

ТРЕТИЙ. Гадина!

САД. Так как, господин наблюдатель?

НАДЗИРАТЕЛЬ. А чего ж... Только у меня память плохая...

САД. Вам нужно будет произнести всего два слова: «Именем народа!» Запомните? Впрочем, извольте, я вам запишу. *(Пишет, отдаёт листок Надзирателю. Смотрит на Фуше.)* Вы, пожалуй, тоже пригодитесь... *(Третьему.)* А вы кого бы хотели сыграть в этой пьесе?

ТРЕТИЙ. Плевал я на твою пьесу!!

САД. Отлично! Будете публикой!

Фонарь гаснет. Фауст, Надзиратель, Третий спускаются со сцены и садятся в первом ряду. Некоторое время ничего не происходит, кроме приглушённой возни, как обычно при перемене декораций. Затем вспыхивает луч света. В кругу света лежит человек. Лицо его почти целиком закрыто повязкой. Вспыхивают ещё три луча. Они хаотично мечутся, выхватывая из тьмы лица трёх Эриний.

ЭРИНИИ. Робеспьер, Робеспьер, Робеспьер!!!

ПЕРВАЯ ЭРИНИЯ. Робеспьер, пришло время расплаты!

ВТОРАЯ ЭРИНИЯ. Встань, очнись!

ТРЕТЬЯ ЭРИНИЯ. Кровожадный убийца, тиран, узурпатор, злое чудовище, твоя вина не нуждается в доказательствах! Отныне ты наш!

ПЕРВАЯ ЭРИНИЯ. Ты уже осуждён!

ВТОРАЯ ЭРИНИЯ. Встань, очнись!

ЭРИНИИ. Робеспьер, Робеспьер, Робеспьер!

Робеспьер, ворочается, стонет.

ЭРИНИИ. Ты наш, ты наш, ты наш!

ПЕРВАЯ. Мы будет преследовать тебя до скончания вечности.

ВТОРАЯ. Взмолишься о пощаде – мы напомним тебе о твоей беспощадности!

ТРЕТЬЯ. Упадёшь – крикнем: «Вставай!»

ПЕРВАЯ. Ты осуждён, Робеспьер, во веки веков в бесконечном времени бежать по безразмерному колесу пыток!

ТРЕТЬЯ. Кровь, кровь! Липкая кровь! Земля покрыта коркой ссохшейся крови!

ВТОРАЯ. Так хотел ты, Робеспьер!

ТРЕТЬЯ. Что же ты молчишь? Говори, если можешь.

РОБЕСПЬЕР. Кто?.. Зачем?..

Эринии хохочут.

ВТОРАЯ. Он не понимает!!

ПЕРВАЯ. Ты мёртв, Робеспьер, и мы – твои обвинители!

ВТОРАЯ. Твои преследователи!

ТРЕТЬЯ. За гробом!!

РОБЕСПЬЕР *(хватаясь за горло)*. Я... казнён? Как же я... говорю?

ПЕРВАЯ. Казнено твоё тело. Душа же осталась нам.

ВТОРАЯ. Навечно!!!

РОБЕСПЬЕР *(прикасаясь к повязке)*. Но... я чувствую боль от раны...

ПЕРВАЯ. Точно так же, как глаз ещё долго ощущает соринку, хоть она давно вынута, так и душа после смерти ещё долго хранит ощущения тела, помнит боль, страдает от жажды и голода. Человек очень телесен!

ВТОРАЯ. Тем слаще терзать его!!

РОБЕСПЬЕР *(сухо)*. Когда я был гильотинирован?

ПЕРВАЯ. Девятого термидора, в шесть часов вечера, десять часов назад, без суда. Труп брошен на свалку.

ТРЕТЬЯ. Вместе с тобой казнены Сен-Жюст и Кутон.

ПЕРВАЯ. Сегодня взойдут на эшафот семьдесят твоих сторонников!

РОБЕСПЬЕР. Так. А вы...

ЭРИНИИ. Мы будем преслееедовать теебяяя сквозь Всеелееееенныююююю!!!

РОБЕСПЬЕР *(усмехнувшись)*. Достаточно, мне всё ясно. Не вам судить меня, если вы и существуете. Лично я склонен думать, что вы снитесь мне. И сейчас я намерен проснуться. Сгиньте, призраки!

Эринии бессильно повисают на чёрной ширме, которая только теперь становится видна. Ширма падает вместе с куклами, и перед Робеспьером оказываются Эак, Минос и Радамант. Лица судей недвижно-белы, как гипсовые маски. Вокруг по-прежнему тьма. Робеспьеру кажется, что Эак похож на Дантона, Минос – на Сен-Жюста, а Радамант – на него самого.

Нарушает молчание.

ЭАК. Подсудимый, встаньте. Вы находитесь перед Верховным Трибуналом Республики Мёртвых. Отвечайте на вопросы точно и исчерпывающе. Ваше имя?

РОБЕСПЬЕР. Робеспьер.

ЭАК. Полностью!

РОБЕСПЬЕР. Максимилиан Мари Исидор Робеспьер.

ЭАК. Признаёте ли вы себя виновным?

РОБЕСПЬЕР. В чём?

ЭАК. У вас плохая память, подсудимый?

РОБЕСПЬЕР. Моя память меня ещё ни разу не подводила.

ЭАК. Ответ, как всегда, излишне самоуверенный. Что ж, ваша память вам сейчас пригодится.

МИНОС. Вы выдвинули тезис: народ всегда прав.

РОБЕСПЬЕР. Да.

МИНОС. В 1790 году вы утверждали, что народ не только не жесток, но, напротив, проявляет непостижимую терпимость: после стольких веков рабства и пыток ограничивается тем, что сжигает несколько замков и вешает нескольких аристократов. Вы не отрекаетесь от своих слов?

РОБЕСПЬЕР. Нет.

МИНОС. Но ещё в сентябре 1789 года народ ворвался в тюрьмы и стал истреблять арестованных аристократов. Вы одобряли и это?

РОБЕСПЬЕР. Нет.

МИНОС. Как прикажете увязать одно с другим?

РОБЕСПЬЕР. Народ может ошибаться в частностях. Но в целом – народ всегда прав. Да, сентябрьские убийства были бесчеловечны, но это была естественная реакция масс в условиях окружающего предательства. Интервенты были уже у ворот Парижа,

и роялисты готовились освободить заключённых и ударить в спину... Поэтому вполне понятен стихийный взрыв народного гнева...

ЭАК. Стихийный?

РОБЕСПЬЕР. Несомненно.

ЭАК. Ваша партия не приложила к этому руку?

РОБЕСПЬЕР. Ложь.

ЭАК. Но ведь Марат оправдывал сентябрьские убийства?

РОБЕСПЬЕР. Марат – другое дело...

ЭАК. То есть?

РОБЕСПЬЕР. Марат всегда требовал крайних мер. Лучше сейчас уничтожить сто тысяч, говорил он, чем потом погибнут миллионы. Я никогда не соглашался с ним, но...

РАДАМАНТ. Так-так, продолжайте, пожалуйста, господин Робеспьер!

РОБЕСПЬЕР. Но время всегда доказывало его правоту. Пусть ошибочны были его принципы – выводы из них оставались единственно верными.

МИНОС. Может ли так быть?

РОБЕСПЬЕР. Видимо, да. Он был единственный, кто верно улавливал стадии, проходимые революцией, и каждый новый оборот подтверждал его предсказания. Он был прав, требуя установления республики, диктатуры левой партии, террора – всего того, против... против чего я в своё время выступал...

РАДАМАНТ. Попутный вопрос, гражданин Робеспьер: как вы лично относились к Марату?

РОБЕСПЬЕР *(после паузы)*. Я никогда не любил его. Слишком разными мы были, слишком по-разному смотрели на всё.

РАДАМАНТ. Он тоже не любил вас.

РОБЕСПЬЕР. Знаю.

РАДАМАНТ. Он считал, что вам недостаёт дальновидности и отваги.

РОБЕСПЬЕР. Возможно. Зато народ любил меня не меньше, чем его.

МИНОС. Мы ещё вернёмся к этой пресловутой народной любви. Не будем забегать вперёд.

ЭАК. Вас называли триумвиратом: Марат-Друг народа, Робеспьер-Неподкупный и Дантон-Циклоп. Вы помните, что крикнул Дантон, когда его везли мимо вас на гильотину?

РОБЕСПЬЕР *(сжавшись)*. Да.

ЭАК. Повторите. Ведь у вас хорошая память.

РОБЕСПЬЕР. Он... он крикнул... «Робеспьер, я жду тебя. Ты последуешь за мной».

ЭАК. Что ещё он сказал перед казнью?

РОБЕСПЬЕР. «Предпочитаю быть гильотинированным, чем гильотинировать других». Но это красивая фраза, не более того. Если бы его фракция победила, он даже помимо желания вынужден был бы...

МИНОС. Возможно. Итак, революция – это борьба за власть?

РОБЕСПЬЕР. Нет! Так считал Дантон! Это для него революция была лишь средством к обогащению! Он не скрывал, что выше всего ценит хорошую еду, тонкие вина, красивых женщин. Он был рупором денежных мешков, грязных душонок, спекулянтов, округлявших капитал в неразберихе террора...

РАДАМАНТ. Спокойнее, гражданин Робеспьер. Вы не в Конвенте и не в Якобинском клубе.

ЭАК. Богатство – понятие относительное. Дантон, положим, обитал в роскошном особняке, а вы – в каморке. Но вы ходили во фраке, а, к примеру, Марат – в лохмотьях. И ели вы каждый день, верно? А Марат голодал в прямом смысле этого слова...

МИНОС. Ближе к делу.

ЭАК. Власть – разве это только богатство? А не пьянящее ощущение себя не одной из бесчисленных слагаемых вектора, но рукой, которая этот вектор проводит? Пастырем, а не одним из баранов в стаде?

МИНОС. Повторяю, ближе к делу.

ЭАК. Вы полны гордыни, подсудимый, а ведь гордиться вам нечем.

РАДАМАНТ. Мы знаем, гражданин Робеспьер, что у вас были благородные намерения и чистые помыслы. Увы, остаются не помыслы, а дела. Мы знаем, что вы – вы лично и ваша партия – предложили самую гуманную конституцию, провозгласили всеобщее избирательное право, право на труд, свободу личности...

ЭАК. Свободу слова.

МИНОС. Свободу печати.

РАДАМАНТ. Свободу собраний.

ЭАК. Свободу мнений.

МИНОС. Свободу партий.

РАДАМАНТ. Свободу вероисповеданий.

ЭАК. Отмену смертной казни и всеобщее благоденствие!.

РОБЕСПЬЕР. Хватит!! Да, террор перечеркнул демократию! Да, ограничил свободу каждого! Да, открыл дорогу для произвола мерзавцам, всплывшим на волне революции! Да, да, да! И всё это я предвидел... предвидел...

ЭАК. А как же быть с вашими словами: «В революции заходят далеко тогда, когда не знают, куда идут...»?

РОБЕСПЬЕР. Террор был вынужденной, ответной мерой...

ЭАК. Это нам известно. Приняв личину законности, вы делали то же самое, что делал народ в сентябрьские дни в порыве паники и отчаяния.

РОБЕСПЬЕР. Да, страна стала огромным военным лагерем, а жизнь в лагерях не способствует демократическому воспитанию граждан. Но когда идёт смертельная схватка на внешнем и внутреннем фронтах, тут уж не до демократии...

РАДАМАНТ. Это нам тоже известно.

РОБЕСПЬЕР. Закон против аристократов и эмигрантов был вызван этими же причинами... Революцию надо было спасать!

МИНОС. И это нам известно.

РОБЕСПЬЕР. Чего же вы от меня хотите?

ЭАК. Подсудимый, вспомните: «Тот, кто потеряет доверие народа, будет смят и уничтожен, как бы его ни звали: Людовик или Робеспьер». Это ваши слова.

РАДАМАНТ. Было время, гражданин Робеспьер, когда вы были самым последовательным защитником интересов народа. Мозгом и совестью революции...

ЭАК. И вы отождествили себя с революцией.

РАДАМАНТ. Ваша болезненная подозрительность, именуемая бдительностью, была возведена в ранг закона.

МИНОС. И вы уничтожили тех, кто лучше понимал народ, чем вы. Вы разгромили фракции «бешеных», «ультрареволюционеров», левых якобинцев – всех, кто помог вам когда-то справиться с жирондистами. И вы же, вы лично, повинны в гибели Марата...

РОБЕСПЬЕР. Это ложь!!!

МИНОС. Разве вам не было известно,что на него готовится покушение? Вы что-нибудь предприняли? Дали ему хотя бы охрану? И разве не обязаны вы были это сделать, даже если бы вам ничего не было известно? Молчите? Вас устраивало, чтобы он вовремя умер.

РОБЕСПЬЕР *(обессиленно)*. Ложь...

МИНОС. А за ним вы убили Ру и Варле. Вы убили Эбера. Вы убили Клоотса – за космополитизм. Вы убили Шометта...

ЭАК *(в нём словно бы появляется что-то человеческое)*. Ну, его-то за что? Он признал все свои ошибки – реальные и мнимые. Он поддерживал тебя. Только потому, что опасно оставлять на высоком посту и вообще в живых человека, чьи единомышленники казнены? В этом ты весь, Робеспьер!

МИНОС. Они говорили от имени тех, кто отдал революции всё и не получил взамен ничего, – а для вас они были анархистами и демагогами. Их усилия подвинуть революцию дальше для вас были нападками на правительство, к которому вы принадлежали.

РАДАМАНТ. Вы хорошо начали, гражданин Робеспьер, но вы плохо кончили.

МИНОС. Мудрено ли, что революция окоченела, и мало кто пожелал вас защищать, когда пришла ваша очередь.

ЭАК (к нему вновь возвращается прежнее бесстрастие). С вами сбылось по вашему же слову. Народная любовь фанатична – было время, на вас молились, – но не беспредельна. Да и кому теперь мог верить народ, если и Ру, и Шометт, и Леклерк, и Дантон оказались изменниками?

МИНОС. Хотите знать будущее, Робеспьер? Через несколько лет власть захватит артиллерийский офицерик, бывший подчинённый вашего брата, ухаживавший с ним за одной женщиной. И в одном только Бородинском сражении он погубит в десятки раз больше людей, чем погибло за весь период террора...

РОБЕСПЬЕР. Проклятие!! Да кончится ли этот сон?!!

Тотчас куклы падают вместе с ширмой, и перед Робеспьером – огромный крест, с которого к нему обращается

РАСПЯТЫЙ. Здравствуй, Робеспьер!

РОБЕСПЬЕР. Я не верю в тебя.

РАСПЯТЫЙ. Ты можешь меня коснуться.

Робеспьер молчит.

РАСПЯТЫЙ. Робеспьер, это правда, что тебя считали мессией?

РОБЕСПЬЕР. Тебе лучше знать.

РАСПЯТЫЙ. Ты не считаешь себя христианином, Робеспьер?

РОБЕСПЬЕР. Нет!!! Ты не бог, ты лишь один из его пророков! Ты был казнён за людей? Я тоже, и даже в том же возрасте. И, как ты, не мир принёс я, но меч. Твоё учение было кинжалом против прогнившей Римской империи. У каждой революции – своя религия, свои пророки и свои мученики. И сама идея революции предначертана свыше справедливым Верховным Существом.

РАСПЯТЫЙ. Я могу превращать воду в вино, а ты?

РОБЕСПЬЕР. Я не шарлатан!

РАСПЯТЫЙ. Разве? Люди просили у тебя хлеба, а ты подсовывал им Верховное Существо.

РОБЕСПЬЕР. Кто захочет умирать за кусок хлеба? А за веру люди идут на смерть, на костёр. Человеку необходима вера, человека создаёт вера. Вот почему я боролся с атеизмом и считал его страшнее голода.

РАСПЯТЫЙ. Если у человека нет ни единого куска хлеба, то очень скоро некому становится и верить.

РОБЕСПЬЕР. Да ты уж не атеист ли?!

РАСПЯТЫЙ. А почему бы и нет? Ты же сам всегда обвинял атеистов в аристократизме. А какой аристократ аристократичней Бога? Только Бог может себе позволить не верить в Бога...

РОБЕСПЬЕР *(бормочет)*. Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне... сорок лет... Чтобы вымерло поколение, хранившее растлевающие воспоминания прошлого... У меня не было ни сорока лет, ни пустыни...

РАСПЯТЫЙ. У тебя была всего лишь гильотина.

РОБЕСПЬЕР. Всё, что было мною сделано, делалось ради грядущего царства добра и справедливости. Эта цель стоила чёрной крови врагов и святой крови патриотов. И не зря к нам пришли лучшие люди – физик Лаплас, химик Бертолле, биолог Ламарк, художник Давид...

РАСПЯТЫЙ. Кстати, о художнике – хочу рассказать тебе притчу...

В глубине сцены освещается экран. Фильм чёрно-белый.

1. Комната в мансарде. Множество картин, чистых холстов, эскизов, всевозможных предметов – обычный хаос мастерской художника. Художник – молодой, в обтрёпанной одежде – у мольберта. Напряжённо смотрит на картину, которая не видна зрителям. Улыбается.

Свет на первый ряд в зрительном зале.

ТРЕТИЙ *(вскочив)*. Прекратите! Эй, прекратите!

НАДЗИРАТЕЛЬ. Ты опять?! Ну, держись, падла, я те щас покажу, как спектакль срывать! *(Бьёт его правой рукой в подбородок, одновременно левой в висок. Третий, взмахнув руками, падает в оркестровую яму.)*

ХУДОЖНИК *(улыбаясь)*. Кажется, получилось...

2. В ту же секунду стены мансарды куда-то исчезают. Толпа людей окружает художника. Вдали контуры городских зданий – откровенно условные.

ХУДОЖНИК. Что это?

ГОВОР В ТОЛПЕ. ...он не понимает... ничего удивительного...

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИН. Не волнуйтесь.

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИН. С вашими картинами ничего не случится.

ДЕВУШКА. Мы спасём вас.

ХУДОЖНИК. От чего?! Кто вы? Где я?!!

ДЕВУШКА. Наше правительство исправляет прошлое...

ХУДОЖНИК. Ничего не понимаю!

ДЕВУШКА. С тех пор, как был открыт способ перемещения во времени, правительство нашей страны пристально следит за прошлым. Как только где бы то ни было обнаруживается мыслитель, художник или учёный, чьи работы могут быть опасны для нас, его выдёргивают из его времени вместе с его произведениями и доставляют сюда. Здесь его работы уничтожаются, а сам он подвергается перестройке психики...

Шум в толпе, восклицания: «Идёт! Внимание!»

Появляется полицейский. Это женщина, небольшого роста, любезная, улыбчивая.

ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Попрошу художника выйти. *(Расстёгивает кобуру.)*

Художник делает движение. Его тотчас хватают несколько рук.

Крупный план – девушка.

ДЕВУШКА *(шепчет)*. Не шевелитесь! Всё будет хорошо,

Из толпы выходит гражданин. Вокруг него постепенно образуется пустое пространство. Наконец, в кадре остаются только он и женщина-полицейский.

Женщина поднимает пистолет.

ГРАЖДАНИН. Стреляйте двойным зарядом. Я не хочу жить.

ЖЕНЩИНА. Вы и не будете жить. Ваша психика будет переделана полностью. Вы не будете помнить себя предыдущего. Разве это не то же самое?

ГРАЖДАНИН. И то верно.

Женщина стреляет – выстрел похож на негромкий звонок. Гражданин падает.

ЖЕНЩИНА. Прошу всех разойтись. В противном случае квартал будет оцеплен.

Толпа разбегается. Многие несут картины.

ДЕВУШКА *(на секунду прижавшись к художнику)*. Запомните мой адрес: улица Гарпунёров, дом 15. *(Убегает.)*

ХУДОЖНИК. Постойте!..

ДЕВУШКА *(за кадром)*. О картинах не беспокойтесь. Их принесут ко мне...

3. Стена. Номер «15». Дверь.

Дверь распахивается.

ДЕВУШКА *(в комнате)*. Входите.

Художник входит.

В комнате, куда он попадает, стоят, висят и лежат его картины.

У стен – какие-то люди. Видны смутно.

ДЕВУШКА. Не обращайте внимания. Это моя мать... и ещё...

ХУДОЖНИК. Теперь, я надеюсь, вы мне всё объясните...

ДЕВУШКА. Что ж тут объяснять... Мы – как бы стихийное Сопротивление. Обычно один из нас жертвует собой... да вы ведь видели... Скажите лучше: э т о и есть ваши картины?

ХУДОЖНИК. Да... Почему вы спрашиваете?

ДЕВУШКА. Мало ли... Перемещение во времени, знаете ли... Бывает, захватят работы не того человека...

Пауза.

ДЕВУШКА. Послушайте, я хочу вам сказать: произошла ошибка. Ваши картины... не опасны... Они очень красивы и всё такое... но они не заслуживают ни преследований, ни спасаний.

ХУДОЖНИК. Как? Но ведь ваше правительство...

ДЕВУШКА. О, правительство! Мы понимаем под этим не совсем то, что вы. Я, например, тоже в этом правительстве...

ХУДОЖНИК. Что?!

ДЕВУШКА. Вот видите, вы не понимаете. Слишком многое различно... и только язык искусства мог бы... служить мостом. Но ваши картины... не искусство. Вы могли бы спокойно оставаться в своём времени...

4. Снова толпа на площади. Художник в толпе.

Нечто вроде смерча возникает в центре кадра, и посреди толпы возникает человек.

ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ *(появляясь)*. Попрошу философа выйти.

Художник, расталкивая окружающих, выходит. Женщина поднимает пистолет.

ХУДОЖНИК. Стреляйте двойным. Я не хочу жить.

ЖЕНЩИНА. Вы и не будете жить.

Крупный план – лицо художника и ствол пистолета.

В лице отчётливо проступают черты Третьего Сумасшедшего.

Крупный план – лицо девушки. Жестокая усмешка.

Экран гаснет.

РАСПЯТЫЙ. Ты понял, Робеспьер?

РОБЕСПЬЕР *(мечется)*. Проснуться, проснуться...

Исчезает крест, и перед Робеспьером – бесформенное Нечто.

НЕЧТО. Робеспьер, здравствуй! Я – Верховное Существо. Что бы ты мне хотел сказать?

Робеспьер падает. Лежит неподвижно.

НАДЗИРАТЕЛЬ *(встаёт)*. Никак теперь мой выход. *(Напяливает треугольную шляпу, поднимается на сцену. Заглядывает в бумажку.)* Именем нарррода… Гррражданин Ррробеспьеррр, следуйте за мной!

Робеспьер не шевелится.

На сцене – полный свет. Нечто оказывается просто людьми, завернувшимися в простыню. С одного конца выползает Фуше, хихикает.

ТВОРЕЦ *(выпутываясь с другого конца, склоняется над лежащим «Робеспьером»)*. Маркиз…

ФАУСТ *(поднимается на сцену, по-прежнему отрешённый. Говорить может всеми голосами сразу)*.

Струится через время вброд
костёр, пока не околеет.
К моей сожжённой Аквилее
ночь подползла наоборот.
С собачьей мордой голова
созвездья слизывает рядом.
Земля пузырится от яда.
В окне – чугунная кровать.
Забыт под камнем диалог:
«Я вас… любить ещё…» – «Быть может…»
Волк-великан лежит и гложет
Луну, упавшую орлом.
И станет день, и круг-приказ,
как гипс, зальёт подвал и площадь.
В пустотах остаются мощи:
там черновик…
а там рука…

ТВОРЕЦ *(выпрямляясь)*. Он умер…

НАДЗИРАТЕЛЬ *(обмахиваясь шляпой)*. Здорово сыграл!

ТВОРЕЦ. Он действительно умер! *(Выходит на авансцену и произносит буднично.)* Сегодня, 2 декабря 1814 года, в царствование христианнейшего короля Людовика XVIII, на семьдесят пятом году жизни скончался известный французский писатель Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад.

З а н а в е с.

Наталья Ворожбит

Здравствуй, читатель!

Если вдруг на улице, в театре, в редакции или в кофейне тебе встретится пропахший нафталином городской сумасшедший, бормочущий, что современной российской и русскоязычной драматургии нет – смело вызывай «дуровоз».

Сейчас настоящий расцвет драматургии. Цветут все цветы. Кинув клич о пьесах для нового альманаха, я за неделю сформировала «портфель» на год. Множество авторов разных поколений и разных художественных пристрастий и направленностей пишут яркие, интересные тексты для театра. Их так много, что далеко не все умещаются в единственном «профильном» журнале «Современная драматургия» и в нескольких сборниках, выходящих по итогам драматургических конкурсов и фестивалей, которых в России великое множество.

Теперь с помощью нового альманаха появляется возможность знакомить любителей русской словесности и театра с новыми пьесами. Хорошие современные пьесы не всегда обретают сценическую судьбу, но являются интересной литературой, их можно читать и ставить в своём воображении.

Без малого двадцать лет назад, летом 1994 года мне довелось дебютировать пьесой «Яблочный вор» на фестивале современной драматургии «Любимовка», которым руководили Михаил Рощин и Алексей Казанцев, культовые драматурги и светлые люди, Царствие им небесное... В «Любимовке» конца девяностых начинали Елена Гремина и Михаил Угаров, Максим Курочкин, Катя Нарши, Наталья Ворожбит, братья Пресняковы и братья Дурненковы, Елена Исаева, Вадим Леванов, Юрий Клавдиев, Александр Родионов – почти все, кто теперь «делает погоду» в театральной и кинодраматургии.

Незабываемая Любимовка – дача Станиславского на Клязьме, ночные костры, тарзанка над речкой, деревянный театр 1895 года постройки, где шли первые репетиции «Чайки», и мы – молодые, талантливые, гордые «несвоевременные одиночки». Тогда молодому автору было очень трудно воплотиться на сцене, чему причиной была и лютая «геронтократия» в театрах постсоветского пространства, и растерянность даже молодых режиссёров перед но-

выми текстами, что немудрено – слово, язык всегда развиваются быстрее, чем средства театральной выразительности и режиссёрский «инструментарий».

Если попытаться определить самое главное, что произошло за двадцать лет, то, пожалуй, не ошибёшься, сказав, что выросли режиссёры, способные воплотить на сцене тексты современных авторов, интересно поставить самую «замороченную» пьесу. Окрылённые поддержкой и возможностью быть понятыми и адекватно интерпретированными на сцене, драматурги осмелели и расписались не на шутку, всё дальше отходя от канонов, записывая пьесы то как прозу, то как киносценарий, или просто называя своё сочинение «текст для театра и кино».

«Несвоевременные одиночки» превратились в сплочённое профессиональное сообщество, с которым приходится считаться.

В альманахе «Слова, слова, слова» будут печататься РАЗНЫЕ пьесы современных авторов – и крепкое «прет-а-порте», и странный авангард, и «поисковые», «движенческие» пьесы известных авторов, и новые имена. Чтобы читали и спорили.

Мне очень приятно в первом номере нашего альманаха представить Наталью Ворожбит, одного из наиболее ярких авторов современного драматургического поля. Ворожбит окончила Литературный институт имени Горького, живёт в Киеве, успешно пишет для театра и телевидения и на родном украинском, и на русском языках.

Пьеса «Зернохранилище», написанная по заказу Королевского Шекспировского Театра Великобритании, никогда не печаталась целиком. Это эпос, «большое полотно», настоящий текст для театра и кино, который ждёт своего полноценного сценического или экранного воплощения. Наталья – автор уже известный и очень уважаемый, но биологически молодой, и особенно ценно, что такой молодой человек трепетно и бесстрашно касается болевых точек *истории своей родины.*

Ксения Драгунская,
драматург,
председатель комиссии по драматургии
Союза Театральных Деятелей РФ

По заказу Королевского Шекспировского Театра

ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ

Действующие лица:

Мокрина Старицкая
Арсей Печорица
Книжник Мортко – уполномоченный с района
Феодосий – отец Мокрины
Оляна – мать Мокрины
Мать Арсея
Агитаторы: Иван Иванович, Юрка, Машка и Василий
Самсон и Горобец – друзья
Килина
Избач
Активисты: Гаврило и Юхим
Труповоз Артюх
Людоед
Стара баба с пустым ведром
Странник
Родственники и односельчане Мокрины:
Храсина, Секлета, Яким, Броня, Федора, Мина, Явдоха, Тодось, Югина, Горпина, Явдоха, Текля, Сафон, Онисько, Прокоп, Стася, Хранка, Тофиля, Яник, Фанас, Гафийка
Вольтер Дюранте – журналист из «Нью-Йорк таймс»
Даша – домработница Вольтера Дюранте

1 ДЕЙСТВИЕ

16 АВГУСТА 1929

Двор середняка Феодосия.

Длинный деревянный стол в вишневом саду. Вдоль него – лавки.

На столе – изобилие. Расколотые арбузы, дымящаяся картошка, овощи прямо с грядки, жареное мясо.

За столом – нет никого. Над столом только красивые мухи. Жужжат и лениво садятся на пищу.

Все сидят спиной к столу и смотрят выступление агитбригады.

Дают спектакль под названием:
«Побойтесь Бога!»
На воображаемой сцене плакат с большой иконой.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНОВИЧ. Чудо в селе Замориловка
Икона Божьей матери заговорила.
Со всей округи идет народ
Посмотреть иконе в рот.

Выходят агитаторы, изображают крестьян. Молятся по очереди перед говорящей иконой.

КРЕСТЬЯНИН. Боже, дай здоровье мне, детям и моей жене!
ИКОНА. Заплати один целковый,
Будешь, как медведь, здоровый!
КРЕСТЬЯНКА. Меня не любит мой жених,
Боже, что мне делать?
ИКОНА. Заплати немного денег.
КРЕСТЬЯНИН. А что мне делать с моею коровой?
У нее на ноге лишай здоровый?
ИКОНА. Еже еси, деньги неси.
АГИТАТОР. Тут подошел атеист.
Отодвинул икону.
А там поп с попадьею считают деньги.
ПОПАДЬЯ. Это мне на кружева.
Это мне на ложки.
АГИТАТОР. Поп попадью в лоб.
Попадья на полу растянулась и больше не очнулась.
Поп под рясу деньги спрятал.
Теперь ему надолго хватит.
АГИТАТОР. Верьте, люди:
Бога нету!
Верить нужно только в это!
Дорогие товарищи!
У Советской власти
просите счастья.

Молодежь хохочет и хлопает артистам-агитаторам. Старушки незаметно крестятся.

ГОРОБЕЦ. Вот артисты молодцы! Прямо как про нашу попадью.

САМСОН. Земля ей пухом.

Самсон три раза крестится. Агитатор Маша, поглядывавшая на Самсона, замечает это.

МАША. Эй ты, здоровяк, а ты когда с женщиной ночуешь – тоже крестишься?

САМСОН. А як же ж! Три раза до и три раза после. И ее крещу. Это как борщ поперчить.

МАША. Ну, так а я и так с перцем, чтоб ты знал.

Стреляет на Самсона красивыми глазами.

ГОРОБЕЦ. Ты только посмотри, Самсон, ты ихней артистке понравился. Вот тебе повезло.

САМСОН. Та ну ее к чертям собачим, господи прости. Мне что артистка, что горбатая Текля, лишь бы добре кормила. Меня другое интересует: как ты думаешь, Горобец, правда ли, что новая власть будет церкви сносить, а вместо них красные башни строить?

ГОРОБЕЦ. Типун тебе на язык, Самсон.

Горобец плюет по три раза через каждое плечо.

Феодосий с осуждением смотрит на свою дочь Мокрину, которая смеется вместе со всеми.

Красивый парень Арсей возле Мокрины, подбивает клинья.

АРСЕЙ. Мокрина, подрастешь, убежим с агитбригадой? Увидим Советскую Украину.

МОКРИНА. Тю. Никуда я с тобой не побегу.

АРСЕЙ. Ты же меня любишь.

МОКРИНА. Как собака палку.

АРСЕЙ. Так убежим?

МОКРИНА. Они ж нас не звали, Арсей.

АРСЕЙ. Я говорил со старшим. Обещал взять.

МОКРИНА. Боюсь я.

АРСЕЙ. Меня? А Килина не боится.

МОКРИНА. Шо?! И беги со своей Килиной!

Мокрина встает и убегает. Гневная, обиженная.

АРСЕЙ. Что ты горячая такая?! Я пошутил! Не нужна мне никакая Килина!

Мокрина бежит от Арсея и случайно выбегает на импровизированную сцену. Агитатор хватает Мокрину за талию.

АГИТАТОР. А сейчас гарная дивчина расскажет нам, что она знает про Бога и про колхоз.

Мокрина верещит и отбивается.

МОКРИНА. Божечки мой, отпустите...

АГИТАТОР. Какой я тебе Божечка. Я – Иван Иванович. Так что скажешь, девушка, есть Бог?

МОКРИНА *(еще стесняясь, но уже лукаво зыркая черными глазами)*. Хто ж его отменял, дядечка?

Люди смеются.

АГИТАТОР *(смеясь).* Как кто? Советская власть.

МОКРИНА. А у Бога спросили?

АГИТАТОР. А как же. Написали ему письмо, а оно обратно пришло нераспечатанным. Значит, нет его, раз не прочитал.

МОКРИНА. А может, он увидел, что от вас, и читать не захотел?

Народ и агитаторы смеются.

АГИТАТОР. А может, он и читать-то не умеет?

МОКРИНА. Ему молиться нужно, а не писать.

АГИТАТОР *(добродушно).* Такая гарная, розумная дивчина, а такие глупости говоришь. Ничего, я к тебе через пару лет приеду. Что тогда скажешь?

МОКРИНА. Скажу, здоровеньки булы, Иван Иваныч.

АГИТАТОР. И ты будь здорова, красавица. Что ж с тебя взять? Петь ты умеешь?

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. Заспивай (спой), Мокрина. Она гарно поет.

ВСЕ. Заспивай.

Мокрина, задумавшись, заводит грустную песню, которая так не вяжется с веселым настроением, смехом и изобилием на столе.

Ой горе тій чайці
Горе тій небозі.
Що вывела чаеняток при битій дорозі
Шли чумаченьки, воли попасали
І чаечку зігнали, чаенят забрали.
А чаечка в'еться, об дорогу б'ется,
К сирій землі припадае, чумака благае:
«Ой ти, чумаченьку, ти ще молоденький!
Верни моіх чаеняток – вони ще маленькі!»
«Ой не верну, чайко, не верну ніколи,
Бо забереш чаеняток – полетишь у поле».
«Не буду летіти, тут буду сидіти,
Буду воли завертати й діток доглядати!»
«Ой полети, чайко, на зелену пашу,
Бо вже твоіх чаеняток покидали в кашу!»
«Бодай ви, чумаки, у Крим не сходили,
Як ви моі чаенята у каші зварили.
Бодай вам, чумаки, воли поздихали,
Як через вас чаенятка навіки пропали!»

Всем нравится, как поет Мокрина. Особенно Арсею. Особенно самому молодому агитатору Юрке. Он смотрит на нее радостно и с интересом. Мокрина заканчивает песню, грустно смотрит вдаль, словно в свои 13 лет знает что-то большее. Кто грустит, кто вздыхает, Иван Иваныч улыбается.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНОВИЧ. Чья ж ты такая?

ФЕОДОСИЙ *(с привычной гордостью).* Моя это. Она у меня и в школе самая грамотная. Парубки уже вокруг вьются, да я замуж ее не отдам. Пока на человека не выучится.

МОКРИНА *(вспыхнув).* Тату, тю!

Мокрина бежит со сцены, закрыв лицо руками

На сцену выбегает Юрка и чтобы как-то переменить настроение – лихо отбивает дикую чечетку.

Заходит во двор домашний скот: коровы, лошади, козы и овцы. Сытые и красивые. Хозяйка посыпает хлеб солью и кормит свою любимую корову.

Пастух садится за стол и с аппетитом ест после долгого трудового дня.

12 ЯНВАРЯ 1931

Изба-читальня. Пустое помещение со скамейками и единственной этажеркой, на которой газеты и несколько книг. На лавках сидят люди. Не зная, куда деть руки, складывают их, ладонями вверх на коленях. Избач прохаживается по «авансцене». В руках у него газета «Правда». Он читает вслух статью.

ИЗБАЧ. Партия добилась коренного перелома в развитии нашего земледелия, в развитии нашего крестьянства. Бурно развивается колхозное движение, по темпам своего развития обгоняя даже крупную промышленность. Это начало массового колхозного движения.

Феодосий заходит в избу последним. Не садится, а становится в сторонке. Встречается взглядом с Арсеем, который стоит рядом.

ФЕОДОСИЙ *(тихо).* Ну что ты смотришь на меня, как на москаля? Рано ей замуж. Не обижайся. Да и не только это. Какая она невеста? А какой ты жених? Сынок, ты же голодранец, пойми. Куда я свою дочку за голодранца? Погуляй еще, а там посмотрим.

Арсей равнодушно отворачивается, сплевывает на пол и растирает ногой слюну.

ИЗБАЧ *(читает)* «Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, – говорит товарищ Сталин, – что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами. А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. В этом основа того коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который составляет важнейшее достижение Советской власти...»

ГОРОБЕЦ. Это про кого ж, куме, так пишут?

САМСОН. Про нас, куме, и пишут.

ГОРОБЕЦ *(восхищенно)*. Ох, и брешут же, бляди.

САМСОН. Брешут.

ИЗБАЧ. Вот народ, где не жил, такого упрямого народу не видел. Не верят, хоть ты тресни. Это ж «Правда»!

Трясет газетой «Правда». Народ отмахивается, тянется к выходу. Остается только молодежь.

ИЗБАЧ. Стойте. Вот еще что... Объявление. Как вы знаете, Яник Прокопенко уехал на строительство железной дороги. Значит, в совет избачей нужен человек. Я предлагаю кандидатуру Арсея Печорицу. Он хлопец розумный, из бедняков.

АРСЕЙ. Та некогда мне.

ИЗБАЧ. Поговори еще, тунеядец. Тебя никто не спрашивает.

ФЕОДОСИЙ *(добродушно)*. Видишь, далеко пойдешь, парень. Может, я еще за тобой побегаю, чтоб ты Мокринку сосватал.

Видно, что Феодосий в это не верит, как не верит и Арсей.

ИЗБАЧ. Все согласны? Единогласно.

КИЛИНА. А танцы будут?

ИЗБАЧ. Это вам изба-читальня, а не клуб. Где сознательность? Только петь и танцевать.

Молодежь уже расставляет лавки под стенку. Брат Мокрины Онисько растягивает гармошку. На середину выходит Килина, красивая девушка в расцвете. Избач не сводит с нее глаз, как и многие другие. Но она смотрит только на Арсея. В углу, среди подростков, застенчиво жмется Мокрина.

ИЗБАЧ. Лавки поставите на место.

Онисько, как бы нехотя, наигрывает веселую мелодию. Килина начинает танцевать.

Мокрина и Арсей встречаются взглядами, Арсей отворачивается.

На фоне танца звучит последний разговор Мокрины и Арсея.

МОКРИНА. А я уже давно тебя жду. Замерзла.

АРСЕЙ. А я давно пришел. Смотрел на тебя из-за дерева и думал: дождется или нет. Думал, если дождется – женюсь. Не дождется – не женюсь.

МОКРИНА. Если б знала, ушла бы.

АРСЕЙ. Куда ты от меня уйдешь?

МОКРИНА. Не задавайся.

АРСЕЙ. Та разве ж я задаюсь? Я так тебя боюсь, что даже выпил сто грамм для храбрости.

МОКРИНА. Разве ж это хорошо – напиваться?

АРСЕЙ. А знаешь, когда я тебя полюбил? Когда ты еще ходить не умела. Я смотрел и думал – какое дитя красивое. Мне б такую сестричку. А потом стали подрастать – я уже по-другому думал, не сестру хотел, а жену. А ты меня когда полюбила?

МОКРИНА *(тихо)*. Как увидела, так и полюбила. Не помню когда. Всю жизнь.

АРСЕЙ. Я сегодня свататься приду, Мокрина.

МОКРИНА. Не ходи. Не отдадут. Точно знаю.

АРСЕЙ. А если я с тобой заночую, так сразу отдадут.

МОКРИНА *(с вызовом)*. Ну, заночуй.

Арсей утыкается Мокрине в плечо, сопит.

АРСЕЙ. Да разве ж я тебя обижу, ненаглядная моя?

МОКРИНА. Может, и обидишь, Арсей.

Мокрина гладит Арсея по голове. Он подымает голову, они целуются.

Но сейчас Арсей танцует с Килиной. С вызовом поглядывая на Мокрину.

ПАСХА 1931

Весна. Птичий щебет. Тающий снег. Площадь перед церковью и сельсоветом рядом. Люди стоят возле церкви и наблюдают за Арсеем, который зачем-то вылез на колокольню с веревкой в руках.

МАТЬ. Сыну, зачем ты на колокол залез?

КИЛИНА. Москву увидеть хочешь?

АРСЕЙ. А как же! Москву.

МАТЬ АРСЕЯ ОДАРКА. Слезь, ирод. Разобьешься.

АРСЕЙ. Выступает Арсей Печорица. Голодранец и ирод. Хватит дурить нам головы вашим Богом.

СОСЕДКА. Шо он мелет, твой Арсей? Ну и жарты (шутки) у молодых. Где ж это батюшка? Время службу править.

ИЗБАЧ. Откройте глаза, людоньки. Мы вас освобождаем. Помочь, Арсей?

АРСЕЙ. Сам.

ИЗБАЧ. Если сам, то делай дело, а не красуйся.

АРСЕЙ *(Феодосию, задираясь)*. А что, дядько Феодосий, не поможете грех взять на душу?

ФЕОДОСИЙ. Что ты надумал? Прыгать будешь? *(спокойно, Мокрине).* Доця, може, ты скажешь этому бовдуру, чтобы слез.

МОКРИНА. Разве он кого слушает?

АРСЕЙ. Так что, дядько Феодосий, отдадите за меня Мокрину?

МАТЬ АРСЕЯ *(дрожа, Феодосию).* Говори, родной, что отдашь... Пусть слезет, а там я его своими руками задушу... *(Арсею)* Зачем тебе эта Мокрина, сынок? Они ж тебя куском хлеба попрекать будут... Возьми Килину, она нам ровня, она любит тебя...

КИЛИНА. Не надо, тётю.

АРСЕЙ. Так как же, дядько Феодосий, отдашь?

ФЕОДОСИЙ. Отдам, а как же, отдам. Как слезешь, так и свадьбу сыграем.

МОКРИНА *(тихо).* Не пойду я за дурака.

ФЕОДОСИЙ. А не такой он и дурак, я погляжу.

ОНИСЬКО. Арсей, ты чего туда залез, не пойму? Разве так женятся?

МОКРИНА. Арсей, ты пьяный?

АРСЕЙ. Скажи, что любишь меня.

Среди людей смех.

МАТЬ АРСЕЯ. И батько у него таким же дураком был.

МОКРИНА. Люблю, Господи... Шо ж ты меня перед людьми позоришь?

КИЛИНА. Как же, любит она... Да если бы он из-за меня... Я бы уже на колокольню взлетела бы.

ИЗБАЧ. Печорица, да я тебя за то, что ты идею портишь, в холодную на три дня...

Подходит странник – худой седой старик.

СТРАННИК. Христос воскрес, людоньки.

ЛЮДИ. Воистину воскрес.

СТРАННИК. Что тут у вас робыться (делается)?

ГАФИЙКА. Та вот, Арсей Перепелица на дзвоны залез и прыгать хочет *(с гордостью).* Через мою сестру.

СТРАННИК *(крестится).* В такой день? Господи, прости. Слезь сынок, сегодня ж Пасха. А у тебя вся жизнь впереди.

САМСОН. Арсей, а помнишь, как моя Галя тебе на Пасху куличей с крашанками (пасхальные яйца) давала? Переворачивается в гробу, сердешная, когда тебя сейчас видит, крестничек.

ИЗБАЧ. Да вы слушайте этого серуна (засранца). Его туда по заданию советская власть направила, а он свои личные, куркульские вопросы решает.

Все без симпатии косятся на Избача. Арсей подходит к краю.

МОКРИНА *(уже потеряв всякий стыд, отчаянно)* Люблю, Арсей, люблю! Слезь, родненький!

АРСЕЙ. Замолчи, не позорься. Раньше надо было.

ИЗБАЧ. Работай, Печорица! А то я тебя полюблю.

ГОРОБЕЦ. Ну, я из-за своей бабы в Хороле топился, так я хоть плавать умел. А чтоб Арсей летать умел – я что-то не припомню.

Люди смеются. Арсей решительно лезет на колокол. И там, сидя на перекладине, начинает привязывать к нему веревку.

Среди людей недоуменный ропот.

ИЗБАЧ *(радостно).* Именем советской власти избавим народ от религиозного гнета. Превратим церкви в зернохранилища. Сдадим колокола на медь государству. Получим взамен трактора и другую технику!

Издалека видно – что-то черное катится с горы к церкви. Из маленькой черной вороны он превращается в толстого батюшку в развевающейся рясе. Он бежит, спотыкается, падает, воздевает руки к небу. Но его никто не видит, все как завороженные следят за Арсеем. Больше никто не смеется и не говорит. Только хватают ртами воздух.

Арсей привязал веревку, теперь выносит его на веревке из колокольни.

СТРАННИК. Бить их нужно. Сейчас их нужно бить. Что вы смотрите, люди добрые?

ЖЕНЩИНА. Шо он делает, не пойму?..

МУЖИК. Колокол же упадет сейчас.

ЖЕНЩИНА. Или он нарочно? Не пойму никак...

Странник подходит к каждому, заглядывает в лицо.

СТРАННИК. Бейте их, не ждите. У нас под Гадячем уже давно началось... Забирают... Голодуем... Мрем, как мухи.

Мать Арсея мелко крестит сына издалека.

МАТЬ АРСЕЯ. Господи прости его, Господи прости его, он не сбросит. Побалуется и не сбросит. Этого просто не может быть.

Арсей подтаскивает колокол к краю.

АРСЕЙ. Разойдись, а то зашибет.

ИЗБАЧ *(восторженно).* Запомните эту минуту, товарищи. С этой минуты у вас начнется другая жизнь. По необразованности своей вы не понимаете всей важности момента. Но мы откроем глаза темному народу. Вечером все должны быть в избе-читальне на лекции про методы по усилению антирелигиозной работы.

Эй, Арсей, давай, родной!
Долой, долой монахов,
раввинов и попов,
на небо мы залезем,
разгоним всех Богов.

Люди, как мыши, разбегаются в разные стороны, становятся поодаль. Арсей спускает колокол на веревке, но в середине пути колокол срывается и падает, с гулким стоном раскалывается на несколько частей.

Люди плачут и крестятся.

МОКРИНА. Какой же ты у меня дурачок, Арсей... Где же мы венчаться будем, ты не подумал?

МАЙ 1931 ГОДА

Мокрина и Арсей выходят нарядные из сельсовета. Арсей торжественный, взволнованный и счастливый. Мокрина глупо смеется.

АРСЕЙ. Теперь мы муж и жена. Понимаешь? И твой батько ничего не скажет.

МОКРИНА. Скажет. Еще как скажет. В матюках, как в репьяхах будем.

АРСЕЙ. Я матюков не боюсь. Главное, что все законно, обратно не вернешь. Что ты смеешься, жена?

Мокрина закрывает рот руками, чтобы не рассмеяться. Арсей тоже улыбается, глядя на нее.

АРСЕЙ. Дурносмех ты у меня. Ну, чего?

МОКРИНА. Ой, отстань, Арсей... Ну, какая я жена?

АРСЕЙ. Законная. Вот же написано! Нас расписали в сельсовете. Теперь ты Мокрина Печорица, Арсея жена. Ты что?

МОКРИНА. Нет. А я не чувствую этого. Никому не показывай эту бумажку. Засмеют.

АРСЕЙ *(растерянно).* Сейчас всех так расписывают.

МОКРИНА. А я не верю в такое. Я разве на свадьбах не была? В церкви, красиво, моя сестра венчалась.

АРСЕЙ. Так ведь все равно, после сельсовета.

МОКРИНА. Пусть после сельсовета. А потом же по-настоящему?! И я так хочу.

АРСЕЙ. Мне так нельзя. Ты же знала. Зачем пошла тогда, согласилась? Что ты мне голову морочишь?

МОКРИНА. Я думала, что-то произойдет, перевернется, изменится. Я почувствую. Но ничего. Только стыдно, как в детстве. И все.

АРСЕЙ. Пойдем домой. Мама пирогов напекла.

МОКРИНА. Я и иду домой. К себе. Прости, Арсей. Не то это. И давай никому не скажем...

АРСЕЙ *(срываясь).* Гадина ты, Мокрина. Какая же ты гадина! Вот я отомщу тебе!

МОКРИНА. Не сердись.

АРСЕЙ. Это все твой батько! Его работа! Он еще не знает, что я скоро разбогатею!

МОКРИНА. А отчего ты бедный? Я бедности не боюсь. Но люди говорят, что твоему батьке советская власть в 19 году все дала. И землю. И кредиты. А вы снова бедные. Отчего так? Батько говорит, что это оттого, что вы только из-под палки работать можете. Правда?

АРСЕЙ. Вот посмотришь через год, кто из нас бедный будет и кто из-под палки. Дурочка, одно твое спасение – женой моей быть. Раскулачивать вас скоро начнут. Придешь же ко мне хлеба просить.

МОКРИНА. А ты не дашь?

АРСЕЙ. На порог не пущу.

Мокрина смеется.

МОКРИНА. В церкви обвенчаемся. Потом.

Мимо проходит СТАРА БАБА С ПУСТЫМ ВЕДРОМ.

МОКРИНА. Добрый день, титонько.
СТАРА БАБА. Доброго дня, дитинко...
АРСЕЙ. Добрый день.
СТАРА БАБА *(Арсею).* Геть, зараза.

Стара Баба недобро смотрит на Арсея и обходит его скорее.

АРСЕЙ. Чего она на меня зыркает, видьма старая?
МОКРИНА. Отчего-то тебя люди перестали любить.
АРСЕЙ. Я ничего не понимаю. Я для тебя на все готов. Хочешь в церковь? Поехали в Сорочинцы. И пусть меня в тюрьму посадят! И пусть моя мать от голоду умрет! Ты этого хочешь? Я на все готов для тебя!
МОКРИНА. Не надо так.
АРСЕЙ. А как? Как ты хочешь?!
МОКРИНА. По-людьски (по человечески).
АРСЕЙ *(выходит из себя).* Ах, по-людьски! Иди ты к ебеням, проклятая куркулька!

Толкает Мокрину в грудь. Она падает на забор. Он разворачивается и уходит. Дорогу ему переходит Стара Баба с пустым ведром. Подходит к Мокрине, помогает подняться. Мокрина смотрит вслед Арсею, плачет.

СТАРА БАБА. А я сон видела, как твой Арсей ко мне пришел и все вареники съел. А сегодня мне Артюх сказал, что завербовался Арсей в активисты с другими голодранцами. Будут хлеб забирать у людей и 25 процентов от этого себе в карман. Такие дела. Так шо не плачь за ним, дитинка.

21 НОЯБРЯ 1932

Семья Старицких сидит за столом. Большая семья. Одиннадцать детей, мать и отец.

Много вареной картошки. Квашеной капусты. Сало. Хлеб. Молча с аппетитом едят деревянными ложками из общих тарелок. Дети шепчутся и хихикают, но затихают под строгим взглядом отца.

ФЕОДОСИЙ. Добрый борщ, Оляна. Только кислоты не хватает.
ОЛЯНА. Так квашеный буряк (свекла) кончился.

ФЕОДОСИЙ *(изумленно приподняв бровь)* Как кончился? Ты что, Оляна? Как такое может быть?

Оляна удивленно поводит плечами, сама не понимая, как такое могло случиться.

Еще некоторое время молча едят. Феодосий откладывает ложку.

ФЕОДОСИЙ. И все-таки я не понимаю. Век живу, а борщ без квасу не ел. Хлеб кончался. Картошка. А чтобы квас?!

ОЛЯНА. Сама не знаю, я ж на всю зиму наквасила... А тут смотрю – в бочке на дне осталось... Такого еще и не было... И буряки кончаются...

МОКРИНА. Проживем без буряков, тату.

ФЕОДОСИЙ. Интересно. Сначала без буряков проживем, потом без хлеба проживем. А потом и без Бога. Красивые же мы будем люди после этого. Что же от нас останется?

В дверь раздается настойчивый стук.

ФЕОДОСИЙ. Кто это там?

Открывается дверь. На пороге стоят агитаторы.

Испуганное семейство разом встает из-за стола и становится вдоль стены. К ним присоединяются остальные крестьяне.

Агитаторы дают концерт перед молчаливым народом.

У каждого крестьянина в руках по пустой миске и деревянной ложке.

АГИТАТОР. Предпоследнее представление в науку обманутому населению.

Наглядное пособие для куркульских пособников.

(Объявляет.) Картина первая.

Куркуль не хочет записываться в колхоз.

За стол садятся Машка и Василий, карикатурно переодетые в украинских крестьян. Машка в пестро вышитой сорочке, очипок на голове. За пазуху намостила чего-то, для увеличения груди. Рядом переодетый Вася, с наклеенными усами и «оселедцем» на голове. Они не похожи ни на кого из стоящих крестьян. На столе бутафорский жареный поросенок, каравай, галушки.

Выходит агитатор Юрка, одетый бедным комсомольцем. Широко и приветливо улыбается.

ЮРКА. Здравствуйте, люди добрые!

МАША И ВАСИЛИЙ *(недобро)*. Здравствуй,

ЮРКА. От имени советского государства приглашаю вас вступить в колхоз.

МАША. Не пойдем.

ЮРКА. Почему?

ВАСИЛИЙ. Не хотим работать для государства. Хотим работать для себя.

ЮРКА. В колхозе всем будет лучше.

МАША. А мы не хотим, чтобы всем было лучше. Мы хотим, чтобы нам было хорошо.

ЮРКА *(обвинительно указывая на них пальцем)*.

Вы – куркули-единоличники.

Народ ахает. Маша и Василий сжимаются в страхе и ненависти.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНЫЧ. Картина вторая.

Куркуль не хочет отдавать хлеб и имущество государству.

Маша и Василий всю бутафорию со стола прячут в печь. Садятся за пустой стол.

Входит Юрка. Василий и Маша злобно смотрят на него.

ЮРКА. Доброго дня вашей хате.

Василий и Маша молчат.

ЮРКА. Советское государство просит вас о помощи.

ВАСИЛИЙ. У нас ничего нету.

ЮРКА. Как нет? А хлеб? Сдайте государству лишний хлеб.

МАША. У нас нет лишнего хлеба.

ЮРКА. Отдайте в колхоз ваших лошадей, коров и свиней.

ВАСИЛИЙ. У коров сейчас короста, у свиней лишай, а кони у нас старые и больные клячи. Уходи. Ничего ты от нас не получишь.

ЮРКА *(уходя, с болью)*.

Мы просили вас по-доброму.

Мы к вам пришли со всею душою.

А вы отвернулись к советской власти
широкой равнодушной куркульскою спиною.

Уходит.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНЫЧ. Картина третья.
Активисты-комсомольцы конфискуют у куркуля спрятанный хлеб, украденный у государства.

На сцену выходит Юрка вместе с Арсеем, Гаврилом и Юхимом. «Куркули» Маша и Вася испуганно жмутся у стены рядом с народом.

ЮРКА. Верните хлеб государству.
МАША. Нету хлеба, ироды. Детей нечем кормить.
ЮРКА. А это что?

Лезет в печь и начинает, как фокусник, доставать оттуда каравай за караваем, каравай за караваем, передает активистам – Арсею, Гавриле, Юхиму.

МАТЬ МОКРИНЫ ОЛЯНА *(выступает из толпы, отчаянно)*. Ироды, детей нечем кормить!
АРСЕЙ. А это что?

Достает палку с острым железным наконечником и начинает протыкать стены, пол, потолок. Отовсюду щедро сыплется зерно пшеницы. Ревет подгоняемый испуганный скот за окном. Визжат поросята.

Мортко деловито распоряжается.

МОРТКО. Зерно – в бывшую церковь и под охрану. Скотину – забить, растушевать и в погреба. А куркульское добро – на продажу.

Юхим открывает сундук и застывает на секунду, словно зачарованный содержимым. Достает оттуда красивые платки, вышитые рушники, сорочки. Арсей подхватывает.

Агитаторы вовлекают в представление и крестьян (не всех), снимая с них платки, сапоги, кожухи и свитки... Все отдают до-

бровольно, словно подыгрывая, как в цирке фокусникам. Кто-то несмело сопротивляется. Например, Баба с ведром не хочет отдавать ведро, но у нее забирают. Особенно долго стягивают сапоги с одного деда... Он пинается, ругается матом, плюется, проклинает.

СТАРИК: Еби твою мать! Червоні бляді! На хуй всі! Не віддам чоботи! Шоб ви всі в аду горіли! Шоб вас чорти забирали! Шоб ваші діти босі ходили і щастя не мали! (может, пусть по-украински ругается? Или это примерно то же, что говорить «украина» по-украински?)

Его утаскивают со сцены вместе с сапогами. Маша и Василий, выйдя из своих ролей, собирают конфискованное и уносят со сцены.

Наступает тишина.
Юрка отступает назад.
Маши и Василия уже не видно.
Только агитатор Иван Иваныч на своем месте.

ИВАН ИВАНОВИЧ. Конфискованное имущество за бесценок распродают беднякам. Разве не заслужили они за годы бедности и бесправия носить сорочки из тонкого льна и сапоги из свиной кожи?

Задав этот риторический вопрос, Иван Иванович уходит.

На сцену выезжает воз с реальной домашней утварью. Там не только праздничная одежда, но и повседневная. Также миски, бочки, горшки, ведра и коромысла...

Выходит Мортко и Арсей, но Арсея можно не сразу узнать: он в шинели, как у Мортко и в кожаной кепке. Немного смущается, но в то же время рисуется.

МОРТКО *(дружелюбно)*. Разве не заслужил ты за годы бедности и бесправия носить хорошую одежду?

АРСЕЙ. Я с детства мечтал про такую шинель.

МОРТКО. Мечты сбываются, Арсей. И бедняки твоего села тоже про это мечтали. Так подари им мечту сейчас... Не смогут купить – задаром отдавай куркульское добро. И люди тебя добрым словом вспомнят. И девки тебя любить будут.

АРСЕЙ. Да и так любят. Да не те.

МОРТКО. Ты просто не тех выбираешь.

АРСЕЙ. Она из раскулаченных.

МОРТКО. Это хорошо. Значит, она теперь как все. Значит, она тебе пара.

АРСЕЙ. Ох. Не сказал бы я.

МОРТКО. Будет твоя. Вот увидишь. Выучишься в партшколе, станешь большим человеком... Она тебя сильно полюбит.

Поощрительно хлопает по плечу. На площадь возвращаются крестьяне. Сильно постаревшего Феодосия под руки выводят Онисько и Мокрина. Так он и стоит, опираясь на своих старших детей. Мортко ободрительно улыбается Арсею.

МОРТКО. Давай. Как я тебя учил. Главное начать, а потом не останавливаться.

Арсей неуверенно подходит к возу. Односельчане мрачно смотрят на него. Мортко тоже со стороны наблюдает за Арсеем.

АРСЕЙ. Доброго дня... День-то сегодня какой, а? Солнышко вышло...

Все молчат. Смотрят на Арсея. Арсей неуверенно смотрит на Мортко, тот ободряюще ему улыбается.

АРСЕЙ *(сначала неуверенно, но потом все смелее)*. Да что там солнышко... Подарков вон целый воз. Подходите, люди добрые. Ближе подходите. Сейчас вот что делать будем... Будем куркульское добро беднякам раздавать... За копейки раздавать... Почти даром...

ГОРОБЕЦ. Это как это? Силой у людей забрали, а теперь раздаете? Зачем тогда забирали? Вот умники.

САМСОН. Выходит, я в соседа кожухе ходить буду, а он мерзнуть от холода? Да он со мной здороваться перестанет.

КТО-ТО ИЗ ТОЛПЫ. А разве мы мало мерзли? Пусть теперь и они померзнут. Пусть побывают в нашей шкуре, а мы побываем в их.

Арсей достает кожух из кучи одежды.

АРСЕЙ. Вот вам и кожух.

АРТЮХ. Это ж Феодосия кожух.

АРСЕЙ. Хм... Гарный кожух, правда? Стоил Феодосию не меньше десяти рублей. А я за три отдам. Почти даром.

ФЕОДОСИЙ. А что ты потом на эти деньги купишь, сынок?

АРСЕЙ. А мы эти деньги государству сдадим, а государство на эти деньги сирот накормит.

ЛЮДОЕДКА: А я, пожалуй, возьму кожушок. Поддержу сиротинок. Ничего, Феодосий? Не обидишься?

ФЕОДОСИЙ. Бог тебе судья.

ЛЮДОЕДКА. Так Бога ж отменили. А я всегда хотела такой, как у тебя. С вышивкой и позолоченными пуговицами. Люди добрые, не стесняйтесь. Не век же голодранцами ходить.

Подходит к Арсею, дает три рубля. Накидывает на себя кожух. Довольная.

КТО-ТО. Бесстыжая.

АРСЕЙ. А вот посмотрите на этот горшок. Это ж не просто горшок, в каком мы привыкли борщ варить... Это расписной горшок из самого Киева. Видите, тут и написано «Киев». 20 копеек. Кому горшок?

АРТЮХ. О, это же покойного Марка горшок.

КИЛИНА. Не берите, людоньки. Ему, бедняге, перед смертью, не в чем было воды попить.

ГАВРИЛО. Зато было во что посцать. В штаны.

Гаврило глупо смеется, но никто не подхватывает. Арсей отставляет горшок. Достает женскую сорочку.

АРСЕЙ. Не хотите горшок? Возьмем сорочку. Из беленого льна. В таких только паны и ходили... В этих сорочках они на перинах валялись, пока мы на их земле горбатились... Даром отдаю. Кто хочет? Килина, возьмешь? Я тебе так подарю.

КИЛИНА. Не надо мне – Мокринкина сорочка.

АРСЕЙ *(опешив, растерянно Мокрине)*. Так это твоя? Возьми, голубка...

Мортко делает предостерегающий жест.

АРСЕЙ. Нет, не дам... Раскулаченным крестьянам не полагается.

КАКАЯ-ТО ЖЕНЩИНА. Я возьму. Не для себя. Для дочки. Она болеет у меня... Пусть порадуется.

Берет сорочку, старается не смотреть в глаза никому. Уходит.

Арсей достает панталоны. Кто-то смеется. Мокрина, узнав в них свои, закрывает от стыда лицо рукой.

ГАВРИЛО. А это, видать, Мокринины панталоны.

АРСЕЙ. А ты откуда знаешь, чучело?!

ГАВРИЛО. А она покраснела. Это ты сейчас без ничего, Мокрина? Вот бы посмотреть.

ОНИСЬКО. Ах ты мелочь пузатая! Я тебя за сестру сейчас яйца оторву!

Онисько, бросив отца на Мокрину, лезет драться к Гавриле. Гаврила убегает со всех ног.

МОКРИНА. Не надо, братику. Не связывайся. Гаврила всегда всех дразнит. Что с него взять?

АРСЕЙ. Я с ним потом поговорю. Он больше тебя не обидит, Мокрина.

МОКРИНА. Отдай мой платок, Арсей. Мне голову прикрыть нечем. Ты же вроде как сватался ко мне. А тут все мое приданое.

АРСЕЙ. Я тебя без приданого возьму. Мне кроме тебя ничего не нужно. Вот выучусь в партийной школе и женюсь на тебе. Дождешься меня?

ОНИСЬКО. Она с тобой срать на одном поле не станет, голодранец.

АРСЕЙ. Ах ты ж недобиток! Я вашу семью от Сибири может спас, а ты все меня моей бедностью попрекаешь?

ОНИСЬКО. А мы сколько раз твою семью спасали, забыл? Когда у вас пшеница не родила! Когда твой отец в луже замерз! Что с тобой стало, Арсей? Ты же был другим! Мы ж росли вместе, на базар торговать ездили, в ночное ходили... а теперь ты против нас идешь... Своих братьев грабишь и не стыдишься этим, а похваляешься... Люди добрые, что вы как стадо коров на все это смотрите! Берите палки, берите огонь и давайте защищать наше добро! Нашу жизнь и семьи! А то такие, как Арсей, будут в наших одеждах ходить, наших сестре портить!..

Люди волнуются, шумят.

АРСЕЙ. Замолчишь ты, наконец, куркульская морда!

Арсей бросается на Онисько. Хочет его ударить, но запутывается в фалдах шинели и падает. Все смеются. Мокрина, ахнув, бросает отца, подбегает к Арсею и помогает встать.

Мортко поднимает пистолет и целится в Онисько.

Феодосий, оставшись без опоры, падает на землю.

На площади громко и неожиданно включается радио. Все застывают, слушая его. Онисько под прицелом Мортко. Мокрина, поддерживает Арсея и смотрит на Феодосия. На лицах людей исторический ужас.

РАДИО. Руководимая Сталиным партия провела чрезвычайные меры против кулачества и сломила его сопротивление. Вредители были сурово наказаны. Товарищ Сталин призвал партию извлечь уроки и потребовал от большевиков-хозяйственников самим стать знатоками техники, специалистами и ускорить подготовку новых технических кадров из рабочих и крестьян.

Арсей оставляет Мокрину, берет узелок с вещами, вместе с ним идет Гаврило и Юхим.

Мокрина и Килина машут платочком вслед уехавшим парням.

МОКРИНА и КИЛИНА *(причитает)*.
Ой, куда ж ты мой друг, собираешься,
Чи в ход, чи в поход, чи в дориженьку,
Заночуй же мой друг, хоть сю ниченьку.

На сцену снова выходит Иван Иванович.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНЫЧ. Картина четвертая.
За сопротивление коллективизации.

КНИЖНИК МОРТКО *(не опуская оружия)*.
Шевчук Секлета, Старицкий Феодосий, Старицкий Онисько, Мельник Килина, Присяжнюк Олекса, Пастух Павло, Гаврилюк Мотря.
За сопротивление коллективизации. Именем светской власти. На выход.

Все названные делают шаг вперед. Здоровые красивые мужчины и женщины. В том числе брат и отец Мокрины. В том числе и Килина.

Под звуки выстрелов враги коллективизации уходят со сцены.

ИВАН ИВАНОВИЧ. Что ж, товарищи, добьем же остатки кулацкой заразы и войдем в светлое будущее очищенными и обновленными. Ура.

Осталось немного. Терпение, братья!
Потуже затянем ремни.
Кулацкому гаду – наше проклятье
В советское утро отправимся мы.

Из-за кулис под жизнеутверждающую советскую музыку выбегают Маша, Василий и Юрий. Они одеты в простые, яркие одежды, излучают счастье и радость. Исполняют танец победы.

24 МАРТА. 1933 ГОД

Московская квартира Вольтера Дюранти. Роскошь и комфорт.

Сам Дюранти в уютном клетчатом халате сидит в кресле-качалке и читает книжку Гоголя. Прислуга Даша вытирает пыль с бронзовых статуэток.

ДЮРАНТИ. Только послушай, Дашка, как вкусно пишет этот чертов Гоголь про малороссов:

«Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели: а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если бы только знали: сахар, совершеннейший сахар! А масло так и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объядение, да и полно. Сладость неописанная! Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному...» А? Каково? Поехать, что ли?

ДАША. Бывала я на Украине. В гостях у дедушки под Полтавой. Так я нигде так хорошо не ела, как у него.

ДЮРАНТИ. А говорят, голод... Врут, ведь, правда? Нет, надо поехать и увидеть все своими глазами. Путрю с молоком попробовать, варенуху с изюмом и сливами... Вот допишу статью и поеду. А нет ли у нас чего вкусного, Даша?

ДАША. Икорки с водочкой не желаете?

Даша выходит на кухню. Дюранти откладывает книжку. Бодро печатает на машинке статью.

Что-то еще быстро печатает.

На конверте пишет адрес, вслух перечитывает: «Нью-Йорк таймс». Обратный адрес. Москва... Козихинский переулок... Вольтер Дюранти.

Откладывает машинку. Заходит Даша с подносом.

24 МАРТА 1933

Избач Руденко сидит за письменным столом и сочиняет письмо. На его лице все муки творчества.

В углу напротив что-то шевелится.

Заходит Мортко. Мрачный. Избач вскакивает. Мортко садится на свое место.

МОРТКО. Получилось?

ИЗБАЧ. Не знаю... Вот послушай... *(читает).*

Уважаемый товарищ Клименко!

В этом письме спешу сообщить вам, что процесс коллективизации в нашем колхозе проходит успешно, а все благодаря вашей мудрой кадровой политике. Книжник Мортко, уполномоченный с района, оказался очень хорошим руководителем. Проявил твердость духа и смекалку в борьбе с кулаками. Побольше бы таких людей в нашей стране и коммунизм мы бы уже давно построили... С нетерпением ждем возвращения посланных в партийную школу товарищей из нашего села: Арсея Печорицу, Юхима Приходченко, Олексу Тарасюка.

А по поводу слухов про голод в нашем районе... Так вот скажу вам со всей откровенностью... *(пауза).* На самом деле нет никаких голодных смертей...

Мортко достает бутылку водки. Стакан наливает себе. Выпивает. Избач замирает. Смотрит, как Мортко пьет.

МОРТКО. Что смотришь?

ИЗБАЧ. Ты же не пьешь...

МОРТКО. Не твое дело. Читай дальше.

ИЗБАЧ *(неуверенно)*. На самом деле нет никаких голодных смертей... Есть поширенные случаи смертей от простуды. На прошлой неделе померло 140 человек... Еще сорок отравились несвежей колбасой на свадьбе... Тридцать семь человек сгорели во время пожара в конюшне...

МОРТКО. Ты что, придурок? Это же шито белыми нитками. Что делали 37 человек в конюшне?

ИЗБАЧ *(растерянно)*. Так... Искали конский навоз... Чтобы съесть...

МОРТКО *(спокойно)*. Идиот. Иди думай и переписывай.

Огорченный избач уходит. Мортко наливает себе еще стакан. Но не пьет. Тупо смотрит на шевелящуюся кучу в углу.

МОРТКО. Бездельники! Аглоеды! Воры! Блядская нация!

Заходит Арсей с вещмешком. Смотрит на Мортко. Но Мортко его не замечает.

МОРТКО. Не хотите работать? На пана работали. На советскую власть не работаете. Твари! Где хлеб? Несите хлеб по-хорошему! Все попрятали! Все сожрали!

АРСЕЙ. Мортко...

МОРТКО *(радостно)*. О! Свежие кадры! С возвращением, Арсей! А я по тебе скучал!

Берет стакан с водкой, выпивает. Радостно бросается к Арсею.

АРСЕЙ *(удивленно)*. Я приехал... помогать тебе. Что с тобой сделалось, Книжник? Ты же не пьешь...

МОРТКО. Я не пью! Просто... руки опускаются... *(показывая в угол на шевелящуюся кучу)*. Разве это люди? Разве с ними коммунизм построишь? Чуть не съели меня.

АРСЕЙ. Не слышал про Мокрину Старицкую? Что с ней?

МОРТКО. Умерла. Простудилась и умерла на прошлой неделе. Все Старицкие померли от простуды.

АРСЕЙ. Как умерла?! Я же просил тебя!

МОРТКО. Наелась тухлой конины и померла.

АРСЕЙ. Ты не перепутал?

МОРТКО. А, так перепутал. По ошибке на труповозке вывезли еще живую и закопали в общей яме.

АРСЕЙ. Мортко?!

МОРТКО. Ха. Вспомнил. Ее людоед съел. Людоед Самойленко. С твоей улицы. Что смотришь? Замуж вышла твоя Мокрина за сына председателя. Теперь жирует на всем казенном. У него, знаешь, пайки какие? Там и мясо, и рыба, и масло, и белый хлеб...

Из угла раздается голодный стон. Арсей в смятении смотрит на Мортко.

МОРТКО. В речке потонула. Вытащили труп аж за селом.

Хохочет, как сумасшедший. Неожиданно прерывает смех. Задумывается.

МОРТКО. Мокрина-Мокрина-Мокрина... *(в угол).* Кто такая Мокрина, не помню?

Из шевелящейся свалки отделается фигура, отдаленно напоминающая человека. Она толкает впереди себя какое-то существо. Лохмотья на существе шевелятся. Оно идти не может. Падает к ногам Арсея. Арсей брезгливо отшатывается.

АРСЕЙ. Что?

ЧЕЛОВЕК. Это Мокрина.

Арсей долго смотрит на существо. Наконец, узнает черты. Прижимает к себе безразличную Мокрину.

АРСЕЙ. Мокринка... Девочка... Живая...

Отрывает от груди, рассматривает. Ловит вшей с ее лица, одежды, волос. Они прыгают и на него.

Развязывает свой вещмешок, достает оттуда хлеб. Безразличие Мокрины сменяется алчным интересом. Арсей дает ей хлеб. Из угла раздается вой, человеческие существа быстро ползут к Арсею, протягивают руки. Арсей всем раздает по кусочку.

Достается «сильнейшим». Маленького Тодося оттесняют и ему ничего не достается. Он бессильно плачет.

Книжник Мортко со странным спокойствием наблюдает эту картину.

МОРТКО. Правильно. Нужно помогать. Правильно, Арсей. Помогай людям. Пусть знают – новая власть лучше старой.

Забирает свой паек. Выходит.

Мокрина проглотила хлеб, теперь целует ноги Арсею.
Арсей поднимает ее с пола.

АРСЕЙ. Теперь все. Будешь жить, Мокрина. Будешь жить, любовь моя. Я все сделаю.

Мокрина лезет в вещмешок. Но Арсей забирает его.

АРСЕЙ. Нельзя больше, будет плохо. Нельзя, потерпи.

Мокрина рычит и кусает Арсея, тот мягко отстраняет ее.

АРСЕЙ *(смеется).* Не кусайся, дурочка.

Берет Мокрину на руки и выносит.

Оляна сидит рядом с маленьким сыном Тодосем.
Тодось наливает в тарелку воду. Ест ее маленькой ложечкой. Тоскливо приговаривает.

ТОДОСЬ. Мамо, исты хочу.

Оляна рассказывает сказку (Ивасик-телесик).

Бодро заходит Иван Иванович. Обводит глазами оставшихся людей.

АГИТАТОР ИВАН ИВАНЫЧ. Картина шестая, заключительная. Истинное лицо куркуля.

В то время как рабочий класс трудится на фабриках и заводах, в то время как советская молодежь строит железные дороги и

Днепрогэс, украинские куркули готовы на все, лишь бы не работать на Советскую власть. Они окончательно теряют человеческий облик – едят навоз и трупы животных. Да и не только животных. Участились случаи мародерства и людоедства.

Дорогой товарищ
Слушай мой совет
Будь очень осторожен
Если ваш сосед
В марте 33-го
Пригласит вас на обед
Если хочешь стать обедом
Подружись с соседом.

Выходит бабка и рассказывает, как перед камерой:

В семье Старицких остался мальчик... Не помню, как его звали... Он ходил по людям и просил поесть... Но ему не давали... Сами кругом голодали... И только одна Лидка Самойленко позвала его к себе...

ЛЮДОЕДКА. Тодось, Тодось, иди до мене, я тебе дам есть и пить... У меня есть бурячок, и есть морковка, у меня есть юшка из ежа, у меня есть затирка, у меня есть свежая крашанка (яйцо)...

Тодось встает и идет на голос вместе с тарелочкой и ложкой. Оляна хочет позвать сына, но не находит в себе сил пошевелиться или издать какой-либо звук.

Людоед любовно принимает Тодося в свой кожух и исчезает со сцены.

А на следующий день Самойленко наварила котлет и поехала в соседнее село продавать... А ее сосед нашел детские косточки у нее во дворе... Поехал на базар, нашел там Самойленко, связал ее веревками, взял нагайку и погнал прямо в город... И сдал эту Самойленко в Полтавский зверинец... Ее потом возили в клетке и по селам показывали... А вот здесь у нее рог вырос. Вот так. Что с ней сейчас – я даже не знаю...

15 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА

Ночь. Полная луна на небе. Два молодых активиста сладко спят под вишней с винтовками около бывшей церкви – теперь

это зернохранилище. Нет креста на куполе церкви, нет колокола на колокольне. Окна наглухо забиты досками. На дверях огромный замок.

Тихо крадутся Горобец и Самсон. В руках – пустые мешки.

ГОРОБЕЦ *(кивает на охранников).* Не проснутся?

САМСОН. Я им полтора литра поставил. Спят, как голуби.

Останавливаются перед задней частью зернохранилища. Ломом отбивают прибитые к маленькому низкому окошку доски.

ГОРОБЕЦ *(окну, с нежностью).* Эх, ты наше родное оконце... Если бы не ты, давно бы на село с кладбища смотрели бы *(вспомнив неприятное).* Только знаешь что? Я теперь не полезу. Теперь твоя очередь.

САМСОН. Тю. Посмотри на меня. Я ж не пролезу. А ты что? Мышей боишься? Или темноты?

ГОРОБЕЦ *(членораздельно).* Я мышей не боюсь. Но когда в прошлый раз они по мне побежали, по рукам, по лицу... как то так... не по себе стало. Чуть криком не закричал.

САМСОН. Ты как баба, Горобец. Кто ж сейчас мышей боится?

ГОРОБЕЦ. Говори, что хочешь.

САМСОН. Так я не пролезу, Горобец! Мы же договаривались – я сторожу, ты за зерном ходишь.

ГОРОБЕЦ *(ноет).* Где правда, Самсон? Я да я... Там гнилью воняет, темно, как в жопе, рукой зерно загребаешь, а оно от мышей шевелится... Спичку поджег – а они шух-шух и зыркают из углов погаными глазами... Да лучше я с голоду опухну... Не пойду, Самсон.

САМСОН. Может, как в прошлый раз – сто грамм налить?

ГОРОБЕЦ. Я в прошлый раз черта видел. С большими усами. Не полезу.

САМСОН. А я собирался затирку сварить. Ну шо ж... И полтора литра, выходит, зря перевели на этих говнюков? А сестра твоя дома голодная...

ГОРОБЕЦ *(после мучительных колебаний).* Ну, хорошо. В последний раз. Сторожи.

Глубоко вздохнув, Горобец, перекрестившись, лезет в оконце. Самсон его поддерживает. Исчезает на какое-то время. Самсон прячется в тень. Тишина. Вдруг Горобец вылезает обратно. С пустым мешком. Самсон выходит из темноты.

САМСОН. Чего с пустым мешком?

ГОРОБЕЦ *(сопит, после паузы).* Я мышей не боюсь.

Самсон в сердцах сплевывает. Забирает мешок у Горобца.

ГОРОБЕЦ *(дружелюбно-виновато).* Мне кажется, ты пролезешь. Ты похудел, бля буду.

САМСОН. Ну, смотри, если что – соловьем.

Горобец имитирует трель соловья.

САМСОН. Добре.

Нерешительно стоит перед узким проемом.

ГОРОБЕЦ. Ты вперед руками и головой ныряй, вот так. Плечи пройдут, а дальше я подтолкну.

Самсон делает, как ему советует Горобец. Действительно, руки, голова и плечи, с некоторым усилием, но проходят. А зад застревает.

ГОРОБЕЦ. Ничего-ничего, сейчас-сейчас...

Суетится вокруг задницы Самсона, толкает внутрь. Но безуспешно.

Та ты поднатужься, Самсон. Руками там обопрись... Зацепись... Рвани...

Мычание Самсона. Горобец устал толкать. Разозлился.

От разожрался, свиная морда... От людей ничего не осталось, и только ты, жирный хряк, растешь как на полове...

Где ты только такой народился? Все люди, как люди, от голоду сохнут, пухнут, умирают, а с тобой ничего не делается... Чтоб тебя разорвало, жирная твоя морда! Еби твою мать, сукин сын! Да ныряй уже, паскуда!

Пару раз пинает ногой под зад Самсона, понемногу успокаивается.

Сходили, блядь, за зерном. Давай обратно, что ли...

Тащит за ноги обратно. Но Самсон и обратно не лезет. Горобец тревожится все больше.

Самсон, родной, потужся. Или туда или сюда. А то мы до утра просидим. Ну, братику, ну прошу тебя...

Ничего. Только громкий пук раздался из чрева Самсона.

Фу, зараза! *(пугает его)* Ей, Самсон, я шаги слышу! Идет кто-то!

Изображает трель соловья. Ноги Самсона начинают выделывать такие выкрутасы, точно он на велосипеде едет.

(Радостно) А, зашевелился!.. Ну, слава Богу... Только в штаны не наложи. *(Испуганно прислушавшись)* Ой... Теперь точно кто-то идет... Господи, активисты после собрания ... Вот черти несут! Это нам хана... Боже, поможи! Самсон!

Отчаянно заливается соловьем. Тащит Самсона за ноги. Падает без сил. Понимает, что все. Плачет.

Прости, братик... Сиди, как мертвый... Не шевелись.

Исчезает в кустах и дает деру.
Выходят Арсей и Мортко.

АРСЕЙ. А что, Мортко... Ночь какая... Соловьи заливаются... Вот так заседаешь до утра и ничего вокруг не замечаешь.

МОРТКО *(подозрительно)*. Рановато для соловьев, Печорица.

АРСЕЙ (мечтательно). Это у вас на севере – рановато. А у нас весна ранняя и соловьи... Я когда с невестой гулял – все соловьи заливались. Повторятся ли они, эти ночи?

МОРТКО. Вот о чем ты думаешь? Ты пойми, дорогой мой, когда ты думаешь про ночи с девушкой, ты забываешь про дни. Трудные дни, дни борьбы с врагами. Где хренова охрана, не пойму?

Свистит. Тишина. Смотрит по сторонам, видит спящих охранников.

(Доброжелательно) Посмотри на этих засранцев, спят, суки. Хорошо, что мы этой дорогой пошли.

Подходит к двум охранникам, пинает их ногой.

Пьяные в стельку! Блядь! А ты говоришь, соловьи!

Бьет сапогом, расталкивает. Один из охранников подает первые признаки жизни. Продрав глаза – видит Мортко. Испуганно мычит, пытается встать на ноги, валится обратно.

(Доброжелательно) Что с ними делать будем? Расстрелять на месте без суда и следствия?

АРСЕЙ *(смеется).* Да это ж Гаврило с Юхимом. Что с них взять? Я их с детства знаю. Они за бутылку с колокольни прыгнут.

МОРТКО. Допрыгались уже. Принеси, Арсей, воды, что ли, из колодца. Будить будем.

АРСЕЙ. Ага...

Делает несколько шагов в сторону. Цепляется о ноги Самсона. Падает. Испуганно вскакивает.

АРСЕЙ. Блядь, Мортко, тут живое что-то.

Отпрыгивает на безопасное расстояние. С ужасом смотрит на окно, из которого торчит две ноги.

МОРТКО. А ты говоришь, соловьи.

Подходит к ногам. Стучит по ним. Ноги реагируют.

МОРТКО. Живой. Ого! Чьи ж это копыта могут быть? Здоровые.

АРСЕЙ. Самсон, ты?

В ответ – глухое мычание.

АРСЕЙ *(с облегчением).* Самсон это. Слава Богу... Что он тут делает, зараза?

МОРТКО *(спокойно).* Зерно ворует, вот что. Застрял по дороге.

Один из сторожей Юхим, понемногу приходящий в себя, начинает мычать что-то получленораздельно, показывая на ноги Самсона.

ЮХИМ. Споил... Споил, гадина... Не виноват я...

Арсей начинает смеяться. Мортко вместе с ним. Мортко первым прерывает смех.

МОРТКО. Чего ты ржешь? Ему ж там плохо. Вытаскивать надо. Или знаешь, что? Давай ему между пальцев спички вставим и подпалим. Он сам пулей вылетит.

Арсей смеется.

АРСЕЙ. Он крестный мой... Не красиво так с крестным.

МОРТКО *(морщится).* Какой крестный у советского активиста?

АРСЕЙ *(смущенно).* Ну, это... Почти как родственник.

МОРТКО. Родственник, говоришь? Тогда сам тащи. Я надрываться не буду.

Арсей хватает Самсона за ноги и, после некоторых усилий, вытаскивает.

На заднем планет один сторож пытается растолкать другого. Безуспешно. Гаврило спит, как убитый.

ЮХИМ. Гаврило... Гаврило... Вставай... Пиздец нам полный...

Арсей и Мортко помогают Самсону выбраться.
Красный, грязный Самсон сидит на земле и трудно дышит.

АРСЕЙ. Как же ты, Самсон, такое придумал, а?

МОРТКО. А дружок твой, Горобец, деру дал?

САМСОН. Один я...

МОРТКО. Ну-ну, один так один. Ответишь за двоих. Эй, Юхим, отрезвел уже?

ЮХИМ. Да я как огурец...

Пытается с трудом встать. Его шатает.

МОРТКО. Споил тебя Самсон?

ЮХИМ. Споил, гад. Насильно вливал. Знал мою слабость.

САМСОН. Что ж ты пиздишь? Я тебя не заливал. Ты бутылку увидел – присосался, как змей.

МОРТКО. А я все на тебя смотрел, Самсон, и думал. Где ты свое здоровье берешь? Теперь знаю – воруешь у государства.

САМСОН. Если это зерно государству нужно – почему оно здесь гниет? Гнилое оно, может, вы не знаете?

МОРТКО. А это не твое дело. Значит, так надо.

САМСОН. Так люди ж мрут, как мухи.

МОРТКО. Это не люди. Это враги, такие, как ты.

САМСОН. Какой же я враг? Я как все. Я есть хочу.

МОРТКО. Единоличник ты. Про жир свой думаешь.

АРСЕЙ. Он больше не будет так, да, Самсон?

САМСОН. Я не буду.

МОРТКО. Не будешь? Вот и молодец. Куда пошел? Стоять. Юхим, ты знаешь, что за то, что ты на посту пьяным уснул – тебе расстрел полагается?

ЮХИМ. Так я тоже не буду больше, Книжник... Бля буду, не буду...

МОРТКО. Как дети. Больше не будут. Вот молодцы. Ты ружье хоть не пропил?

ЮХИМ. Вот оно.

МОРТКО. Заряжено?

ЮХИМ. А как же!

МОРТКО. Ну, тогда герой. Повернись-ка спиной, Самсон. Или нет, хочешь так стой. Именем советской власти приговариваю тебя к смертной казни через расстрел. Юхим, выполняй.

Все удивленно смотрят на Мортко.

ЮХИМ. Шо?

МОРТКО. Не шокай, пенек. Выполняй.

АРСЕЙ. Та хватит, Мортко.

МОРТКО. Не понял?

АРСЕЙ. Ну, того, ты чего...

Мортко медленно разворачивается и смотрит на Арсея.

МОРТКО. Арсей, я тебя не пойму что-то... На твоих глазах был пойман государственный преступник, а ты мычишь мне тут как корова.

АРСЕЙ. Так это... Есть же суд.

МОРТКО. Разве ты не знаешь, что я представляю власть на этом месте и у меня есть полномочия выносить и исполнять приговор без суда и следствия?

АРСЕЙ. Так оно ж гнилое. Разве убивать за гнилое зерно?

МОРТКО. Несознательный ты товарищ, Печорица. Пугаешь ты меня. Предстоит нам с тобой серьезный разговор. Потом. Юхим, ты чего застыл?

ЮХИМ. Так я ж... Я ж не могу.

МОРТКО. Он и тебя крестил?

ЮХИМ. Так он сосед мой...

МОРТКО. А! Хороший сосед. Соседей нужно жалеть. А скажи, Юхим, когда ты от водки чуть не сгорел, а жена твоя по людям побиралась – кто тебя из-под забора поднял, работу дал, когда от тебя уже ничего не осталось? Сосед?

ЮХИМ. Ты, Мортко.

МОРТКО. Неправильный ответ. Советское государство тебя пожалело, от смерти спасло. А ты спишь на посту и преступникам помогаешь.

ЮХИМ. Та я его!

Поднимает ружье. Прицеливается. Опускает.

ЮХИМ. Можно, он спиной станет?

МОРТКО *(Самсону).* Стань спиной.

САМСОН. За что?

МОРТКО. Стань спиной.

АРСЕЙ. Мортко, та плюнь на них. У них и так штаны полные.

МОРТКО. Что ж ты, Юхим, долго томить нас будешь?

АРСЕЙ. Хлопцы, это ж шутка!

Юхим прицеливается дрожащими руками и выстреливает в согнувшегося от страха Самсона. Пуля пролетает совсем рядом. Затихают соловьи. Становится заметно – что светает.

МОРТКО. О, светает.

Юхим с ужасом смотрит на ружье. Самсон на Юхима. Арсей смотрит на улыбающегося Мортко.

МОРТКО. Эх, ты. Сторож херов. Веди этого ворюгу в холодную. Завтра будем думать, что с ним делать. Вам уши позакладывало?

Нет, стойте. А что нам с Гаврилой делать?

АРСЕЙ. Ну, проспится пусть.

МОРТКО. Правильно. Пусть проспится. Хлопцы, а ну, давайте взяли его и в зернохранилище вместо Самсона.

Юхим и Самсон нервно хихикают. Переглядываются.

МОРТКО. Что ж вы, хлопцы, как не родные. У вас юмора, что ли, нету? Засуньте его головой вниз. Он худой, пролезет.

Юхим и Самсон берут пьяного спящего Гаврилу и засовывают в оконный проем. Проталкивают, слышно, как он щмякается на что-то мягкое.

Вчетвером долго смеются.

МОРТКО. Ну, ладно. Пошутили и хватит. Веди теперь, Юхим, нашего ворюгу в холодную. Позже разберемся, что с ним делать.

САМСОН. Отпусти меня, председатель! Я домой лучше пойду. Ноги моей тут больше не будет, богом клянусь.

МОРТКО. Я таких слов не знаю и в такие клятвы не верю. Посиди в холодной, подумай о жизни, а не о животе. Веди его, Юхим.

Юхим послушно ведет перед собой послушного Самсона. Мортко с презрением смотрит им вслед.

МОРТКО. Смотри, идет, как баран. А мог бы в лес убежать. Я бы бежал.

АРСЕЙ. Как же так, Мортко... Он мог попасть в него.

Отходит в смятении от Мортко назад.

МОРТКО. Наука не ходит без дрюка. Я знал, что он промажет. Он же криворукий, он в меня больше целил. Но я ж не трясся, как ты сейчас трясешься. Ну, чего ты, смотришь на меня волком? Легко быть в стороне, легко добрым казаться. Как ты не понимаешь, Арсей, я выполняю работу, за которую никто другой не возьмется, но без этого нельзя следующий шаг сделать. Меня может потом никто добрым словом не вспомнит. Потом – когда настанет общее счастье. Будут всех вспоминать – тебя, и даже Гаврилу. А меня не вспомнят. Или даже проклянут. И никто не оценит той жертвы, которую я принес ради будущего этого дурного своего народа...

АРСЕЙ. Умом я все понимаю, Мортко. Но когда... когда в родном селе... Трудно, понимаешь? Я бы хотел уехать в другое место, где я никого не знаю, меня никто не знает...

МОРТКО. Легкой жизни хочешь. Совести чистой хочешь. Это заработать нужно. А пока... Смотри и учись.

Мортко подымает доски, оторванные от проема, с помощью лома забивает проем этими досками. Арсей смотрит. Учится.

Затемнение. Слышны лишь глухие удары сверху. Шорох. Стон.

ГОЛОС ГАВРИЛЫ. Черт, где я?

Кричит в панике. Слышно, как гоняет мышей.

Еб твою мать! Твари! Пошли отсюда! Пошли!... Еб твою мать! Мамо! Где я?

Понемногу глаза привыкают к темноте. Из верхних, плохо забитых оконных щелей слабо пробивается свет.

Гаврило сидит на большой куче зерна. Зерно везде. Его очень много.

С потолка на Гаврилу с жалостью смотрят ангелы.

Гаврило в пьяном угаре, с ужасом смотрит по сторонам. Руками нащупывает вокруг себя. Пытается восстановить в памяти происшедшее.

ГАВРИЛО *(дрожащим голосом)*. Как же все было? Сначала к нам подошел этот засранец Горобец. Очень просил одолжить жменю (горсть) пшеницы. Юхим послал его на хуй. Тогда подошел Самсон и поставил бутыль сивухи. Договорились на завтра. Что завтра придут за пшеницей. Выпили. Они ушли, а мы выпили. Разговор завязался. Про баб поговорили. Юхим жаловался на свою жену. Она у него с куркулем гуляла. Теперь того куркуля на свете нету. А она умом помешалась от голода. Тогда он пошел в активисты и стал 25 процентов домой приносить. А жена отожралась и давай со всеми подряд ночевать. Блядина такая. Он, значит, ее с того света вытащил, а она ему вот так спасибо сказала. Побил он ее сильно. Теперь тихая стала. Выпили еще. Закусили салом. Вспомнили, как Мортко куркулей расстреливал. Старицкого Феодосия, Онисько, Мельник Килину... Красивая баба была. Я к ней сватался. А она, дура, не пошла в колхоз. У нее отец середняк – двух коров имел, лошадь и землю. Так они коров пожалели. Из-за коров и пропали. Дальше выпили еще. Мортко пообещал, что если мы год отработаем – пошлет на повышение в город. Мы давай мечтать, как красиво жить будем, среди других людей. В нашем селе

такие поганые люди! Тьфу! Потом выпили еще и придумали за кривой Теклей сходить. Юхим всегда, когда напьется – любви хочет.

Что ж потом было? Потом я все забыл. Все могло быть. Гроза могла быть и молнией меня ударить. Мог кто-то за зерном прийти и меня придушить. Одно точно: видно, меня во сне убило. А это я в раю. Точнее, в аду. Потому что в раю было бы светло. А тут – темно. И теперь, видно, придется мне за все отвечать.

То ли мыши, то ли движения Гаврилы спровоцировали это: но вдруг в этот момент лавина зерна стала сыпаться вдоль одной из стен. И медленно раскрыла расписанный иконостас. На Гаврилу со стены полился свет и в этом свете Гавриле открылся лик Девы Марии с младенцем. Прямо напротив него почти вровень. Гаврило замер в религиозно-пьяном экстазе.

Кто это?

Господи... Матерь Божья... Это вы ко мне спустились?

Гаврило падает без сознания.

2 ДЕЙСТВИЕ

16 АПРЕЛЯ 1933

Кладбище на горе. Много свежих могилок. На некоторых стоят кресты. Но в основном могилы пустые. Только холмики со свежей землей обозначают захоронение. На кладбище – красиво. Цветут вишни. Поют птицы.

Мокрина и Арсей сидят у одной могилы и целуются. На могиле – нет креста. Просто свежий бугорок. Таких здесь много. Все больше больших общих могилок. Одна совсем свежая яма, которая еще не полная, поэтому и не засыпанная.

К общей незасыпанной могиле подъезжает труповоз Артюх. Скидывает с телеги несколько трупов в яму.

Мокрина отрывается от поцелуя, устало и счастливо вздыхает.

МОКРИНА. Что ты принес?

Арсей развязывает рядно, расстилает его. В нем – хлеб, сало, луковица. Арсей мелко нарезает. Мокрина хочет взять, но он мягко отстраняет ее и кормит из своих рук.

АРСЕЙ. Я сам. А то ты опять наешься и плохо будет.

МОКРИНА. Спасибо тебе, спасибо... Если бы не ты... Как я люблю тебя, Арсей...

АРСЕЙ. Вишенька моя ненаглядная.

Целует ее в жующий рот.
Мокрина смеется. Ласково к нему прижимается.

Труповоз Артюх с большим трудом скидывает последний труп. Не удерживает равновесия и падает вместе с ним в яму. Слышны его слабые крики.

АРСЕЙ. Я ж говорил – вместе будем. Мы будем жить как все. Хорошо.

Мокрина ест. По мере ее насыщения, лицо е приобретает все более осмысленное, злое выражение. Арсей не видит ее лица. Он мечтательно смотрит с горы на село.

АРСЕЙ *(мечтательно).* Вот голод закончится, в город поедем. Мортко обещал, что активистов бесплатно учить будут. Жилье давать бесплатно. Пайки. Заживем с тобой. Мать заберем. И твою, и мою. Все будет по-новому, понимаешь? Люди все будут одинаково получать. И некому будет завидовать. Ты не подумай, я откладываю. Откладываю денег на нашу будущую счастливую жизнь...

Мокрина, словно поперхнувшись, перестает жевать. Смотрит перед собой с ужасом. Бросается на могилку и рыдает.

МОКРИНА. Батечко! Простите меня! Сижу тут с убийцею! Хлеб с салом ем! Как же вы намучились, батечко! Когда же вы заберете меня к себе!

АРСЕЙ*(с обидой).* Мокрина, вот пока не наешься – ласковая и добрая, хоть к ране прикладывай. А как поешь – делаешься как ведьма. Мне что, не кормить тебя, что ли? Не убивал я твоего батечку. Да что бы с тобой было, если бы не я!

Мокрина швыряет остатки еды в него.

МОКРИНА. Подавись! Ничего мне не надо! Сука!

АРСЕЙ *(устало).* Старая песня. Собери – матери отнеси. А то сама нажралась и буянишь. Ну что мне с тобой делать? А ведь у меня еще петушок есть.

МОКРИНА. Не надо ничего мне! Не надо!

Арсей достает из кармана пиджака петушка на палочке. Дразнит Мокрину. Мокрина тянется к нему.

АРСЕЙ. Поцелуешь – дам.

Мокрина быстро целует Арсея. Отбирает леденец.

Арсей помогает Мокрине собрать рассыпанную еду в тряпку.

АРСЕЙ. Иди домой. Лесом не ходи. Убьют еще. Послезавтра приходи опять. Я принесу.

МОКРИНА. Ой! Там кто-то ходит...

АРСЕЙ. Иди, Мокрина, а то вон мои хлопцы едут. Видно, Мортко вызывает. Не нужно, чтоб меня с тобой видели...

МОКРИНА. Будь проклят твой Мортко и твои хлопцы.

Мокрина встает, пошатываясь, уходит. Юхим и Избач появляются на конях.

ИЗБАЧ. Вот ты где! Шуры-муры? Мортко просил за тобой послать.

АРСЕЙ. Что, там уже горит?

ИЗБАЧ *(взволнованно).* Горит, горит. Нам из района сообщили, а им из области передали. А тем – из Москвы... Такое дело... Едет к нам американский журналист.

АРСЕЙ. Куда? В село к нам? Из Америки? Подурели они там, что ли?

ИЗБАЧ. Ну, это не наше дело. Журналист этот пишет для всего американского народа о советский достижениях. Он у самого Сталина интервью брал. Он сюда едет, чтобы своими глазами увидеть... что *(удивленно)* никакого голода нет.

АРСЕЙ. Вы что, уже выпили с утра? Что ты говоришь вообще? А это что за люди в ямах лежат? Пьяные, что ли?

ЮХИМ. Так... Такая установка сверху. Нам же нельзя опозориться...

АРСЕЙ. Так может, он в другое место поедет?

ЮХИМ. Так везде то же самое.

АРСЕЙ. Я даже не знаю, как это называется. Сказка какая-то.

ИЗБАЧ. Короче, Арсей, нас с тобой ответственными Мортко назначил. Сказал – если справимся, нас сразу в город пошлют. Из этого пекла. Через неделю приезжает.

Арсей в сердцах плюет перед собой.

АРСЕЙ. А он не может через год приехать? Тут как раз один рай останется.

ИЗБАЧ. Чтоб никаких трупов. Никаких голодающих. Советская деревня с клубом, танцами и столовой. С передовой молодежью.

Нам пришлют из центра все, что потребуется. И одежду и еду. Нам надо агитбригаду найти. Ты не слышал, где они сейчас?

АРСЕЙ. Слышал, как раз в Байраке застряли. Их коней украли и съели. Вот они и застряли.

Труповоз Артюх выбирается из ямы, видимо сложив для удобства трупы друг на друга. Садится на телегу. Чахлая изможденная коняка медленно везет его с кладбища.

ИЗБАЧ. Вот и хорошо. Нужно послать за ними. Юхим, поедешь ты. И коней им найдешь.

ЮХИМ. Где я их возьму?

ИЗБАЧ. Раскулачишь кого-то. Вон, Артюхового коня возьмешь. Он только на вид при смерти.

ЮХИМ. Ты что?! А как Артюх работать будет?

ИЗБАЧ. Ладно, пошутил. Мортко машину даст. Мы тут такой театр устроим – американец уезжать не захочет.

АРСЕЙ. Типун тебе на язык.

ЮХИМ. А что мы людям скажем?

ИЗБАЧ. Мортко придумает. Сказал, что не наша забота.

АРСЕЙ. Я одного не пойму. Почему они решили его к нам привезти? За что на нашу голову такое проклятье?

ИЗБАЧ *(искренне удивляясь).* Как почему? Да ты вокруг посмотри! Разве есть село лучше нашего? Ты только посмотри на наш Псел. Какая река! Вьется, как змейка, через луга. А берега какие живописные вдоль нее! Жаль, что я не художник, я б намалевал... А сомы какие в реке водятся! Во, чтоб не сбрехать! А на луг, бывает, выйдешь на рассвете и застынешь от красоты на месте: мягкий туман стелется по земле, а в нем спят белые гуси, как в одеяле. А

лес у нас, как Кремлевская стена, ничего с таким лесом не страшно! Да что говорить! Я когда с этой горы на село смотрю, все забываю от радости. Если и есть на свете село лучше, то точно не на Украине. В Америке – точно нет. И люди у нас хорошие! И земля плодородная... Воткнешь палку и она зацветет.

Втыкает палку вместо креста в могилу Феодосия. Арсей и Юхим тупо смотрят на палку и словно ждут, что она сейчас начнет цвести.

Вот увидите, через три весны на ней воробьи гнезда будут вить.

Вдоль могилок ходит Гаврило. Обросший. Странный. Чумазый. В глазах – просветление. Бормочет что-то. С кем-то разговаривает.

ИЗБАЧ *(весело).* О, вот Юхим, твой дружок идет. Эй, Гаврило, как в зернохранилище? Кто ж тебя выпустил?

ГАВРИЛО. Она меня впустила, она и выпустила.

АРСЕЙ. Постой, Тарас, с ним что-то не то...

ИЗБАЧ. Свихнулся, что ли? Ты что там бормочешь?

ГАВРИЛО. Молюсь, добрый человек.

ИЗБАЧ. Гаврило молиться! Умереть со смеху можно. Что ж ты вымаливаешь для себя? Водки стакан?

ГАВРИЛО. Та... Я не для себя...

ИЗБАЧ. Даже интересно. Помолись вслух, родимый.

ГАВРИЛА. Хорошо.

Гаврило поворачивается и говорит кому-то прямо перед собой. Как будто видит невидимого собеседника. Говорит просто, по-дружески.

Господи, прости меня и помилуй. Прости, что я, блядь такая, с куркулем спуталась. Муж мой пьяница и грубиян, только пьет и не работает. А куркуль Онисько Старицкий – гарний хлопец, работящий, руки у него золотые, как обнимет меня, сердце останавливается. Я б за ним на край света пошла, если бы его не убили... Грешная я баба, глупая, прости и помилуй меня, Господи. Я ж не знала, что это грех такой – плохому мужу изменять. Теперь мой муж при деле, куркулей ненавидит, ему за это хорошо платят... Как в последний раз побил меня – я из дома выходить перестала. Кому я теперь такая нужна с кривым носом?

ИЗБАЧ. Как есть свихнулся. Как баба молится.

ЮХИМ *(бледнея, испуганно).* Это он за мою жену молится. За нее говорит. Я прямо так и слышу ее голос.

ИЗБАЧ. Как-то этого товарища надо будет спрятать на время визита американца.

АРСЕЙ. Может, обратно, в зернохранилище?

Арсей и Избач смеются. Юхим – нет.

23 АПРЕЛЯ 1933 ГОД

Площадь перед сельсоветом и избой-читальней. Радио на площади играет веселую музыку. Изба-читальня наряжена в новую вывеску «Столовая». Сельсовет, изба-читальня и церковь-зеронохранилище украшены красными флагами. Фасады домов – свежевыкрашенные. Площадь стала нарядной и советской.

К площади со всех сторон стягиваются люди. Или то, что от них осталось. Кого-то ведут под руки. Кто-то сам идет, кого-то подгоняют активисты.

На площади – трибуна. За трибуной стоит Мортко, Избач, возле трибуны Юхим. Сзади – крепкие хлопцы-активисты. Рядом – фургон агитаторов.

Мортко критически оглядывает толпу.

МОРТКО *(Избачу).* Я ж сказал, чтоб нарядные пришли. Вот люди!

ИЗБАЧ. Я им говорил, а они смеются.

Люди становятся перед трибуной, но их лица и помыслы обращены в другую сторону. В сторону избы-читальни, на которой красуется новая вывеска «столовая». Оттуда доносятся запахи и звуки кухни.

МОРТКО. Собрал я вас, товарищи, по одному серьезному вопросу. Для нашего села выпала очень большая честь от нашего правительства. Наш Зеленый кут выбрали из тысяч других сел, чтобы снимать в нем кино про будущую счастливую жизнь советских крестьян. Что это значит? Что у нас есть возможность показать себя с самой лучшей стороны и от нас кое-что требуется. Во-первых, я вас попросил одеться нарядно, как на праздник. Женщины! Где ваши нарядные платки и белые сорочки? Где ваше намисто? Неужели так глубоко закопали?

ГОЛОСА. Нету ничего. Ничего не осталось. Смеешься над нами? Все на еду выменяли.

МОРТКО. Ладно, одежду мы вам дадим. Временно. Тем, кто отличится лучшим образом, что-нибудь оставим на память.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. А что делать надо?

МОРТКО. Да ничего трудного. Ходить, петь, танцевать... Как наши артисты. Вы же видели выступление наших артистов?

ГОРОБЕЦ. А кормить нас будут?

МОРТКО. Будут кормить. Будут чаем поить. Вином. Видите, там уже столы накрывают. Мясо, селедка, картошка, пироги.

Стон толпы.

Но кто чувствует слабость, кто не уверен в себе, в своих силах, может пойти домой. Это все добровольное мероприятие. Так сказать, по желанию. Новая власть никого не принуждает. Прямо сейчас можете отказаться и уйти.

Никто не двигается с места.

Товарищи артисты-агитаторы помогут вас привести в нужный вид, сделают вам грим, раздадут роли и задания. Позже приедет съемочная группа. А пока вам нужно будет подготовиться. Провести несколько репетиций.

ОЛЯНА. Что ж это делается... Чудно так говорит... Может, и я уже сдурела, как несчастный Гаврило.

ЛЮДОЕД. А еда на репетициях настоящая будет?

ГОРОБЕЦ. Человеченки не будет, так шо иди домой.

ЛЮДОЕД *(визгливо)*. Докажи! Докажи сначала!

Люди и до этого стояли от людоеда на некотором расстоянии, а теперь брезгливо отходят еще дальше.

МОРТКО. Нет, еды на репетиции не будет. Есть вы будете только во время съемки. В наше трудное время мы не можем себе позволить пировать.

Да, еще... Не все из вас подойдут для этого кино. Некоторые и вовсе не подойдут. Но вы не расстраивайтесь. Не у всех же людей есть к этому талант.

ГОРОБЕЦ. У нас у всех талант, чтоб вы знали, товарищ Книжник. Мы очень талантливая нация.

ОЛЯНА. Как же я танцевать буду? Меня ведь сюда на руках принесли.

Из фургона выходит Маша. Беременная.

МАША. Товарищи, заходим по очереди в палатку. Временно получаем вещи, слышите? Временно! Это реквизит, который нужно будет сдать сразу после съемки фильма.

Выбирает из толпы самых молодых и стоящих на ногах. В том числе и Мокрину.

Вот ты, девушка, подходи. И ты. Потом вы. Становимся в очередь. Заходим, когда позову.

* * * * * *

Палатка. Импровизированная гримерная. В одном углу куча ношеной, но чистой одежды. По центру на лавках сидят три девушки. Среди них Мокрина.

Сильно беременная Маша углем рисует им брови и подводит глаза, морковкой и свеклой натирает щеки. Плоскогрудым засовывает тряпье вместо груди.

Юра весело и бесстыдно наблюдает за происходящим, помогает Маше подбирать одежду для девушек.

ЮРА. А у Мокрины и так полная пазуха сисек. На тебе, вот самая красивая сорочка и платок.

Достает из кучи и выбирает лучшую одежду для Мокрины. Другие девушки недовольно надувают губы.

МАША. Чтоб ни одного пятна, ни одной дырки не оставили. Это надо вернуть. Это из районного клуба одежда для артистов. Понятно?

1-я ДЕВУШКА. Дай я сама...

Берет у Маши морковку и усердно трет щеки.

2-я ДЕВУШКА (тихо). Дайте мне те сапоги.
ЮРА. Так они ж мужские.

2-Я ДЕВУШКА. Ничего, дайте.

Юра бросает ей сапоги. 2-я Девушка внимательно на них смотрит.

2-Я ДЕВУШКА *(Мокрине).* Это ж моего деда сапоги. Коммунисты его когда забрали, он как раз в них и был. Смотри – тут и написано: Г. Прутко.

МОКРИНА. Молчи лучше. А то голодная останешься.

2-Я ДЕВУШКА *(громко).* Это ж деда моего сапоги! Прутко Григория. Тут и написано!

ИВАН ИВАНЫЧ. А кто это у нас так шумит? А? Кто нам мероприятие срывает? Все, милая, иди, ты у нас в кино не снимаешься.

2-Я ДЕВУШКА. Как это? Я только сказала, что это дедовы сапоги! Его в них убили, а сапоги сняли! Что я такого сказала?

Иван Иваныч и Василий берут нарумяненную девушку под руки, отбирают сапоги и выводят ее из палатки. Девушка по мере сил пытается сопротивляться.

Отдайте хоть сапоги! Отдайте! Что я такого сказала?!

На фоне скандала отчетливо раздается хруст. Маша поворачивается и видит, что 1-я девушка быстро доедает «косметику»: морковку и свеклу.

МАША. Ах ты ж дура! Дура бестолковая! А могла мяса поесть! Где мне опять искать краску? Иди отсюда. И без краски не возвращайся.

Выводят и вторую девушку тоже. Из «артисток» остается одна Мокрина.

ВАСИЛИЙ. Вот хорошая девушка. Сознательная. Тихая.

ЮРКА. И красивая.

ИВАН ИВАНЫЧ. А я тебя помню. Помнишь, мы приезжали. Ты еще пела красиво. И сегодня споешь. Только что-то веселое. Договорились?

МОКРИНА. Я если не поем – петь не смогу.

ИВАН ИВАНЫЧ. А мы тебя накормим. Как там у тебя с Богом дела?

МОКРИНА. Да никак.

ИВАН ИВАНЫЧ. Так есть Бог или нет? Что ты теперь думаешь?

МОКРИНА. Да нет никакого Бога. Вы были правы, дядечка. Если бы он был – разве снимали бы вы это кино?

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот видишь. А я тебе еще тогда говорил.

В палатку входит старуха. Еле держится на ногах.

МАША. Вы что пришли, бабушка?

СТАРУХА. Как чего? Артистка я.

МАША. Вот еще комедия. Что вы себе думаете? Идите домой, бабушка. Вас там внуки ждут.

СТАРУХА. Что ты там шепчешь?

ИВАН ИВАНЫЧ *(громко)*. Вы нам не подходите, извините. Так что до свидания.

СТАРУХА. Как это не подхожу? Почему не подхожу? Я петь могу, танцевать могу.

ИВАН ИВАНЫЧ. Да ты, старая, еле на ногах стоишь! Людей не смеши! Нам молодежь нужна и песни веселые.

СТАРУХА. Я молодая еще. И песни пою такие веселые, что ты обосцишься от смеха.

Старуха становится посредине и вдруг запевает тонким голосом:

Ой, у полі дві тополі
А під нею хлопці
Сперечались, розмовляли,
напивались, гоп ця

На одній сидить зозулся
Та сере на хлопців
Зажбурили каменюку
Всіх попало, гоп ця

Іде Лида на коняці
А за нею хлопці
Ланцюгом их вшанувала по мордякам
Гоп ця!

До Тамары незабаром
Залицялись хлопці

Відірвала ім Тамара
Аж по самі... гоп ця!

Все остолбевают от ее пения. Вдобавок ко всему старуха начинает приплясывать.

На последней высокой ноте старуха падает замертво.

ИВАН ИВАНЫЧ*(Василию).* Вот елки-палки. Отнеси труп отсюда. Не дают работать ни хрена.

Василий уволакивает труп старухи.

МОКРИНА *(тихо, Юрке).* Можно я подружке сапоги отдам?

Юра заворачивает сапоги в тряпку и незаметно отдает ей.

* * * * * * * * * *

Площадь перед сельсоветом. Красными флажками украшена площадь, изба-читальня, сельсовет и купол церкви-зернохранилища.

К вывеске «столовая» добавились еще вывески «Клуб» и «сельпо».

Под вывеской «столовая» сооружена летняя площадка. Длинные столы застелены светлыми скатертями. Длинные лавки вдоль столов.

На столах стоит посуда. Из дымохода «столовой» во всю летит дым. Топят печь, готовят праздничный стол. Маша, Юра и Василий носят блюда с дымящейся едой и расставляют на столе.

На трибуне стоит Мортко.

Перед ним в ряд стоят нарядные люди. Яркие румянцы на впалых щеках. Мужчины побритые и причесанные. Рассеянно смотрят на Мортко, который скептически их разглядывает.

ИЗБАЧ *(Неуверенно).* Может, дать по ложке каши?

МОРТКО. Не, знаю я эту ложку. Поедят – уснут прямо на площади. Как прошла репетиция?

ИВАН ИВАНЫЧ *(вздыхает).* Отупел народ. Раньше больше сообразительных людей было.

МОРТКО. Это ты отупел. Выходит, куркули были умные, а бедняки – дураки?

ИВАН ИВАНЫЧ. Провалиться мне на этом месте, если я так думаю. Вот та дивчина очень даже сообразительная. Запевать будет, остальные подхватят. С танцами хуже обстоят дела. Не все в состоянии передвигаться.

ИЗБАЧ. Еще волнуемся по поводу еды. Накинуться ведь, за уши не оттащишь. Американец подумает, что они голодают. Сорвут ведь мероприятие. Может, все же покормить сначала?

МОРТКО. Я что, зверь? Если б было чем – покормил бы. Но у нас хватит только на один подход. Так что терпят пусть. Живут надеждой. Черт, ну и калек же вы набрали... Неужели нет ни одного упитанного человека? Просто обидно, что этот американец подумает про нас. Будет потом писать, какая слабая нация эти украинцы...

ИЗБАЧ. А давай Самсона из холодной выпустим. Он как-никак видный мужчина.

МОРТКО. Соображаешь. Юхим, приведи Самсона. Скажи, если справится с ролью советского богатыря, так и быть, прощу его.

Юхим радостно бежит в холодную.

МОРТКО *(обращается к народу)*. Дорогие мои товарищи. Ну и рожи у вас. Улыбнитесь, что ли. Нам нужны ваши улыбки.

Все улыбаются одними ртами.

А сейчас мы посмотрим, чему вас научил Иван Иваныч.

ИВАН ИВАНЫЧ *(в рупор)*. Так. Разошлись по своим местам. Собираемся с силами и делаем последний прогон.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Нет последних сил. Хватит издеваться! Дайте жареного мяса!

ИВАН ИВАНЫЧ. А нарушителей и крикунов будем отстранять от участия. Все по своим местам.

Люди расходятся по своим местам. Кто-то берет коромысло. Оляна, с почтовой сумкой, выходит из сельсовета. Мужчины с лопатами возвращаются с колхозных работ.

Грудастые доярки с ведрами возвращаются с фермы. Среди доярок – Мокрина.

Карикатурная имитация жизни, которая будет через несколько десятков лет в этом селе.

ИВАН ИВАНОВИЧ. Мокрина, запевай.

МОКРИНА.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца пламенный мотор.
Все выше, выше и выше...
Стремим мы полет наших птиц
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Народ подхватывает.

Горобец играет на гармошке.

На первый план выходит несколько калек и вяло подтанцовывают.

ИВАН ИВАНЫЧ *(в рупор)*. Теперь свободным, ровным шагом направляемся к столу.

Люди в хаотическом беспорядке бегут к столу.

Не бежать. Я сказал, не бежать! Стоп. Сначала. Так, до тех пор пока вы не научитесь выполнять мои команды – за стол никто не сядет!

Все возвращаются на свои места и все начинается сначала.

МАША. Мокрина, сначала!
МОКРИНА *(поет)*.

Люди подхватывают припев. Подтанцовка из последних сил подтанцовывает.

ИВАН ИВАНОВИЧ *(в рупор)*. Теперь к столу. Медленно.

Народ неестественно медленно тянется к вожделенному столу, на котором дымится картошка, жареное мясо и много другой забытой роскоши.

МОРТКО. Нет, стоп. Мне не нравятся ваши танцюристы. Ну что это за танец умирающих куркулей? Где задор? Где отдача? Вы мне всю Америку распугаете, позорники...

ИЗБАЧ. Подгорный, Сорока, вы что, из-за угла мешком прибитые? Вы же лучшие танцоры на весь район! Вы ж и в клубах выступали и перед товарищами из района!

ПОДГОРНЫЙ. Так мы тогда ели два раза в день.

МОРТКО. Вы о чем-то другом вообще думать можете?

ВСЕ. Нет.

Мокрина снова запевает.
Люди поют припев.
Подтанцовка подтанцовывает.

По команде Ивана Ивановича все медленно идут к столу.
Несколько человек остается лежать на площади.

МОРТКО. А я предупреждал! Не все подойдут для этих ролей! Так нет же, надо лезть впереди батька в пекло (в ад). Кто не чувствует в себе силы – могут покинуть наши ряды. *(помощникам)* Очистите площадь от посторонних товарищей.

Помощники уносят трупы.

ИЗБАЧ. Слушай, Мортко, еще пару раз так станцуют – и мы без танцоров останемся.

МОРТКО. Ты тогда будешь танцевать.

ИЗБАЧ. Я?! Не позорь меня, Мортко. Я сельская интеллигенция.

ИВАН ИВАНЫЧ *(в рупор)*. Продолжаем двигаться по направлению к столу. Разговариваем между собой. Мужик в красных шароварах, обними вон ту бабу.

МУЖИК. Это не моя.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я же жениться не заставляю. Обними, я сказал.

Мужик обнимает женщину.

ОЛЯНА. Хай и меня кто обнимет, а то я сейчас упаду.

Самых слабых женщин обнимают и придерживают мужчины и наоборот. Создается впечатление общей влюбленности.

МОРТКО *(удовлетворенно).* Вот так – хорошо!

ИВАН ИВАНЫЧ. Теперь можете что-то украинское затянуть. Народное. Эти иностранцы любят старину всякую.

ОЛЯНА.

Іхали козаки, из Дону додому,
Підманули Галю, забрали з собою.
Ой, ты Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою

Поідемо з нами, з нами, козаками
Луче тобі буде, як в рідноі мами
Ой, ти Галю, Галю молодая, луче тобі буде, я в рідноі мами...

Поперхнулась, замолчала. Начала снова. Очень старается, но плохо получается.

Морко морщится. Иван Иваныч виновато пожимает плечами.

В этот момент Юхим приводит на площадь Самсона. Самсон сильно отощал. Но все равно на фоне остальных он выглядит большим и сильным. На его лице радостное удивление.

Горобец радостно бросается к нему навстречу.

ГОРОБЕЦ. Самсон, братик! Ты ж в два раза меньше стал.

САМСОН. А что, Горобец, теперь бы я пролез в то окошко?

Смеются.

МАША (*с любовью).* А вот и мой Самсон явился. Я думала, его уже черви съели. Эй, Самсон, у меня к тебе новость.

Похлопывает себя по животу.

Помнишь, мы с тобой осенью в клуне ночевали?

САМСОН. Отстань, чертова баба, с кем ты только не ночевала!

МАША. Дурень. Это от тебя надуло.

САМСОН. Я со своей бабой пятнадцать лет прожил, и ей ничего не надуло, а с тобой только раз было.

МАША. Ой, та мне все равно, что ты там варнякаешь! Советской женщине не нужен муж. А товарищей у меня много.

Махнув на него рукой, уходит в фургон. Самсон оглядывает площадь, накрытые столы под навесом, нарядных, обнимающихся людей.

Люди, это что же, объясните мне? Горобец... Скажи мне, это пока я в холодной сидел, голод кончился?

ОЛЯНА *(смеется).* А как же! В один момент вот так взял и кончился.

Все смеются над Самсоновой наивностью.

САМСОН. И вот эти столы для нас накрыты?

МОРТКО. Для вас, для вас...

САМСОН. Так я забыл, когда ел.

МОРТКО. Так сейчас вспомнишь. Только сначала поучаствуй в общем празднике. Запевай, Самсон. Новая жизнь настала.

САМСОН. Та я по такому поводу не только спою, но и станцую...

Самсон на радостях запевает сильным голосом. Народ, кто может, подхватывает.

САМСОН.
Везли, везли Галю темними лісами
Прив'язали Галю
До сосни косами
Ой, ты Галю, Галю молодая, привязали Галю до сосны косами...

Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,
Підпалили сосну од гори до низу.
Ой, ти Галю, Галю молодая,
Підпалили сосну од гори до низу...

Мортко – в счастье.

МОРТКО *(Иван Иванычу, с укором).* Во! Видел как надо! Даже спектакль без Мортко поставить не можете *(забирает у Иван Иваныча рупор).* Двигаемся! Двигаемся! Хорошо! Вот вы возле сельсовета справа заходите, а вы, возле бывшей церкви, слева навстречу, какой красивый рисунок получается.

Народ как-то приободрился и пошел. Сцена «заработала».

ГОРОБЕЦ *(Самсону).* Спасибо, братик, выручил, так дело быстрее пойдет. А то не поверишь, с утра так гоняют и хлеба не дают. Прямо лечь хочется Артюху в труповозку.

В этот момент на площадь подъезжает машина. В машине Арсей и водитель.

МОРТКО *(взволнованно).* Почему они одни? Где американец? Где председатель горкома? Где остальные товарищи?

ИЗБАЧ. Может, они сзади едут?

ИВАН ИВАНЫЧ (*в рупор).* Не останавливаемся, товарищи. Скоро приедет съмочная группа. Репетируем сцену ухаживания.

Действие продолжается. Мизансцена, в которой юноша ухаживает за Мокриной (по роли). Они танцуют вместе.

Взволнованный Арсей вылезает из машины. Бежит к Мортко.

МОРТКО. Ну что? Где все? Да ты к поезду не опоздал случайно?

АРСЕЙ *(отдышавшись).* Да я за час там был... Дождался я, Мортко, поезда, а из него одни бабы повыходили... Пошел в райсовет. Стали они звонить в Полтаву. Выяснилось, что приезд отменяется, не успели сообщить. Сказали свернуть все и не ждать. Короче, не приедет никто.

МОРТКО. Как не ждать?! Что они себе?.. Вот черт. Черт знает что такое! И что теперь с этим театром делать? Иван Иваныч!

ИВАН ИВАНЫЧ. А что? Распускаем людей... Только что со столами делать? С едой?

АРСЕЙ. Просили передать, вечером приедет товарищ Петренко из райкома с товарищами. Так чтоб встретили, как полагается...

МОРТКО *(после недолгих раздумий).* Значит, все-таки не совсем зря старались. Значит, так. *(Иван Иванычу)* Тихо дай команду на кухне. Пусть несут все обратно. Потом все заприте и поставьте под охрану. Арсей, Юхим, становитесь на дверях и никого не впускайте. А я пока речь скажу.

Иван Иваныч уходит в столовую. Арсей и Юхим, переглянувшись, молча, без особого энтузиазма, идут за Иван Иванычем.

МОРТКО. Дорогие товарищи!

Народ так увлекся творчеством или просто смертельно устал, что не сразу соображает, что к нему обращаются и что нужно остановиться.

Молодцы! Что тут еще можно добавить? Справились с задачей на все сто процентов. Я когда отчет буду писать в район, так и напишу: жители села Зеленый угол проявили творческий подход и энтузиазм, свойственный советскому человеку.

С чистой совестью и чувством выполненного долга можете идти отдыхать, дорогие товарищи.

САМСОН *(радостно)*. Такой день!.. Такой день!.. да здравствует советская власть, ура!

Кроме Самсона никто не выражает радости.

ГОРОБЕЦ. Да подожди ты уракать. *(Мортко)* Куда отдыхать? А кино когда будет?.

МОРТКО. Кино сегодня не будет. Кино будет завтра. Вот так. Так что сегодня вам повезло. Сегодня вы раньше освободились. А завтра...

ОЛЯНА *(вопит)*. Люди добрые! Эти анциболоты со столов сгребают и в читальню прячут!

Люди поворачивают головы в сторону столов. Возмущенный ропот раздается из толпы.

МОРТКО. Что вам не понятно? Расходитесь по-хорошему. До завтра ничего не пропадет. Мы завтра такой пир закатим! Но только вещи сдайте Маше. А то засрете. Завтра получите обратно. И давайте ускорим процесс, товарищи. Не сердите меня.

Несколько женщин покорно выходят из толпы. Заходят в фургон. Маша подходит к одной из девушек. Та снимает платок с головы, отдает. Подходит ко второй. Ждет, когда та снимет сапоги, забирает. Еще к нескольким. Подходит к Мокрине.

МАША. А ты что стоишь? Снимай платок.

МОКРИНА. Дулю тебе с маком.

Маша оторопела от такой наглости.

МАША. Ты чего, девка? Мы ж тебя в фургоне нашим хлебом кормили, а ты теперь на нас гавкаешь?

МОКРИНА. А я когда сытая, я и укусить могу.

Маша хочет сорвать с нахалки платок, но Мокрина с неожиданной силой толкает беременную Машу, та с громким вскриком падает прямо в пыль.

МАША. Ах, ты ж блядь такая ебучая! Ах, ты ж блядь...

Тишина накрывает площадь невидимым колпаком.

МОРТКО *(очумело).* Это что ж за сучка такая?
ИЗБАЧ. Мокрина Старицкая. Арсей с ней путается.
МОРТКО. Вот как? Арсей, А-ну, пойди успокой свою дуру, если она тебе еще нужна живая.

Арсей обреченно и нерешительно идет к Мокрине.

МОКРИНА. Ой, а кто это ко мне идет? Никак, мой ненаглядный. Ну, иди ко мне, голубь...

Игриво убегает от него, и все ближе к столу.

АРСЕЙ. Не дури, Мокрина. Отдай платок и иди домой. Я тебе сто таких платков куплю.
МОКРИНА. А мне этот понравился. Не отдам!
АРЕСЙ. Милая, что ж ты творишь?

Мокрина хватает со стола кусок мяса, дразнит людей.

МОКРИНА. Люди добрые, вот это шашлык, вот это я понимаю. Шо ж вы стоите, как засватанные? Или вы не заслужили по куску мяса?
САМСОН. Я две недели на воде... Так что это такое? Так выходит и за стол не посадят? Погуляли...
ГОРОБЕЦ. Как собаки на веревке.
ОЛЯНА. Надеялся дед на обед, да и воды не попил.
МОКРИНА. Угощайтесь, на всех хватит!
ОЛЯНА. Все равно скоро умру, так хоть наемся.
ГОРОБЕЦ. И мне все равно.
ВСЕ НЕСКЛАДНО. И мне... И мне...

Народ, потеряв контроль и рассудок, ломится к столу. Невзирая на окрики Мортко, Избача и других.

Маша, Юрко и Иван Иваныч, Юхим и Арсей пытаются оттеснить людей от столов. Происходит небольшая вялая потасовка. Люди, как угри, просачиваются сквозь оттесняющих их, хватают со стола руками все подряд, запихивают себе в рот. Кто-то залез на стол. А кто-то отхватил кусок пожирнее и спрятался под столом, как собака.

Юхим налил себе стакан водки и выпил залпом.

Мортко вынимает пистолет из кобуры. Поднимает вверх. За ним становятся его вооруженные помощники. Все движение замирает.

Выходит Гаврило.

ГАВРИЛО. Что касается той истории, когда я расстрелял одуревших крестьян – так на это, Господи, у меня были все полномочия. Харчи были казенные. Предназначались для ответственного мероприятия. С меня бы три шкуры сняли, если бы я товарища Петренко с товарищами не встретил, как следует. Откуда взялся тот американец, что не приехал? Думаете, оно мне надо, все это кровавое месиво в столовой? Даром не надо. А ведь никто пачкаться не хотел. Ни Арсей, ни артисты, ни даже этот дурень Юхим. Все Мортко.

Я помню, когда был маленьким, мы с матерью шли на реку... Через лес одного помещика... Был месяц май... Отцветали дикие груши в лесу... Я стал собирать первую землянику. Вдруг выезжает наш помещик. На коне и с нагайкой. Что, говорит, в мой лес пришли и мою ягоду жрете? Хотел ударить меня нагайкой, но мать стала ему в ноги падать, просить за меня... Тогда он ей сказал что-то и мать попросила меня подождать... Их долго не было... Я пошел их искать и увидел как за кустом помещик завалил мою мать на землю и душит... А она стонет... Я бросился ему на спину и стал кричать, чтобы он мать не убивал... Что было дальше, я не помню.

К чему я это рассказал? Ну, понятно, чтобы ты меня пожалел. Меня кроме матери никто не жалел. Но она рано померла, подорвавшись в рабстве у этого помещика.

Так что прости меня, Господи, за все мои грехи, если ты, конечно, есть. Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Но на всякий случай молюсь, ведь скоро и за мной смерть придет. Погибну от руки предателя. Кто знает, что меня там ждет...

Мортко и его помощники опускают оружие.

Большая часть людей падает замертво (Горобец). Меньшая часть разбегается (Оляна, Мокрина). Артисты и активисты бегут в фургон.

Только Самсон остается сидеть за столом. Держится за живот.

САМСОН. О-хо-хо... Как тисками схватило... Режет, как ножом... Лучше от пули умереть, чем от обжорства. Убей и меня Мортко, чтоб я не мучился.

МОРТКО. Мучайся, падло.

Мортко садится за соседний стол. Наливает себе стакан водки. Выпивает. Закусывает.

Рядом садится Гаврило. Тоже ест.

МОРТКО. А ты откуда взялся? Мы ж тебя второй раз в зернохранилище заперли! Ты что, сквозь стены проходишь, зараза? Что ты там бормочешь? Пошел отсюда!

Гаврило послушно встает и проходит сквозь стену церкви-зернохранилища, или так кажется опьяневшему Мортко.

Мортко снова наливает себе и выпивает.

Подъезжает Артюх с труповозкой. Тяжело вздыхает, оценивая объем работы. Добросовестно собирает трупы.

МОРТКО. Куда ты тянешь? Ты сначала рубашки поснимай. Они ж казенные.

Артюх расправляет плечи, гордо оглядывается на Мортко.

АРТЮХ. Я тебе не говносрань какая-то и не падаль. Я свою работу делаю.

Продолжает делать свою работу. Подходит к затихшему сидящему Самсону. Трогает – мертвый. И так и сяк прикидывает, как загрузить того в телегу. Наконец, придумывает: подгоняет телегу к столу. Ставит доску одним концом на лавку, другим на телегу. Валит Самсона на нее. Привязывает его к доске веревкой. Подлезает снизу, чтобы поднять и перекинуть тело в телегу. Не получается. Тогда влезает на телегу. Садится на другую часть доски (как на качели). Но его вес слишком мал, чтобы сработало. Тогда он накидывает три-четыре тела на этот конец доски и теперь другой конец с привязанным Самсоном поднимается. Артюху остается только подтолкнуть его.

Мортко с интересом следит за его действиями.

МАЙ 1933 ГОДА

Хата в семье Старицких.

Арсей копает прямо посреди кухни яму и туда закапывает торбу с зерном.

Оляна и Мокрина едят какое-то варево.

ОЛЯНА *(неискренне).* Спаси тебя Господи, сынок, что ты нас с Мокриной от наглой смерти спас. Дай тебе Бог здоровья и тебе и твоим близким.

МОКРИНА. Где же он раньше был, собака? Когда еще живые были братики и сестрички мои? Когда батечко мой... Видеть тебя не могу. Противный ты мне.

Оляна сердито грозит дочке ложкой. Арсей продолжает копать.

АРСЕЙ. Завтра принесу костей.

МОКРИНА. Не ходи к нам. Лучше с голоду помереть.

Мокрина продолжает жадно есть. Оляна бьет ложкой Мокрину по голове.

ОЛЯНА. Не слухай ее. Это она заигрывает с тобой. Вы ж когда-то женихались.

АРСЕЙ. То ж было в детстве. Забыто.

МОКРИНА. А шо ж ты копаешь, я не пойму? Мортко придет и заберет, все равно. Когда увидит, что мы все еще живые.

АРСЕЙ. Я глубоко закопаю.

ОЛЯНА. Сынок, так мы ж не выкопаем...

АРСЕЙ. А я зачем? Позовете.

МОКРИНА. Может, он всем закапывает? Чтобы потом вместе с Мортко прийти и точно найти. Выслуживаешься, чтобы свои 25 процентов получить? Молодец, Арсей. Правильно я говорю?

АРСЕЙ. Точно так.

ОЛЯНА. И правильно, шо ты на ней не женился. Посмотри на кого похожа – кожа и кости. А какое дите гарное было! А выросла – хуже драной собаки. Вот подрастет наша Гафийка, мы ее за тебя выдадим. Ты ж теперь большой человек.

Неожиданно поперхнулась. Кашляет. Долго и мучительно. Арсей и Москрина смотрят друг на друга.

ОЛЯНА *(прокашлялась, жалким голосом, словно только что осознала).* Умерла наша Гафийка. Первой не выдержала. А я тут ем...

Оляна начинает тихо скулить.

МОКРИНА *(зло).* Мамо, вы с ума сошли. Вот всегда – как наедятся, начинают жалеть. Нельзя им наедаться.

Неожиданно распахивается дверь. На пороге стоит Книжник Мортко с Юхимом. Все цепенеют в ужасе. Мортко торжествующим взглядом оценивает обстановку.

ОЛЯНА *(тихо, про себя).* И собака не гавкала *(вспоминает).* Да мы ж ее осенью съели.

КНИЖНИК МОРТКО. Смачного, люди добрые *(приятного аппетита).* А я смотрю – у Старицких щеки отросли. А сами клялись, что все государству сдали.

ОЛЯНА. Так сдали, Книжнику, все сдали до последней зернинки.

КНИЖНИК МОРТКО. А что копаем? Себе могилку?

ОЛЯНА. Это все Печорица. Мы его не просили. Он сам принес, зараза. Принес и копает. Себе прячет.

МОКРИНА. Мовчить, Маму.

Книжник Мортко подходит в Арсею. Смотрит тому глубоко в глаза. Арсей свои опускает.

КНИЖНИК МОРТКО *(тихо, проникновенно).* Осознаешь ли ты свою вину, хлопче? Понимаешь ли ты, кому помогаешь? Ты ж народился в семье бедняка! А помогаешь куркулям?! Ты знаешь, сколько у них было спрятано? Знаешь, как сопротивлялся старый Феодосий? Мы три воза добра вывезли. Эх, Арсей, я все же надеялся, что ты за ум возьмешься... Я еще тогда в тебе засомневался, когда ты на площади стрелять не стал. Что молчишь?

АРСЕЙ. Виноват.

КНИЖНИК МОРТКО. Провалиться бы тебе со стыда в эту яму.

Суд решит твою судьбу, предатель. Ведь тебя прислали с такой характеристикой! И отличник, и сознательный, и ненависть к куркулям в крови! А ты?! Я сразу увидел в твоих глазах предательский огонек. Не место в рядах партии и комсомола чужакам, которые стали прямыми помощниками классового врага, срывающими хлебозаготовку.

Заглядывает в яму.

Глубоко закопал. Теперь доставай.

Арсей покорно лезет в яму.

КНИЖНИК МОРТКО *(Юхиму).* А ты на горище лезь. Хорошо ищи.

Юхим лезет на горище.

Оляна тем временем спохватывается и начинает запихивать в себя остатки похлебки. Мокрина с тупым безразличием следит за ней. Потом спохватывается, забирает у нее миску и доедает.

Мортко тоже спохватывается и вырывает миску у Мокрины. Содержимое выливает на пол.

В это время Арсей вылезает из ямы с торбой с зерном и с лопатой.

Мортко протягивает за торбой руку. Но Арсей отчего-то не отдает.

ОЛЯНА *(визгливо, Книжнику).* Не губи!... Мы ведь выжили!.. Оставь хоть это!..

МОРТКО. Я вас тут кончу всех.

Мортко лезет рукой в свой карман.

Арсей бросает торбу с зерном Мокрине.
Арсей тушит свечку.

8 МАЯ 1933

Зажигается свет.
Изба-читальня. Выходит Избач с газетой «Ударник Полтавщины». Зачитывает.

ИЗБАЧ. Памяти лучшего товарища Книжника Мортко.

Рукою классового врага преждевременно вырвано с наших рядов любимого товарища Книжника Мортко.

Товарищ Книжник родился 1904 года в семье бедняков в селе Крюково, Костромской губернии. С малых лет батрачил. В 1924 году вступил в ряды Ленинского комсомола и активно работал секретарем комсомольской ячейки. Активно организовывает армию робселькоров на выполнение политических хозяйственных компаний.

В мае 1933 года его было избрано головой Зеленокутской сельрады, где он по-настоящему, как большевик взялся за работу, прижал куркулей и их агентов. В борьбе за хлеб в ночь с 3 на 4 мая тов. Книжник погиб от руки агента и белобандита Арсея Печорицы, долгое время прикидывающегося другом Советской власти.

Отдавая последнее товарищеское уважение, мы заверяем, что дело партии, за которое он умер, ми доведем до конца, еще больше сплотим свои ряды в бою за уничтожение капиталистических недобитков.

Голос Избача дрожит от праведного гнева и скорби.

6 МАЯ 1933

Весеннее солнце. Робкий птичий щебет. Дома без крыш (солому съели). Вишни без крон (обглодали и сожгли).

Вдоль тынов лежат люди. Кто живой, кто мертвый. Но живые и мертвые мало отличаются друг от друга. Все опухшие от голода.

(Это может быть нарисованный задник, как в старом оперном театре, но еще и с нарисованными людьми и трупами.)

По улице изредка проходят живые люди. Неожиданно проходит сытая нарядная женщина с младенцем. Режет глаз.

Радио на площади, отхаркавшись, вещает:

«Именно сменой отношения колхозников к колхозному труду объясняется в первую очередь резкое повышение урожайности в 1933 году в сравнении с 32-м.

Достижения Украины огромны, но с ними нельзя успокаиваться. У нас есть еще безграничные возможности и резервы для значительно большего поднятия сельского хозяйства и повышения материального уровня колхозных масс»...

Странная гармония. Смерть, весна и технический прогресс.

Начинает играть бодрая музыка на площади из радиоприемника.

Арсей медленно идет. За ним идет Мокрина.

АРСЕЙ. Помолишься за меня, Мокрина?

МОКРИНА. Я больше не верю в Бога, Арсей. Я верю в Советскую власть. Она может больше.

АРСЕЙ. Это факт.

МОКРИНА. Я только понять ничего не могу. Может, ты понимаешь? Ты же в городе учился. На большого человека. Можешь ответить на вопросы?

АРСЕЙ. Плохо учился, как видишь *(помолчав).* Скажи, Мокринка, а помнишь ли ты те вареники с сопкой, что твоя мамка варила? Я их всегда вспоминал.

МОКРИНА. Я помню, как мы с тобой на озеро ходили... Зимой. Лед замерз, снегу по колено, а мы поперлись... Ты меня обратно на руках нес, так я промокла и устала. А потом я пришла домой, замерзшая, как цуцик, промокшая, мамка меня ругают, тато защищают, а в хате тепло, в печи трещит, борщом пахнет и хлебом и теленком, я на печь спряталась и мне так хорошо... Такое это было счастье... Жаль, заплакать не могу, а то бы заплакала...

АРСЕЙ. У нашей любви – вкус вареников с сопкой.

Появляются агитаторы на своей повозке. Те же лозунги, та же повозка, те же агитаторы.

АРСЕЙ: Кого они собираются агитировать? Нет ведь никого.

Агитаторы призывают:

Дай стране зерна
Страна у тебя одна
За жену, детей, за жизнь –
Не держись.

Украинский селянин –
Ненастоящий гражданин
Спрятал в погребе, зараза,
Двести грамм собачьего мяса

Заберем у куркуля
Все, что ест его семья.
Черви, мыши, лобода –
Настоящая еда.

Радиоприемник взрывается сумасшедшим гопаком. Агитаторы танцуют.

Трупы, а так же умирающие от голода тоже встают и начинают свой последний танец. Встают лежащие вдоль заборов, чечетка, смесь украинского гопака и чего-то там еще.

Гром костей.

Мокрина отчаянно зовет уходящего Ареся.

МОКРИНА. Куда ты пошел? Не оставляй меня! Ведь ты же муж мой, помнишь? Мы поженились! Тогда в сельсовете!

АРСЕЙ. Какой же я муж. Не смеши людей. Венчаться нужно в церкви было. То не считается.

МОКРИНА. Считается.

АРСЕЙ. Разве ты любишь меня?

МОКРИНА. Какая любовь? Я больше ничего не чувствую, кроме страха. Я в зверя превратилась, разве ты не видишь? Я боюсь, что если тебя не станет – кто ж мне поесть принесет? *(настойчиво).* Ты муж мой, муж... Ты мне должен.

АРСЕЙ. Постарайся найти другого. Ты же знаешь. Я враг народа. Меня ищут, меня найдут и замучают.

МОКРИНА. Куда же ты пошел?

АРСЕЙ. Пойду, повешусь.

МОКРИНА. Подожди...

Арсей останавливается. Они смотрят в глаза друг другу.

МОКРИНА. Подожди... У тебя не осталось крошек в кармане?

Арсей выворачивает карманы. Ничего. Отрицательно машет головой.

Танец заканчивается так же неожиданно, как и начался.

Все падают в большую яму. В том числе и несколько агитаторов. В том числе и Арсей. Рядом стоит два могильщика с лопатами.

МОГИЛЬЩИК *(Арсею, не без участия).*Закрой глаза, засыпать буду.

Начинают забрасывать танцоров жирным черноземом.

Стара Баба с пустым ведром переходит Мокрине дорогу.

СТАРА БАБА С ПУСТЫМ ВЕДРОМ. С кем это ты разговаривала, Мокрина? Йди до дому... Дуже ты плоха...

6 АВГУСТА 33 ГОДА

Опухшая Мокрина лежит в хате на лавке. За окном красный закат. Вот к ней заходит и садиться напротив на лавке сестра Гафийка.

МОКРИНА *(без страха)*. Гафиечка, сестричка... Ты ж померла...

Гафийка заливается серебристым смехом.

ГАФИЙКА. Тю, дурная. Сама ты померла, как скажешь, не можна жить! Я что спросить хотела, Мокрина, ты когда замуж пойдешь, скольких детей народишь?

МОКРИНА. Четверо. Двух хлопцев и двух девчат.

ГАФИЙКА. А я одиннадцать хочу, как у нашей мамки. Представляешь, какая у нас семья большая получится? С детьми да внуками.

МОКРИНА. Оно хорошо бы.

Заходит Онисько. Пока он говорит, подтягиваются остальные братья и сестры. Улыбчивые, хорошие. Садятся на лавки, улыбаются.

ОНИСЬКО. Девчата, можно до вас? Не помешаю?

ГАФИЙКА. Только если смеяться не будешь.

ОНИСЬКО. Смеяться? А что?

ГАФИЙКА. Я спросила у Мокринки, сколько она детей хочет.

Онисько смеется.

ОНИСЬКО. Та девчата, вы ж малые еще? Какие дети?

ГАФИЙКА. Так я просто говорю. Вот представь, какой нужно будет большой стол нашим батькам поставить, чтобы всех нас, всех наших деток и внуков за один стол посадить.

ОНИСЬКО. То такого стола не бывает.

ТОДОСЬ. Это ж сколько человек? Не сосчитать.

УЛЯНА. Пойдешь на тот год в школу, тебя там выучат и считать и читать.

ТОДОСЬ. Не хочу в школу. Хочу в колхоз колхозником.

ЮХИМ. От дурко. Вы только послушайте, что говорит наш Тодось.

УЛЯНА. Вот я батьке скажу, он тебе даст и колхоз, и пятилетку и дулю с маком.

МОКРИНА. Братики мои… Сестрички… Родненькие… Разве ж вас не закопали под вишнями? Какая же я дурочка? Что же мне такое страшное приснилось?

Плачет и смеется.

ГАФИЙКА. Ой, мамка идет, а давайте попрячемся и пожартуем (пошутим)?

Браться и сестры прячутся кто-куда – кто в печку, кто под печку, кто на печку, а кто выпрыгивает в окошко. Нет никого. Заходит мама Оляна. Берет Мокрину за ноги, тащит ее к двери по полу. Мокрина больно ударяется.

МОКРИНА *(тихо).* Не выносите меня, мама. Я же еще живая.

Но мать не слышит. Тащит Мокрину на улицу, где с труповозкой стоит уже дед Артюх.

МОКРИНА. Мама, или вы меня не слышите?

Оляна останавливается. Смотрит слепо на Мокрину. Оставляет ее на пороге лежать.

ОЛЯНА *(деду Артюху).* Завтра приходи. Еще живая.
АРТЮХ. Так я завтра приду.

Бурчит и возмущается негромко, уезжает вместе со своей труповозкой

МОКРИНА. Как хорошо, мамо. Не разберу, где правда, а где сон. Так и должно быть. Так радостно от голода. Уйдите, мамо. Ко мне гости пришли.

Мокрина проваливается в черную-черную яму.

16 АВГУСТА 1933

Мокрина открывает глаза. Она едет на повозке агитаторов. Худая кляча медленно ковыляет по плохой дороге. За вожжами – Юрка. Маленький, худой, черный от солнца и пыли. Мокрина разжимает свою ладошку. В ладошке – хлебный мякиш. Мокрина сует его в рот. Жует.

МОКРИНА. Юрка, ты?
ЮРКА. Я.
МОКРИНА. А где Иван Иваныч?
ЮРКА. Его людоед съел.
МОКРИНА. А Машка с Васькой?
ЮРКА. Васька с голоду опух. Машка – родами умерла. Эй, Зирка, еби твою мать, еле ногами перебираешь!

Откуда-то из тряпья доносится детский плач.

ЮРКА. О, про мамку услышал и закричал. Это Машкин. Самсоном зовут.

Мокрина равнодушно оглядывается.

МОКРИНА. А моя мама где?
ЮРКА *(подумав, врет).* Дома осталась. Грядку убирать.
МОКРИНА. Не бреши. Грядки два года не саженые. Лучше сейчас скажи, пока я ничего не чувствую. Где она?
ЮРКО. В яме.

Некоторое время едут молча. Подгоняет лошадь, но та не реагирует.

МОКРИНА. А ты что ж живой?

ЮРКА *(отмахивается)*. А... Меня не берет. Порода такая.

МОКРИНА. А я почему... не со всеми?

ЮРКА. Проезжал мимо – смотрю – Артюх тебя в яму везет. А ты от мух отмахиваешься. Ничего – забрал, выходил.

МОКРИНА. Зачем я тебе?

ЮРКО. Петь мне будешь. Ты поёшь хорошо.

МОКРИНА. А где это мы едем? Что это за страна такая? Ни людей... Ни птиц... Одни бурьяны. А может, я все же умерла и ты жартуешь?

ЮРКА. Надоела спрашивать. Нет. Это Советская Украина. Заводи какую-нибудь веселую.

Мокрина тихонько затягивает веселую песню. Все громче и веселее.

Сіяв мужик просо,
Жінка каже: «мак».
Ой чи так, чи не так,
Нехай буде з проса мак.

Злапав мужик рибу,
Жінка каже: «рак».
Ой так чи не так,
Нехай з риби буде рак!

Купив мужик чепець,
Жінка каже: «сак».
Ой чи так чи не так,
Нехай с чепця буде сак!

Зцапав мужик сойку,
Жінка каже: «шпак».
Ой так чи не так,
Нехай буде з сойки шпак!

Купив мужик штани,
Жінка каже: «фрак».

Ой так чи не так,
Нехай буде з штанів фрак!

Песня набирает силу и вот уже целый хор веселых молодых девушек поют ее.

* * * * * * *

Выходит Гаврило в одежде украинского крестьянина 30-х годов.

ГАВРИЛО.

Добрый вечер, Господи!

Обращаюсь к тебе с молитвой.

Все у меня хорошо, грех жаловаться. Кроме некоторых моментов. Представляешь, вчера была у врача, нащупал какую-то шишечку в моем теле. Послал меня на анализы, но я сбежала к тебе. Господи, дай какой-нибудь знак. Помоги мне принять правильное решение. Ты же знаешь, как я боюсь операций.

Помоги моей дочке Ире хорошо закончить театральный институт и удачно выйти замуж, а сыну Мише помоги развестись с этой стервой. Сына Самсона избавь от астмы и помоги ему пройти собеседование.

Отведи налоговую инспекцию от моего магазина.

Прости меня за то, что я сегодня много раз плохо подумала про своего бывшего мужа Андрея. Господи, прости, что желала ему смерти, избавь его от алкоголизма, если сможешь. Я не смогла.

Продли жизнь моей маме, потерявшей здоровье на колхозных полях, пережившей голод и оккупацию.

Упокой душу моего брата Сергея, умершего после работы на Чернобыльской АЭС.

Упокой так же душу брата моего папы Колю, пропавшего в советских лагерях и душу моего отца Юрия, убитого во Вторую Отечественную войну.

Упокой души моих умерших дядь и теть: Храсины, Секлеты, Якима, Брони, Федора, Мины, Параски, Юхима, Ялины, Арсея, Явдохи, Тодося, Югины, Оляны, Горпины, Явдохи, Текли, Сафона, Ониськи, Килины, Прокопа, Карпа, Стаси, Марцина, Хранки, Тофили, Фанаса, Гафийки.

Они все умерли от голода в 33-м году.

Ничего, что я повесила их фотографии в кухне над столом?

Я вообще сейчас многого не понимаю.

Прости, если неправильно ставлю ударения в словах.
Прости, если неправильно молюсь.
Спасибо Господи за все, что ты мне дал.
Господи, помоги мне похудеть к моему дню рождения.

Александр Железцов

ТРИ ПРИКОЛА – ТРИ ПРИТОПА

Вопрос: Земля вращается вокруг Солнца?
Процент россиян, которые ошибочно ответили на этот вопрос – 11.
(Из теста на «Slon.ru», 2013 г.)

ВЕДУЩАЯ
ОПЕРАТОР
АСТРОНОМ

В кадре – ВЕДУЩАЯ, которая стоит на фоне жилища АСТРОНОМА – стандартной подмосковной землянки. Крыша землянки покрыта дерном, из которого торчит довольно большой телескоп.

ВЕДУЩАЯ *(деловито, невидимому оператору).* Я готова.

ОПЕРАТОР *(за кадром).* Мотор!

ВЕДУЩАЯ *(сияя).* Итак, мы начинаем нашу клеевую молодежно-познавательную программу «Три прикола – три притопа»!

Большинство наших зрителей что-то слышало о так называемой «астрономии». Некоторые даже видели старинные трофейные комиксы, где есть особый персонаж: «Ученый – астроном». Это он сообщает Бэтмэну, что к Земле движется громадный камень, который может уничтожить все живое.

Оказывается, у этих фантастических камней было свое особое название, и мы спросим о нем нашего сегодняшнего Главного Приколиста, Человека – Загадку!

Представляете, нам удалось обнаружить – здесь, в Подмосковье – реально практикующего астронома, и сейчас мы идем к нему!

Стучит в дверцу землянки, та быстро открывается и появляется АСТРОНОМ – слегка растерянный пожилой человек в армейском евразийском бушлате.

АСТРОНОМ. Проходите, пожалуйста!

Ведущая наклоняется и входит в дверцу. Внутри довольно просторно. Пара табуреток, столик, солдатская койка, самодельная полка с десятком книг и нижняя часть телескопа.

ВЕДУЩАЯ. Ух ты... *(оператору).* Стоп! Сережа, я не знаю, мы можем в кадре давать книги?

ОПЕРАТОР *(за кадром).* Ну, а что такого? Разрешили ведь... Готова?

ВЕДУЩАЯ. Готова *(улыбаясь).* Естественно, самый первый вопрос... Скажите, а вы не опасаетесь... вот так открыто держать у себя книги?

АСТРОНОМ *(задиристо)*. А чего я должен опасаться? В материалах последнего Собора Евразийского Народного Фронта прямо сказано: «Само по себе чтение книг грехом не является».

ВЕДУЩАЯ. Ну да, конечно, только распространение среди несовершеннолетних... Все-таки зачем вам столько книг? Как говорил товарищ Мао: «Много читать – императором не станешь».

АСТРОНОМ. Это научные труды.

ВЕДУЩАЯ. Я понимаю. В них записаны разные научности. И что, они вам по жизни так уж нужны?

АСТРОНОМ. Видите ли, есть множество теорий ...

ВЕДУЩАЯ. Я знаю. Теория продаж... это... теория литературы, теория малых дел, теория и практика... это... есть такая теория струн!

АСТРОНОМ *(внезапно оживляясь)*. А где вы про «теорию струн» слышали? Do you speak English?

Ведущая цепенеет, бледнеет, но справляется с собой.

ВЕДУЩАЯ *(ликуя и подпрыгивая на месте)*. Оба-на! Первый прикол – волшебное заклинание астрономов! И – первый притоп!

Изо всех сил топает ногой в пол землянки. Сверху сыпется мусор, одна из стен землянки слегка выпячивается, АСТРОНОМ кидается к ней и подпирает своей спиной.

АСТРОНОМ. Осторожно! Тут же всё...

ВВЕДУЩАЯ. Простите, простите, больше не буду! А что вы сейчас такое волшебное сказали?

АСТРОНОМ. Я... просто спросил, где вы слышали про теорию струн.

ВЕДУЩАЯ *(весело).* Не важно. От музыкантов, наверное. Они приколисты такие по жизни – вообще, но, в принципе, нормальные пацаны. А что?

АСТРОНОМ. Ничего, просто спросил.

ВЕДУЩАЯ. Тогда и я вас спрошу. Это то, что очень интересует наших зрителей. В старинных комиксах говорилось про огромные камни, которые могут пробить небесную сферу и уничтожить все живое, если только Бэтмэн их не остановит. Скажите, в старину действительно были такие камни, или это предрассудки, в которые верили люди до оптимизации?

АСТРОНОМ. Сейчас-сейчас...

Подходит к полке и снимает с нее книгу. Это старинный учебник по астрономии для девятого класса средней школы.

В этой замечательной книге собрана мудрость веков. И в ней говорится, что такие камни есть, и они называются «комета».

ВЕДУЩАЯ. Как стиральный порошок «Коммит», только женского рода! *(ликуя и подпрыгивая на месте).* Оба-на! Коммит и комета! Второй прикол – и второй притоп!

Снова изо всех сил топает ногой в пол землянки. Сыпется мусор и какие-то палки, стена выпячивается сильнее, но АСТРОНОМ все-таки удерживает ее своей спиной.

АСТРОНОМ. Пожалуйста, я вас очень прошу, не надо здесь топать!

ВЕДУЩАЯ. Конечно-конечно, договорились! Скажите, и что – люди раньше верили, что есть какие-то... как вы сказали?

АСТРОНОМ. Кометы. Некоторые люди даже и сейчас в них вверят...

ВЕДУЩАЯ *(быстро).* Ну, их, слава Евразии, абсолютное меньшинство, и последний Собор разрешил им верить во все что угодно!

АСТРОНОМ. Слава Евразии.

ВЕДУЩАЯ. А мы возвращаемся к реальной жизни, к вопросам, которые интересуют наших зрителей. У меня тут море вопросов! Как Солнце и звезды прикреплены к небесной сфере? Чем луна отличается от месяца? Как правильно загадывать желание, когда падает звезда? Да, и еще я от себя хотела спросить: почему некоторые звездочки моргают, а некоторые – не моргают?

АСТРОНОМ. Все эти вопросы не такие простые, как кажется... Во-первых, я должен сказать прямо и со всей определенностью: никакой небесной сферы просто нет!

ВВЕДУЩАЯ *(кричит)*. Стоп! *(оператору).* Сережа, выйди, пожалуйста. Минут на десять, хорошо?

ОПЕРАТОР *(за кадром).* Ладно... *(Выходит из землянки)*

ВЕДУЩАЯ *(очень устало)*. Виктор Владимирович, вы понимаете, что под статью идете? Две. Оскорбление чувств и угроза информационной безопасности – понимаете? Соборы соборами, а спецприходы никто не отменял.

АСТРОНОМ. Нет никакой небесной сферы.

ВЕДУЩАЯ. Мне вас порекомендовали, я вошла в положение: человек только-только из профилактория, нужна легализация, контакты, а мне нужен сюжет, и мы всё с вами обговаривали: про солнце и звезды, про луну и месяц, а вы тут... такое. Ладно – я, допустим, никому ничего не скажу, но Сережа... Я не уверена. Вы понимаете, что...

АСТРОНОМ *(с угрюмой настырностью).* Нет никакой небесной сферы.

ВЕДУЩАЯ *(Постепенно переходя на крик).* А то я не знаю! Идиоточка такая евразийская! Верит в сферу, английского не понимает, и про теорию струн ей музыканты рассказывают! У нас из семьи уже трое в профилактории, питание – только из посылок родственников, это категория «С», это когда землянки рыть запрещено, голая земля, проволока и силовики на вышках, говорят людоедство вовсю, они только посылками и живы, я одна из всей семьи работаю, пять человек на мне, и посылки еще эти – и всё я! Я! Одна! Как сука проклятая! Как...

(В истерике топает ногами, сверху валятся целые пласты земли, обрушивается телескоп, и АСТРОНОМ уже не может удержать падающих стен.)

Ксения Драгунская

НАРОДЫ

Действуют:

ВАДИМ ИВАНОВИЧ, представитель местной власти, председатель колхоза или сельсовета
НАДЕЖДА, сельская учительница
ГОСТЬ
РАССКАЗЧИК, читает ремарки и лирические отступления

Октябрь, в полях ветер и листья, и кажется, что октябрь везде, на всём белом свете, и листья летят по всей земле...

В кабинете Вадима Ивановича, главы сельской администрации, уютно, натоплено, пахнет яблоками и печкой.

На стене портрет президента, икона Николая Чудотворца и карта района.

Вадим Иванович сидит за столом и смотрит на своего Гостя – невысокого щуплого мужчину в кепочке, джинсах и пиджаке, смуглого, темноглазого, явно нездешнего, «неместной» наружности.

Гость сидит на стуле перед столом Председателя, с любопытством глядя по сторонам.

Входит Надежда, молодая учительница сельской школы.

НАДЕЖДА. Звали, Вадим Иваныч?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Давай, Надежда, помогай разбираться. Видишь, гость у нас.

Надежда смотрит на Гостя, и он молча приветливо улыбается ей.

Надежда вопросительно смотрит на Председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Не пойму, кто такой. Хоть милицию вызывай.

НАДЕЖДА. Может, Оли Мухиной родня, с Пеновского района? Они там, в Пенно, все рёхнутые маленько.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ты ксенофобию не разводи – пеновские нормальные ребята. Какой язык детишкам преподаёшь?

НАДЕЖДА. Английский.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вот и действуй. По-русски он не шарит, вот что. Мужики у колодца обнаружили. И сидит на корточках, и курит, совсем как наш. А по-русски-то не шарит.

Надежда поправляет косыночку на голове и строго, как на ученика, смотрит на Гостя.

НАДЕЖДА. Инглиш?

Гость нерешительно кивает.

НАДЕЖДА. Нид хелп?

ГОСТЬ. Вай-фай?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(усмехается, так как от детей своих и внуков знает, что такое вайфай).* Вай-фай, как же... Макдональдс ещё... Суши-бар... Надя, скажи ему, у нас Интернет только на кладбище. Кладбище на пригорке, на кладбище колокольня, на колокольне модем хорошо ловит.

НАДЕЖДА. Что вы здесь делаете? Откуда вы?

Гость говорит по-английски, короткими предложениями.

ГОСТЬ. Нуй-Вэм. Остров. Океан. Плохой прогноз. Ураган. Опасно. Эвакуация. Россия. Места много.

НАДЕЖДА. Ничего не пойму... Это что, телепередача «Программа "Розыгрыш"»?

Надежда смотрит по сторонам, словно пытаясь разглядеть где-то скрытую камеру или другие признаки телепередачи.

ГОСТЬ. Живём на острове. Нуй-Вэм. Остров-страна. Моя страна. Кругом океан. Обещают сильный ураган. Надо готовиться к эвакуации. У вас много места. Мы к вам. Переждать ураган. Нас больше тысячи человек. Я первый.

НАДЕЖДА *(Председателю).* Пляшите, Вадим Иванович. К нам от урагана эвакуироваться приехали.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это чьё распоряжение? Мне ничего не спускали.

Гость достаёт из кармана пиджака портмоне, бережно вынимает сложенный вчетверо листок, показывает Надежде.

НАДЕЖДА. Тверская область, Торжокский район, деревня Пирогово, дом тридцать. Орехов Николай.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это с Питера, что ли, бородатый такой, на «Лексусе» убитом?

НАДЕЖДА. Он дачник.

ГОСТЬ. Что-то плохое?

НАДЕЖДА. Дачники, понимаете? Летние люди. Живут здесь только летом. А осенью уезжают в свои города. Работают там, всё такое. Сюда – только летом. Дачники.

ГОСТЬ. Николай. Русский. Загорал всю прошлую зиму. Всегда обедал у меня. Руку жал. Прощались – говорит, если что, приезжай к нам, друг, у нас земли много. Адрес дал.

Пауза

НАДЕЖДА. Нет, всё-таки, это программа «Розыгрыш»...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Садись на велосипед, сгоняй до этого Николая, разбираться будем.

НАДЕЖДА. Он уж в Питере давно, октябрь на дворе, Вадим Иванович.

ГОСТЬ. Я стучал, закрыто.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ничего, я его теперь из-под земли достану. Загорал он... Нормально... Он загорал, а мы разгребай...

НАДЕЖДА *(Гостю).* Произошло недоразумение. Вы с Николаем друг друга не поняли. Понимаете, когда он сказал: «Приезжай, друг, всегда рады», это были просто вежливые слова. Как «спасибо, до свидания». Вежливые слова. Он совершенно не думал, что вы приедете.

ГОСТЬ. Обманул?

НАДЕЖДА. Нет... Он не хотел обмануть. Но это просто вежливые слова. Не надо было понимать их так серьёзно.

ГОСТЬ. У нас много русских. Приезжают надолго. Загорают. У нас всегда лето. А ещё музыканты были. Красиво... Музыка... Русские весёлые, добрые, хорошо платят...

Гость умолкает, вспоминая солнечный парк на набережной, открытую сцену, на которой оркестр молодых, красивых русских играл невыносимо прекрасную музыку. Председатель задумывает-

ся. За окном проходит бабуся в ватнике и трениках, с помощью большой палки руководя рослым козлом. Слышно, как поет ветер и трещат поленья в печке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нельзя им сюда. Во-первых, холодно зимой, акклиматизация, всё такое... Во-вторых...

НАДЕЖДА *(терпеливо, по-учительски).* Послушайте. Вы видели русских, которые приезжают к вам, загорают, тратят деньги или играют красивую музыку. Но здесь, в деревне, живут другие русские. Они почти не пользуются деньгами, потому что у них их нет. Едят то, что выросло на огороде. Иногда крепко выпивают, дерутся и гоняются друг за другом с топорами. Они тоже русские, но другие, понимаете?

ГОСТЬ. Нет.

НАДЕЖДА. Страна большая. Народу много. По-разному люди живут. Например, в нашей столице, в Москве, люди живут в двадцать первом веке. В остальных городах – в двадцатом. А в деревнях – в девятнадцатом.

ГОСТЬ. Интересно...

НАДЕЖДА. Очень!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Спроси, их же всё равно эвакуировать будут? Не оставят же посреди урагана?

ГОСТЬ. Да, переселят к соседям, на материк. Но и там опасно. К тому же, соседние страны тоже маленькие, не получится весь народ в одно место. Так и потеряться можно. Мало нас... Нам всем вместе надо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Сто раз просил – обеспечьте сельсовет вайфаем... счас бы щёлк-щёлк, и политическая карта мира... Звони географичке, пусть берёт в школе глобус и бежит сюда, хоть глянем, где этот Нуй-Вэм...

НАДЕЖДА. Петрова по географии сегодня свинью режет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нашла время... Привыкли жить в медвежьем углу, а мир, между прочим, меняется, стираются границы...

Снова пауза, слышен ветер и треск поленьев и отдалённый нестройный хор, похожий на визг и вой.

НАДЕЖДА *(Председателю).* Луковы свадьбу догуливают. Третью неделю уже *(Гостю).* Поют люди. Настроение хорошее.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ладно, переведи ему – счас пойдём ко мне, пообедаем по полной, и я его до райцентра доброшу, до станции. Посмотри, что там у него с обратным билетом, напиши подроб-

но, как ему, куда... И это, кстати... Он как вообще в страну попал? Не нарушал ли?

НАДЕЖДА. Покажите, пожалуйста, паспорт.

ГОСТЬ (с укором в голосе). У нас с вами безвизовый режим. Дружба. Взаимопонимание. Вы у нас зимой загораете... *(Он встает и закидывает за плечо свой рюкзачок, маленький, детский, ярких цветов.)*

Трое выходят на крыльцо. Вадим Иванович смотрит в узкую, как у подростка, спину Гостя и думает о далеком острове в Тихом океане, где в ожидании урагана сидит тысяча человек с доверчивыми темно-карими глазами и надеется только на них, на Вадима Ивановича, на дачника Николая, на весь их полуразвалившийся колхоз «Победа Октября». Вадиму Ивановичу вдруг становится интересно и весело, как не бывало уже давно, с детства, когда отец брал его на ночную рыбалку со старшими. Словно десятилетний мальчишка, он думает, как удивятся другие сельские округа, а председатель соседнего колхоза «Первое Мая» в запой уйдет от зависти...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. А знаешь, брат... Давай! Переведи, Надя. Пусть едут!

НАДЕЖДА. Вадим Иванович, да вы что?!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. А в войну как жили? Поместимся! Россия – щедрая душа! Люди посреди океана в тесноте болтаются, ни сегодня-завтра сдует к чертям собачьим, а у нас вон места сколько, поля берёзками зарастают...

Они пока ехать будут, мы турбазу заброшенную подготовим...

НАДЕЖДА. Да тут что ни день – пьяная драка, поджог, поножовщина...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Правильно. Одичали совсем одни сидеть. А при гостях подтянуться придётся, в руках себя держать...

НАДЕЖДА. А миграционный контроль?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ты что, Курочкина из миграционки не знаешь? Нормальный мужик. С ним посидеть, выпить по-человечески – любой вопрос решит.

НАДЕЖДА. Ну, Вадим Иванович, смотрите...

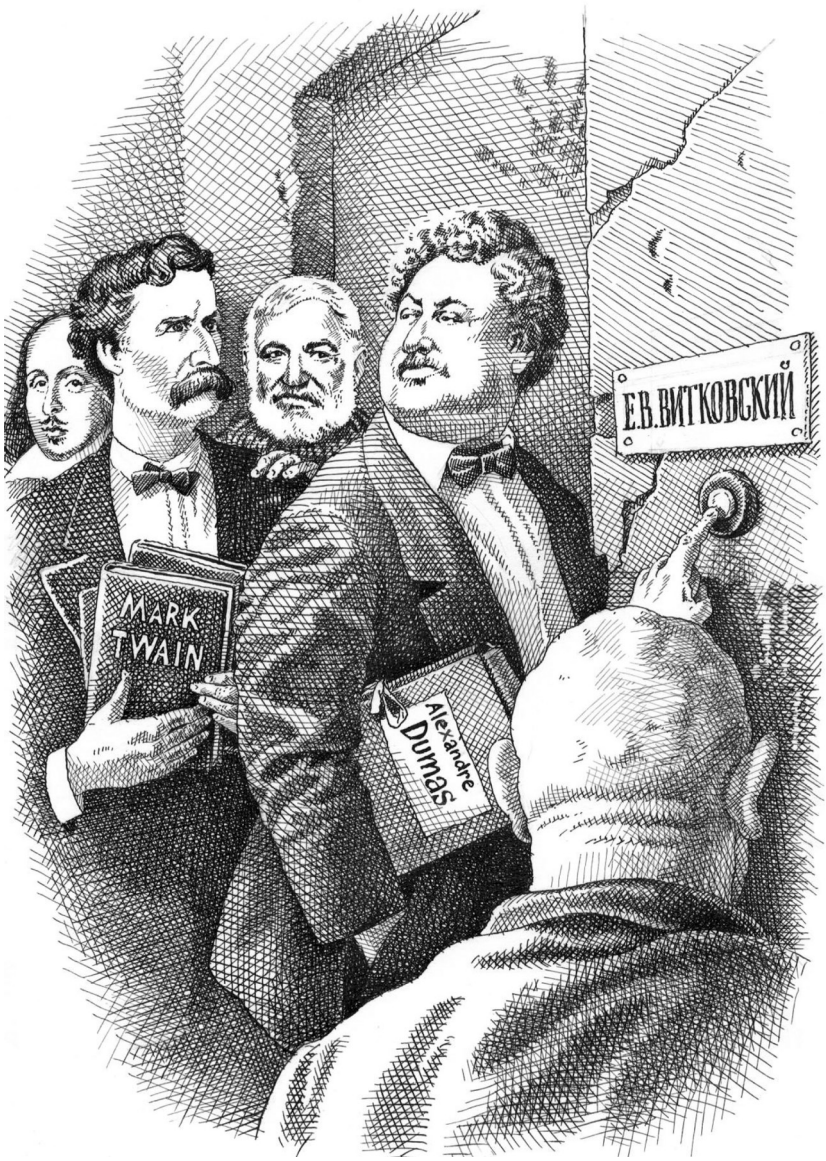
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Шутка ли – тыщща человек, рук рабочих... Да мы с вами горы свернём! Водокачку починим, мост... Давай, брат, собирай своих и двигайте к нам! И для детишек наших полезно, пусть видят – велик мир, разные люди бывают, долой ксенофобию! Гут! Нормал! Вэлком!

Надежда качает головой и уезжает на велосипеде. Дует ветер, стоя на крыльце, Председатель оглядывает бескрайний русский простор, ему приятно, что земля его так велика, и может легко приютить далёкий незнакомый народ, попавший в беду.

Председатель приобнимает Гостя за плечо и приглашает полюбоваться красотой осенней округи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Пиздато листья летят… Как в детстве…

Век перевода



Рафаэль Левчин

МИРОСЛАВ ВАЛЕК
(1927–1991)

ИЗ СБОРНИКА «ЧЕТЫРЕ КНИГИ БЕСПОКОЙСТВА»

ИЗ ЦИКЛА «СПИЧКИ»

СОНЕТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Когда твой стих, чудеса поистратив,
уже не сможет порхать по мирам,
шепни себе: «Побаловался, и хватит.
Напрасно жил ты. Пора помирать».

Уж коль поэзия чуда лишилась,
так, значит, вправду настала пора.
Была ли, нет ли звезда – закатилась.
Напрасно жил ты. Пора помирать.

Что жизнь поэзии – чуда! – лишилась,
сам от себя всего охотней бы скрыл.
Но брызжет кровью, как вскрытые жилы:
«Напрасно жил ты. Напрасно ты жил».

Не трать чужого здоровья и сил.
Напрасно жил ты. Бесплодно ты жил.

СПИЧКИ

Спичка грусти вспыхнула тихонько
(впрочем, мне на это наплевать).
Одиночество незваным входит –
значит, снова жалкие слова.

Ночь течёт, тоскою перекрыта
(я-то думал: зажило давно...).
Дождь у птицы выдирает крылья
и швыряет камешки в окно.

Спичка прошлого пылает снова,
и в огне, как прежде, голова.
Я любил... но что здесь это слово?
Мне давно на это наплевать.

Прядки эти светлые, тугие,
сонные, счастливые глаза...
Я – другой, и оба мы – другие,
и вообще, плевать, я же сказал!

Утро встало. Спички догорели.
Лишь дымок, ночных кошмаров след,
в воздухе рисует акварелью
мой карикатурный силуэт.
Губы, что не могут целовать,
шепчут ту же ложь: «...плевать... плевать...».

ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

Любовь – кладоискатель, любовь щедра на посулы,
но даже чаша Грааля – в конце-то концов, посуда.
Прах жёлтых и летних дней засыпает старые листья,
и уже их сметают дворники в запоздалые обелиски.

И светятся, светятся в осени трассирующие души,
дикий конь – человек – кружит себе и кружит,
бредит о смертном счастье, жить не желает вовсе.
Не приведи, чтоб сердце стало комочком воска!
Молюсь портретам твоим. В очах твоих – тихий омут.
Казалось, что цель близка. Остановился бы – обмер.
Твои иконные лики кружат, дурманят, манят...
Не бывает молитвы от разочарований.
Нам дано было много, нам казалось всё мало.
Сколько майских ночей нас луна обнимала...
Но – что короче мая? Разве вот только лето...
Осень давно всё знает, но не расскажет, нет уж!

А долиной зима уносит исповедь мая:
ждал, тосковал, пришла – но не она, иная!..

Любовь – кладоискатель, любовь щедра на посулы,
но даже чаша Грааля – в конце-то концов, посуда.
Прах жёлтых и летних дней засыпает старые листья,
и уже их сметают дворники в запоздалые обелиски.

КОТОРУЮ УЖ НОЧЬ

Студёный ветер в форточку стучится,
в далёких высях звёздный рой жужжит.
Которую уж ночь,
которую уж ночь мне всё не спится?
Моё ты счастье, свет в окошке, жизнь!

Ворочаюсь в ночи, как зверь-подранок.
Сомкнулся страх колючими кустами.
Напрасно призывать на помощь разум –
отчаянье терзать не перестанет.

Не любишь? Но послушай: хоть в насмешку…
хоть полосни насмешливой запиской!
Любимая, любовь не станет меньше,
и гордость мёртвая моя не вспыхнет.

Студёный ветер в форточку стучится,
в далёких высях звёздный рой жужжит.
Которую уж ночь,
которую уж ночь мне всё не спится?
Моё ты счастье, свет в окошке, жизнь!

ДЖЕННИ ДЖОЗЕФ
(р. 1932)

ОСТОРОЖНО!

Когда я стану старушкой, я надену лиловое платье
С красной шляпой, что мне не подходит и выглядит странно,
И всю пенсию тратить я буду на туфли и бренди,
И на перчатки, и буду ворчать, что на масло опять не хватает.
Я усядусь на мостовую, когда я устану,
На дегустации буду ходить я обедать,
И трезвонить в звонки, и стучать по перилам клюкою,
И наверстывать, что упустила разумная юность.
Я буду рвать цветы в чужих садах,
И научусь, наконец-то, плеваться,
И в тапочках выйду под дождь.

Если хочешь – толстей и носи балахоны,
И съедай килограммы сосисок на ужин
Или неделями хлеб с огурцами – и только,
И свой дом захламляй, чем душа пожелает.

Но пока надо платье носить по погоде,
И платить за жилье, и не ругаться на людях,
И подавать достойный пример нашим детям,
И газеты читать, и друзей приглашать на обеды.

Но может быть, стоит начать потихоньку меняться?
Чтобы все, кто знает меня, не слишком пугались,
Когда я вдруг стану старушкой и надену лиловое платье.

Г.К. ЧЕСТЕРТОН

АНГЛИЙСКАЯ ДОРОГА

Когда без римлян Альбион стоял и не тужил,
Английскую дорогу нам пьянчуга проложил.
Она петляла и вилась, маня пропойцу вдаль,
За ним священник побежал, эсквайр и пономарь.
Кружа вдоль изгородей, мы дорогой побрели
Однажды ночью в Бирмингем с тобой через Китли́.

Мне Бонапарт не делал зла, а сквайр – каждый день,
И со французом на войну идти мне было лень;
Но на врагов пришлось пойти и обратить их вспять:
Ведь пьяную хотелось им дорогу выпрямлять,
Где в кружках пенящийся эль нам согревал нутро
Однажды ночью по пути из Йорка в Миддлсбро.

Ему простили все грехи, иначе почему
Кусты, деревья и цветы кивают вслед ему?
Он шел по левой стороне, не зная, что неправ,
Затем в канаву он упал, чуть шею не сломав.
Прости, о Господи: глаза нас сильно подвели
Той ночью, что в Бристо́ль вдвоем мы через Брайтон шли.

Друзья, не будем повторять дела ушедших дней,
И подражанье молодым нас делает глупей,
Дорога верно нас ведет в приветливый трактир,
Где развернут, в конце концов, для нас последний пир;
Но много радостных минут мы вместе проживем,
Покуда в рай через Хайге́йт с тобой не попадем.

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
(1887–1916)

ЧЕРНАЯ ПЕСНЯ

Умираю и светло рождаюсь
С разноликой, нестройной душой,

Днем без устали строить пытаясь
То, что рушу порою ночной.

Если светлые дни звать я буду,
Значит, буря над морем грядет,
Буду кликать я бурю – повсюду
Всякий вопль и ропот замрет.

На зарю огнеструйную гляну –
А она мне несет слепоту,
Я весной, словно осенью, вяну,
В осень я, как весною, цвету.

Утекают бесстрастно минуты,
Молча гаснет нежитая жизнь.
Умирая, мой плач по приюту
Над великой пустыней кружит.

В ТЕМНИЦЕ

О неволя – слабеешь
Ты, невольничий раб,
Разгоришься и тлеешь –
То всесилен, то слаб.

То в мороз леденеешь,
То горишь в жаркий зной,
И надломлен своею
И чужою враждой.

И по солнцам далеким
Невзошедшим скорбишь,
И тоску миллионов
В своем сердце хранишь.

Словно воин в темнице.
Плен тебе не дает
В гневе вскинуть десницу
Вверх в священный полет.

ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ
(1892–1959)

ВОЛЯ

Рыдайте, избранники Божьего гнева,
Невинный Адам, непорочная Ева!

Бегите, бегите родного чертога!
И гневом Его – воспалится дорога!

Остался губитель и прячется в кущи –
Чешуйчатокольчатоскоротекущий...

Кропите дорогу рыданьем и плачем
Под гневом неправым, под гневом незрячим.

Здесь камни текучи и дерево шатко...
И всё Ему – воля! И мщение – сладко.

ОТАР ЧИЛАДЗЕ
(1933–2009)

БЕЛОЕ ПОЛЕ

Как легкий пепел, сон покрыл меня.
Спала
тень ветви на лице, и лиственное тело
витало надо мной, а там, белым-бела,
сияла твердь – как снег, как мысль и как хотела.

Я спал, но я хранил живительную связь
сознания и сна – я странствовал по воле –
и обогнула ветвь, витая и виясь,
знакомый склон горы, белеющее поле...

Там помавает конь прекрасной головой –
подобное в горах он вызовет движенье,
и песня разорвет предел голосовой...
Но смерти нет вообще. А этой – нет блаженней!

Но где твое лицо? Я сплю? Я слеп?
Ужель,
ужель твое лицо мне перестало сниться?
Я разрываю сон – так разрывает ель
нагорий облака – и движется, и длится...

На камне – тень твоя. А ты?
Я одинок,
когда – меня – твое – обманывает имя:
другую так зовут... А третья – мой порог
стопами перейдет неслышными твоими...

За что... В чужой душе я только слеп и нищ,
не помогают мне чужие утешенья.
Не верю белизне, где бездны черный свищ –
и тонет в камне тень – плашмя и без движенья.

ШОТА НИШНИАНИДЗЕ
(1929–1999)

* * *

Чуть слышен один листопад.
Курьерский промчался и сгинул,
и головни иней окинул,
и мерзнет, пылая, закат.

Ослепшая, прямо на луч
летящая – да сохранится

гусей запоздалых станица,
и пепел не падает с круч.

Листок соскользнет с высоты,
тихонько ударится оземь...
Согрей наступившую осень
в ладонях – ладони пусты.

АЛИО МИРЦХУЛАВА
(1903–1971)

ДВЕ СИЛЫ

Работают корни спеша,
росток выгоняя... Однако
есть света небесного тяга –
растения ум и душа.

Разумная стройная сила
и мачтовый лес возвела
и, словно бы нитку игла,
сквозь щебень
траву
протащила.

Антон Чёрный

ТЕОДОР КРАМЕР
(1897–1958)

В УЧЕБКЕ

Вокруг учебки в зарослях зелёнки
в прохладном лоске молодой весны
мы каждый день по самые печёнки
оттачивали навыки войны.
Мы слушали, как брякают приклады,
хрустит запал, качается затвор,
отряд по дёрну полз, как все отряды,
все заросли коленками протёр.

Лишь вечерами, по кустам шагая
и петь не в лад порой принуждены,
мы видели, что роща не нагая
под сводами небесной глубины.
Кора мерцала, и бежали соки,
медлительно струясь по стебелькам,
и глины колея на солнцепёке,
казалось, отзывалась башмакам.

В казарме было вдвое тяжелее
ложиться, скудный ужин одолев.
Нахлынувшая кровь бежала в шее,
шумела, в голове отяжелев.
Ворочались, проснувшись, то и дело,
ловили, встрепенувшись каждый звук,
и, неприметно покрывая тело,
суглинок осыпался с наших рук.

ВЫХОДНОЙ

Тот день, когда был выходной положен
в учебке нам, то был тоскливый день;
брели в сортир, обильно унавожен,
встав до подъёма несмотря на лень.
Мели настил дощатый не в охотку
и заправляли койки-топчаны,
проворно сухари бросали в глотку,
на улицу толпой увлечены.

Командовал ефрейтор на лужайке,
а мы и рады – лыбим до ушей;
в кустах не надо ползать в потной майке
и на бегу давить приставших вшей.
Боялись только, что погонят в лужи
на пузе ползать в топких полосах,
где клейкий шлам напитывал снаружи
одежду, вис на жёстких волосах.

А в полдень мы похлёбку крупяную
выстаивали, собирая шквар;
мученья эти – чтоб наваксить сбрую,
чтоб гнулась и блистала, как пожар.
Вылизывали чёботы до глянца;
но запросто упасть мог волосок,
и до поверки обладатель ранца
никак всё успокоиться не мог.

МЫ ЗАЛЕГЛИ МОЛЧКОМ НА СТЫЛЫХ ПЛИТАХ...

Мы залегли молчком на стылых плитах,
в углу оконца намело песка,
спирало дух от запахов разлитых,
и по прикладу ёрзала рука.
Капрал облокотился возле трубки
и слушал, прерывая свой доклад,
а дождик сеял, вроде мелкой крупки,
в его просветах всё тускнел закат.

Казались нереальными лопаты,
натыканные в ряд в песчаный скат,
отметки, где должны стоять солдаты,
торчали лентой, вроде баррикад.
Признаться, побывать в подобном бое,
мы думали, нам вряд ли предстоит;
чесались, озабочены собою
и тем, что не лишай ли там свербит.

И даже офицеры по-другому
себя вели, учебке не чета,
ходили, приседая по-простому
у каждого солдата и поста.
И, с каждой тачкою песка храбрея,
песок таская на своём горбе,
украдкой становились мы бодрее,
вновь обретя уверенность в себе.

МАРШ ПО ВОЛЫНИ

Ночью мы очухались в ознобе,
подремав в палатках вполглазка;
ветер нас будил, в студеной злобе
набегая из березняка.
За ночь коркой инея покрыло
все колючки вялого репья;
выстроилась по четыре рыла,
дребезжа, дивизия моя,

к подвигам снаряжена. Колонне
был назначен долгий переход;
париться нам в этом перегоне,
ветерок ловить, когда восход.
От песка забудется прохлада,
взбученного сотнями колёс;
пальцы отнимая от приклада,
чистить будем уши, рот и нос.

Шли, как поднимались на ступени,
через раскалённые хлеба;

только сосен жиденькие тени
чиркали порой по краю лба.
Мимо лужиц, пашни стерегущих,
гнало нашу пыльную гурьбу,
мокнущих от зноя, но бредущих
в долгий день, как в сточную трубу.

Евгений Витковский

ФЕРНАНДО ПЕССОА
(1888–1935)

* * *

Жизнь моя, ты откуда идешь и куда?
Отчего мне мой путь столь неясен и таен?
Для чего я не ведаю цели труда?
Почему я влеченьям своим не хозяин?

Я размеренно двигаюсь – вверх или вниз
И свое назначенье исполнить способен,
Но сознанье мое – неумелый эскиз:
Я подвластен ему, но ему не подобен.

Ничего не поняв ни внутри, ни вовне,
Не пытаюсь достичь понимания даже,
И не боль и не радость сопутствуют мне.
Я меняюсь душой, но изнанка всё та же.

Кто же есмь я, о Господи, в этакой мгле?
Что постигну, мечась в утомительной смуте?
Для чего я куда-то иду по земле,
Оставаясь недвижимым в собственной сути?

Путь мой пуст и бесплоден, – так нужен ли он,
Если смысл от деяний моих отодвинут?
Для чего мне сознанье, которое – сон?
Для чего я в реальность жестокую кинут?

Да пребуду сознаньем и слеп я, и нем.
О иллюзии! Стану под вашей защитой
Пребывать в тишине, наслаждаться ничем
И дремать бестревожно, как берег забытый.

* * *

Тайны древние прячутся рядом,
У границ моего бытия,
Угрожая бедой и разладом, –
Исполинские птицы со взглядом,
Пред которым беспомощен я.

Как чудовищна каждая птица,
Что врывается в грезу мою;
Слишком зыбкою мнится граница,
И сознание к бездне стремится,
Над которой всечасно стою.

Просыпаюсь на утренней рани,
И душа перед солнцем чиста,
Но рассудок – в унынье, в тумане,
Ибо знаю о гибельной грани
И предчувствую ношу креста.

* * *

Здесь, в бесконечность морскую глядя, где свет и вода,
Где ничего не взыскую, где не влекусь никуда,
К смерти готовый заране, вверясь навек тишине,
Так и лежал бы в нирване, и отошел бы во сне.

Жизнь – это тень над рекою, что промелькнет ввечеру.
Так по пустому покою тихо идешь, по ковру.
Бредни любви суть отрава: станет реальностью бред.
Столь же бессмысленна слава, правды в религии нет.

Здесь, от блестящей пустыни прочь отойти не спеша,
Знаю: становится ныне меньше и меньше душа.
Грежу, не веруя в чудо, не обладав, отдаю
И, не родившись покуда, смерть принимаю свою.

Необычайна услада: бризом прохладным дышу,
И ничего мне не надо – бриза всего лишь прошу.
Это на счастье похоже, то, что дано мне теперь:
Мягко песчаное ложе, нет ни страстей, ни потерь.

Выбрав тишайшую участь, слушать, как плещет прибой,
Спать, не тревожась, не мучась и примирившись с судьбой,
В успокоенье отрадном, от изменивших вдали,
Бризом пронизан прохладным здесь, у предела земли.

ЭЛЕГИЯ ТЕНИ

Мельчает род, и опустела чаша
Веселья прежнего. Уже давно
Холодный ветер – ностальгия наша,
И ностальгия – всё, что нам дано.

Грядущее минувшему на смену
Ползет с трудом. А в лабиринтах сна
Душа везде встречает только стену;
Проснешься – снова пред тобой стена.

Зачем душа в плену? Виной какою
Отягчены мы? Чей зловещий сглаз
Нам души полнит страхом и тоскою
В последний сей, столь бесполезный час?

Герои блещут в невозможной дали
Былого, – но забвенную страну
Не видно зренью веры и печали;
Кругом туман, мы клонимся ко сну.

Который грех былого столь жестоко
Бесплодьем искупить пора пришла?
Зачем столь беспощадна воля рока,
Столь сердцу безнадежно тяжела?

Как победить, сникая на излете,
Какой войною и каким оружьем?
Для нашей скудной и заблудшей плоти
Ужели казнь горчайшую заслужим?

Прекрасная земля былых героев –
Под знойным солнцем средь лазурной шири,
Что высоко сияло, удостоив
Всех милостей тебя, возможных в мире! –

О, сколько красоты и славы прежней!
Надежды опьяняющая рьяность...
Увы, чем выше взлет, тем неизбежней
История – паденье в безымянность.

О, сколько, сколько!.. Вопросишь невольно:
Где всё, что было? В глубине Гадеса,
Во свете черном никому не больно,
Ничьи стенанья не имеют веса;

Кого по воле темного владыки
Отпустят в жизнь из царства древней тьмы,
Когда придем по следу Эвридики, –
Иль станет так, но обернемся мы?

Не порт, не море, не закон, не вера –
Велеречивый, горестный застой
Царит один, как мертвая химера,
Над скорбной влагою, над немотой.

Народ без рода, стебель без опоры,
Предпочитающий не знать о том,
Что смерть спешит к нему, как поезд скорый,
И всё в нутро свое вберет гуртом.

Сомнений и неверия стезя,
Ведущая во глубину сознанья,
Где никакою силою нельзя
Спастись от косной жажды нежеланья.

Сиротству подражая и вдовству,
Мы записать хотим рукой холодной
Тот сон смешной, что видим наяву,
Сон бесполезный, скучный и бесплодный.

Что станет со страной, среди народов
На Западе блиставшей, как маяк,
С когортой рыцарей и мореходов,
Вздымавших гордо португальский флаг?..

(О шепот! Вечер, ночь уже почти, –
Сдержи слова ненужной укоризны,

Спокойствием страданье сократи
В огромном сердце гибнущей отчизны.

О шепот! Мы неизлечимы. Ныне
Нас пробудить бы, мнится, только мог
Вихрь той земли, где посреди пустыни,
У бездны на краю, почиет Бог.

Молчишь? Не говоришь? Ужель полезней
В себе лелеять слишком горький опыт,
О родина! Как долго ты в болезни –
И спать-то не умеешь. Жалкий шепот!)

О день, в тумане будущего скрытый:
Король воскресший твердою рукой
Спасет народ и осенит защитой, –
Взаправду ль Бог назначил день такой?

День очищенья от греха и срама,
Когда прийти назначено тебе,
Исполнить долг, разверзнуть двери храма,
Затмить глаза блистающей Судьбе?

Когда же, к Португалии взывая,
К душе-пустыне, дальний голос твой
Прошелестит, как благостная вайя
Над влагою оазиса живой?

Когда тоска, дойдя до крайней грани,
Увидит в час перед рассветом, как
Возникнут очертания в тумане,
Что ныне сердцу грезятся сквозь мрак?

Когда? Движенья нет. Меланхоличный
Черед часов: душа привыкла к яду
Ночной досады, вечной и обычной,
А день способен лишь продлить досаду.

Кто, родина, расправился с тобой,
Отравленною сделал и недужной,
Кто жалкой наделил тебя судьбой,
Прельщая пищей – сытной, но ненужной?

Кто вновь и вновь тебе внушает сны?
Кто вновь и вновь тебя могилой манит?
Твои ладони слишком холодны.
О, что с тобою, в жизнь влюбленной, станет?

Да, ты жива, да, длится бытие,
Но жизнь твоя – лишь сонные мгновенья...
Всё существо облечено твое
Позорною хламидою забвенья.

Спи – навсегда. Знай, греза голубая
Хотя бы не спалит тебя дотла,
Как сон безумный, что любовь любая
К тебе, о родина, всегда мала.

Спи безмятежно, – я с тобой усну,
Волнениям подведены итоги;
Ты, у надежды не томясь в плену,
Не будешь знать ни жажды, ни тревоги.

Спи, и судьбы с тобой единой ради
Пребудут отпрыски твоей семьи
В таком же сне и в нищенской отраде –
Обнять стопы любимые твои.

Спи, родина, никчемна и ничтожна,
А коль узришь во сне надежды свет,
Знай – всё не нужно, ибо невозможно,
И цели никакой в грядущем нет.

Спи, кончен вечер, наступает ночь,
Спи, – ненадежный мир смежает веки,
Предсмертным взором отсылая прочь
Всё, с чем теперь прощается навеки.

Спи, ибо всё кончается с тобой.
Ты вечной жизни жаждала во славе
Пред этой пустотою голубой –
Быть вечным вымыслом? О, спи, ты вправе

Исчезнуть, не внимая ничему;
Для праздных душ в мечтаньях мало проку;

Вечерний час уводит нас во тьму
Навстречу ветру, холоду и року, –

Так, лику смерти противостоя,
Взглянув во мрак, что мир вечерний кроет,
Промолвил римский император: «Я
Был всем, однако быть ничем – не стоит».

Omnia fui, nihil expedit.
Император Север

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
(1865–1936)

ПОСЕЙДОНОВ ЗАКОН

«Узы дисциплины» – Плавания и открытия

Когда первейший мореход спустил, не устрашен,
Свой первый плот на лоно вод, воскликнул Посейдон:
«– Любому, кто стремит ладью чрез волны или гладь,
Незыблемый закон даю: не смей ловчить и лгать!

– Прощает Зевс на суше всех, удерживая гром,
Коль жертвой искупают грех, склонясь пред алтарем;
А тут за жизнь ведут борьбу, здесь неподкупен вал, –
Чтоб легкомысленно судьбу моряк не искушал.

– Ужели набожная речь уймет прибой? Ужель
Законопатишь ею течь иль обезвредишь мель?
Стихии наказуют ложь ленивца-ловкача, –
Ты снасти честно бережешь, а рубишь – так сплеча!

– И, чтобы ты осилить мог и ветр, и хлябь, и мрак,
Я – Посейдон, суровый бог, – дарю тебе, моряк,
Орлиный взор, лихую стать и силу. Ты в долгу –
Так помни: хочется солгать – солги на берегу!»

И все, что грозный молвил глас, моряк мотал на ус –
И после соблюдал наказ, как корабельный груз.
Но лишь покинет мореход галеру иль драккар –
И в кабаках безбожно врет, не опасаясь кар...

А мир, дожив до наших дней, постиг в конце концов,
Что пар и винт куда сильней и ветра, и гребцов.

Подводный царь, грозивший встарь, порастерял права.
Не изменился лишь моряк, лихая голова!

Не сдавшийся в годину бед ни шторму, ни врагу,
Он свой дубовый табурет подвинет к очагу –
И здесь, в уюте и в тепле, он жадно пьет вино
И лжет – поскольку на земле прилгнуть разрешено.

ПРЕРИЯ

Куда ни глянь – метелки трав полдневный зыблет зной;
А вон извив, а там рукав реки в стране степной.
Пустынный край, покой земли, и синие встают
Холмы в сияющей дали... Чего страшиться тут?

«– Но сердце учащает стук, предчувствуя отъезд:
Оно в силках речных излук, в тенетах здешних мест.
Остерегись! Не убежишь, не ускользнешь никак
От ветра, что нарушил тишь, волнуя жухлый злак».

Я слышу: начат обмолот созревшего зерна.
Я слышу: где-то оземь бьет копыто скакуна.
Я слышу: кличет птичий клин в осенней вышине...
И внемлю тишине равнин. Чего бояться мне?

«– Всесильны чары трав и троп, степной волшебный зов.
Ты связан: ты – пшеничный сноп меж множества снопов.
Закрой окно, захлопни дверь, – чтоб зов ночных светил
Мечтать о городе теперь тебе не воспретил».

Гадать не смею наперед – и все глядеть хочу,
Как Осень облачает год в узорную парчу.
Всему живому царь и друг, я, властелин земной,
С восторгом вижу степь вокруг, владеющую мной.

НАСЛЕДИЕ

Геройский век над миром тек:
За часом – славный час.

Творили пращуры в тот век
Наследие для нас.
И твердо знали, что сыны, –
В свой век и свой черед, –
Не менее свершить должны
И двинуть жизнь вперед.

Долга была борьба, долга!
Отнюдь не ворожбой, –
Сдержали стенами врага,
И дамбами – прибой.
Да, славный прадед, смел и горд,
Умел страну беречь!
Но корень стойкости – не форт,
А доблести – не меч.

Нет, юный пыл, и зрелость сил,
И опыт поздних лет –
В них корень мощи! Не щадил
Никто себя, о нет:
Не жертвенных животных кровь,
Не золото в мошне –
Пожертвуй жизнь, отдай любовь,
Родной служа стране!

И предок наш, не чая мзды, –
Смирение само, –
Влачил заботы и труды,
Что грузное ярмо.
И оттого-то наш народ,
Не ползая в пыли,
Свободно, радостно живет,
И ныне – соль земли.

Он шел, как вол, и влек арбу –
И знай скрипела ось!
И прадед не гневил судьбу,
Не говорил «авось»...
Нам гордый сан судьбою дан,
Заслуженный сполна.
Продлим же труд! – не мельче люд
И в наши времена.

МОЛИТВА МИРИАМ КОЭН

Мирскую суету скорей
От нас, о Боже, скрой, –
А огнь, и меч, и гнев царей
Всяк примет как герой!

Блюди покой в людских очах –
Да не узрят чудес;
И тяжких звезд победный шаг
Да не крушит небес.

Одета с ног до головы
Тобою в плоть и кость,
Душа, покинув их, – увы, –
Согнется, точно трость.

Сокрой Свой замысел и путь
От человечьих глаз:
На образ Вечности взглянуть –
Губительно для нас.

Клади на таинства – печать,
На души – тишь и тьму:
Чтоб не видать и не внимать
Невнятного уму!

Григорий Стариковский

СЕКСТ ПРОПЕРЦИЙ

ИЗ *ТРЕТЬЕЙ КНИГИ*

3.6 (*dic mihi…*)

Правду сполна говори, все, что знаешь о девушке нашей,
сбросишь в награду, Ликдам, рабский хомут госпожи.
Ты ведь не станешь морочить, улещивать ложью гордыню,
чтобы желанный обман мог я на веру принять.
Истинный вестник обязан в речах избегать пустословья,
больше доверья рабу, ибо под страхом живет.
Если же есть, что сказать, расскажи, мой Ликдам, по порядку,
речью своей утолишь жадно внимающий слух.
Правда ли, плакала, в самом ли деле разметаны были
кудри, а слезы её – много ли слез пролилось?
Зеркальце в спальне заметил, быть может, на покрывалах,
правда ли, заперт ларец, что у постели стоит?
Скажешь – с изнеженных плеч уныло свисали одежды,
не украшал ли с утра белой руки – самоцвет?
Дом был печален, печально сидели служанки за пряжей,
ну, и она среди них свой выполняла урок.
Влагу заплаканных глаз осушила скомканной шерстью.
Жалобный вздох испустив, вспомнила прошлый раздор.
«Что получила в обмен на посулы?! Ликдам, ты – свидетель,
пусть же поплатится он (раб, подтверди!) за обман.
Кажется, повода не было, всё же несчастную бросил.
Кто у него там теперь новая, знать не хочу.
Рад он, что я изнываю в тоске на пустующем ложе,
если бы я умерла, то-то бы он ликовал!
Не благочестьем взяла бесстыжая, а приворотом,
у нитяного волчка ходит на привязи он.
Жабы раздутой осклизлое зелье, отборные кости,
кости засушенных змей приворожили его,
перья сипухи возле поваленных древних надгробий
и похоронная шерсть лент на одре мертвеца.

Если мне снятся правдивые сны, клянусь, в полной мере
он мне заплатит – у ног будет несчастный лежать.
Пусть паутиною дряблой затянет порожнее ложе,
пусть, когда ночью они вместе, Венера всхрапнет».
Если в жалобах сердце открыла она без притворства,
той же дорогою к ней ты поспеши, мой Ликдам,
и сообщи госпоже (поплачься побольше!), что гневен,
да, я бываю в любви, но без обмана люблю.
Ты ей скажи, я ведь тоже подобным огнем истязаем,
не прикасался, клянусь, к женщине дважды шесть дней.
Если же наши раздоры счастли́во закончатся миром,
сделаю всё, чтоб тебе вольную дали, Ликдам.

3.7 (*ergo sollicitae…*)

Деньги, от вас – все заботы, волнения жизни смятенной,
вы раньше срока к вратам смерти приводите нас.
Вы – человечьих пороков жестокая, деньги, подпитка,
вы – беспокойств семена, почва для наших тревог.
Трижды, четырежды вы безумной волною накрыли
Пета – на всех парусах к Фаросу вел он корабль.
По морю гнался за вами и сгинул во цвете, несчастный,
стал новоявленным он кормом невиданных рыб.
Мать не сумеет обряд совершить, чтоб сыновний, как должно,
прах упокоить в земле между семейных могил.
Птицы морские над лакомым трупом кружат постоянно,
вместо кургана тебе – вся Карпафийская хлябь.
О Аквилон, похититель Орифии, ветер ужасный,
много ль добычи, убив юношу, заполучил?
Что же за радость, Нептун, разломать корабельное днище? –
благочестивые сплошь плыли на том корабле.
Юность навряд ли зачтется. Напрасно, барахтаясь, кличет
нежную мать – среди волн, где не бывает богов.
Ветра порывом ночным канат оборвало, которым
к пристани, возле скалы, был приторочен корабль.
Тело верните земле – он жизни лишился в пучине,
грубый песок, по своей воле над мертвым сомкнись,
чтобы моряк говорил, проходя мимо этой могилы, –
Даже на смелого ты страху умеешь нагнать.
в путь же, корабль крутобокий, гибели верной навстречу,
смерть приближает трудом собственных рук – человек!

Мало земли было нам? Мы в море судьбу испытали –
топит Фортуна людей, губит ремесел плоды.
Якорь удержит ли, если не удержали Пенаты?
Что полагается тем, кто тяготится землей?
Век корабельный – недолог, ветер ломает все планы,
в гавани прячешься зря, гавань – неверный оплот.
Для ненасытных силки расставляет лихая природа,
чтобы не смог мореход выбраться из западни.
Берег – свидетель тревог Агамемнона, берег, который
мстил за Аргинна волной непроходимых стихий.
Отрок пропал, и Атрид корабли свои в море не вывел,
медлил, а после принес в жертву любимую дочь.
О Кафарейские скалы разбился флот победивших,
по беспредельным морям Греция разметена.
В море оплакал Улисс товарищей поочередно,
все ухищренья его – проку в них на море нет.
Если б, не жалуясь, шел по отцовскому полю за плугом,
если б весомость моих слов удержала его,
жил бы ещё под защитой Пенатов милый приятель,
в бедности, да, но иных тягот не ведал бы Пет.
Нет же, не вынес, отправился слушать вой шторма, и руки
нежные поободрал о корабельный канат,
всё – ради ложа из туи и теребинтов орикских,
чтоб пуховик в головах пестрым украсить шитьем.
Видела хищница-ночь, как на досточке в море носился,
как ненавистную Пет воду – злосчастный! – глотал.
Ногти стихия рвала подчистую (ещё он не умер),
будто все беды сошлись, чтобы его погубить.
Плакал, но всё же последнюю жалобно выкрикнул просьбу,
черная влага почти сжала мертвеющий рот:
«Боги Эгейского моря, ветры, владыки морские,
волны, чья тяжесть теперь одолевает меня.
Вы у страдальца отнимете юность. Чем провинился,
тонкостью рук досадил вам безбородый пловец?
Я разобьюсь о выступ скалы, где гнездо гальционы,
или лазоревый бог вгонит в меня острогу.
Если умру, пусть прибой на песок италийский забросит,
только бы знать, что в конце к матери вынесет шторм».
Водоворот, закрутив, увлек говорящего. Этот,
под набежавшей волной, день был последним и вздох.
Сотня морских дочерей премудрого старца Нерея,
ты, что страдала, когда сын твой, Фетида, погиб.

Лучше б поникшую голову вы поддержали руками,
тонущий вряд ли бы стал тяжкою ношей для вас.
Ты, Аквилон, парусов не увидишь моих. Мне пристало
возле дверей госпожи тихое место искать.

3.8 (*dulcis ad hesternas…*)

В сладостной распре сошлись накануне, при свете лампады–
ты обезумела, твой полон был ругани рот.
Рассвирепев от вина, в неистовстве стол опрокинув,
ты запустила в меня винною чашей своей.
Ну же, смелей подступай, не бойся в кудри вцепиться,
пусть украшает лицо след от прекрасных ногтей.
Пламенем факела хочешь глаза мои выжечь… гневись же,
в клочья одежду мою, дева, скорей изорви!
Признаки истинной страсти вполне очевидны: подруга
долго не будет страдать, если не любит всерьез.
Если язык у неё, на проклятия щедрой, неистов,
значит, богине любви истово служит она.
Пусть на прогулке, в толпе ухажеров, она изовьется,
будто менада, взметнет руки и вся задрожит.
Каждую ночь будут страшные сны доводить до безумства,
или случайный портрет повод для ревности даст.
Я, толкователь страданий души, неложный провидец,
всю без изъятья постиг тайнопись прочной любви.
Там, где не ссорятся двое, веры не будет друг другу,
невозмутимых подруг пусть обнимают враги.
Сверстник поймет по укусам на шее, по кровоподтекам:
прошлую ночь я провел рядом с подругой моей.
Либо страдать от любви, либо видеть желаю страданья –
или слезами зальюсь, или заплачет она.
Не отвечай мне словами – движеньем бровей объясняйся;
если нельзя говорить, пальчиком знак начерти.
Сон ненавижу спокойный, тревожным не сдобренный вздохом,
дева, гневись, чтоб меня выдали бледность и страх.
Слаще огонь полыхал лишь в сердце Париса: покуда
греки осаду вели, с милою тешился он.
Греки к победе рвались сквозь Гектора дикое войско,
но с Тиндаридой своей бился на ложе Парис.
Либо тебя осаждать, либо против соперников выйти –
не перемирья ищу, сердцу сраженья милей.

Радуйся! Нет ведь красавицы, равной тебе, огорчаться
повода нет – красотой, дева, по праву гордись.
Ты же, который плел сети, завидуя нашему ложу,
пусть у тебя навсегда в доме поселится тесть.
Если похитишь роскошество ночи, причиной – обида,
но не любовь, никогда дева не будет твоей.

3.9 (*Maecenas, eques Etrusco…*)

Всадник, отпрыск этрусских царей, Меценат, ты доволен
жизнью своей – ни на что не променяешь её.
По морю плыть стиховому, к безбрежной работе неволишь,
мал челночок мой, на нем не развернуть парусов.
Плохо, когда ты берешься нести непосильную тяжесть,
скоро колени сдают, гнется под ношей спина.
Разные вещи неодинаково людям пригодны,
каждому взгорью – *свое* древо, не спутать с другим.
Слава Лисиппа – в уменьи ваять живые фигуры,
как настоящий, бежит конь. Каламиду – хвала!
Первенства жаждет Апеллес, Венерой гордится по праву,
Мастер Паррасий себе выбрал неброский сюжет.
Ментор чеканит людей, развернув театральное действо,
непроторенной тропой стелется Мисов акант.
Фидий искусно украсил Юпитера костью слоновой,
хвалит Праксителя Книд, мрамором славный своим.
Пальмовой ветви достоин один в колеснице Элейской,
в беге добудет другой славу проворностью ног.
Этот для мира рожден, а тот для сражений пригоден,
каждый стремится вослед зёрнам природы своей.
Ты наставляешь меня, Меценат, будто к жизни готовишь,
чтоб, подражая тебе, был я достойней тебя.
В Риме ты мог бы почета добиться и ликторских фасций,
и беспристрастно вершить правый на форуме суд,
или идти против копий мидийских, жаждущих битвы,
чтоб, возвратившись, прибить к стенам военный трофей.
Цезарь бы сил не жалел, исполнял все твои пожеланья,
день ото дня ты бы мог множить достатки свои.
Ты же от дел отстранился, в тень удалился смиренно,
парус спускаешь, когда он до предела раздут.
Верь мне, молва приравняет тебя к великим Камиллам,
имя твое, Меценат, тоже пойдет по устам.

Неотделима от Цезаря слава идущего следом,
Цезарю предан – таков памятник будет тебе.
Парусник свой не пущу распахивать бурное море,
он никуда не спешит, ходит по тихой реке,
Слез не дождется моих твердыня на пепле отцовском,
Кадмово племя и семь равно безжалостных битв.
Скейские не воспеваю врата, цитадель Аполлона,
плаванье греков домой по окончаньи войны,
после того, как Нептуновы стены плугом промерял
конь, что победу принес грекам, – Паллады подвох!

Только бы нравились книги мои наравне с Каллимахом,
только бы пелось на твой, Косский вития, манер.
Эти стихи пусть юнца распалят и юницу, чтоб в званье
бога меня возвели, жертвы несли на алтарь.
Битву Юпитера вслед за тобой воспою или Кея,
горы Флегрейские, где буйствовал Евримедонт.
Высь Палатинскую – пастбище римских быков – не забуду,
стены, которые Рем кровью своей укрепил,
Равных царей восхвалю, припавших к зверю лесному,
вслед повеленьям твоим будет расти мой талант.
Не позабуду триумф колесницы от моря до моря,
или летящие вспять стрелы лукавых парфян,
лагерь военный в Пелузии, римским мечом разоренный,
смерть ли Антония от рук беспощадных своих.
Ранних стихов опекун, возьми уздечку помягче,
знак мне подай, чтоб во всю мочь колесница неслась.
Славой со мной поделись, Меценат, от тебя лишь зависит,
скажут ли: «Этот поэт в круг Мецената входил».

ЙОВАН ДУЧИЧ
(1874–1943)

ИЗ ЦИКЛА «ТЕНИ НА ВОДЕ»

ЗАХОД СОЛНЦА

Долго пышет небо медью раскалённой,
Окровавив реку; жар зари несносен;
Долго рвётся пламень, гневом распалённый,
Из-за чёрной кромки вековечных сосен.
Где-то в отдаленьи, у воды, незрима,
Мельница забылась в хрипловатом гуле;
Люто страждут своды от огня и дыма,
А кувшинки мирно на волнах уснули.

Вот и снова вечер… И, как прежде, мнится,
Будто там, далёко, за тремя морями,
Где вершин смарагдных блещет вереница,
Под закатной сенью, в первозданном храме –
Венчана тоскою, бледная, как тайна,
Бдит жена всенощно, обо мне мечтая.
Вечна, неизбывна и, как ночь, бескрайна,
Тихой тьмою дышит в ней печаль святая.

Океан у брега искрится, что слёзы,
Стая синих чаек реет, волнам вторя;
Над пустынным садом, где поникли розы,
Песнью снов печальной ветер веет с моря.
В небеса вперивши взор, исполнен хладью,
Два гиганта-Сфинкса замерли на страже;
Незнакомка плачет; а над водной гладью,
Обессилев, солнце прячется за кряжи.

Знаю: ей другие чужаки не любы –
Лишь меня душою зрит, сомкнувши вежды.
О любови верной тихо шепчут губы.
Словно смерть, связует верность без надежды!
Ах, не говорите, будто всё иначе,
Будто бредит сердце ложью обольщенья –
Я б зашёлся в плаче, в горьком, вечном плаче
И нигде не видел боле утешенья.

ЛИСТОПАД

Шла со мною молча: холод полнил вены,
Слёзы не сребрились в помутневшем взоре;
Мертвенно глядели розы и вербены,
Сокрушённый вечер опускался в горе

На седые воды. Словно тень, скользила
Поступью забвенья, тихой и угрюмой.
И одна и та же угнетала сила
Нас бесслёзной мукой и печальной думой.

Тьма недужной ночи осыпала прахом
Старые платаны, водное зерцало;
Два бессонных сердца слушали со страхом
Тишь, где всё так долго, мирно умирало.

И когда сомкнулись в сумраке изгнанья
Губы, ледяные от душевной смуты, –
Нам явился тайно ужас осознанья:
В каждом поцелуе – смерть одной минуты.

В каждом стуке сердца – чьей-то смерти эхо!
В каждой страсти – бездна чьей-то вечной стыни!
Серой мглы ноябрьской зыблется прореха:
Разве только в Смерти Жизнь осталась ныне.

ПОЗНАНИЕ

Её познал я в час небесной хмури;
Сады алкали смерти с нетерпеньем,

Шумел осенний дождь предвестьем бури,
И всё в тоске спешило за успеньем.

И молодость моя уже не знала
О страстных днях, чьё пламя так жестоко:
Мне в душу тень её неслышно пала,
Как лунный свет, бледна и хладноока.

Был глас её – что музыка печали:
И, внемля, думал я в молчаньи строгом
Лишь о минувшем, об осенней дали,
О хладном небе, о прощальном «с Богом!»

Был поцелуй её покойно-льдистым,
Как мрамор статуй; а льняные пряди
Унывно пахли тягостным и мглистым
Дыханьем роз в полуотцветшем саде.

И по утрам с тех пор мне часто мнилось,
Как будто сбросил я стальные путы:
Не знаю, что́ душе в те ночи снилось,
Но взор смеркался, полон слёз и смуты.

ТИШИНА

Позабыт пролесок, сумерками тронут;
Брег покрыли тяжко тишина и травы.
Здесь под вечер воды в тихом горе стонут,
И шумят забвеньем вербы, свесив главы.

Средь ветвей, где мреет прозелень густая,
Встретил я Разлуку: вечно молчалива,
У реки застыла, наяву мечтая,
И, бледна, глядится в синеву разлива.

Долго ли – не знаю. Но в немотном доле –
Словно чей-то голос пал из ниоткуда –
Тишина проснётся с тяжким вздохом боли,
И пройдёт по листьям дрожь тоски и худа.

Олег Мичковский

ФРЭНК БЕЛНЭП ЛОНГ
(1901–1994)

НА ЧТЕНИЕ АРТУРА МЕЙЧЕНА
Сонет

Осенний лес овеян древней славой,
Бессмертной славой призрачных времен,
Когда Великий Рим стоял державой
На землях всех народов и племен.

Осенним небом зримо правят чары –
Там реют и клубятся облака,
Там рдеют чудотворные пожары,
Губя и воскрешая на века.

Я жду, что он покажет мне вдали
Надменного имперского дракона
И воинов святого легиона,

Чьи тени вырастают из земли.
Я жду – и мы поделим на двоих
И мудрость древних дней, и горесть их.

РОБЕРТ САУТИ
(1774–1843)

ФИНАЛ ПОЭМЫ «СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ» (1799)

И в окна, и в двери, сквозь дыры и щели
Врываются в башню голодные звери;
Их тысячеглавый стремглавый поток
Не знает преграды – сквозь пол, потолок,
Сквозь стены, сквозь ставни, извне, изнутри
Вливаются в келью, клыки заострив
О плиты и камни; епископа ищут,
Топорщат усищи, шныряют и рыщут.
Священник трепещет – а твари уж тут,
На мелкие части несчастного рвут.
И час не прошел, как обглодан злодей!
Так мыши воздали ему за людей.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ
(1832–1898)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ К СКАЗКЕ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Под сонным солнцем мы плывём,
Рябим речную гладь.
На вёслах дети – уйма сил,
Ума не занимать.
Их три, и значит, им решать,
Куда нам путь держать.

Жестокие! В столь знойный час
Бездействует мой разум,
А вы хотите от меня
Занятного рассказа!

Но что мой голос против трёх,
Когда галдят все разом?

Мне Прима первая велит
Начать повествование,
Секунда вторит – и твердит:
«Даёшь иносказание!»,
А Терция перебивает,
За каждым словом *три* вставляет.

Но в скором времени они
Стихают и следят
За странной девочкой в стране,
Где чудеса царят,
Где с нею рассуждают звери, –
И три на веслах в это верят.

И всякий раз, когда рассказ
Утрачивает нить,
И я, усталый, их молю
Остаток отложить –
Мол, лучше в следующий раз –
Ликуют: «Этот раз – сейчас!»

Так сказка о Стране Чудес
Возникла с полуслова,
Ее событий вырос лес,
И вот она готова,
И мы гребем к себе домой,
Закатный луч ловя кормой.

Алиса! Мой рассказ нелеп,
Но прояви усердство:
Вплети его в святой букет
Воспоминаний детства,
Как добрый дар от пилигрима,
Что проходил однажды мимо.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ
(1749–1832)

РЕЦЕНЗЕНТ

Однажды был и у меня гость,
Хорош собой и мне не в тягость.
Я свой обед роскошный съел,
А он к объедкам лишь поспел
И вот – наелся до отвала,
Но видно, было дурню мало:
Какой-то чёрт его заставил,
Чтоб он еду мою ославил:
«Ваш суп – он мог бы быть острее,
Жаркое – мягче, ром – старее».

Проклятье! Дьявол! Сакрамент!
Ату его! Он рецензент!

Дмитрий Манин

ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС
(1844–1889)

АЛХИМИК В ГОРОДЕ

Там, за окном, несутся тучи,
Желтеет лист, и вновь весна,
Там мир людей течет кипучий, –
А я недвижен у окна.

Недолгий век недаром тратя,
Там чертят план, кирпич кладут,
И башен их крутые стати
Растут, венчая честный труд.

А мне – когда бы углубиться
В наследье допотопных дней,
Возможно б, удалось пробиться
Мне к тайне призрачной моей,

Но ныне золоту из тигля
Ручьем блестящим не потечь,
Меха, что цели не достигли,
Навеки стали, стынет печь.

И тяжесть, легшую на плечи,
Уже ничто не исцелит, –
Как слепота или увечье,
Перед людьми угрюмый стыд.

Мне город дорог меньше даже,
Чем пыльный свод моих наук;
И я стремлюсь в глухие кряжи,
На дикий брег, на дальний луг.

Вдыхая ветер, с бельведера
Гляжу, как солнце вдаль падет,
И вьется в небе голубь серый,
И ласточки вершат полет,

На плотном воздухе ныряя,
Срываясь с башен вниз, к кустам;
И, выбрав точку небокрая,
Мечтаю оказаться там.

И ненавистны мне науки,
Никчемная, пустая блажь;
Зовет простор речной излуки,
Манят свободой брег и кряж,

Иль кости древние в курганах,
Иль скалы, чайкам дом родной,
И запах теревинфов пряных,
И воздух, полный тишиной.

Там лечь бы навзничь в час заката,
На высоте, где крут обрыв,
И в купол выцветшего злата
Уставить взор, покуда жив.

ОСКАР УАЙЛЬД
(1854–1900)

ЕЕ ГОЛОС

Вот шмель, июльским днем согрет,
Звенит, свершая свой вечный круг,
То покачнет гиацинтов цвет,
То к лилиям летит на луг;
Присядь, мой друг:
Я здесь, тому уж много лет,
Дала обет,

Что две судьбы мы сольем в одно,
Пока целует чайку волна,
Пока подсолнуху солнце дано,
На вечны будет времена
Любовь прочна!
Но та пора прошла давно,
И видно дно.

Гляди, верхушки тополей
Как раскачались по небесам!
Здесь летний воздух, как елей,
Здесь даже пух не летит, а там
Простор ветрам
Из дальных, вольных, сильных морей,
Из сухих степей.

Гляди, белеет чайка сквозь
Листву, и в крике ее печаль.
Что видно ей? зарницы ль гроз,
Корабль, отважно плывущий вдаль?
О, как мне жаль!
Ужели век прожить пришлось
Нам в царстве грез?

Прощай! любовью мир ведом,
Зима пронзила грудь земли,
Еще закованную льдом,
И розы ало расцвели;
И корабли,
Устав от бурь, найдут свой дом;
И мы найдем.

Прощай! покинем же причал,
Дай губы, не гляди с тоской,
Нас рок богато одарял:
Тебя – стихами, меня – красой,
Молчи, постой;
Ведь целый мир, мой милый, стал
Двоим нам мал.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
(1865–1936)

КОНЧЕНЫЕ ЛЮДИ

За тайные уменья,
Не знавшие наград;
За добрые стремленья,
Что приводили в ад;
От туч, грозящих зло нам,
Преданий древней тьмы,
Гонимые Законом,
Сюда бежали мы.

Прощания недолги,
Дорога нам легла
Под шепотки и толки
Про темные дела.
Не вынести обиды,
А значит, – уходи.
Не жди нас больше, Дартмур[1],
Кальяо[2] – впереди!

А каждая вдовица
И каждый сирота
За жалкий свой процент нам
Приставили хвоста[3].
Шпионили на рейсах,
Что шли за океан –
Так вот вам всепрощенье
Примерных христиан!

Но к островам счастливым
Повестки не дойдут;

1 Дартмур – местность на крайнем юго-западе Англии, с которой связано множество мрачных легенд. Среди тамошних болот и пустошей находится историческая тюрьма, построенная для пленников наполеоновских войн, а затем использовавшаяся как гражданская.
2 Кальяо – порт в Перу, откуда в то время не выдавали беглых преступников.
3 Вероятно, имеется в виду часть растраченных средств или другого долга, которую они надеются вернуть.

Благословенны страны,
Где всем дадут приют,
Позволят без расспросов
Прожить своим трудом,
Чтоб дочь не шла на улицу,
Жена – в работный дом.

Здесь все пустеет в полдень:
И рынок, и собор,
Фонтан ведет с собою
Негромкий разговор,
Покоен сонный город,
И юкки[1] спят, пока
Сквозь жалюзи потянет
Дыханьем ветерка.

Хрустальная погода
И синь во все концы,
Курений дым, и козы,
И мулов бубенцы.
И океан огромный,
Как неусыпный страж,
Но каждый месяц – почта,
И это праздник наш.

Встречаем на причале,
Ведем вас в ресторан
С радушием, какого
Не ждешь от англичан.
Прокатим вас в коляске
От сходней корабля,
Но на борт ни ногою –
Английская земля.

А по ночам мы в Англии,
Где вновь нас ждут к столу,
Где наши дочки с лордами
Танцуют на балу,
Нас кружит вихрь прекрасный,
Но чуем мы тотчас,

1 Юкка (не путать с юкой) – древовидные вечнозелёные растения, родственные агавам.

Что Что-то Здесь Неладно,
И сон слетает с нас.

Ах, нам хоть на минутку б
Родной туман вдохнуть,
В гремящий, грязный Лондон
Вернуться как-нибудь,
Где честь мы растеряли,
Где смех наш отзвенел!
Всё ль цел там «Лорд-Уорден»?[1]
Всё ль берег Дувра бел?[2]

1 «Лорд-Уорден» – историческая гостиница в порту Дувра.

2 Белые скалы Дувра – знаменитые стометровые меловые обрывы на юго-восточной оконечности Англии, издалека видные возвращающимся морякам. Возможно, им обязано латинское название «Альбион», от «альбус» – «белый».

Федор Манин

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ
(1886–1921)

NIKOLAI GUMILEV
GIRAFFE[1]

This evening the look in your eyes is especially sad,
And your arms are especially vine-like entwining your calf.
So listen to me: far away, on the shores of Lake Chad
There roams an exquisite giraffe.

He is gracefully slender and gifted with bliss from within,
And none on the Earth dares to equal him, only the moon
Will stencil the magical patterns that cover his skin
As it shatters and floats on the mists of a spacious lagoon.

From afar he resembles a caravel's colorful sails,
And his canter is smooth like exuberant avian flight.
I know that the earth holds a hundred miraculous tales
Of when he retires to a grotto of marble at night.

I know merry tales from mysterious lands, and a song
Of a maiden's dark cheeks, with a chieftain's desires for refrain,
But you have inhaled the dank lead of the fog for too long,
You will not believe any sound but the patter of rain.

And how will I tell you of tropical gardens all clad
In vines, slender palms, pungent grasses the wind bends in half?
You're crying? But listen to me... far away, on Lake Chad
There roams an exquisite giraffe.

---

1 Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ
(1898–1937)

NIKOLAI OLEINIKOV
THE BAGEL[1]

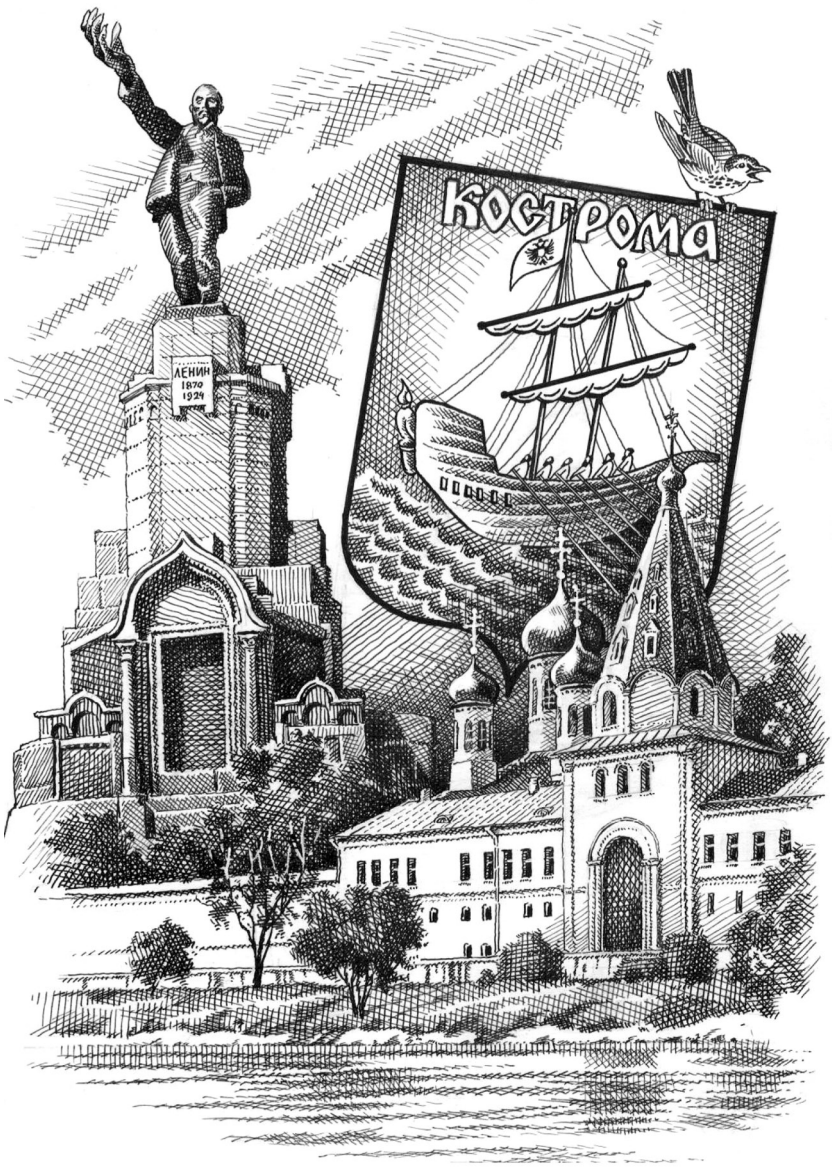
For Kate a few days after her birthday

O Bagel, loving breadmaker's creation!
Though you are meant as food, how lofty is your station!
Though simple you may seem, your structure's mystery
Is finer than a watch, more splendid than a tree.
The humdrum crumbles you with trembling hands. He rushes.
He cannot wait. He fears your ring. It crushes
Him, and the famous hole
With unsolved mystery weighs down his soul.
But we behold the bagel and we strive to make conjectures
About its simple shape, its thousand-year-old architecture.
What is it, what, we struggle to recall,
What's so familiar about it all?
This curvature, these spots, this roundness – what is their intention?
In vain! The bagel is beyond our comprehension.

1 О бублик, созданный руками хлебопека!
Ты сделан для еды, но назначение твое высоко!
Ты с виду прост, но тайное твое строение
Сложней часов, великолепнее растения.

Поэтическая ойкумена

(поэты Костромы)



9 июля 2014 года скончался
замечательный российский поэт и переводчик
Владимир Николаевич Леонович

Ольга Колова

* * *

Светлой памяти Владимира Леоновича

Где Ты сейчас? По каким путешествуешь весям?
Тело лежит на столе… Но душа-то крылата!
Только три дня здесь… А там – только ввысь, в поднебесье…
Мало дано по земным прогуляться пенатам.
Где Ты сейчас? В горной Грузии иль в Алазани?
В старом Тбилиси с Булатом по улочкам узким
Бродишь, как прежде? Тебе ли стерпеть, как слезами
Мы омываем Тебя здесь, на Севере русском.
В мёртвой карельской деревне у озера Пелус,
Где Ты на старом погосте часовню поставил,
Плакать уж некому, – там ли Тебе захотелось
В уединенье побыть, вне канонов и правил?
Где Ты сейчас? Может, всё ж, над родной Костромою?..
Близких друзей всех прощальным визитом одаришь?..
Как бы хотелось и мне попрощаться с Тобою!
Помню всегда и люблю. Ты же знаешь! Ты знаешь…

10.07.2014

Владимир Леонович (1933–2014)

ПЛАЧ ПО ВАРЛАМУ ШАЛАМОВУ

100 лет Шаламову. Великого писателя мерзлой земли русской писатели не хоронили. Гроб донесли до могилы только двое, да и те Алик Зорин и я. На отпевании стоял Фазиль.

2007 год Свиньи и текущая эпоха понуждают меня уведомить читателя и об этом – ради минимализации родимого свинства ныне и впредь. Авось...

Там, где Садовое кольцо
легло на белые сады,
я угадал его лицо –
я целовал его следы.
На Лира не был он похож –
не те печали-времена –
классических подобий ложь
оригиналу не нужна.
Зеленый свет – рысцой-трусцой,
не глядя, по своим делам...
Но я увидел, как Варлам
Шаламов шел через кольцо:
глазниц полуночная тень,
проваливающийся рот...
Он шел через московский день,
сквозь кольцевой круговорот.
Пустоты тела и углы
и полы с ветром пополам...
На сочлененья и узлы
пойдет любой железный хлам,
и примет каждая щека
по вмятине от кулака:
твоя натура – потрудись,
твоя пора, авангардист.

Исканьями переболев,
увидим как-нибудь и мы,
что этого лица рельеф
хранят ущелья Колымы.
Итоги классовой борьбы
невпроворот и невпродых:
надсмотрщики и рабы
с двадцатых до сороковых...
БЕЗБОЖНЫЙ ТРУД ПОЙДЕТ НЕ ВПРОК,
ВЕРНЕТСЯ ЗОЛОТО В ПЕСОК,
И ВСТАНЕТ ГОРЛА ПОПЕРЕК
У НИЩИХ ОТНЯТЫЙ КУСОК!
За двадцать лет в колымском рву
мне столько счастья раб нарыл,
что кровью харкаю и рву
промежду хрюкающих рыл!
Неумирающий конвой
внучат и правнуков растит,
и тяготеет над Москвой
непобедимый срам и стыд.
По тихим улочкам ее
гуляет с палочкой, в пенсне
мемориальное трупье –
не наяву – и не во сне...

В приюте обмели углы,
иконку положили в гроб,
потом зарыли кандалы...
не глубже, чем в колымский ров...
– Помилуй, Боже, и спаси! –
Варламия-еретика
отпели ангелы Руси
и приняли ее века.
Надгробных не было речей –
он так хотел – и в крайний час
от слез и фраз и стукачей
избавил и себя и нас.

Елена Балашова

* * *

На зимнего Николу иду я к дядьке в гости,
А дядька – алкоголик. Он жизнь свою пропил.
Шагаю я по тропке, шагаю через мостик,
Ну, мостик – это громко: дощечка без перил.
У дядьки пусто в доме. Уехала старуха,
А нынче – именины, а сердце чем согреть?
И нынче он, конечно, как и всегда «под мухой»,
Некрасова прочтет мне, и песни будет петь.
Мне грустно и печально в его холодном доме
И, если откровенно, не хочется идти.
Но думаю, что если... Ну кто, скажите, кроме?..
К нему одним пьянчужкам бывает по пути.
Несу ему гостинец – пирог с вареньем сладкий,
Но жизнь его вареньем, увы, не подсластить.
Он скажет мне: «Ну, видишь: все у меня в порядке!
А чаю не хочу я. Я водку буду пить».
...Мой дядька, дядька Коля, был правда алкоголик,
Но на его могилке в траве цветы цветут,
И никуда не деться мне от сердечной боли...
Над ним кукушки плачут да иволги поют.

Юрий Бекишев

ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ

Пока еще не посох, не сума
и в щели крыш просвечивают звезды,
восславим наши хрупкие дома
и под карнизом ласточкины гнезда!

Восславим фортки с выбитым стеклом,
площадки лестниц с выводком кошачьим,
трубу печную и ведро с углем,
свое житье, где мы хоть что-то значим.

И иногда вдруг заорет петух,
когда-то в жертву принесенный дому.
Наш дом снесут, но обостренный слух
все будет внемлить птице-домовому.

И век любой – парад архитектур
иль что-то наподобье. И, быть может,
и каменщик придет, и штукатур,
и новый дом на этом месте сложат.

Ну, постоим еще чуть-чуть совсем,
оглядывая все, и – выше, выше...
И уходи совсем, иди – со всем,
и с петушиным гребешком над крышей!

Александр Бугров

* * *

У цирка платная стоянка.
Пейзаж и в полдень неказист.
С афиши видит египтянка,
Что мимо смотрит гимназист.
В таком просторе измеренья
Друг друга плохо сторожат.
На площадь Мира в это время
Гулять выводят медвежат.

В тени лучины мандаринка,
Как чайхана у блокпоста.
И от Калиновского рынка
До Гефсиманского скита
Пять-шесть окаменевших капель
Не в такт подрагивают, чтоб
Фиксировал видоискатель
Покоя барственный озноб.

Алина Кузнецова

ДОКТОР

Я видела свет в глазах его ясных,
диван и мечты на тумбочке в синем.
Чужою пришла в уют этот душный
и в хриплом «спаси» хотела всё выдать.
Пыталась просить, надеясь на чудо:
«от судорог снов лечи меня, доктор,
от воя в ночи, от песен на ветках,
от вкуса травы, от танцев на крыше».
Закончила речь под взглядом погасшим.
Ушла, поняла: он мне не поможет.
В ту ночь мне осталось важное дело:
искать под мостом огней отраженья...

Евгений Разумов

* * *

Памяти Л.Н. Аристовой

Бабушка Люба, земное «уа»
в люльке горланю не я ли?
... На фотографии желтой слова
выцвели, что написали.

Этой дубовой аллеей брели
к бывшему барскому дому
в этой глуши или этой дали.
Бабушка милая, кто мы?..

Падали желуди с неба. Ага?..
Птицы сквозь церковь летели.
Там за тобою стояли века,
бабушка... Через неделю

папа и мама меня заберут
в город за сто километров.
«Это же рядышком, это же тут!..» –
бабушка, шепот мой ветру.

Твой сундучок через несколько лет
тоже приедет с тобою
в город, где я оседлал драндулет,
где я скворечники строю.

И поживем еще годик-другой
вместе мы за занавеской,
дом городской подпирая клюкой,
бабушка, в комнате детской.

Бабушка Люба, земное «ау»
выведет к этой ограде,
к этой сосне, под которой стою,
крест деревянный твой гладя.

Сергей Потехин

* * *

Аминь, Любовь моя, аминь.
Аминь, голубка золотая.
Аминь, плакучая полынь
И снег с печатью горностая.

Остановилась карусель,
Но есть вращения иные.
Щедра разлучница-метель
На откровения ночные.

По звёздам сверены часы,
И холодок застыл в гортани.
Рычат взлохмаченные псы
Перед последними вратами.

Аминь, Любовь моя, аминь.
Тепло развеяно по свету.
Течёт заоблачная синь
По ледяному амулету.

Размыты скорбные тона
Нерукотворной Божьей гжели.
Кто доказал, что жизнь одна?
Ах, неужели, неужели?

Когда морозные огни
Скуют нас цепью превращений,
Спаси себя и сохрани,
Мой неподкупный, чистый гений.

Аминь, Любовь моя, аминь.
Ты – вечный страж моей пустыни.
Зачем щемящая латынь
Непонимающим латыни?

Людьми построенный причал,
А недостроенный – тем паче,
Каких бы благ ни обещал,
Своей не выполнит задачи.

Полынный стебель разломлю,
Пущу по ветру пыль и крохи.
Щадящей боли не молю,
Приемлю боль твоей эпохи.

Дмитрий Тишинков

* * *

Не брился, не готовил, тормозил.
Апрельский дождь взял бедолагу в долю.
А вечером пошел вдруг в магазин.
Зачем? За минеральною водою.

И тусклая весенняя вода
со мною шла и спереди, и сзади.
Последний раз так с нею шел тогда,
когда с отцом спешили в детский садик.

Но капли те не сокращали путь,
хотя слились со вкусом газировки.
И мы с отцом решили отдохнуть,
промокшие, на яркой остановке.

А в этот раз все было без прикрас.
И было мне ни холодно, ни жарко.
И даже почему-то в этот раз
дождь совпадал со вкусом минералки.

Все дело в том, что не было отца,
и радости во рту, и остального.
И дождик вел небритого мальца
по скользкому пути без остановок.

Собакиада



Тим Собакин

ПОЛНАЯ СОБАКА

ЗАРАЗА

Мир заполонила
всякая зараза –
обликом уныла,
мордою чумаза.

Грязные бациллы,
грозные микробы
отнимают силы,
уморить нас чтобы.

Стоит лишь на море
подцепить заразу,
возникают хвори
в организме сразу.

Как не расхвораться,
как не заболеть нам?
Поделюсь я вкратце
опытом столетним.

Не давайте ходу
никакой заразе:
кипятите воду
даже в унитазе!

Мойте чаще тело,
мойте чище уши –
и гуляйте смело
в море и на суше.

ЗАПАСНАЯ НОГА

Наслаждаясь осенью волшебной,
я гулял однажды под луной
и с одной Собакою служебной
встретился на улице ночной.

У неё висело две медали
«*За отлов опасного врага*».
Я спросил Собаку:
не нужна ли
ей случайно пятая нога?

И Собака бойко отвечала,
что была б готова голодать –
лишь бы только
с самого б начала
пятою б ногою обладать.
Сколько бы врагов она поймала,
запасной орудуя б ногой,
чтобы по указу генерала
ей вручили б
орден боевой.

Я сказал Собаке,
дав конфету:
– Пусть погибнут Родины враги!
Только у меня, признаться, нету
запасной, как видите, ноги.

И добавил:
– Так уж получилось.
Извините,
я ведь пошутил...

А Собака очень огорчилась
и ушла –
печальная совсем.

СПАСЕНИЕ ЛЕОПАРДА

Однажды в середине марта,
гуляя возле мокрых луж,
решил спасти я Леопарда –
дальневосточного к тому ж.

Он был похож на жёлтый овощ,
закутанный в пятнистый мех,
и звал товарищей на помощь,
но без надежды на успех.

Я поманил его ковригой.
И он за лакомым куском
бегом бежал,
прыжками прыгал,
скакал скачками,
полз ползком...

Достигнув Дальнего Востока
(без помощи дорожных карт),
он осознал,
что жизнь – жестока.
И озверел,
как леопард.

Быть может,
вид моей фигуры
ему напомнил колбасу.
Поэтому он рявкнул хмуро:
«*Ужо я щас тебя спасу!*»

И вот теперь представьте сами
кошмар обратного пути:
ну, каково
скакать скачками,
бегом бежать,
ползком ползти?..

Увязнув отбивной котлетой
по пояс в мартовском снегу,

я осознал,
что жизнью этой
уж насладиться не смогу.

Товарищ,
не теряй надежды,
чтоб не печалить
твою мать!
Решив помочь,
подумай прежде:
кого,
когда,
и где
спасать.

КРЫСА ПОЕХАЛА

Как-то вечером Крыса подпольная
губки яркой помадой накр**ы**сила
и, обувшись в кр**ы**ссовки спортивные,
сразу стала кр**ы**савицей писаной.

Вот уселась она и кр**ы**суется,
как искр**ы**стость её увеличилась,
и, кр**ы**снея от ушек до хвостика,
в гости ждёт не дождётся кр**ы**савчика.

Долго тянется время воскр**ы**сное,
и кр**ы**сотка задумчиво думает:
«Хоть бы кр**ы**сноармеец пожаловал
с кр**ы**стовиной сугубо военною.
Наскр**ы**сти мы смогли бы достаточно
сытной пищи в домашних окр**ы**стностях,
а затем в микр**ы**скоп наблюдали бы,
как устроены соли кр**ы**сталлики...»

Только вместо кр**ы**савца пожаловал
вдруг кр**ы**стьянин нежданно-негаданно;
а лицо у него кр**ы**снолицее –
не кр**ы**снуха ли это заразная?
Как сумел он подкр**ы**сться на цыпочках?

Надо что-то укр***ы***сть на прощание!
И, схватив бюст поэта Некр***ы***сова,
быстро юркнула Крыса в убежище.

Там уселась она в кр***ы***сло мягкое
и, скр***ы***стив свои лапки мохнатые,
стала долго кр***ы***ссворды разгадывать:
ы
ы
ы
ы
...и крыСа поехала.

Игорь Жуков

ЗООПАРК НА НЕБЕ

Облака плывут
Неведомо откуда.
Это облако
Похоже на верблюда.

Это облако
Похоже на кита.
Это облако
Похоже на крота.

Это облако
Похоже на собаку.
Это облако
Похоже на макаку...

Облака плывут
Неведомо куда.
Целый зоопарк!
Вот это да!

ВЫХУХОЛЬ И ВЫДРА

Выхухоль
С Выдрой
Только на «вы».
Это не часто встретишь –
Увы!

Бог с ним, что много
Грубых людей!
Вежливых стало
Меньше зверей!

ЛЕНИВЕЦ-ЛЕНИВЕЦ

В тропических джунглях
По ветке кривой
Гуляет Ленивец
Вниз головой.

Гуляет Ленивец
Вниз головой,
И кажется, будто
Он еле живой.

И кажется, будто
Он еле живой,
На самом же деле
Он очень живой.

На самом же деле
Он очень живой,
Он просто Ленивец,
Ленивый такой.

Вот если бы не был
Ленивый такой,
Гулял бы Ленивец
Вверх головой.

Гулял бы Ленивец
Вверх головой
В тропических джунглях
По ветке кривой...

А если кто скажет:
«Твой стих – дребедень!»
Отвечу: «Мне тоже
Рассказывать
ЛЕНЬ!»

В ОЖИДАНИИ БЕГЕМОТА

– Вы у воды кого-то ждете?
– Ждем новостей о Бегемоте.
– А кто же вам их принесет?
– Да сам, конечно, Бегемот.

Он ноздри из воды покажет
И, может, что-нибудь расскажет.
Потом опять нырнет на дно.
– Давно ли ждете?
– Ох, давно!

Михаил Есеновский

ДЕВОЧКА ИЗ ФОРТОЧКИ

Аист принёс девочку.
Наверно, нашёл в капусте.
Папа сказал: «Не пустим«.
А я приоткрыл форточку.

Спасибо, добрая птичка!
Я дам тебе хлеба корочку,
я дам тебе зёрен горсточку
за маленькую сестричку.

Какая смешная девочка!
Болтает ручками-крошками,
болтает крошками-ножками.
Я рядом присел на корточки.

И маленькому ребёночку
водички дал из бутылочки.
Волосики на затылочке
пригладил густой гребёночкой.

Расти поскорей, сестричка!
На стенке сделаю меточку.
Я буду цветную ленточку
тебе заплетать в косичку.

Дюймовочка будет имечко
за маленький твой росточек.
Расти, сестричка, как семечка.
Цвети, как в саду цветочек.

У папеньки да у маменьки
годами ведь не допросишься
сестрёнки такой вот маленькой,
братишки такого крошечного.

Безумно я рад подарочку,
пищащему громко свёрточку,
и птичке кричу в форточку:
«Ещё принеси парочку!»

ЖИЛО-БЫЛО МЫЛО

В лесу в избушке жило-было мыло.
С утра, едва с постели встав, оно
полы мело и за водой ходило,
и протирало тряпочкой окно.
Потом посуду в кухне мыло мыло,
потом до блеска терло самовар,
обед варило и дрова рубило,
и в баньке разводило жаркий пар.
А после щи да кашу мыло ело,
потом стирало в тазике белье,
расходуя всегда на это дело
родное тело мыльное свое.
Но все однажды мылу надоело –
оно вдруг не заправило постель,
и завтрак недопило-недоело,
и вылило на простыни кисель.
И в нарушенье норм элементарных
корыто опрокинуло с водой
и очень даже антисанитарно
не вымыло себя перед едой.
В грязи, как хрюшка, мыло извозилось,
и голову посыпало песком,
и в поле без штанов гулять пустилось,
и по лесу носилось босиком.
До ночи мыло мило забавлялось,
а с ночи и до самой до зари,
на звезды глядя, в луже провалялось,
пуская надувные пузыри...
А утром снова чистило и мыло,
и вновь до блеска драило стекло,
но день тот необычный не забыло
и, вспоминая, пахло и цвело.

ОШИБЛИСЬ ЭТАЖОМ

У мальчика Юры сегодня ангина, ангина и коклюш поднялись пешком на пятый этаж посидеть у камина, ангина Марина и коклюш Пахом. Пропахший махоркой и сморщенный коклюш, что кашлем смущенье пытается скрыть, и тётка ангина с английским моноклем под ливнем промокли и могут простыть.

И Юрина мама им дверь отворила и, как полагается, их приняла. Парным молоком из ковша напоила и хлеба буханку поесть принесла. А Юра, напялив носки шерстяные и вязаный свитер, залез под кровать, чтоб мама гостям дорогим объяснила:

– А Юрочки нету, ушёл погулять.

Ангина и коклюш весь дом осмотрели, но мальчика Юры нигде не нашли. Обсохли, погрелись, попили, поели, собрали пожитки и дальше пошли.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

У мальчика Юры расстройство желудка, не может желудок расстройства унять. Он губы надул и обиделся жутко, а Юра причины не может понять:

– Прости, если я твой порядок нарушил. Клянусь, я обидеть тебя не хотел. Быть может, я что-нибудь грубое скушал? Быть может, обидное что-нибудь съел?

Я голоса впредь на тебя не повышу, тебе станет грустно – и я загрущу. Когда ты устанешь, я стану потише. Бандиты пристанут – тебя защищу. Ну хочешь – побегай, ну хочешь – попрыгай, ну хочешь – в игрушки мои поиграй. Ну хочешь – ногами немножко подрыгай. Но слёзы, прошу, поскорей вытирай!

Желудок притих, и не слышно рыданий. Пока не пускает к себе никого. Но минуло время жестоких страданий, и сердце уже не болит у него.

Тот случай досадный теперь вспоминают как глупую шутку, как шалость свою, желудок и Юра, что вместе шагают отныне по жизни и песни поют.

Дина Бурачевская

ЦИРК

Веди меня, бабушка, в цирк!
Там тает пломбир на губах...
Там фокусник спичкою – чирк!
Там клоун хлопушкою – бах!

И кнут дрессировщика – ух!
И вылезут когти из лап.
И будет захватывать дух,
Когда он скомандует: «Ап!»

И выпустит огненный сноп
Факир изо рта своего.
Ударю в ладоши я – хлоп!
И выкрикну радостно: «Во!»

А дома взлетят надо мной
Тарелка, портфель и башмак.
Но что-то не ловятся – ой!
Как – дзынь!
Как – хлобысть!
Да как – шмяк!..

ГИМН ПЕЛЬМЕНЮ

Оставьте глупые насмешки –
Безумно я люблю пельмешки!
Оставьте мелкие дела –
Я гимн пельменю создала!

Пельмени лепят в виде сердца,
Кладут сметанку, сыплют перца,
И, над собой теряя власть,
Пошире разевают пасть...

Пельмени царствуют повсюду,
Заняв собою всю посуду,
Ведро, кушетку, ванну, шкаф,
Мосты, вокзалы, телеграф.

В трамвае узеньком и тесном
Пельменям уступают место,
И три бабуси, встав стеной,
Им вяжут шарфик шерстяной.

Наполнены мечтой и негой,
Пельмени кружат вместо снега,
И проплывают облака,
Надув пельменные бока.

А ночью виден во Вселенной
Не Млечный Путь, а путь пельменный,
И вместо солнца целый день
Гуляет по небу пельмень.

Пельменю – бис!
Пельменю – браво!
Пельменю – приз!
Пельменю – слава!

(Гимн исполнять, конечно, стоя,
Стуча тарелкою пустою.)

ПУГОВКА

И совсем не по орбите
Шар земной плывёт вокруг –
Он качается на нити,
Словно пуговка от брюк.

Нитка тоньше паутинки
Землю держит до поры –
Люди, лошади, ботинки
Улетят в тартарары!

Ураганы, вихри, смерчи
Не дают покоя нам...
Пришивайте же покрепче
Ваши пуговки к штанам!

УЧИТЕЛЬНИЦА

Одна учительница строгая
Через окно явилась в класс.
Впорхнула феей легконогою
И улыбнулась в первый раз.

Не стала задавать задания
И ставить двойки за урок.
Сказала нежно «до свидания!»,
Хотя не прозвенел звонок.

Журнал метнула прямо в форточку,
Устроив завучу сюрприз.
Скатилась с горочки на корточках
И по перилам сверху вниз.

Урок затеяла в автобусе,
Зачислив всех в четвёртый класс.
Водя указкою по глобусу,
Велела ехать на Кавказ.

Всех искупала в горном озере,
Кого-то за ногу спасла.
Потом вернулась на бульдозере
И, молча, школу разнесла...

Михаил Яснов

МЫ ПРИЕХАЛИ!

Мы приехали!
Лес за окошком.
Всем черничкам привет и морошкам!
Сапоги бы скорей натянуть,
В куртку влезть –
И с корзинкою в путь!
Только время уходит куда-то:
Что-то куртка в плечах узковата,
Стали жать сапоги –
Невтерпёж!
Погоди, далеко не уйдёшь.

Всё равно – мы приехали!
Выйдем
И котят прошлогодних увидим,
Полосатых,
Пушистых,
Больших –
Поглядеть бы скорее на них!
Только время уходит куда-то:
Стали мамами наши котята
И уводят тропинкою в сад
Полосатых, пушистых котят.

Мы приехали!
Свистнем соседку –
Целый год мы не видели Светку!
Вечерком посудачим опять –
Уж найдётся, что ей рассказать!
Только время уходит куда-то...
Это кто?
Это Светка, ребята?
Где?.. Вон та каланча под окном?
Ну, приехали!..
Ладно, идём!

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Чуть свет я проснулся –
Измята подушка.
Наверно, меня
Разбудила кукушка:
Она умолкала на миг –
И опять
Над самой кроватью
Давай куковать!

Спросонок мне стало
Ужасно обидно:
Часы у кого-то
Испортились, видно.
Мне рано вставать!
На рыбалку!
На пруд!
Ну как же так можно –
Поспать не дают!

Я снова
Полез
Под своё одеяло...

А эта кукушка –
В лесу куковала!

УРАГАН

Где-то возник над землёй ураган,
Буря прошла через весь океан,
Ветер помчался вперёд без дорог,
К нашему дому приполз ветерок,
Он сквозняком из-под двери подул,
Я испугался – и страшно чихнул!

Так я чихнул, что сквозняк за порог
Дунул, подняв небольшой ветерок,
Ветер набрался над сушею сил,
Бурю на сонных волнах разбудил,

Буря прошла через весь океан,
И над землёй заревел ураган!

МНЕ ГРУСТНО ДУМАТЬ ПРО СОВУ

Мне грустно думать про сову,
Я так неправильно живу:
Я не дружу с совою –
Гуляю сам собою.

А каково ей там, в лесу,
В очках на стареньком носу
На ветке ждать заката,
Покуда спят совята?

Ты прилетай ко мне, сова,
На луг, где мягкая трава,
А хочешь, над рекою
Поухаем с тобою?

Мне говорят:
– Напрасный зов!
Теперь осталось мало сов,
Сова – лесная птица,
Она людей боится!..

Но я не верю, я зову
Мою очкастую сову.
Я сам в очках, не скрою, –
Я подружусь с совою!

Школа злословия



Рафаэль Левчин

ХАЗЕРЫ И ДРУГИЕ ВОРЮГИ

Миф, как и эпос, выбирал столкновения, которые кажутся неоднократными. Аристотель считал, что если враг убивает врага, то это не тема для трагедии. Тема для трагедии – враг неожиданный... Сюжет обычно был подсказан мифами, но мифы выбирались такие, которые обеспечивали, подтверждали истинность, возможность сложной фабулы. Традиционные сюжеты заключали в себе элемент уже не раз использованных неожиданностей. Эти перемены могли происходить по вероятности или необходимости. Так говорил Аристотель.

Не скажу, что это опровергнуто.
Скажу, что это дополнено.
Пушкин говорит...

В. Шкловский. «Энергия заблуждения».

– Я говорю, что ты этого не говорил, а он говорит, что говорил; а ты что на это скажешь?

Из фильма «Великолепная семёрка».

...сообщение о том, что наряду с хазарами в мире существует ещё одно племя под тем же именем, что эти двойники живут от хазар очень далеко, но их часто путают с настоящими хазарами, и время от времени...

М. Павич. «Хазарский словарь».

Анализ того, что накладывает табу, сам по себе есть табу.

А. Беличенко. «Что ничтойнее Ничто?».

Уже немало лет отмечаю я непрерывное действие некоего «закона двойственности» (формулировка моей жены), у Борхеса описанного как хрёнир, он же duplicatus casus Лема: если что-то где-то есть, то оно непременно повторяется, и стоит о нем упомянуть, как оно уж тут как тут, снова и снова. К примеру, обронил я

как-то в частной беседе, что Дмитрий Быков, на мой взгляд, очень плохой писатель, и услышал в ответ удивлённое: «Как, а “ЖД”?» – и плечами пожал: не читал-де. Что ж, в тот же день книга и попала ко мне на аннотацию. И я прочитал этот почти семисотстраничный кирпич. Хотя, как мне подсказывали иные коллеги, можно аннотировать и не читая. Ну, то есть не читая полностью. Но я уж такой. Дотошный, знаете ли. Прочитал и даже потом местами перечитал. И не жалею, хотя мнения об авторе не изменил. Вернее, изменил – к худшему.

Тем не менее прочесть очень даже стоило. И перечитать тоже.

Прежде всего, это несомненно предпочтительнее позднего Пелевина, который для меня стал просто эталоном «как не надо», равно как и Сорокина, которого я ставлю чуть выше Пелевина – хотя бы стилист хороший, то есть хоть что-то даёт читателю, а не только отнимает.

Однако же в данном случае и стиль, как правило, ни к чёрту, и прочее немногим лучше. Автор сам так и заявляет в предисловии: «Наверное, это плохая книга...». Да и вообще: ну, книга чуть получше других плохих книг, так что же? стоит ли о ней вообще разговаривать?

Да, стоит. Ведь есть в ней всё же места, которые читаются с немалым интересом, а это, согласитесь, бывает не сплошь и рядом. То есть хотя это, на мой взгляд, тоже не литература, но всё же и не совсем симулякр. Может быть, это именно то, что мой друг К. обозначил как нечто новое, возникающее в наши дни и существующее на стыке искусства и симулякра? Это не проза и не поэзия (хотя непрерывно пытается быть и тем, и другим), не захватывающе, но и не то чтобы нудно, безусловно не правда, но и не совсем имитация... Попробуем понять, что же это.

Мне легко возразить: да было бы с чего копья ломать, просто очередной популярный автор, один из множества журналистов нашей фельетонной эпохи, возомнивших себя писателями, высидел толстую и довольно сырую книгу!

Нет, не так. Или, во всяком случае, не только.

Прежде всего, автор явно умышленно пытается нарушить границы и законы жанра, издевается над собственным стилем (издевательств действительно вполне заслуживающим) и над самим собой (скорее всего, неосознанно).

Это, несмотря на размеры, конечно же, не роман – жанр обозначен автором как «поэма»; отсыл к Гоголю, как легко догадаться, и одна из расшифровок аббревиатуры «ЖД» – «Живые души»; хотя автор предлагает великое множество и других: железная дорога,

жаркие денечки, жалко денег, жирный Дима (sic!), жидкое дерьмо, жуткая дрянь (а славная-таки вещь самокритика!), Живаго-доктор, ждущие дня, жароносная дружина… впрочем, как он ни старается, а небезызвестный критик В.Бондаренко, не мудрствуя лукаво, расшифровывает: «ЖиДы», но об этом чуть – абзацем – позже. Авторская аннотация на задней странице обложки гласит: «Поэма о коренном населении России, которое не борется против двух своих главных захватчиков, а добродушно позволяет им вечно захватывать себя и истреблять друг друга. Кто-то… увидит в этой сказке антисемитизм, кто-то – русофобию. Таким интерпретаторам нет дела ни до Родины, ни до правды…».

В.Бондаренко комментирует: «…Быков, конечно, лукавит, ибо насыщен этот роман и антисемитизмом, и русофобией, но, смешивая их в одном флаконе, поневоле Быков выдает имперский вариант развития России… в романе появляются законспирированные идеологи русского коренного населения, лидеры русского сопротивления, умело стравливающие своих врагов, южных евреев и европейских варягов…». Далее он сочувственно цитирует критика Л.Данилкина, назвавшего «ЖД»: «…неполиткорректным, неостроумным, монотонным, многословным, нелепым, как всё чрезмерное… bathetic: неожиданно переходящий от возвышенного стиля к вульгарному: ложнопатетический, напыщенный или чересчур сентиментальный. Это слово, между прочим, происходит от греческого bathos и означает “самое дно”; именно дна, похоже, дна собственного творчества достиг Быков, всё пытавшийся упредить деградацию страны…» – но итог подводит по-своему: «…так примерно и было тысячелетиями на пространстве Руси: варяжские дружины и славянские пахари, монгольские завоеватели и русский народ, крепостные крестьяне и дворянство, продававшее их, как скот, немецкая династия Романовых и храбрые славянские воины, еврейские комиссары и рядовые строители, в лагерях, в шарашках или по комсомольским путевкам, но сооружавшие громадную супердержаву мира, которую никак не могут уже за двадцать лет разрушить наши ненавистники… Завоеватели и покорённые сообща делали одно имперское дело…». Кстати, Бондаренко тоже сравнивает Быкова с Пелевиным и Сорокиным, утверждая, что все три модных писателя, сами того не желая, пришли к пониманию необходимости империи.

Не знаю уж, как на это отреагировал Быков – возможно, сказал, что это типично варяжская точка зрения. А, да, если кто не читал «поэму», поясняю: многострадальную бесконечную территорию, известную под неправильным именем Россия, вечно /бес-

конечно захватывают то северяне (варяги, они же русы), то южане (хазары, сиречь евреи), тогда как автохтоны (их следует звать «коренными», потому как «славяне» – слово бранное, от рабов!) хоть и мучаются веками, но с них, в принципе, как с гуся вода. Гнутся, да не ломятся. Правда, в дальнейшем оказывается, что и они как-то не очень-то симпатичны автору. (Если автор хотел сказать, что его вообще от всех тошнит, то тут с ним трудно не согласиться – бывает. Особенно поутру...)

Всё это мне что-то напомнило, и я призадумался: что же?

Около двадцати лет тому назад в СССР был издан мифологический роман австралийского аборигена Б.Вонгара «Каран». Быков его скорее всего читал, потому что кое-что явно узаимствовано (как он сам заявил для журнала «Итоги»: выблевал всё, что сожрал за последние двадцать лет [уж не будем обсуждать, почему сам автор именует своё произведение блевотиной!]... и действительно, можно найти последствия чего угодно, вплоть до набоковской «Ады» включительно!). Но тем-то и хорош, тем и силен мифологический роман, что каким-то чудом читатель бесспорно верит, когда превращается в дерево герой, которого долго и целенаправленно лишали родовой памяти, однако целиком лишить не удалось. А вот когда быковские персонажи мимоходом сообщают, что после смерти становятся деревьями... или когда в действие, как боги из машины, влезают вдруг говорящие птички Сирин, Гамаюн, Феникс и Финист, причем автор не осознаёт, что две последние – вообще-то одно и то же... м-да.

Нет, это не мифологический роман.

Немалые ассоциации – горячо, горячо! – есть и с эренбурговским «Трестом Д.Е» (тоже множество расшифровок названия, кстати, и одна из них, конечно же, «Decapitacione del ebrei»). И немедленно захотелось напомнить Быкову отзыв о «Д.Е.»Тынянова: герои могли бы сказать автору, что из них всё-таки необязательно совсем вынимать психологию...

Но и это не то.

А ещё мне это напомнило, увы, бывшую писательницу И.Дедюхову, известную ныне в Живом Журнале (или, как предпочитает Быков, живом дневнике) под ником «огурцова». Её первый роман «Повелительница снов», довольно заурядное фэнтези, всё же обещал в будущем интересного автора. И вот в те же девяностые, которые, похоже, ненавидит и Быков («...После восемьдесят пятого вы тоже хорошо погуляли, – медленно сказал Волохов. – Потери населения, по самым скромным подсчетам, составили никак не меньше, чем за все сталинские годы...»), она элемен-

тарно свихнулась, раз навсегда обнаружив врага – понятно, кого, разумеется, «жд». Не варягов же, которых и след простыл!

Однако нелюбовь к своему или/и к чужому народу бывает, в конце концов, у многих писателей (о неписателях в другой раз, ладно?). Это превращает их порой в омерзительных гномов, но совершенно не обязательно делает плохими писателями. Во всяком случае, не сразу. Цитирую навскидку: «О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...».

Да, классик, он же зеркало русской революции. «Хаджи-Мурат», глава 17.

А теперь откроем «ЖД»: «Чеченцы – последний отряд тех, настоящих хазар, наследники Каганата. Их оттеснили в горы – они и там умудрились цветущие города построить. После семнадцатого задружились было с вами, но разочаровались ещё быстрей нас...».

Предвижу взрыв возмущения: ну нашёл же кого сопоставить, Быкова и Толстого!

А что, кто-то уже и это запретил? Типа с Пелевиным ещё можно, а уж с Л.Толстым – зась?

К тому же мне и Толстой активно не нравится, не то что Быков (если кого-то интересует, кто же мне имеет счастье нравиться, не волнуйтесь: попозже назову). Сопоставление же в данном случае нужно, чтобы понять: человек, страстно пишущий о том, какие тупые убийцы и трусы эти русы, какие бесчестные и подлые гады эти хазары, так что все наци-антихазары хоть сами по себе и суки, но кое в чём абсолютно правы, и как недостойны самих себя эти коренные, – совершенно не обязательно всех их в самом деле ненавидит. Возможно, он их по-своему любит, хоть и... гмм... несколько извращённо. Бывает ведь? Едва ли Толстой в самом деле считал русских крысами и пауками; это была именно вот такая мучительная, до омерзения, любовь к своему.

Ад есть, и он – внутри человека, хотя называется разными исследователями по-разному. Но разве название меняет суть?

Круги ада Дедюховой, Быкова и Толстого находятся на весьма различной глубине inferno. Потому-то у Толстого из его внутрених пыток рождалась литература, у Дедюховой – гнусное безумие, а у Быкова, который о себе сообщает в подготовительных

материалах к «поэме», что он-де умудрился родиться в России полурусским, полуевреем и подвергся травле с обеих сторон (эх, вот бы посмотреть на эту травлю и сравнить!)... да, так что же такое родилось у Быкова?

Местами нечто концептуальное: «...Было, не было – никогда не поймёшь. В зависимости от собственной концепции каждый выделял одни факты и отвергал другие. Гумилёв вообще кроил историю и географию, как хотел, искусственными сближениями и натяжками компрометируя здравую догадку...» (речь идёт о Гумилёве-младшем, к концу жизни явно свихнувшемся на пылкой любви к монголам и не менее пылкой ненависти к, сами понимаете, всё тем же «жд»; Быков его читал весьма внимательно, это ощутимо в каждой строке, и сделал совершенно верный вывод: «...У него любой школьник десять подтасовок на главу найдёт»; вот если бы он ещё сообразил, что на него самого этот вывод тоже распространяется!).

Местами забавное: «У меня даже знаешь какая была теория? Что первородный грех – он не один. Его каждое племя совершило и за это было изгнано, и поэтому теперь все живут не на своей земле. А хотят на свою, только не помнят, где она...». Или, страницей дальше: «Пушкин, классический хазар, атеист, смещавшийся всю жизнь к варяжству, государственничеству, северу... и на этом погиб, потому что кому велено чирикать – не мурлыкайте... Как только варяг или хазар начинают немного соображать, они тотчас ссорятся со своими. Вся так называемая великая культура стояла на раскаявшемся варяжстве и раскаявшемся хазарстве...».

Местами нечто подлое, за что автор даже оплеухи не заслуживает: «...Как только опухоль доест противника и распространится повсеместно, она установит такой режим, на фоне которого детской игрушкой покажется любой погром...». И такого немало, тошно цитировать. Страшная, должно быть, штука – борьба с собой несчастного раздвоенного сознания, ненавидящего обе свои половинки.

Местами спорное, но по-своему стандартное: «Все нас завоевывали – все, кому не лень. Потому что, начиная с известного культурного уровня, нация уже не может зверски сопротивляться – она, если бы даже и хотела, не способна отступить на предыдущую ступеньку эволюции... Но ирония в том, что нацию, достигшую такой высоты, до конца тоже не истребишь...». Хотя сие произносит «хазар», но в дальнейшем оказывается, что применимо это и к остальным участникам трагедии, вот ведь. И автора это как раз не устраивает, ему, как и большинству персонажей, надоел худой мир, и хорошо бы, чтобы вечное мифологическое хожде-

ние по кругу уже кончилось! Например, можно пойти странствовать, взяв за образец хождение евреев с Моисеем – но не тут-то было, огромная страна неисчерпаема не только в пространстве, но и во времени, куда там пустыне: «...Во всех деревнях радовались, что солдатики пришли с войны, а в последней интересовались, побили ли уже ляхов. А то ходили тут, собирали ополчение, и робята ушли, но не вернулся ещё никто...». Или можно запустить в этот мир ребёнка-антихриста – но единственный родившийся в «поэме» ребёнок оказывается никаким не антихристом, так что миру придется ещё посуществовать/поковылять по адским кругам любви-ненависти.

Конечно, немало публицистики – бойкое перо, саморедактирования не ведает. Отсюда и непрерывные дискуссии персонажей – по сравнению с этим даже герои Достоевского с их бесконечным диа/поли/логами кажутся неразговорчивыми финнами. Что ни страница, то и спор. Автор – видимо, по относительной молодости лет – ещё не знает, что если в споре и рождается истина, то чаще всего мёртвенькая. Впрочем, об этом была небольшая дискуссия в живом дневнике, отсылаю туда интересующихся:

http://kyshara.livejournal.com/26479.html#cutid1

http://kyshara.livejournal.com/35823.html

Конечно, немало фантастики, как с альтернативной историей, так и с откровенно готическими мотивами и опять-таки заимствованиями даже у В.Крапивина, которого сегодня мало кто и помнит (а симпатичный был детский писатель).

Очень много нежной любви к себе, частые намеки, что Быков-де – хороший писатель; «...не Павича же читать, этого Маркеса недоделанного...». Павич, положим, ориентируется на Борхеса, и вот их-то обоих читать очень даже стоит – разумеется, и из них не делая кумиров. Но уж точно не стоит делать кумира из себя.

Недурно предположение о том, что у «коренных» были-таки свои, не варяжско-хазарские, писатели, – и это не кто иные, как Хлебников и Платонов. Идея в самом деле не плоха, можно ведь считать и так, что непривычный, неслыханный, шаманский язык того и другого – на самом деле не что иное, как возвращение к некоему исходному, настоящему, коренному языку!

Есть и нечто, к литературе особого отношения не имеющее, но запоминающееся: «История начинается там, где исчезает материя, где нашлось полчаса времени отдохнуть от погромов и отгромов (ответный вариант погрома; такого слова нет, но я захотел, и стало). Праздность – повивальная бабка истории, праздник – её локомотив...». Или это, не новое, но верное: «...Все перемены фа-

тально вели к одному: то, от чего только что брезгливо отмахивались, после нескольких лет распрей и разрухи начинало казаться небесной манной… Если солдатики по возвращении с подложной войны обратят оружие против власти, он к ним примкнет не без удовольствия. Беда, однако, в том, что они либо не обратят – либо, обратив и добившись своего, выстроят мир хуже и жальче здешнего, и это будет новым наглядным подтверждением вечного здешнего закона…». Да, на месте Бондаренко я бы всё же не спешил записывать Быкова в имперцы.

Кстати, никто не задумывался: а почему вообще так популярен имперский миф? Не потому ли, что мифологема империи подобна мифологеме судьбы, всё того же порочного круга?

Так вышел ли автор за этот круг?

Вот лирическое откровение, пусть и не особенно новое – но ведь это каждый открывает для себя сам: «Господи, что сделала с нами жизнь! Мы, привыкшие, что нас на каждом шагу запрягают или подкупают, не верим, что нас могут просто любить!.. Но ясный голос, различимый теперь с небывалой ясностью, сказал ему, что особо самоедствовать тоже не следует: в конце концов, ты нашёл меня, полюбил меня и пришёл за мной…». К сожалению, чуть раньше о той же великой любви сообщается несколько в ином, низовом, так сказать, тоне: «Очень быстро соображает, вообще быстро всё делает. Кончает быстро, что для женщины величайшее достоинство. Быстро и неоднократно…». М-да…

Нет, не вышел. Обречён мотаться по нему вечно, как и его персонажи. И именно поэтому берусь утверждать, что книга такого рода – типичная смешанная техника, где публицистика перекручена с лирикой, (псевдо)магические и небезынтересные порой языковые игры – с передовицами, быт – с фантастикой и т.д., и всё это вместе – никак не литература, но нечто совсем иное, хотя ещё и не смеющее оторваться от литературной пуповины. Поэтому, возможно, и «хорошо-плохо» сюда не совсем по адресу – как для кистепёрой рыбы, омерзительно-уродливой как с точки зрения обитателей воды, так и с точки зрения будущих обитателей суши.

Александр Кузьменков

ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ (Э. Лимонов. В Сырах. – СПб.: «Лимбус Пресс», 2012)

В свое время в рейтинге продаж «Фаланстера» «Сыры» заняли верхнюю строчку. Слава Богу, жизнь выучила смотреть на литературные хит-парады с юмором, а то решил бы, что лимоновский опус, похожий на упражнения блогера-дилетанта, и впрямь чего-то стоит. Собственно, этим и исчерпываются мои впечатления о бестселлере-2012. Кабы не популярная фамилия на обложке, то говорить было бы и вовсе не о чем. Да вот ведь парадокс: говорят. Видимо, фамилия в очередной раз не на шутку впечатлила российскую публику. Скажу, пожалуй, и я два слова, – разве я не сын страны?..

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЭГОБЕЛЛЕТРИСТА

Горький объявил фундаментом писательства жизненный опыт и всякого неофита благословлял идти в люди. Смею думать, что Алексей Максимович оказал отечественной словесности медвежью услугу. Если мы начнем измерять достоинства книги авторским жизненным опытом, то неизбежно въедем в подобие блатной истерики: а ты шконку давил? баланду, в натуре, хавал? Право слово, не лучший критерий оценки текста: опыт и талант – далеко не синонимы. Ну, спасал Двингер Россию от большевиков, – и даже дважды: в 1918 и 1941. Ну, спасал Майн Рид Мексику от проклятых гринго. От обоих прозаиков не осталось ничего, кроме энциклопедических дефиниций. Да и сам Горький был силен не столько знанием фактов, сколько мастерством их отбора. Уж простите за трюизм, но писателя делает не материал, а умение с ним работать: осмысливать и домысливать, обобщать, претворять события в слова.

Лимонов этого никогда не умел. В особенности не давалось Эдуарду Вениаминовичу сочинительство. Каждая попытка выдумывать была равна провалу. Выходила трехгрошовая бульварщина наподобие «Палача» и «Последних дней Супермена». Так Э.Л. намертво увяз в собственной биографии.

Что из этого получилось, вернее прочих определил М. Веллер: «Лимонов создал условно-автобиографический, бытовой, описательный текст без каких бы то ни было видимых литературных достоинств. Язык, сюжет, детали, психологизм решительно вялы и заурядны. Но циничная откровенность и грязнотца... – это было нечто из ряда вон выходящее... Для такой литературы достаточно самых средних способностей, но необходима нравственная храбрость».

Заголимся и обнажимся! Но и стриптиз – далеко не панацея для эгобеллетриста. Ибо жизнь – не движение, а вечное повторение одних и тех же движений. Гегель на сей предмет даже специальный термин придумал: schlechte Unendlichkeit, то бишь дурная бесконечность. Кто там у нас в постели, плохая девочка Катя? С ней выйдет ровно то же самое, что с плохой девочкой Наташей, а еще раньше – с Леной, а еще раньше – со Светкой. A good girl Julie в точности повторит свою предшественницу, good girl Jenny...

Потому Лимонов всегда неистово цеплялся за новые впечатления и охотно шел в люди. Война в Книнской Краине? – хорошо. Тюрьма? – еще лучше: аж на три книжки хватило. А если ни войны, ни тюрьмы? Тогда, извините, снова дурная бесконечность. На Нижней Сыромятнической улице. В Сырах. Старое действо в новых декорациях промзоны...

ИСТОРИЯ ЕГО СЫРОВ

Добро бы, наш герой забрел в этот литературный тупик впервые и по ошибке. Но тематически и композиционно (если эти термины здесь вообще уместны) «Сыры» точь-в-точь воспроизводят провальную «Историю его слуги» – тот же мутный поток унылого бессюжетного бытописания. Пересказать его невозможно, как невозможно пересказать бессвязные диалоги кумушек на лавочке: «А у нас в квартире газ, а у вас?» – «А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом». То же у Э.Л.: покупка мебели, смерть ручной крысы, скоротечный брак и реестр одноразовых подружек налицо. Да на кой черт читателю дурная бесконечность столичной промзоны, – одному Господу ведомо. На ум опять приходит Веллер, – точнее его любимая цитата из Мериме: «Простите, сударь, мне есть очень мало дела до вас лично и всего вашего семейства».

Самое любопытное, что несколько лет назад Лимонов раздраженно ворчал: *«Иностранцы часто замечают, что русские "тяжелые". Действительно, сядет такой... и загружает всех собой*

до упора» («Россия – щедрая душа»). Эдуард Вениаминович, вы себя не узнаете?..

Тем не менее нет худа без добра. После «Сыров» лимоновские любовные вирши *«О Фифи! У тебя ребенка тело… / У меня с тобой чувственное дело»* стали мне как-то ближе. А ведь не любил, право слово: измывался и капитаном Лебядкиным обзывал. Но все познается в сравнении.

ГЕРОЙ В РЕМИЗЕ

Преподнести публике нудный лытдыбр без должной упаковки было бы равносильно самоубийству. Однако прав Лебон: не факты сами по себе поражают народное воображение, а то, каким образом они представляются. Э.Л. давным-давно решил, что присутствие Героя превращает дурную бесконечность в феерию или трагедию – в общем, в высокий жанр. И пытается убедить в этом то ли читателя, то ли себя самого. «Сыры» нафарширована такого рода мантрами, как рождественский гусь яблоками.

Сам Эдуард Вениаминович, разумеется, *«человек с интеллектом высшего типа»*. И конечно же, *«самый крупный писатель в России»*. И создатель партии, которую *«не могут убить вот уже пятнадцать лет»*. Рядом с ним могут быть лишь необыкновенные женщины: очередная пассия Настя наделена *«несомненным литературным даром»*. И прочая, прочая, прочая. До слез знакомые мотивы: гляжу в себя, как в зеркало, до головокружения. Зеркальце ему в ответ: ты прекрасен, спору нет. Но…

Интеллектуал Лимонов с легкой душой приписывает Гоголю фразу Кеосаяна / Ермолинского «засланный казачок» (см. «В Сырах»). И уверяет, что пушкинскую речь Достоевский произнес в 1887 году, через семь лет после своей смерти (см. «Священные монстры»). И считает, что детей надо одновременно учить пользованию Интернетом и пишущей машинкой (см. «Другая Россия»). Все в одном флаконе: и знания, и IQ, и здравый смысл…

Самый крупный российский писатель изъясняется на карикатурном канцелярите, под стать персонажу Зощенко. *«Он ест много хлебобулочных изделий», «убитых было 173 трупа», «организация атрофируется телом и духом», «он успел совершить весь процесс своего чёрного дела», «множественное количество девушек»*, – подобные красоты слога рассыпаны по страницам «Сыров» более чем… ах да, во множественном количестве. Я бы рекомендовал лимоновский опус студентам-филологам как учебное пособие

по стилистике, поскольку это каталог всех мыслимых ошибок – от синезиса (*«подавляющее большинство мужчин планеты могли бы мне позавидовать»*) до синхизиса (*«ночами шумели кронами деревья»*). Эдуард Вениаминович, так чем же деревья-то шумели – ночами или кронами? Моя твоя понимай нету, как говорил еще один великий стилист Дерсу Узала.

Карликовая НБП (по оценке «Левада-центра», 2 000 членов) жива лишь потому, что никто не утрудился ее прихлопнуть. Поневоле вспомнишь старый анекдот: «Это неуловимый Джо». – «Его никто не может поймать?» – «Да кому он, на фиг, нужен?» Для сравнения: нефтяная империя Ходорковского, – а это 110 000 служащих и активы ценой в 33 миллиарда долларов, – была раздавлена в считанные месяцы.

Судить о талантах Насти Лысогор лучше всего по цитате из ее книжки «Настроение зла»: «Наглых девок забреем, мужиков кастрируем, вывернем кишками наружу, потом вставим обратно. Теперь живите. Головешки разобьем молотками, растопчем каблуками, плюнем... Люди будут жрать говно... Деградация нации налицо. Без рук, без ног летит Башлачев». Если это литературный дар, что же тогда пишут бездари? Вот уж воистину: деградация нации налицо.

Вернемся, однако, к Лимонову. Итак, присутствие Героя превращает... э-э... превращает присутствие... Приносим извинения за маленькую техническую неувязку. Эдуард Вениаминович, поставьте ремиз.

Впрочем, ответ у Э.Л. готов заранее: *«Моя лучезарная природа мирянам не видна» («Асанга и Майтрейя»)*. И это знакомо: давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Правда, не знаю, кто на такое способен. Разве что Данилкин, беззаветно влюбленный во всякого живого классика.

ЛИМОНОВ КАК БЮРГЕР

Однажды наш герой заявил: «Я человек состязательный». Остервенелое, на разрыв аорты, самоутверждение – верный симптом принадлежности к среднему классу: аристократ самодостаточен, а люмпену затея не по зубам. Сейчас, по примеру незабвенного Рубика Хачикяна, один умный вещь скажу, только не обижайтесь: Лимонов – писатель откровенно миддлклассовый, плоть от плоти и кость от кости бюргерства. Революция, говорите? Не советую заблуждаться на сей счет: бунт есть крайняя форма мещан-

ского самоутверждения. Все революции трех последних столетий учинил именно средний класс: юристы Робеспьер, Ленин и Кастро, радиоинженер Пол Пот, библиотекарь Мао Цзэдун...

Верно, диагноз по единственному симптому не ставят. Так перелистайте еще раз «Сыры»: там с бухгалтерской дотошностью зафиксирован весь симптомокомплекс: от банальнейшей женитьбы по залету до аллюзий на «Степного волка», любимое чтиво советской образованщины. С вашего любезного разрешения – несколько примеров.

Первая же глава «Веничка...» повергает в легкое недоумение: а ведь это я уже читал. Далее легкое недоумение перерастает в стойкое déjà vu. Добрая четверть книги состоит из пыльных журнальных публикаций: «Праматерь наша Хавва», «Нестандартные мысли о детях», «Майя. История одного черепа»... Эдуард Вениаминович, не мудрствуя лукаво, во второй раз продает издателям одни и те же тексты. И кабы только тексты. Тропы и ситуации тоже второй свежести. *«Водитель Стас... выглядел как переваренная сарделина»,* – прежде такого сравнения сподобился Зюганов. *«Я уже дал ей кличку "Зверь"»,* – простите, это Лола из Питера или Милица из Белграда? Что ж, торговля литературным секонд-хэндом – бизнес древний и почтенный. Поневоле вспомнишь героев Тэффи: «По десяти раз тот же фельетон печатает. Я, говорит, теперь на проценты со старых вещей живу». Учитесь, коллеги.

Впрочем, все то дела материальные, давайте лучше о духовном. Свои религиозно-философские воззрения Лимонов в «Сырах» упомянул лишь вскользь, и слава Богу. Тухлый винегрет из теософии и уфологии – не Бог весть какой деликатес. Этим дежурным блюдом обывателя только ленивый не потчевал. Благо, пророков у нас на все буквы алфавита: и Асауляк, и Марченко, и Пузаков-Мегре, и Тороп-Виссарион... Э.Л., задрав портки, спешит за самодельными гуру и одну за другой изрекает пошлости на ньюэйджевской фене: *«Свою энергию я понимал и понимаю как светлую, креативную, созидательную. Лола Вагнер излучала чёрную энергию», «У тебя есть ярко выраженная судьба, карма»* и проч.

Что там у нас еще из вечных ценностей, любовь? Думаю, достаточно будет одной цитаты: *«Я всё же проявил себя как ревнивый муж: сумел умыкнуть её телефон и, укрывшись в туалете, прочесть десяток эсэмэсок».* Лимонов, мавр венецианский: чужие письма в нужнике. Фи, не комильфо. На Шекспира не тянет; в лучшем случае – на мещанскую драму.

Ужели слово найдено? Вопрос о жанровой принадлежности «Сыров» решился сам собой. За что ни возьмись, – все до оскоми-

ны среднестатистическое, филистерское: и религиозные суррогаты, и старческий шпионаж за молодой супругой... *«Я все ближе к героям, богам и демонам»*, – провозглашает Эдуард Вениаминович. Ума не приложу, в какой микроскоп разглядывать признаки сверхъестественного в дурной бесконечности мещанской драмы. И о-очень подозреваю, что в будущей своей книге автор объявит атрибутами мистерии кефир, клистир и сортир.

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

Несколько лет назад ехидный Шендерович заметил: Лимонов уже никому не интересен, кроме филологов и психиатров. Свидетельствую: насчет филологов сатирик явно погорячился.

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ

Читатель: – Эдуард Вениаминович, за что мне все это? Чем я провинился?

Писатель: – Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

Свободной композиции игра



Даниэль Клугер

ЖИД И ШПИОН

«Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека».

Так в 1830 году отозвалась на выход в Париже «Записок Видока» русская «Литературная газета». Далее, в той же заметке автор задает вопрос: «Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?»

С 1857 года эта заметка публикуется под именем А. С. Пушкина и входит в собрания его сочинений. П. В. Анненков, впервые снабдивший ее подписью великого русского поэта, не делал никакого литературоведческого открытия: об авторстве Пушкина знали и современники, и последующие читатели. Знали они и то, что Пушкин имел в виду не только и не столько французского сыщика, сколько своего постоянного литературного оппонента и недруга Фаддея Булгарина. Сравнивая Булгарина с французским сыщиком, Пушкин отвечал на «Анекдот» самого Булгарина, в котором тот нарисовал поэта в образе некоего французского писателя. Видимо, фигура Видока, имевшего темное прошлое, показалась Александру Сергеевичу удобной для атаки на Булгарина, тоже имевшего темное прошлое (во время Отечественной войны 1812 года Булгарин служил в армии Наполеона). Следует признать, что намек оказался точным, общество подхватило это сравнение; отождествление было подкреплено пушкинскими эпиграммами:

«Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!

Пожалуй, будь себе татарин, –
И тут не вижу я стыда;
Будь жид – и это не беда;
Беда, что ты *Видок Фиглярин*».
«Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты – цыган,
Что в свете ты *Видок Фиглярин* –
Беда, что скушен твой роман...»

Блистательность и легкость этих эпиграмм на долгие годы определили в русском обществе не только отношение к Фаддею Булгарину, но и к Эжену Франсуа Видоку, никак не связанному с межлитературной войной.

Между тем в окружении Пушкина был человек, знавший Видока лично и имевший возможность просветить поэта относительно истинной природы французского полицейского. Этим человеком был отставной полковник Иван Петрович Липранди, с которым Пушкин близко сошелся во время пребывания в Кишиневе в 1820 году. Липранди очень ценят исследователи творчества Пушкина – Иван Петрович написал весьма обстоятельные воспоминания о кишиневском периоде поэта. Пушкин относился к Липранди с большой симпатией и даже сделал его героем повести «Выстрел»: и современники поэта, и последующие историки сходятся на том, что главный герой «Выстрела» Сильвио списан с Ивана Липранди. Во время их знакомства Липранди уже был в отставке – по причине неудачно завершившейся дуэли.

Меня заинтересовал один период чрезвычайно занимательной биографии этого обрусевшего потомка старинного испанского рода. К слову сказать, начиная с историка С. И. Штрайха, в русской историографии сложилась традиция именовать нашего героя «потомком испано-мавританского рода» (Н. Эйдельман) или даже «потомком испанских грандов с примесью мавританской крови» (И. Волгин и др.). Но П. Садиков еще в 1941 году писал: «Отец братьев Липранди был вовсе не «потомок испанских грандов» или «мавр» по происхождению, как полагает С. И. Штрайх, а скромный буржуа г. Мондовии в Пьемонте (куда предки его, действительно, переселились из Барселоны в начале XVII в.), владелец суконной и шелковой фабрик; в 1785 г. Пьетро Липранди переселился (по приглашению) в Россию, пользовался затем покровительством Зубова и в 1800 г. был уже директором Александровской мануфактуры в Москве. И. П. Липранди, по его собственным словам, после смер-

ти отца всей дальнейшей карьерой «был обязан своей силе и здоровью, не будучи аристократического кружка».

Я же дополню это замечание. В Барселоне мавров, в том числе, и крещенных (а из каких еще могли возникнуть испанские гранды мавританского происхождения?), найти трудновато: северная граница мавританского завоевания Испании почти совпадает с южной границей провинции Каталония, центром которой является этот город. Да и фамилия «Липранди» еще и сегодня встречается довольно часто, только она не мавританского, а еврейского происхождения. Что, к слову сказать, больше соответствует и роду занятий предков И. П. Липранди: «мориски» (крещенные мавры) в Испании, в основном, занимались земледелием; промышленность, мануфактура, «буржуазные» же ремесла характерны были в большей степени именно для «конверсос» – крещенных евреев.

Происхождение предков русского офицера меня бы не заинтересовало, если бы не забавный факт, связанный с Пушкиным. Вспоминая о случайной встрече со старым другом и однокашником В. Кюхельбекером, осужденным за участие в декабристском мятеже, поэт, в частности, пишет:

«Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородою, во фризовой шинели – с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, думая, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений».

Каково было бы ему узнать, что человек, к которому он искренне был привязан (например, в письме к своему знакомому, известному мемуаристу Ф. Ф. Вигелю в 1823 году Пушкин пишет: «Где и что Липранди? Мне *брюхом* хочется видеть его...») и кого сделал прототипом едва ли не самой романтичной своей повести, благополучно сочетал в себе именно эти две ипостаси – «жида» и «шпиона». О первой – о еврейском происхождении предков Ивана Липранди – рассказано выше, теперь перейдем ко второй части – шпионской (или полицейской, тут уж кому какой термин понравится). А для этого обратимся ко времени завершения войны с Наполеоном, в которой Липранди принимал активное участие, будучи офицером русской армии. О его военных талантах говорит хотя бы то, что к моменту разгрома Наполеона 24-летний Липранди уже дослужился до звания подполковника. С 1815 по 1818 годы он служил в Париже в составе русского оккупационного корпуса. И здесь судьба (а вернее, непосредственное начальство в лице командующего корпусом генерала М. А. Воронцова) свела его с Ви-

доком. Впоследствии Липранди так рассказывал об этом эпизоде (в работе с длинным названием «Важность иметь положительные сведения о происходящем на правом берегу Дуная и о тайных кознях в княжествах; с указанием на единственные средства к достижению того, в полном объеме высшей тайной "заграничной полиции"»): «В 1815 году, оставаясь при кавалерии кн. Воронцова во Франции, его светлость поручил мне наблюдение за существовавшим тогда во Франции обществом заговорщиков под названием "булавок", что поставило меня в сношение с французскими начальниками высшей тайной полиции в Арденнах и Шампани; составленная мною секретная статистика этих мест, представленная в 1818 г. князю, свидетельствует о сказанном мною».

Несмотря на общее «французские начальники высшей тайной полиции», видимо, именно тогда познакомился подполковник Липранди с главой «Сюртэ» Эженом-Франсуа Видоком – знаменитым преступником, ставшим сыщиком и создавшим первую в Европе криминальную полицию. Что касается «общества булавок», то, очевидно, Липранди имел в виду «Общество Черной булавки», о котором, например, вскользь говорит Виктор Гюго в романе «Отверженные». Это общество действительно существовало, причем заговор, который его члены пытались составить, имел место в 1817 году – как раз во время пребывания Липранди в Париже. Члены «Черной булавки» были сторонниками Орлеанской ветви, то есть будущего короля-гражданина Луи-Филиппа, стоявшего в оппозиции к царствующему тогда Людовику XVIII. Заговор, судя по дошедшей до нас информации, был несерьезным.

Другой и более веской причиной знакомства Липранди с Видоком стала не борьба с заговорщиками, а организация военной полиции, в рамках оккупационного корпуса – впервые в русской армии. Это дело было поручено подполковнику Липранди тем же генералом Воронцовым. Так или иначе, Видок с того момента стал вхож в дом Липранди в Париже. Именно здесь встретил его уже упоминавшийся мемуарист Ф. Ф. Вигель. По поводу знакомства с Видоком, Вигель написал: «Я лучше понял причины знакомства с сими людьми; так же как они, Липранди одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». В свою очередь, И. П. Липранди не преминул ответить на это, что Вигель, несмотря на свою щепетильность, все-таки воспользовался помощью Видока в поиске украденных золотых часов.

Сам же Липранди, в память о той своей службе, привез на родину колоссальную библиотеку, на книгах которой стояла печать

королевской библиотеки Бурбонов. Н. Эйдельман предположил, что эти книги Липранди, возможно, получил от Видока. Впоследствии они были куплены библиотекой Главного штаба. В советское время 189 томов с печатями Бурбонов и надписью «de Liprandy» хранились в Государственной библиотеке им. Алишера Навои в Ташкенте. Нам неизвестна нынешняя судьба этих книг. Возможно, они по-прежнему находятся в хранилище библиотеки Навои.

Литературовед С. И. Штрайх считал, что один намек в повести «Выстрел» прямо указывает на то, что об этой странице биографии Липранди Пушкин был вполне осведомлен:

«Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police) ; он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба». «Bonnet de police» – «полицейская шапка». Впрочем, это было всего лишь названием головного убора, никак, в действительности, не связанного с полицией. Но – все может быть...

В 1821 году уже вышедшего в отставку Липранди намеревались сделать начальником военной полиции 2-й армии. По этому поводу один из генералов этой армии писал командующему: «Сколько я знаю и от всех слышу, то Липранди один только, который по сведениям и способностям может быть употреблен по части полиции; он даже Воронцовым по сему был употреблен во Франции; а лучше об нем Вам скажет Михайла Федорович, который уже сделал ему разные препоручения; другого же способного занять сие место не знаю». Михайла Федорович – генерал М. Ф. Орлов, в прошлом – начальник штаба русского оккупационного корпуса в Париже и непосредственный руководитель Липранди того времени. Назначение не состоялось, но в дальнейшем наш герой все время занимался военной разведкой и контрразведкой на юге России, был создателем обширной и разветвленной агентурной сети в приграничных и собственно турецких землях. Спустя много лет он писал с сдержанной гордостью:

«Агенты мои в разных местах Австрии, в Турции до самого Адрианополя, успели собрать самые достоверные сведения не только о состоянии областей турецких и Австрии, но и о всех приготовлениях турков, состоянии их крепостей, флотилии, характере и свойствах пашей и других начальствующих лиц и т. п.».

И. П. Липранди окончательно вышел в отставку генерал-майором. В 1840 году он поступил на службу в гражданскую, став чиновником особых поручений при министре внутренних дел Л. А. Перовском. На этом посту он навеки загубил репутацию – в глазах и современников, и потомков. С. Я. Гессен, занимавший-

ся воспоминаниями Липранди, так написал о нем в предисловии к изданию записок последнего о Пушкине: «Заслуженный участник русско-французских войн, и затем *начальник военной и политической полиции во Франции*, бретер и дуэлист, деятельный член кишиневской ячейки тайного общества и близкий друг Пушкина, военный историк и библиофил, впоследствии стяжавший позорную славу как один из первых русских политических провокаторов, предатель петрашевцев и вдохновитель гонения раскольников – таковы основные черты биографии Ив. Петр. Липранди (1790–1880). Пушкин хорошо запомнил этого своего загадочного кишиневского приятеля, послужившего ему прототипом героя «Выстрела» и соединявшего, по его выражению, «ученость истинную с отличными достоинствами военного человека».

Действительно, профессиональные качества И. П. Липранди в создании агентурных сетей оказались востребованы правительством исключительно в деле политического сыска. В роли чиновника по особым поручениям МВД он занимался и преследованием сектантов-старообрядцев, и сообществами вольнодумцев. Ему же было поручено наблюдение за кружком, который в 1848 году, под впечатлением революционных событий, сотрясаших Европу, был организован М.В. Буташевичем-Петрашевским. Это громкое дело, к которому, среди прочих, оказался причастен молодой Ф. М. Достоевский, по сути было инспирировано Иваном Петровичем Липранди. Именно его докладная записка побудила власти арестовать петрашевцев и начать громкий судебный процесс. В записке чиновник по особым поручениям писал:

«Члены общества предполагали идти путём пропаганды, действующей на массы. С этой целью в собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства, как вооружать крестьян против помещиков, чиновников против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства, как действовать на Кавказе, в Сибири, в Остзейских губерниях, в Финляндии, в Польше, в Малороссии, где умы предполагались находящимися уже в брожении от семян, брошенных сочинениями Шевченки. Из всего этого я извлёк убеждение, что тут был не столько мелкий и отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения».

Дело закончилось вынесением неожиданно суровых приговоров: Петрашевский и еще двадцать членов его кружка (в том числе, Достоевский) были приговорены к смертной казни. И приговоры,

и мрачная инсценировка приведения их в исполнение (на осужденных надели балахоны, привязали к столбам и лишь после этого прочли указ императора о помиловании) – все это на долгие годы определило негативное отношение русского общества к Липранди.

Но это уже совсем другая история. Я же хочу лишь еще раз обратить внимание читателей на удивительный факт: оказывается, «первый сыщик Европы» до известной степени способствовал становлению русской контрразведки и тайного политического сыска Российской империи. И – кто знает, – может быть, на формирование весьма двойственного образа следователя Порфирия Петровича в романе Достоевского «Преступление и наказание», с одной стороны, обаятельного и умного человека, но в то же время склонного провоцировать знакомых, какое-то влияние оказал наш герой Иван Петрович Липранди – русский контрразведчик, сыщик и ученик Эжена Франсуа Видока – создателя первой криминальной полиции, а затем и первого частного агентства в Европе.

Евгений Витковский

АПОСТЕРИОРИ

...А ты поверь,
Что будет мне и мертвому нетрудно
Любить тебя таким, как я теперь.
Валерий Перелешин, 1974

Перелешину шел шестьдесят первый год, когда он написал это прямо адресованное мне стихотворение (правда, он точно не знал моего года рождения, – теперь это уже не играет роли).

Мне идет шестьдесят четвертый. Значит, пришло время: подобные предсказания всегда сбываются – только не надо мешать им сбыться (хуже будет).

Я не мешаю. Я пишу о том, что знаю на собственном опыте, добавляя немногие факты, о которых узнал только в XXI веке – благодаря заботе моих младших коллег по этому собранию сочинений.

Не надо никаких «*хочется верить*». Я точно знаю и безусловно верю. Моя вера велит никогда ничего не просить, а всегда прощать всех, кого могу вспомнить – и даже тех, кто растаял в памяти. Не спрашивайте, что это за вера такая. Мой стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Кто захочет – тот поймет.

* * *

Легко установить, когда, и при каких обстоятельствах я узнал имя Валерия Перелешина, когда впервые прочел его стихи, еще проще – назвать точную дату нашего контакта (письменного, между Москвой и Рио-де-Жанейро – я так его и не увидел, хоть и связывал с ним всех моих друзей, которым был интересен «русский поэт в Бразилии»). И, к сожалению, почти точно назвать могу время, когда этот контакт оборвался, когда и как я узнал о его смерти. Примерно двадцать лет – с 1971 года по 1991 год – нас можно было бы назвать друзьями, хотя сам Валерий (я и теперь в мыслях называю его только по имени) употребил бы другое слово. Как он называл меня до смерти его матери в 1980 году, и как, когда, похоро-

нив ее, он «вышел из чулана» и позиционировал себя уже как открытый гей. Я определенно был объектом этой почти исступленной страсти, от нее русской литературе осталось куда больше, чем мне. Но ведь и я сам – часть русской литературы, точнее – ее читатель. Странная мне выпала участь. Но не более странная, чем выпала Перелешину. Мое дело было неприметно для меня самого и мне долгое время непонятно – дать влаге попасть на питающие пальму корни. Нечто подобное есть на одном из рисунков Леонардо да Винчи. Он пытался познать пути воды и законы ее движения. Я – не пытаюсь. Попробую рассказать то, что выпало мне узнать на собственном опыте. Апостериори, не более.

Об эмигрантской литературе я узнал почти случайно – и еще в школе: довелось забрести в «Клуб любителей научной фантастики» при Доме детской книги (Москва, ул. тогда – Горького, д. 43). Руководила этим «клубом» Зинаида Павловна Смирнова, родная сестра прозаика и поэта Николая Павловича Смирнова (1898–1978), жили брат с сестрой у метро «Аэропортовская», я скоро оказался приглашен в этот дом – там собирались старшеклассники-фантасты, – увы, писателем стал, кажется, один я. Стены двухкомнатной квартирки были в стеллажах – и один их них выглядел загадочно. На дворе стояла осень 1963 года – даже хрущевская оттепель еще не кончилась.

Стеллаж был почти целиком заставлен поэтическими сборниками, изданными на русском языке – но за границей. В Париже, в Нью-Йорке... Книги стояли вперемежку с переплетенными самиздатскими копиями (в формате обычных книг). Что это такое – я понял довольно быстро. Понял, но глазам не верил – откуда и как такое могло попасть в Москву 1960-х годов. Книги были эмигрантскими, все до единой. Да еще на каждой второй стояла дарственная надпись хозяину дома. Стихов я тогда еще не писал (и тем более не переводил – откуда человеку знать, что именно судьба приготовила ему в качестве профессии на всю жизнь?), но любил их до дрожи. И очень хотел их читать: но не советские (для этого советская власть должна была рухнуть, а до этого было еще ох как далеко), не старинные (этим я уже был сыт, спасибо хорошему домашнему воспитанию), и не иностранными – тогда еще ни на каком языке стихи свободно я читать не умел. Разве что на русском. Помню, что первой вытащил с полки книгу избранных стихотворений парижского поэта Юрия Терапиано – «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963). Это была книжная новинка, и я понимал – советской цензуры она не проходила. Я влюбился в поэта, в эмиграцию, в «парижскую ноту» и т.д. – еще ничего о них не зная, *ни-*

чего не понимая. А откуда книга взялась?.. Хозяйка спокойно ответила мне: «Пришла по почте. Николаю Павловичу пропускают иногда – ну, не "Посев", не "Грани", а тут издатель – американский "Виктор Камкин". Это не политика, а Николай Павлович со многими эмигрантами был знаком, когда они еще и не думали уезжать».

Лишь очень много лет спустя я понял, что защищала во времена «оттепели» Н. П. Смирнова его юношеская дружба с Фурмановым. Да еще он был из числа отсидевших (1934–1939), но уцелевших и реабилитированных, к тому же – ветераном войны, а писал – вполне вегетарианскую прозу о любимом Золотом Плесе, о Левитане... Писатель не лез ни в первый ряд, ни даже в третий. Ему и в пятом было хорошо (кстати, проза его забыта весьма несправедливо, надо бы вспомнить). Вот и проходили изредка к нему книги из-за рубежа: вероятно, его имя не входило в черный список тех, кто подлежал сплошному пресечению контактов.

Ненадолго, по одной, но книги самым доверенным из «Клуба» выдавались на чтение. С той поры, почти уже полвека, и стал я самиздатчиком – благо на машинке научился печатать раньше, чем писать от руки (а «Эрика» берет четыре копии», кто ж не помнит). Клуб при ДДК умирал на глазах, все зубрили физику и прочее естественное-самое-важное... Может, оно и самое важное, а я, не умея рисовать вовсе (и с астигматизмом к тому же), увлекся историей живописи. Голландской, фламандской, немецкой, далее по списку и по выбору. Поступил в 1967 году в МГУ, сдав экзамен «по профессии» – по предмету, который не преподавался в школе, а именно – по истории искусств – и сразу вернулся к литературе. В МГУ было катастрофически скучно (научный коммунизм, история КПСС, диалектический материализм, исторический материализм... и физкультура) – а профессионалы, кандидаты-доктора, специалисты по Рембрандту и ниже – не знали голландского языка. НИ ОДИН. Меня тошнило, и прежнее увлечение эмигрантской поэзией проснулось, будто гормоны взорвались. Для ясности – я ведь и сам к этому времени стал писать стихи. Не важно, какие, но причастность к литературе во мне пробудилась окончательно и на всю жизнь.

Я стал искать эмигрантскую поэзию в таких местах, где ее даже теоретически не могло быть (например, в открытом доступе «Ленинки») – и, бывало, кое-что находил: каталогизаторы, приняв непонятную фамилию за иностранную («Моршен», к примеру), оставляли книгу в доступности. Надо знать, что искать, не более. А я знал, с тринадцати лет знал. Ну, и отношение с исторического факультета МГУ, бывало, открывало путь в спецхраны крупных

библиотек. Беда была в другом: даже на самых тайных глубинах этих спецхранов 90% того, что мне было интересно, не оказывалось совсем. Ну, для начала надо разобраться с тем, что доступно. Я и разбирался. И однажды открыл, что русская литература в эмиграции прекрасно существовала не только в Европе, но и на Востоке – прежде всего в Китае.

Вот тут, строго говоря, и начинается «история Ариэля, апостериори».

История того, как я побывал Ариэлем – да еще и очень эротическим – почти не понимая, что именно такое амплуа для меня означает.

* * *

В 1968 году неведомыми самиздатскими путями попал мне в руки номер парижского журнала «Возрождение» (1968, № 204), где нашлась обширная статья Юстины Крузенштерн-Петерец «Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах)». И немедленно стало ясно, что миф о том, что Париж – столица русской литературной эмиграции – это миф, сочиненный непосредственно в Париже; даже Берлин, Белград, Прага.... Ну, Харбин... это еще ладно, это глухая провинция, а вот Варшава, Нью-Йорк, Таллинн, Хельсинки и т.д. – это что-то вроде Плутона: как «по счету раз» в 1930 году его открыли, так «по счету два» в 2006 году «лишили статуса планеты». Однако как Солнечная система была и осталась единым целым, так и русское зарубежье XX – начала XXI века было, есть и никуда не делось.

Однако в 1968 году, когда я решил посвятить все свободное время «Восточной Ветви» русской эмиграции, юные мои коллеги, бредившие кто Георгием Ивановым, кто Борисом Поплавским, смотрели на меня как на законченного психа. А я на них никак не смотрел: статья Ю. Крузенштерн-Петерец давала ориентиры, по которым надо идти. Прежде все – к писательнице Наталье Ильиной, мать которой, Е. Воейкова, увезла в СССР «остатки архива поэта Леонида Ещина», умершего, а скорей – погибшего в 1930 году в Харбине. Единственная книга Л. Ещина «Стихи таежного похода» (Владивосток, 1921) в Москве отыскалась. Ильина тепло (вот уж чего я не ожидал) приняла меня и достала те самые «остатки архива». А стихи там были куда сильней, чем во владивостокской книге. Ильина разрешила скопировать все, что мне было нужно (а мне нужно было ВСЁ – я ведь и сам понимал, что предмет не изучен и впору экономить на минутах), дала координаты бывших жителей

Харбина и Шанхая (больше артистов оркестра Олега Лундстрема, но и поэтов, избежавших отсидки – осевшей в Краснодаре Лидии Хаиндровой и прижившегося в Свердловске Николая Щеголева; кстати, отчасти послужившего прообразом главного героя ее романа «Возвращение»). А в библиотеке, тогдашней «Ленинке», отыскались первые четыре сборника главного для меня по тем временам (спасибо наводке Ю. Крузенштерн) русского поэта Харбина, Арсения Несмелова – урожденного Митропольского, но из-за немалой известности старшего брата, журналиста Ивана Митропольского вынужденного взять псевдоним. В одной семье из числа музыкантов Олега Лундстрема уберегся шанхайский коллективный сборник «Остров» (1946), – у Хаиндровой же, возвратившейся из Китая в 1947 году в Казань, по каким-то религиозным причинам вещи не досматривали; русских книг, изданных в Китае, оказалось немало, ее собственный архив совсем никто не тронул, а ведь там была ее переписка с Арсением Несмеловым с середины 1939 года (когда поэтесса покинула Харбин, оказавшись сперва в Дайрене, а годом позже – в Шанхае) до конца весны 1943 года и немало его стихотворений, вовсе не печатавшихся (в частности, рукопись поэмы «Прощеный бес», которую – забегая вперед – я скопировал и отослал Перелешину, а тот опубликовал ее в 1973 году в № 110 нью-йоркского «Нового журнала»). В 1955 году в Краснодар из Китая был призван весьма поздно (в 1955 году) промосковский архиепископ Виктор (Святин); туда же переехала из Казани и Хаиндрова. Я написал ей, приложив копию статьи Ю. Крузенштерн, ну, и как говорится, *все заверте...*

В Краснодар я ей в 1968 году и написал. Моя переписка с Лидией Юлиановной – три огромных папки. Кому их оставить?.. Думать не хочется, пусть мой младший сын решает. Она была участницей «Чураевки» (как и Н.А. Щеголев, с которым я очень быстро связался), а главное – после двадцатилетнего молчания, видимо, разбуженная статьей Крузенштерн, она вновь стала писать стихи; даже выпустила в Краснодаре маленькую книжечку избранного, старого и нового – «Даты, даты». И стала понемногу искать адреса друзей юности, прежде всего – чураевцев, Лариссу Андерсен, Ольгу Скопиченко, Викторию Янковскую и т.д. – и многих других, менее значительных. Кто-то нашелся... А кого-то лучше бы и не находить. Но вернемся к нашей переписке с Лидией Хаиндровой. В письме ее от 22 апреля 1969 года есть фраза: «Хорошо, что Щеголев Вам написал, а еще лучше, что воздал должное Арсению Ивановичу (*Несмелову. – Е.В.*). Жаль, что это так поздно, а в свое время Несмелова очень огорчало их (*Щеголева и его друга, скончав-*

шегося в 1944 году поэта Н. Петереца. – Е.В.) отрицательное отношение к нему. Как ему хотелось принимать участие в творческой работе "Молодой Чураевки" и отнюдь не как признанному мэтру, а просто дышать одним воздухом с молодыми поэтами Чураевки, но его тут же отстранили, как и в свое время отстранили так много сделавшего для лит. объединения "М<олодая> Ч<ураевка>" Ачаира». К сожалению, процитировать ни строки из писем Николая Щеголева (1910-1915) не могу: их для каких-то неведомых музейных нужд после смерти поэта вытребовала у меня его вдова – и, разумеется, уничтожила почти все, кроме самых последних, от которых у меня случайно остались копии. Но то были еще 1960-е годы, и «мы не знали, мы не понимали / Путей судьбы, ее добро и зло», но это сказал в 1965 году мой учитель Аркадий Штейнберг, имея в виду «День победы», отпразднованный в 1945 году в пересыльной тюрьме во Львове. Через добрых три четверти века онять пришлось: «Вот наша жизнь прошла, / А это не пройдет» (Георгий Иванов). В эмиграции люди понимали прошлое и будущее раньше, чем в метрополии.

Письма Хаиндровой у меня уцелели, видимо, по теории вероятности – о них почти никто не знал. 24 мая того же 1969 года Хаиндрова писала мне: «Удалось отыскать брата и мать Валерия Перелешина». Младший брат Перелешина, Виктор Салатко, в молодости тоже писавший стихи под псевдонимом «Виктор Ветлугин»... Да, это был след. О нем в воспоминаниях о поздних годах Перелешина пишет Ян Паул Хинрихс, не хочу ничего добавлять, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Не знаю, простил ли его Перелешин. Я простил всем и всё.

И вот – «отыскался след Тарасов». В письме от 12 июня 1969 года Хаиндрова пишет: «Спешу Вам сообщить, что я 10 июня получила письмо от Валерия Перелешина <...>. Вскрывая письмо, я думала, что оно от его брата или матери, и вдруг читаю: «Золотая Лидо...» (так звали меня в литературных кругах, а в письмах так писал только Валерий и еще один товарищ писатель, который находится здесь), никаких сомнений не было, от кого это письмо. В большом письме напишу его адрес и все остальное».

Сопоставим даты. Мне не было и девятнадцати, Перелешину шел пятьдесят восьмой. Как я узнал позже, после долгого периода молчания (1957–1967) Перелешин только что вернулся к русской поэзии (его нашла и растормошила Юстина Крузенштерн-Петерец!). Китай давно был в прошлом, Перелешин свободно говорил и писал стихи на этом языке (а также на английском), но... «Я до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт»: эти его слова надо

бы и написать на его могиле на кладбище в Рио-де-Жанейро. Надо бы – да только не надо. Кириллица в Бразилии не в ходу. Об этом у Перелешина позже не единожды возникали поэтические строки.

Из «длинного письма» Хаиндровой от 13 июня 1969, пожалуй, придется привести отрывок побольше.

«...Придя откуда-то домой 10 июня, на столе увидала конверт с знакомым почерком И, глядя на конверт, подумала, как удивительно похож почерк Виктора на почерк Валерия, и, распечатав, убедилась к своей большой радости, что оно от самого Валерия. Он в Бразилии с матерью с 1953 года. А брат приехал к ним после. Сначала он тоже бросил писать, так как не удавалось попасть ни в какие русские толстые журналы, так "прожил на бразильских каникулах до весны 1967 года, тогда меня разыскала милая Мери (*Ю. Кругенштерн. – Прим. Л. Хаиндровой*) убедила вернуться в литературу". Стали появляться его статьи и стихи в газетах Нью-Йорка. Был напечатан венок сонетов «Крестный путь» в журнале «Возрождение» в Париже. В июле 1967 года вышел пятый сборник его стихотворений «Южный дом». Готовы к изданию шестой сборник «Качель», седьмой «Заповедник». Готовы к изданию поэма (*«Ли Сао» Цюй Юаня. – Е.В.*) и два сборника китайской антологии. Работает в полную силу и не только над стихами, но и над статьями, пишет многочисленные рецензии на книги поэтов и на наши книги. Написал воспоминания «Два полустанка» о литературной жизни. Во второй части воспоминаний будет о шанхайском периоде. Пишет очень много о себе, но когда я дам Вам его адрес, то он сам Вам напишет все, что вам будет интересно».

Дальше переписка у нас с Лидией Юлиановной была обширная... и странная: я учился в МГУ, моих занятий эмиграцией боялась моя мать и непрерывно писала моим адресатам – что им делать, чего не делать, да к тому же немало писем в архиве, почему-то обращено не ко мне, а то к моей матери, то к моей жене. Из письма Перелешина ко мне следует: «Надеюсь, что Вы уже получили открытку с адресом Валерия Перелешина, а это означает, что Ваша бандероль удачно приземлилась у меня».

Открытка не сохранилась, но 15 июля 1970 года я написал первое письмо Перелешину; ответа на него не последовало, тогда 26 августа того же года я написал ему еще одно. На эти письма он не только не ответил – он никогда не упоминал о том, что вообще их получил. Лишь в 1997 году, работая с архивом Перелешина в Лейдене, их обнаружила там Ли Мэн. Могу лишь догадываться – отчего такое случилось. Может быть, Перелешин выяснял у Хаиндровой, что я такое и откуда взялся?.. Спросить теперь не у кого. Од-

нако на третье мое письмо от 17 февраля 1971 года он все-таки ответил. До самого недавнего времени я считал, что первые два письма вообще пропали в недрах советской почты. Загадка эта из числа тех, которые можно и не разгадывать: в любом случае общение началось у нас с поэтом лишь в 1971 году.

Примерно тогда, в январе 1971 года, я ушел из МГУ «в академический отпуск с правом на восстановление» (вот уже и на пенсию вышел, а все храню это право: как писал мой учитель Аркадий Штейнберг «...А если подумать здраво – / На кой нам черт это право?») Короче, адрес я выпросил все-таки не зря, и хоть на третье мое письмо Перелешин все-таки ответил. Повторяю: 17 февраля 1971 года я отправил Перелешину письмо, которое наконец-то заинтересовало адресата. 21 марта он отослал мне ответ, и ответ против ожидания *я нашел у себя в почтовом ящике*.

«Ваше письмо получил только вчера. Разорванный конверт был тщательно заклеен официальной этикеткой бразильской почты» <...> Такое было начало у нашей переписки, а конец ей наступил в начале осени 1990 года, когда к поэту пришла предсмертная болезнь и он уже никого не узнавал. Были еще открытки весной 1991 года, но это были не письма: только втерев в царапины, оставленные шариковой ручкой, порошок графита, можно было разобрать: «Эта ручка совсем не пишет. Надо взять другую». Такие же открытки приходили в Верхнюю Пышму на Урал, дочери Арсения Несмелова, Наталии Арсеньевне Митропольской... но в целом – это был конец. Однако двадцать лет с небольшими перерывами я пробыл в жизни Перелешина «Ариэлем». Однако «Ариэль» ушел в лучший мир вместе с Перелешиным, а прототип все еще длит свое земное существование. Я не «Ариэль» (как Тень Отца Гамлета – не Шекспир). Но без меня этот персонаж едва ли появился бы на свет.

Дальше мне придется приводить цитаты из этих писем. Их копии хранятся в Москве в ИМЛИ, мои ответы – в Лейденском архиве Перелешина. Это, кажется, единственная часть его архива, закрытая для читателей (но не для моих соавторов, конечно). Многое в этих письмах уже непонятно через сорок лет, а многое не нужно даже историкам. Я попробую держаться того, что касалось в наших отношениях основного: нам было интересно друг с другом, для меня Перелешин был самой верной ниточкой к сбору распыленного по всему миру наследия «главного поэта русского Китая» Арсения Несмелова, к тому же оба мы – случись же такая оказия – все-таки были поэтами-переводчиками. А помимо этого, надо помнить, Валерий Францевич весьма быстро... влюбился в меня. Не совсем, конечно, в меня, а в созданного его воображе-

нием Ариэля, но довольно долго эти образы были неразделимы. По крайней мере – пока из писем ко мне складывалась его лучшая прижизненная книга, девятая по счету – «Ариэль» (1976).

В письме от 21 марта 1971 года достоин внимания такой абзац:

«Моя милая Золотая Лидо́ (Лидия Юлиановна) часто упоминает Ваше имя («Женя»), так что мы давно заочно знакомы. Очень меня тронули два обстоятельства: первое – то, что Вам знакомо обращение «многоуважаемый» (ибо теперь чаще приходится встречать форму «уважаемый», которая значит меньше, чем уважаемый), и второе, что Вы решительно ни о чем не просите. Ничего «прикладного» в Вашем письме нет. Именно поэтому я отвечаю на него без промедления». <...>

«Мое "возвращение в литературу" в 1967 году после длительных "вакаций" огорчило многих "товарищей по несчастью" – других поэтов. Особенно се́рдит их, что я стал одним из рецензентов журнала "Грани" и газеты "Новое Русское Слово", так что зажать мне рот трудно. Из недавнего номера католического бюллетеня, издаваемого в Сан-Пауло, узнал, что там есть литературно-художественный кружок, но все названные имена оказались мне незнакомыми. Из чего заключаю, что я – единственный бразильский поэт, пишущий по-русски. Живу под стеклянным колпаком, о стихах могу поговорить только с мамой и двумя-тремя знакомыми дамами. Недостаток живого общения и атмосферы частично возмещается огромной перепиской». <...>

«В том же Франкфурте печатается моя шестая книга лирики "Качель". Это будет книга исключительно религиозных поэм и стихов (96 страниц). Жаль, что <...> "Качели" Вы не увидите, но проси́те Золотую Лидо́ переписать для Вас эту книгу (почти все книги у нее уже есть, дело только в их порядке».

Странное это было десятилетие – 1957–1967 годы, мне ли о нем судить теперь? Именно тогда, в 1959 году в Рио-де-Жанейро Марсель Камю заканчивал съемки величайшего из бразильских фильмов «Чёрный Орфей» по пьесе Винисиуса Мораэса, драматурга и поэта (1913–1980) – по иронии судьбы, год в год ровесника Перелешина. В этом фильме идет почти непрерывный – и насквозь трагичный – карнавал, только Копакабана видна не «анфас», а с вершин окружающих гор, не только Корковадо (Горбун-гора, – кстати, она часто видна на горизонте по другую сторону залива). Захочется ли вам в этот райский город? Сомневаюсь. Но для Перелешина это была «третья и последняя родина», где меньше чем через десять лет вернулось к нему поэтическое дыхание. Даже и не знаю, видел ли Перелешин «оскароносный» «Черный Орфей». Но

мне в понимании души Валерия Францевича этот фильм дал весьма много. Кстати, присмотритесь – как красивы бразильцы. Для Перелешина это значило много, это послужило дополнительным импульсом его поэзии. Но – сильно позже.

А нам-то в СССР кто бы тогда «Черный Орфей» показал?..

Да, время делало из нас самиздатчиков – вне зависимости от того, жили мы в Рио-де-Жанейро или в Краснодаре. Позже, когда в середине 70-х годов цензура писем на какое-то время несколько ослабела, Перелешин проделал трюк, равного которого не упомню в своей жизни, ни в чьей-либо еще. Дело в том, что по всей вероятности – последней из вышедших на русском языке авторской книгой стихотворений был *четвертый* поэтический сборник Перелешина – «Жертва». Для обложки книги уже не было никакой бумаги, кроме папирусно-желтой, а для надписи на ней – никакой краски, кроме зеленой («Вышла яичница с луком» – шутил автор, и не он один). Сам Перелешин давно уже находился в Пекине, заботы об издании легли на его мать, Е. А. Сентянину. И... случилось так, что изрядная часть тиража книги перебралась сперва к автору в Шанхай, затем в Гонконг, а затем дождалась 1970-х годов в Рио-де-Жанейро. Перелешин разрезал книгу по корешку, и стал, складывая пополам, пересылать мне по страничке эту книгу: чудо случилось: по одной страничке книга собралась у меня *вся*. Я отдал ее великому библиографу (а в те времена еще и великому мастеру переплетного дела) Льву Михайловичу Турчинскому. Он согнул обложку на миллиметр или два, и авиационным клеем ввел в образовавшийся блок все 54 страницы книги. Она и сейчас на моем столе: **Валерий Перелешин. Жертва. Четвертая книга стихотворений. Харбин, 1944**. И уже рукой автора на титульном листе книги приписано: «***Дорогому Жене на память о том, чего не было, но что – было. Валерий Перелешин, Рио-де-Жанейро, 16 сентября 1974 года***». И страницы и обложка книги хранят след легкого сгиба пополам – чтобы в конверт вложить можно было. Чем не памятник эпохе?..

Мы много говорили с Перелешиным в письмах о переводах: с его легкой руки я даже португальский язык выучил, но... никогда не переводил бразильских поэтов: только «главных по эту сторону Атлантики» – Камоэнса, Бокажа, Пессоа, ну, и тех, что разрядом поменьше, однако никогда не выходил за пределы Португалии. Перелешин всегда помог бы, проконсультировал все непонятные реалии... но мне не хотелось лезть в то, что он заведомо знает лучше меня. А континентальная Португалия была для нас чем-то вроде «офшорной зоны»: теперь, когда очередной раз издаются стихи ве-

ликого Пессоа, которого я перевел больше двух тысяч строк, я стараюсь в состав хотя бы десяток переводов Перелешина подложить. Наши школы – «советская» и «эмигрантская» давно перестали существовать как раздельные, так отчего бы и не печататься вместе? Издатели не возражают (особенно потому, что у Перелешина нет наследников и платить никому не надо). Однако в нашем Собрании сочинений понадобился бы еще немалый том для переложений Перелешина с китайского и португальского, с английского и французского – так что без крайней необходимости постараюсь сейчас этой темы не касаться. Надеюсь, что переводы Перелешины еще выйдут отдельной книгой. Эдаким четвертым томом собрания сочинений, притом немалым.

Иной раз в его письмах можно найти такие вот краткие и не требующие комментария отзывы о современниках:

«Несмелова я ставлю очень высоко. Дал я разъяснения Глебу Петровичу (*Струве. – Е.В.*), что на Маяковского он слегка похож (мажорностью большинства вещей), но с Северяниным не имеет ничего общего»

«Елагин не ломается и вообще очень сильный и своеобразный поэт. <...> Моя переписка с ним расстроилась после того, как я доказал ему, что его строки о "переплывающих Кассет / на переполненных по горло *суднах*" – имеют смысл, которого он не предусмотрел: коли "на кораблях", так "на судах", а на "суднах" – ну, на больничных посудинах...». (*Елагин в присланной мне ксерокопии книги «По дороге оттуда» эти строки в 1976 году тем не менее ИСПРАВИЛ! – Е.В.*)

«Мишка Волин когда-то еще в Шанхае устроил вечер для того, чтобы выпустить книгу своих стихов. Мы все откликнулись, составили ему программу. Сбор был недурной. А потом я встретил его на улице и спросил о книге. – Знаете, Валерий, я подумал-подумал и решил вместо книги заказать себе костюмчик» (О реакции Волина на мемуары Перелешина «*Два полустанка» подробно пишет нидерландский славист Ян Паул Хинрихс. – Е.В.*)

«Лидия Алексеева грамотная, но не очень сильная поэтесса».

«На Терапиано я пишу эпиграммы приблизительно дважды в месяц. Очень злые».

Попутно придется развеять еще один невольно возникший миф. Создал его, ничего дурного не замышляя, мой большой друг Василий Павлович Бетаки (1930-2013), которого и процитирую по сетевой публикации (В. Бетаки, «Снова Казанова», часть третья – действие происходит в 1972 году, в доме моих больших друзей, поэтессы Ирины Озеровой и ее мужа Олега Пучкова – в «ближнем

Подмосковье», городе Бабушкине, – теперь это просто Москва): «*По разным делам, связанным с отъездом, я поехал в Москву. Зашел попрощаться с Ирой Озеровой и её мужем Олегом Пучковым. Он хоть и состоял на партийной работе, но был совершенно своим, надёжным человеком. У Иры с Олегом я, в то мое «прощальное» посещение, познакомился с Женей Витковским. Он работал тогда на радио, вещал на эмигрантов. Передачи эти всегда начинались словами: «Здравствуйте, дорогие соотечественники!». Женя знал десятки адресов эмигрантских литераторов во всех странах мира, по должности открыто переписывался с некоторыми из них. Так что он оказал мне неоценимую услугу, снабдив меня адресами в самых разных странах*».

Василий Павлович, для меня так просто Васька, был мною видан «до отъезда» лишь один раз – его он и описывает. Когда, спустя десятилетия, он вошел в мой дом на Садовой-Каретной в Москве – наш разговор буквально начался там, где оборвался в семьдесят втором. И длился до самой его смерти, спасибо Интернету, телефону, скайпу.

Чудесный поэт, переводчик и человек – вот и тебя нет. Ничего. Увидимся. Только одна ошибка в его воспоминаниях есть: никогда я не работал на радио и тем более не вещал на эмигрантов, мое откровенно подпольное общение с ними я не рекламировал – ну, Вася и предположил «примерно такую ситуацию», при которой я мог общаться с эмигрантами и... никуда не уезжать. Меня всего-то выручало наличие реальной родни в Германии, с которой в эти годы (да и до сих пор) у меня не рвались связи. Однако это не совсем «эмигранты»: родившихся в Москве в начале XX века немцев даже в ОВИРе так, думаю, никто не зовет. А «работал» я – точнее, числился, – литературным секретарем члена СП СССР, незабвенного моего учителя Аркадия Штейнберга. Кем я на самом деле «работал»? Лучше уж помолчу.

Однако память вовсе не подвела Василия Павловича. Несколько адресов, а среди них – адрес Валерия Францевича Салатко-Петрище в Рио-де-Жанейро, заметим – адрес ***на португальском языке, не самом простом для тех, кто его не знает***, – я Бетаки продиктовал. И он запоминал адреса, не записывая! Уже через несколько месяцев Перелешин расспрашивал меня в письме – «кто такой Бетаки». Я рассказал, что знал, отношения между ними, насколько мне известно, сложились неплохие, где-то должна храниться их переписка. Только, потомки, учтите: никогда не произносил я в эфир слов: «*Здравствуйте, дорогие соотечественники!*» Перепутал Василий Павлович какие-то мои слова со знаменитой радио-фразой

Александра Галича: «Здравствуйте, мои ***знакомые и незнакомые*** сограждане!» Книга эта – памятник не только Галичу, но и ее составителю – Василию Бетаки. А мне почетно – и все же неловко.

Переписываться нам с Бразилией, конечно, было трудно: каждое второе письмо Перелешина пропадало в желудке «советской почты» (теперь не уверен даже в этом – едва ли бразильская почта работала на высшем уровне). Но терпение у нас было у обоих: меня интересовал прежде всего «бразильский» период жизни Перелешина и то, что написал он в этой стране по-русски между 1952 и 1957 годом, а также с 1967 – по тогдашнее «настоящее время». Это было не очень много, но вернувшийся в литературу поэт стихами буквально фонтанировал. Помимо этого, важнейшим делом считали мы сбор полного, насколько это возможно, наследия Арсения Несмелова (1889-1945): поначалу мы не знали точно ни года рождения его, ни года смерти, да и книги Несмелова у нас составляли полный комплект только один на двоих. Не книги, а больше копии... но нас тогда это не тревожило. Был бы текст. Я переписывал то, что было у меня, он – то, что было у него; попутно мы искали по всему миру – что у кого осталось «помимо сборников». История этих поисков потянула бы на отдельную монографию, но один эпизод в ней настолько колоритен, что рассказать о нем нужно отдельно.

Ради экономии места Перелешин записывал стихи в строку, давая лишь указания на отбивки. А чуть ли не лучшего сборника Несмелова – «Без России», Харбин, 1931 – в СССР я найти не мог. У Перелешина же сборник был, притом подаренный самим автором. Ну, и заработала обычная самиздатская машина: исписанный с двух сторон лист вкладывался в конверт, и «via maritima» – то бишь морем, не авиапочтой, чтобы деньги сэкономить – отправлялся в Москву. Страница могла оборваться на полуслове – я знал, что в следующем письме будет продолжение.

И однажды продолжение взяло да и не пришло. Разрезано на половине оказалось знаменитое ныне стихотворение Несмелова «Агония», о последних днях царской семьи в Тобольске, с изумительным по силе вставным монологом императрицы. Воспроизвожу конец полученного мной письма (собственно, не письма, а пакета со стихами Несмелова – дело было уже в 1972 году).

.... Думала: склонятся снова лбы, / Звон колокольный прогонит полночь, /Только пока разрешили бы /Мужу в Ливадии посадовничать! // Так бы и было, к тому и шло. / Трепет изменников быстро пронял бы, /

И тут текст обрывался. Нам не привыкать: Перелешин послал письмо второй раз – оно явно пропало. Пропало и третье. И четвертое.

Я понял, что письма с продолжением определенно попали под выборочную проверку и отчего-то намеренно конфискуются. Ну, «als sie so, so ich so» (прошу прощения, в романе Набокова на вот таком невозможном немецком изъясняется профессор Пнин, предполагая, что сказал «Раз вы так, то я так»). Так и поступим. Но придется сделать небольшое отступление.

Еще в письме (от 23 мая 1971 года) у Перелешина была фраза-оговорка: «Сегодня надо бы съездить в марочный клуб (благо писем сегодня не было...)». В письме от 27 мая Перелешин дополнил: «Марки я собираю с одиннадцатилетнего возраста. Собираю не весь мир, а избранные континенты и страны, среди которых Россия и СССР. Обрадовался, увидев «картинки» на конверте. Буду радоваться каждый раз».

Радость была вынужденная – на письмо в Бразилию приходилось клеить довольно много марок, а уж клеить – так красивое что-нибудь. Я ходил на Центральный Почтамт, подбирал марки, сам клеил, сам отдавал письмо в окошко. То, что филателисту всегда приятно получить вот такой конверт, я знал не понаслышке: мой отец, Владимир Генрихович Витковский (1903–1991) собирал марки с юности, со времен работы у Маяковского в «Окнах РОСТА». Однако война 1914–1920 семью сильно разделила. Большинство членов клана Витковских, Мычко-Мегриных и Райнбахов откочевала через Ригу в Германию, а мой отец вместе со своей матерью остался в РСФСР: женился, завел сына Александра Витковского (1924–1943, погиб под Старой Руссой), занялся «хранением яблок и винограда» (даже книгу на эту тему издал)... и на всю жизнь придумал себе занятие для досуга – стал собирать марки. Что именно он собирал – я понять так и не смог, но альбомов с марками был полон дом. Отец воевал на фронте с советской стороны, таскал раненых из-под огня с передовой (медалей «За отвагу» у него было то ли три, то ли четыре), аккуратно скрыв свое немецкое происхождение. Он знал немецкий, а это ценилось. Никому и в голову не приходило, что «За Родину! За Сталина!» воюет натуральный московский немец. Отца не спрашивали – а он лишнего умел не говорить. Но об этом, думаю, в другой раз.

И жену Марию (умерла от дистрофии в 1942 году), и сына отец потерял. В уже занятом советскими войсками Крыму ему в приказном порядке «сунули дембель»: он оказался чуть ли не единственным, кто помнил расположение царских винных погребов в Оре-

анде и вокруг. Такой «санитар» ведомству Берии со товарищи даром был не нужен, ему была нужна «царская выпивка». А отец мог ее обеспечить. Отец получил место в «Особторге» (стыдливое послевоенное название Торгсина), прописку в Москве… но, как библейский Иов, остался без жены, без матери, без сына. Ближе «двоюродных» у него родственников не было никого. Отец поступил в точности как Иов: вновь женился на Тамаре Михайловне Сергеевой (1923–1993), как и он, москвичке, но – на двадцать лет моложе него. Сын от этого брака пишет сейчас строки, которые вы читаете. Правда, в шестилетнем возрасте мать прихватила меня и укатила в Томск к другому человеку, к воспитавшему меня «отчиму» Андрею Владимировичу Гербурт-Гейбовичу (1909–1993), так что отец меня в общем-то не воспитывал. Но когда отец в 1968 году отбыл свои четыре в лагере под Ярославлем (за «экономическое преступление, выразившееся во взятках общей суммой на 230 рублей… в пять приемов – чисто хрущевская выдумка), я уже учился в МГУ и жил более-менее один, так уж мне повезло. Со всеми – с отчимом, с матерью и с родным отцом я сохранял лучшие отношения до самой их смерти. Это длинное отступление «о себе» приходится сделать, потому как к Перелешину оно имеет прямое отношение.

В начале 1970-х годов в квартиру на Большой Дмитровке, тогда – улицу Пушкина, где еще жили кое-какие наши троюродные родичи, внезапно пришло письмо из Германии, из города Ханауна-Майне (кто ж не вспомнит строк моего любимого Н. М. Языкова из «Послания Гоголю»: «А я по-прежнему в Ганау / Сижу, мне скука и тоска…») пришло письмо: «Сообщите о судьбе семьи Витковских, Марии и Владимира, по адресу…» Письмо было не совсем на «деревню дедушке»: в этой квартире Витковские в начале 1920-х как раз и жили. А вот подпись под письмом напугала остававшуюся на Дмитровке родню до полусмерти: *Рудольф Райнбах*. О том, что всё семейство Райнбахов отбыло в Ригу в 1918 году, мы знали. Родня перезвонила отцу (все-таки вопрос впрямую их не касался) и отдала письмо (наверняка после этого все перекрестились и руки вымыли). А отец только что вышел из лагеря. У отца только и было всей семьи, что его третья жена, урожденная Антонина Бухрот, да я – уже вполне независимый, мне было года 22 или около того.

Отец перезвонил мне, пересказал все происшедшее и сказал: «Будем отвечать?» Мне и так было ясно, что, простите, «если нельзя спрятать, то надо высунуть». Куда денешь двоюродного брата отца и друга его детства, крупного ученого-химика Рудольфа Райнбаха (1907–1985). «Органы» все равно разберутся и найдут нас, а мы не единственные в СССР, у кого есть родня за границей, тем бо-

лее – обе семьи от одного корня, только одна ветвь обрусела, друга онемечилась. Пропущу подробности: короче, дядя Руди стал в Москве постоянным гостем, когда ежегодно, а когда и два раза в год он приезжал в Москву почти до самой смерти. И постоянно переписывался с моим отцом. Что самое для нас сейчас важное – «Рудольф Альбертович» оказался пламенным филателистом. На этой почве я подсунул ему при первой же встрече адрес Перелешина: лишний контакт никогда не помешает (о другом таком случае рассказывает в своих воспоминаниях Ян Паул Хинрихс, а сколько их было всего – мне и не вспомнить). Кстати, менялись марками Перелешин и мой дядя до конца жизни дяди, а Перелешин слал ему иной раз и пакет всякой экзотики – в подарок моему отцу.

Этот контакт был прочным, надежным, долговременным: родня как-никак. А уж филателисты найдут общий язык сами: к слову: «Рудольфом Альбертовичем» называл моего «дядю Руди» только Перелешин, у нас отчества и вовсе не очень в ходу были (имена старших и следующих сыновей были определены традицией): отец мой тоже был вообще-то не Владимир, а Вольдемар (+ еще четыре имени, и порядок их мне точно не вспомнить), да и сам я «Евгений» лишь потому, что называть сына Генрихом в Москве в 1950 году было самоубийством: вот и передал отец матери записку в роддом: выбирай: «ЕвГЕНий» или «ГЕНнадий». Мать выбрала. Но и брата поэта Валерия Францевича Перелешина (урожденного Салатко-Петрище) тоже по документам звали «Виктор Салатко». Так ли важно имя? («был бы человек хороший», как сказал в известном анекдоте один кирпич другому).

«Als sie so, so ich so»: этим я и воспользовался. Меня любил дядя Руди, а Перелешин, кажется, к этому времени уже даже более чем просто «любил». И я попросил отослать недостающие страницы сборника «Без России» не мне, а в Германию, дяде Руди. Тот переписал в три письма нужные стихотворения от руки (он вообще писал от руки) внутрь своих писем моему отцу – и отправил их в три приема простой почтой. Чем мельче сеть, тем легче она рвется. Вот и проскользнули китайско-бразильские рыбки от Перелешина дяде Руди, от него – моему отцу, а мне оставалось забрать письма.

Вот только теперь и стало ясно, отчего четыре письма Перелешина пропали. **Еще бы им не пропасть!** Предлагаю вниманию читателей то самое, с чего начинался «оборванный текст» очередной страницы Несмелова:

.../ Если бы нечисть не принесло, /Запломбированную в вагоне. // Вот на балконе ***он*** *(из газет / Ведомы речи), калмыцки щу-*

рясь… / И потерялся к возврату след /В заклокотавшей окрепшей буре. // Враг! Не Родзянко, не Милюков // И не иная столицы челядь. / Горло сжимает – захват каков! – / Истинно волчья стальная челюсть.<…>

Короче, сборник «Без России» оказался у меня собран целиком. Счастлив был я, счастлив Перелешин, а мой отец и дядя Руди были довольны, что на старости лет и они, филателисты, на что-то годятся. Не знаю, цела ли переписка Рудольфа Райнбаха и Перелешина (разве что в Лейдене). Но если цела – лежит она у дочери Рудольфа, Глории, скульптора-керамиста, которая поныне живет в Дармштадте. (*Ян Паул, ау!)*

А мы с Перелешиным в итоге собрали полный комплект сборников Несмелова. Позже, на протяжении многих десятилетий, шло собирание его «невошедшего» по всему миру: огромный вклад сделала наш соавтор из Чикаго, Ли Мэн, а в конце концов Владислав Резвый отыскал более сотни стихотворений, опубликованных в 1912-1917 годах в Москве и Петербурге – под собственной фамилией, под множеством псевдонимов, но до «Несмелова» было еще далеко – тот «родился» лишь во Владивостоке весной 1920 года. Этих стихотворений, да и многих более поздних (более 150!) нет даже в капитальном двухтомнике Несмелова, выпущенном в 2006 году во Владивостоке. Надо бы Несмелова издать заново – но сейчас не его очередь. Сейчас пора издать самого Перелешина. Если в Китае – по мнению самого Перелешина – первым поэтом был Несмелов, а вторым – Перелешин, то в Бразилии первым поэтом (возможно, даже более крупным, чем Несмелов) стал Перелешин. И вовсе не только в Бразилии. Он стал – и по сей день остается – самым значительным русским поэтом Южного полушария планеты Земля. Есть слух, что сделала его таковым книга сонетов «Ариэль» (1976)… но не мне тут судить. Эти сонеты создавались по мере нашей переписки в 1971-1975 годах, и я вовсе не думал, что из них сложится «книга». Словом, мое дело рассказывать, что знаю, а судит и оценивает пусть кто-нибудь другой.

Вернемся к первому году нашего письменного общения с Перелешиным, благо письма целы и разобраны – к 1971–1972.

Первое его стихотворение («Перед зеркалом), посвященное мне, вписано в письмо от 27 мая 1971 года. В сборники оно не вошло, так ищите во втором томе, дата под ним – 26.V.1971. Автору, заметим, не было и пятидесяти восьми. А мне, напоминаю, сейчас куда больше. «Бывают странными пророками /поэты иногда…». Трудно сказать с уверенностью, но не этим ли числом нужно счи-

тать день рождения *Ариэля*? «Женей» он впервые назвал меня в письме 1 июля того же года. В 1973 году (22 февраля обращение уже иное: «Мой любимый Женя», через полгода (30 октября) мы находим, обращение меняется вновь: «Мой родной...» И все время сбивался с «Вы» на «ты». Я, однако, памятуя о разнице в нашем возрасте (37 лет), «ты» принял бы спокойно. Но – одностороннее. Я на «ты» не обращаюсь почти ни к кому, памятуя шуточку: «мы с ним на "ты" и на "сволочь"»...

Осенью 1974 года в нашей переписке вынужденно наступил перерыв: письма не шли ни в ту сторону, ни в другую: Перелешин впал в обиду, а в какую и за что – я узнал через четыре года – и прямо от Перелешина. Однако через два года первое, что сделал мой дорогой дядя Руди прямо в коридоре ныне разобранной гостиницы «Интурист» (возле «Националя») – это вынул из внутреннего кармана пиджака и вручил мюнхенский том – «Ариэль». Как я понял в дальнейшем, Валерий (уж буду и я называть его просто по имени) сильно осерчал на меня, что я оставил первую семью и ушел к поэтессе Надежде Мальцевой, которой ныне гордится русская литература (и о которой все, что надо, можно прочесть в русской Википедии). Однако Надежда, увидев мою растерянность по поводу принесенного домой «Ариэля», копнула наш несметный архив, нашла нужный адрес – и написала Перелешину сама. Поэтому вернулась к жизни наша переписка с Рио-де-Жанейро лишь в 1977 году, и первое письмо Валерия от 17 августа обращено только к Надежде.

4-го октября того же года очередное письмо из Рио-де-Жанейро (девятое за два неполных месяца!) начиналось обращением «Дорогие Надя и Женя». А следующее, от 9 октября – привычным «Дорогой Женя». Надежда наши отношения восстановила и... пошла писать стихи. Те самые, которые изданы лишь в XXI веке и составили ее сборник «Дым отечества». Хотя мы с Надеждой расстались в 2002 году, но остаемся лучшими друзьями, и она ждет собрания сочинений не меньше, чем все, кто так или иначе оказался задействован в общении между Москвой и Рио-де-Жанейро: тем более, что именно в конце 1970-х годов у нас появилась на короткое время возможность общаться с Валерием без посредства «советской почты». В 1978 году обращения стали прежними, а 6-м апреля датировано письмо, начало которого стоит процитировать:

«Мой дорогой друг,

Совершенно неожиданно получил сегодня из Кембриджа в Англии письмо Ариэля...»

Тут нет ничего странного: по поручению Ю. П. Иваска в моем доме появился мой дорогой и ныне, увы, покойный друг, Александр

Николаевич Богословский, специалист по творчеству Бориса Поплавского, заплативший за эту свою «специальность» тремя годами ГУЛАГа (меня не притянули к его процессу по случайности: моего телефона не было в записной книжке Богословского; зачем записывать то, что знаешь наизусть как молитву?..) Через Сашу я мог передавать письма на Запад, получать их с Запада, да и книги можно было в небольшом количестве передать. Два года мы жили в этом смысле как у Христа за пазухой, диппочта некоторых (точнее, трех) посольств готова была нам помочь максимально насолить советской власти. Ну, а мы, само собой, готовы были этому желанию соответствовать. Я был защищен лучше Саши: и член Союза писателей, и... эпилептик, да еще и – не падайте в обморок – специалист по ленинской теме в мировой поэзии. Ничего особенного: в 70-е годы я собирал (но сам не переводил) псалмы, которые писали Ленину во всем мире. Но у монеты, кроме аверса, есть и реверс. Кончилась советская власть, а я вовсе не перестал быть специалистом в этой области. В России, США и Израиле очень охотно печатают мои переводы стихотворений о Ленине, созданные в 1938–1954 году лучшим канадским поэтом, «Киплингом холодной страны», Робертом Сервисом (1874–1958). Вот за эти переводы мне при советской власти дали бы не три года, а куда больше. Но я – филолог, я всего лишь продолжаю изучать начатую тему. Псалмы больше никому не интересны, зато стихи Сервиса о ругани теней Ленина и Сталина в ставшем коммуналкой мавзолее многим очень по сердцу (Наверное, есть и те, которым «не по душе», только вот есть ли у них душа, или давно продана?). Словом, связываться с эпилептиком-лениноведом аж до 1986 года не рисковали. А когда на допросы все-таки стали вызывать – оказалось поздно. Потому как тем, кто вел допросы, очень скоро стало пора спасать собственную... ну, шкуру, шкуру, ничего другого я в виду не имел.

Только Саша Богословский тихо угас, ушел из жизни, успев подготовить к печати трехтомник любимого Поплавского. Он и сейчас у меня на стеллаже возле стола – как память о Валерии, о Саше. И – о связавшем нас «через свои каналы» Юрии Павловиче Иваске, чья поэзия все не дождется никак нормального издания в России.

Однако письмо от 6-го апреля 1978 года наконец-то было расковано, наконец-то лишено тошнотных эвфемизмов. Может быть, и не важно это теперь, но два абзаца процитирую.

«О статье “Скрытый шедевр” С. А. Карлинского я Вам писал (и статью посылал). Статья на шести неполных страницах журнала “Улица Христофора” (gay). Есть в ней ссылки на Георгия Шувалова (вероятно, Геннадия Шмакова), но не в этом дело, а в том, что о

моем Ариэле С. А. К. написал опрометчиво, сделав из него левшу, в чем я далеко не уверен. Спорить уже поздно: статья напечатана. Другая копия послана дяде Р. А. А получена ли?» [*Кстати: статью мне дядя Руди так и не переслал, считал, что она может «повредить племяннику». Ошибался дядя Рудольф, чудесный человек... но быстро старел. Рад бы о нем десяток страниц написать, да где место взять?..*]

«Левша» – постоянный эвфемизм Перелешина (и не только его) для того самого, что давно уже называется по-русски «гей». Но отвечу: я-то ведь не Ариэль. Мне нужно представить, что о своем Ариэле думал Перелешин. Тот Ариэль, конечно, был гей, да еще и вечно в кого-нибудь (своего пола) влюбленный. Совесть велит и мне прикинуться геем, подыграть партнеру... но я же не «Доктор Кто» из знаменитого английского телесериала, переродиться не могу. Ариэль исчез с тех пор, как в начале 1990-х Валерий перестал узнавать окружающих. Кем ни прикидывайся, а в храме, в исповедальне все равно скажешь правду. Правда же проста: если бы я родился геем, я был бы в точности тот самый Ариэль, какого придумал Перелешин. Только я-то родился *собой*. В любом случае – как пела некогда моя почти ровесница Глория Гейнор, «I am what I am». (Правда, кто бы мне самому на седьмом десятке объяснил – каков же я есть? Как-то по сей день все не было времени задуматься.)

От себя лишь печально добавлю, что с замечательным переводчиком Геннадием Шмаковым знаком не был: мы жили в разных городах. Сколько же «невстреч» оставляет нам уходящая жизнь. Но... напоминаю, мой стакан всегда наполовину полон, никак не иначе. Так останется до конца дней моих, а дальше не мне решать.

Но вернусь к тому же письму:

«Мой брат однажды опять бранил книгу «Ариэль» – «Порнография!» Вспоминал переполох (слова Т<амары> М<ихайловны> [т.е. моей матери] и Аллы <Шараповой, моей первой жены>): «Скажите ему (мне то есть), чтобы *таких* стихов не писал». А я слушал – и жалел его (вместе с его викторианством). Сколько воды утекло с тех пор под мельничные колеса. И смотрел я на ворох книг, полученных от моего Ариэля (и с какими надписями!»)

По мне – Перелешин все понял правильно. И причину, по которой я сбежал из первой семьи (не хочу о ней ничего плохого писать, ибо если о мертвых – только правду, то о живых – или хорошо, или ничего: такой вариант древней формулы я выбрал для себя). И понял, что надписи мои очень большому поэту Валерию Перелешину были совершенно искренними. Дело никак не в сексуальной ориентации, дело в поэзии, а она инструкциям о том, как

писать, как не писать, не подчиняется. Куда более неловко читать теперь в письмах Перелешина упоминание о том, как в середине 1930-х он пытался «лечить себя женщиной», Е. А. Генкель, которая была старше него на тринадцать лет, – что там у них вышло, знать не знаю, но в итоге поэт пошел в монахи. Впрочем, как пошел, так и ушел: «голубой монах» не столько противоестествен, сколько не имеет права на уважение. Этого поэт не хотел.

Перелешин все больше «открывался», как говорят геи, «готовился выйти из чулана». Он это и сделал после смерти матери в 1980 году, но до тех пор у нас с ним оставалось два года свободной от цензуры и «зоркого ока» переписки. Перелешин поставил задачу: переслать мне ВСЕ свои стихи и переводы, в том числе и такие, от которых отрекался начисто и не желал их печатать никогда (даже написанные в детстве, даже совершенно непристойные, написанные в период «молчания» по-английски, словом – все). У меня и впрямь оказалось такое, чего здесь нам печатать не захотелось, стихотворения, написанные Валерием в детстве. Пусть лежат в архиве.

Зато Валерий непременно передавал приветы Надежде Мальцевой, моему учителю Аркадию Штейнбергу, моей приятельнице, поэтессе Ирине Озеровой, вернувшейся в Питер (Боже, какой ценой!..), Марии Веге, конечно, Саше Богословскому, а также пражско-парижскому поэту Алексею Эйснеру, с которым в эти годы мне не без труда удалось познакомиться в Москве, чьим «Человек начинается с горя» Перелешин бредил еще в Харбине. Написал Эйснер, к сожалению, очень мало, едва хватило на небольшую книжку, которую мы в «Водолее» в 2005 году выпустили. Потом еще стихи нашлись, надо бы переиздать книгу в расширенном виде – да только вот слишком много всего *надо* – а нас с годами все меньше. И все меньше живых свидетелей ушедшей эпохи. Сыну я всегда повторяю: если надо идти по литературным делам к десятку стариков, выбирай сперва того, кто старше. А то опоздаешь. Надо сказать, совет помогает.

Всего, увы, не перескажешь. Моя переписка с Перелешиным даже с пробелами, лакунами и изъятыми повторами составила бы целую книгу. А мне ведь надо рассказать о многом. Чего другие не знают – или не рискуют писать: о Перелешине последних 10-12 лет, когда – благодаря свалившейся с неба американской «благотворительной пенсии» он вдруг стал финансово независим от брата. И о шоке, который испытал брат, когда Перелешина стали печатать в СССР, в 1988–1990-х годах. Но буду писать, пока силы есть, и пока редактор не скажет «брек». А ведь скажет!

Наконец, 21 мая 1978 года, посоветовавшись с Хаиндровой, Перелешин заложил мне самого себя на 100% (и очень облегчил наши дальнейшие отношения). И тут цитата необходима. Наперед скажу: под псевдонимом «Александр Каюрин» Перелешина очень хотел печатать пресловутый Комитет по связям с зарубежными соотечественниками (Б. Харитоньевский, 10). А я, юный поэт-переводчик, сдуру попался на этот крючок – и по их «просьбе» должен был уговорить Перелешина дать для их изданий – ну, хотя бы переводы из Камоэнса и Ли Бо. А там уж они сами его обработают не хуже, чем бедную Марию Вегу. (Кстати, так же ловили и Лариссу Андерсен, но она, по словам Перелешина, «прикинулась дурочкой»). Я жил в Москве, комитет находился в Москве, и за мной явно прислеживали. Вероятно, только моя эпилепсия и отвела от меня их интерес.

Но Перелешин был далеко, и продолжал, видимо, думать – а не держу ли я за пазухой все ту же идею «каюринизации». К 1978 году, признаться, я о ней основательно позабыл. Итак, вот цитата из упомянутого письма:

«Наш “разрыв” в 1974 году только теперь понятен до конца. Именно такое предположение (в связи с Каюриным) я и высказывал тогда в письмах Л. Ю., но она это предположение решительно отвела: нет, Ариэль сам не пишет по лени или небрежности (*… не писал-то я вообще никому, знаю, что за мною следят довольно зорко, я ждал, что подполковники из комитета проворуются, на их место придут другие, – собственно, так оно и случилось; не зря меня учили зеки Штейнберг и Петров*: “***Обожди, чтобы следователя убрали – следующему будет не до тебя, – да так и случилось***”. – *Е.В.*). Когда в первые дни ноября я получил сообщение о переменах в Вашей жизни, сложил два и два, и сделал совершенно ошибочный вывод. Горьких стихов, заканчивающих книгу “Ариэль”, не возникло бы, если бы тогда Каюрин не воскрес, получилось бы очень хорошо, но “разрыв”я переживал мучительно. То, что этот разрыв не был окончательным, подтверждает мою гипотезу, высказанную в “Звене” и многих других сонетах»…

О мертвых – см. выше, но лучше уж – ничего. Как раз моя первая семья любой ценой хотела моего разрыва с Перелешиным (даже перечислять не хочу, *что именно* я теперь отыскал в старых бумагах). Но результат получился обратный – я порвал с первой семьей и занялся литературой русского зарубежья, при случае помогая друзьям: передавал на запад то «Хронику текущих событий», то… кому надо, тот знает, что именно. Но это история обо мне, а не о Перелешине. Так или иначе, приблизительно в седьмую годов-

щину «рождения» Ариэля я помирился с Перелешиным, он помирился со мной, и ссор больше не было. Был лишь перерыв в общении в андроповские времена, но уж больно густой тогда над страной висел запах лесоповала. Лучше было отсидеться в своем углу. А моим углом в СССР был поэтический перевод, да к тому же (в стол) я написал два первых тома своего первого романа «Павел II». Роман вышел в 2000 году в АСТ, о советской власти тогда уже стали забывать. Но и Перелешина, кроме как по антологиям, печатать мне было пока что негде.

В поздних письмах он обращался ко мне даже «Мой дорогой Женя-Ариэль». Или над «Мой бесконечно любимый», возле даты приписывал: «Под созвездием Ариэля». Я в его сознании окончательно слился с тем образом, который приходил к нему ночами. Я мог лишь молчать. Если от такой ситуации возникали его стихи – остальное меня не касалось. Я все принимал как факт. Единственное, что я – в отличие от моих друзей и близких – точно чувствовал, что советской власти *недолго осталось*. Единственный, кто говорил о том, что предчувствует свое возвращение в Россию – притом не книгами, а при жизни – был Александр Солженицын. Его слушали – и ему не верили. А я молчал, и осторожно готовился к переменам. Не зря, как жизнь показала. Перелешин считал, что советской власти придет конец к 2040 году. Он ошибся на полвека, но, к счастью, в лучшую сторону.

(Продолжение и стихи Валерия Перелешина в следующем номере.)

Ли Мэн

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ[1]

Моя докторская диссертация, защищенная в Чикагском университете, была посвящена литературе русской эмиграции в Китае. Я выбрала эту тему по совету моей преподавательницы русского языка Иссы Заубер, рекомендовавшей написать диссертацию о «чем-нибудь особенном».

Как-то я рассказала Иссе, что не знала о существовании русской эмигрантской художественной литературы в Китае, пока несколько лет назад не натолкнулась в библиотеке на сборник стихотворений под названием «Русский поэт в гостях у Китая».

– Так и пишите об этом, – немедленно сказала Исса.В то время мое знакомство с русской эмигрантской литературой ограничивалось этим сборником, но после слов Иссы я поняла, что хочу заниматься именно этим. В то время я знала только, что в первой половине XX века в Китае жили «белые русские эмигранты». Даже среди моих пекинских преподавателей были их дети. Но как они попали в Китай, почему среди 56 народов, проживающих в Китае, есть и русские – об этом я никогда не задумывалась и никого об этом не спрашивала.

После разговора с Иссой я пошла в университетскую библиотеку выяснить, нет ли в электронных каталогах библиотек Северной Америки русских изданий, выходивших в Китае. Мне сказали, что теоретически это возможно, но на деле найти ничего не удалось. Тогда я обратилась непосредственно к библиотекарю славянского отдела Джун Фаррис, которая, к моему удивлению, сразу же отвела меня в зал, где обнаружился каталог зарубежной русской периодики, содержавший сведения о том, где выходил тот или иной журнал.

Мне удалось выяснить названия нескольких журналов, издававшихся в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Дальнем и Ухане в 20-40 годах двадцатого столетия, однако это были всего лишь названия, а не художественные произведения.

Тем не менее постепенно мне удалось найти воспоминания нескольких беженцев, покинувших Россию во время гражданской

1 Перевод с китайского – автора.

войны, и следы их жизни на Дальнем Востоке. Постепенно в голове стала складываться картина из разрозненных фрагментов.

Следующим этапом стал поиск исследователей, занимавшихся проблемой русских беженцев на Дальнем Востоке. Я начала рассылать обычные и электронные письма и получила несколько ответов с названиями книг и именами авторов воспоминаний русских беженцев, но их было очень немного. Тогда я еще не знала, что исследованиями этого вопроса уже занимался профессор Хэйлунцзянского университета Дио Шаохуа. Не знала я и того, что в Харбине сохранились газеты, которые издавали русские эмигранты, и того, что профессор Ван Чжи-чжэн из Академии общественных наук Шанхая выпустил монографию «История русских эмигрантов Шанхая».

Естественно, я думала, что если нужные мне книги и журналы издавались в Китае, то искать их надо именно там, например, в какой-нибудь маньчжурской библиотеке, среди стопок старых бумаг, однако на деле все оказалось не так просто. Меня спрашивали: «А что Вы будете делать, если найденное окажется никому не нужным мусором»? Но я была убеждена, что для того, чтобы оценить произведение литературы и понять, стоит ли его изучать, прежде всего его необходимо найти.

Мне удалось получить грант, и в начале лета 1996 года я поехала в Харбин. А потом начались путешествия по всему миру. Я побывала в Хабаровске, Пекине, Шанхае, Сан-Франциско, Торонто, Вашингтоне, Амхерсте, на Гавайях, в Москве, Санкт-Петербурге и голландском городе Лейдене. Я и не представляла, что в поисках материала для диссертации мне придется брать интервью у глубоких стариков, общаться с учеными четырех континентов, читать личные письма эмигрантских авторов, и уж конечно мне не могло прийти в голову, что я буду переписываться с государственными организациями России и США, в первую очередь с ФСБ и ФБР.

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ И ХАРБИН

В настоящее время одна из самых известных достопримечательностей Харбина – собор Святой Софии, отремонтированный и заново открытый в 1997 году. За год до этого, когда я ездила в Харбин, его «русские черты» были еще видны, но постепенно исчезали с каждым днем. Например, одно бледно-желтое здание русского стиля, находившееся в самом южном конце бывшей Китай-

ской улицы, было снесено при мне, буквально «у меня на глазах». Тогда в Харбине повсюду сносили старые, в том числе и русские дома, а рядом строили новые современные здания. Незадолго до моего приезда профессор Архитектурного университета Харбина Чжан Хуайшэн издал монографию со многими замечательными фотографиями «Искусство архитектуры Харбина». Он мне сказал, что большинство фотографий было снято им за последние годы, но к выходу книги многие из запечатленных на них домов исчезли. Мне показалось, что Харбин почти не отличим от других знакомых мне китайских городов.

И тем не менее у Харбина есть свои отличительные особенности. Во-первых, в нем находилась и находится единственная в то время в Китае православная церковь. В середине 1990-х годов священником церкви был китаец Чжу Шипу. Съездив в одно дождливое воскресенье на церковную службу, я увидела, что прихожан собралось совсем немного: двое-трое русских и несколько человек, бывших полурусскими, полукитайцами. После службы ко мне подошли две старушки и начали рассказывать о жизни русских эмигрантов и их детей в Харбине. Неожиданно в разговор вмешалась женщина средних лет и строго спросила: «Ты откуда? Что тут делаешь? Ты православная?» Когда я ответила, что нет, она скривилась и сказала, что нельзя беседовать с христианами в церкви. Отвечать на мои вопросы о жизни и культуре русских харбинцев она категорически отказалась.

До поездки в Харбин я читала воспоминания эмигрантов, в которых говорилось, что русское кладбище города уничтожили во время «культурной революции», но у входа в церковь одна полурусская женщина сказала мне, что это не так, и что кладбище было перенесено на окраину города, на кладбище Хуаншан. Я решила убедиться в этом, увидеть своими глазами, и после службы поехала туда на автобусе. Моим гидом была дочь профессора Хэйлунцянского университета Жао Лянлуня. Директор кладбища Лю Дюнь сказал нам, что бывшее русское кладбище – так называемое Новое кладбище – было перенесено сюда в 1959 году, то есть еще до «культурной революции», и что большинство могил на кладбище Хуаншан не было разрушено хунвэйбинами и существуют до сих пор. За последние годы на могилы своих родственников не раз приезжали русские бизнесмены. На холмах находилось около 1200 могил русских православных, неподалеку от которых было расположено еврейское кладбище (около 800 могил). На некоторых надгробных памятниках были фотографии, а имена захороненных позднее были написаны по-китайски.

Профессор Жао Лянлунь нашел для меня уведомление городских властей 1959 года относительно перемещения кладбища, из которого я узнала, что причиной перемещения стало расширение города. Профессор Жао помог мне уточнить и то, что на кладбище Хуаншан были перемещены могилы только тех лиц, родственники или знакомые которых зарегистрировались у городских властей, остальные же, по решению властей, были уничтожены. Вначале я решила, что все это соответствует истине, но в 1997 году мне довелось встретиться в Москве с 84-летним русским поэтом-эмигрантом из Харбина. Он рассказал мне, что его мать умерла в Харбине, была похоронена на Новом кладбище, но ее могила исчезла. Его слова напомнили мне о том, что в 1996 году я встретилась в Калифорнии с внуком другого русского эмигранта, дважды посещавшим Харбин в 1980-х годах, чтобы найти могилу дедушки, но так ее и не нашедшим. Вспоминая эти встречи, я поняла, что история русского кладбища далеко не так проста, как я представляла.

В самом центре Харбина, в городском Парке культуры, на месте бывшего Нового кладбища, все еще похоронены русские – это советские солдаты и офицеры, погибшие во время Второй мировой войны в боях с японской армией. Ворота на кладбище крепко закрыты, но через щель между створками виден памятник с эпитафией по-русски: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик!» Другой такой же памятник 1945 года стоит недалеко от вокзала рядом с Провинциальным музеем. Эпитафия на этом памятнике написана на двух языках: русский текст тот же самый, а китайский гласит: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Китая!» Я видела, как две школьницы копировали китайскую эпитафию, и подумала, что они не знают русского языка. Как-то я спросила одного харбинского профессора, почему русский и китайский тексты различаются, и он ответил: «Тогда мы подчеркивали одну дружбу между Китаем и Советским Союзом и поэтому закрыли один глаз...».

Со священником харбинской православной церкви отцом Григорием (в миру Чжу Шипу) я встречалась дважды, первый раз в церкви, второй – во дворе за церковью, около его кабинета. Отец Григорий – высокий, седовласый мужчина с низким голосом. К моему большому удивлению, он говорил по-китайски с чистым пекинским произношением. Наша вторая встреча произошла в будний день, поэтому он был в обычном костюме, а не в белой рясе. Он сказал, что родился в Пекине и принял право-

славие в детстве из-за бедности семьи, что служил в церкви при Православной миссии, приехал в Харбин в начале 1950-х годов и остался тут навсегда. Я вспомнила, что русский поэт Валерий Перелешин, когда-то дьякон Герман, также служил в Православной миссии, и спросила отца Григория, не помнит ли он его. Отец Григорий ответил, что помнит, но не очень отчетливо, так как в то время он был совсем юным, и посоветовал мне поехать в Пекин и узнать о дьяконе Германе у другого православного священника, Ду Лифу, который живет недалеко от бывшей Миссии и на много лет его старше.

ИСПЫТАНИЯ В ПЕКИНЕ

На территории бывшей Миссии находится посольство Российской Федерации. Сейчас этот район перегружен машинами и автобусами, но в середине 1990-х годов он выглядел почти таким же, каким, как я помню, был четверть века тому назад – тихим, с многочисленными аллеями и невысокими домами. По указаниям отца Григория я нашла дом священника Ду Лифу и не без труда узнала от соседей, что он недавно переехал в новый дом. Потом, через одного его родственника, я нашла его дочь, которая сказала мне, что отец болен раком, ему только что сделали операцию, и к нему не допускают посетителей.

Той же осенью я планировала поехать в Шанхай для сбора материалов о русских эмигрантах и по дороге посетить Нанкин, чтобы встретиться с переводчиком русской поэзии Ге Баоцюанем, бывшим коллегой Перелешина, работавшего для ТАСС в Шанхае в 1940-х годах. Ге Баоцюань перевел «Двенадцать» А. Блока на китайский, причем Перелешин ему помогал. Мы с Ге Баоцюанем когда-то были коллегами в Институте иностранной литературы Академии общественных наук Китая, и я слушала его лекцию о «Капитанской дочке» Пушкина в студенческие годы, но никогда с ним не общалась.

Другой бывший коллега, главный редактор журнала «Мировая литература» Гао Ман, узнав о моем плане заехать в Нанкин, посоветовал сначала узнать о здоровье Ге Баоцюаня, а потом решить, поехать к нему, или нет. Но, к своему удивлению, Гао Ман нашел только адрес, а не домашний телефон Ге Баоцюаня, и мне пришлось послать ему телеграмму от имени Гао Мана с просьбой позвонить. Тем же вечером супруга Ге Баоцюаня позвонила Гао Ману и спросила с тревогой в голосе: «Что-то случилось?» В сере-

дине 1990-х годов у каждой китайской семьи в городах был телефон, а телеграммы стали большой редкостью и поэтому могли вызвать удивление и даже панику. Что касается моего плана, супруга Ге Баоцюаня сказала, что он совсем плох и практически не может говорить. Я очень пожалела, что не расспросила его о русских эмигрантах в Китае, пока он был здоров, но я тогда еще не знала ни о Перелешине, ни о русской эмигрантской литературе.

После всех перипетий я поняла, что люди, которых ищу, уходят с лица земли и свидетелей жизни русских эмигрантов в Китае остается все меньше и меньше.

ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Чтобы собрать материалы о жизни и деятельности Перелешина в Шанхае и его работе по переводам с китайского, я взяла телефонные интервью у переводчика русской литературы Цао Ина и эксперта по классической китайской поэзии «Чу Ци» Вэн Хуайша. Гао Ман рассказал мне, что в сороковых годах Цао Ин работал в шанхайском отделении ТАСС, то есть был коллегой Перелешина. Связаться с Цао Ином оказалось непросто. Сначала через Гао Мана, а потом напрямую я послала ему письмо с вопросами в Шанхай, но долгое время не получала ответа. Тогда Гао Ман позвонил Цао Ину и узнал, что его письмо, адресованное мне, было возвращено американской почтой, так как он указал неправильный адрес. Цао Ин сохранил это письмо и переслал его Гао Ману, а тот переслал мне. Таким образом, оно дошло до меня только через два года после того, как было написано. Затем мне потребовалось уточнить доходы служащих ТАСС в китайской валюте, и я позвонила Цао Ину домой. Он только что прилег после обеда, но немедленно поднялся и терпеливо ответил мне на вопросы о ситуации в Шанхае 1940-х годов. Говорил тихо и медленно, отвечал уверенно, если хорошо помнил то, о чем я его спрашивала, отвечал «не помню», если что-то забыл.

Вэн Хуайша был старше Цао Ина по крайней мере на десять лет, но говорил громко и ясно. Я позвонила ему потому, что Перелешин перевел «Ли Сао», а Вэн Хуайша был экспертом по творчеству автора «Ли Сао», древнекитайского поэта Цюй Юаня. В свое время «Ли Сао» перевела на русский язык и Анна Ахматова, которая вообще не знала китайского языка. В работе над переводом ей помогал русский дипломат Н. Федоренко, с которым какое-то время общался в Шанхае и Перелешин. Перелешин презирал Фе-

доренко и считал свой перевод «Ли Сао» гораздо лучше ахматовского. Тем не менее, сравнив оба варианта перевода, я увидела, что хоть Перелешин и был уверен, что знает китайский язык гораздо лучше Федоренко, ошибок в переводе он наделал ничуть не меньше. Кроме того, перевод Федоренко и Ахматовой сопровождался подробными комментариями о китайской истории и культуре. Я недоумевала: если китайский Федоренко был действительно так плох, как говорил Перелешин, как же он мог так хорошо понимать классическую поэзию «Ли Сао», которую нелегко понять и современным китайским читателям? Прочитав случайно в газете воспоминания Федоренко, я узнала, что во время Второй мировой войны он работал дипломатом в тогдашней китайской столице Чунцине и изучал «Ли Сао» с помощью Вэн Хуайша.

Вспоминая о том, что было шестьдесят лет назад, Вэн Хуайша разволновался и рассказал, как он читал «Ли Сао» Федоренко. Он сказал откровенно, что не знает, до какой степени Федоренко понял и запомнил его слова, но его чтение, безусловно, произвело на Федоренко глубокое впечатление, о чем он и пишет в своих воспоминаниях. В конце телефонного разговора Вэн Хуайша сказал: «В следующий раз, когда ты приедешь в Пекин, поучи меня русскому языку, а я почитаю тебе «Ли Сао».

ИНТЕРВЬЮ СО СТАРШИМИ КОЛЛЕГАМИ

В начале 1998 года я нашла в Ленинской библиотеке русскую шанхайскую газету начала 1950-х годов «Новая жизнь», на которой стояло имя издателя: Чжэнь Бин-И. В свое время мы с ним работали в Институте иностранной литературы, однако, разговаривать нам не довелось. Мне нужно было узнать как можно больше о культурной жизни русских и советских жителей Шанхая второй половины 1940-х годов, и я решила к нему обратиться. В 1998 году Чжэнь Бин-И был уже на пенсии. В 1990-х годах позвонить из Москвы в Пекин было нелегко, поэтому я никак не могла с ним связаться. Совершенно случайно выяснилось, что мой отец и Чжэнь Бин-И были знакомы. Я попросила отца написать письмо и спросить о том, что меня интересовало.

Оказалось, что Чжэнь в самом начале 1950-х годов переехал в Пекин на новую работу и никогда не слышал, что русская газета называла его своим издателем. Несмотря на это, он рассказал мне о культурной жизни русских эмигрантов в Шанхае все, что ему было известно.

Другим старшим коллегой, у которого я решила взять интервью, был бывший директор нашего института Е Шуйфу. Он перевел роман Фадеева «Молодая гвардия», прочитав который, я впервые узнала это имя. Когда я поступила в аспирантуру Института иностранной литературы, он был его директором, но общаться с ним мы начали только после того, как я окончила аспирантуру и стала сотрудником института. В то время мои коллеги коллективно работали над трехтомной «Историей советской литературы», Е Шуйфу же был главным редактором. Мне поручили составить приложения. Я жила недалеко от дома Е Шуйфу и однажды съездила к нему на велосипеде за рукописью. Через тринадцать лет, в жаркий летний день, я опять пришла к нему для того, чтобы узнать о культурной деятельности издательства «Эпоха» в Шанхае. Е Шуйфу пил чай, но мне предложил кока-колу. Он подробно рассказал об отношениях между китайским и русским издательствами «Эпоха», китайцами и ТАСС, беженцами-белогвардейцами и советскими гражданами Шанхая. Я была поражена его памятью. Из его рассказа я также узнала, что харбинский и шанхайский русский поэт Николай Светлов был его учителем русского языка. Ранее один знакомый китайский редактор говорил мне, что Перелешин учил его русскому языку в Шанхае. Думаю, что таких русских эмигрантов в Шанхае было немало. В тот день, когда я была в гостях у Е Шуйфу, я взяла с собой фотоаппарат и сфотографировала его. Он выглядел замечательно. Когда мы прощались, он вдруг сказал: «Обязательно приходи ко мне еще раз!» В тот же момент у меня возникло зловещее предчувствие. Через несколько месяцев я узнала, что Е Шуйфу умер от какого-то острого заболевания.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США – ТРЕТЬЯ РОДИНА РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ

Практически все русские эмигранты в течение 1940-1960-х годов покинули Китай. Они вывезли с собой почти все ими изданное, так что большую часть их книг можно найти только за рубежом. Осенью 1996 года я поехала в Беркли, так как в библиотеках Калифорнийского университета хранится более трехсот книг и большое количество периодических изданий. Только в Беркли я поняла, что в зоне залива, где находится этот город, осела большая часть русских эмигрантов, покинувших Китай. Русские эмигранты из Европы поселились в основном на восточном побережье США,

а те, кто приехал в Соединенный Штаты непосредственно из Китая или через Южную Америку – на западном.

Несколько профессоров Беркли приехали из Харбина и называли себя «харбинцами». Одним из них был Николай Рязановский – историк, автор учебника «История России», которым пользуются во многих американских университетах. Его отец, Валентин Рязановский, был профессором и ректором Юридического факультета в Харбине, сам же он родился в Харбине. Когда я приехала в Беркли, Рязановский только что вышел на пенсию. Он пригласил меня встретиться в кафе неподалеку от его кабинета, сел за столик и сразу начал читать наизусть стихотворения харбинского поэта Арсения Несмелова. Рязановский сказал, что покинул Харбин в возрасте двенадцати лет, через два года переехал с семьей в США, окончил американский университет, говорил на трех языках, но никогда не забывал Несмелова. Русский оставался для него родным языком, а русская поэзия – частью жизни. Кроме того, он выразил сожаление, что не учился в детстве китайскому языку. В то время я приняла его слова за желание сделать мне приятное. «Было бы куда лучше, если бы ты приехала на десять лет раньше, многие из Харбина были тогда еще живы», – добавил он.

Позже я слышала эти слова и от других русских в Беркли. Вторым человеком, который сказал мне то же самое, был профессор-экономист Григорий Гроссман. Он родился на Украине и приехал с родителями в Харбин, когда ему был всего год. Человек скромный и смиренный, Гроссман относился ко всем бывшим эмигрантам одинаково. Это он рекомендовал мне сборник очерков Наталии Ильиной «Дороги и судьбы», несмотря на отрицательную реакцию многих эмигрантов на ее роман «Возвращение». Гроссман спокойно рассказывал мне о своей встрече с Ильиной в Москве в начале 1990-х годов. Я думала, что отношение к Ильиной объясняется его высокой оценкой ее литературного дара. Но, возможно, дело было в том, что возмущение других эмигрантов он не разделял всего лишь из-за того, что был слишком молод, когда покидал Харбин. Как и Рязановский, Гроссман жалел, что не выучился китайскому, пока была возможность. Те же самые слова я услышала еще от одного семидесятилетнего человека, и это заставило меня поверить, что все они говорили искренно.

Профессор русской литературы Семен Карлинский – третий «харбинец», с кем мне довелось встретиться. Тогда я ездила в Беркли как аспирант по обмену, и поэтому формально мне был нужен «наставник». Я знала, что Карлинский из Харбина и преподает на кафедре Славянских языков и литературы в Беркли, поэтому ре-

шила написать письмо с просьбой быть моим «наставником». Помощник Карлинского ответил мне, что профессор уже на пенсии и выполнить моей просьбы не сможет. Профессор Маклин, коллега Карлинского, ставший моим «наставником», с помощью которого я смогла поехать в Беркли, тоже был пенсионером. В Беркли я решила, что надо пойти навестить Карлинского, но долго не могла решиться. Наконец, я позвонила, но каждый раз либо его не было дома, либо он спал. В конце концов, мы все-таки встретились, даже дважды. В первый раз беседовали часа два, но оба вели себя настороженно. На второй раз его отношение ко мне сильно изменилось. Он много говорил, даже читал наизусть китайские детские стишки, которые выучил в детском саду в Харбине. По-китайски он говорил с сильным акцентом, так что ему пришлось прочитать стихи трижды, прежде чем я его поняла. Он рассказывал о войне, о том, как служил после войны в американской армии в Германии, как изучал творчество Цветаевой, о соседской китайской девочке в Харбине. Маклин рассказывал мне, что Карлинский пишет воспоминания. Когда я спросила Карлинского, когда он собирается их опубликовать, он ответил: «Я их не окончил. Остановился на том моменте, когда наша семья переехала в США». На мой вопрос почему, он ответил кратко: «Маме Америка не нравится». Карлинский рассказал, как с друзьями помог Перелешину опубликовать в США автобиографическую «Поэму без предмета», как переписывался с ним, как добился для него маленького, но постоянного гранта от одного нью-йоркского литературного фонда. Как известно, Перелешин в этой поэме писал о своем гомосексуализме и не надеялся опубликовать ее при жизни, а поэтому был в ней вполне откровенен и благодаря этому поэма имеет большое историческое значение.

Во время встречи Рязановский пригласил меня посетить православную церковь в Беркли. Люди в ней оказались не такими консервативными, как в Харбине. Они здоровались со мной, просили меня как посетителя пожертвовать на церковь и пригласили в столовую на обед. Там Рязановский познакомил меня с двумя русскими. Один из них – Константин Долбежев – был сыном последнего Генерального консула Российской империи в городе Чугучак в провинции Синьцзян, второй – Владимир Шкуркин – внуком синолога Павла Васильевича Шкуркина из Харбина. Долбежеву было уже за девяносто. Он сказал, что полностью забыл китайский язык, которому учился в молодости. В этот день он подарил мне свои неопубликованные воспоминания. Знакомство со Шкуркиным оказало огромное влияние на написание моей дис-

сертации. Родители Шкуркина приехали в США из Харбина, сам он родился в Сиэтле, служил в американской армии во время корейской войны, стал инженером по окончании университета, а в 1990-х годах вышел на пенсию. Человек с большим сердцем, он всегда готов был кому-нибудь помочь. Он сказал, что в его семейном архиве хранятся материалы дедушки, отца и дяди, и пригласил познакомиться с этим архивом. Я побывала у него несколько раз и нашла в его архиве переписку между Перелешиным и дядей Шкуркина Петром Лапикеном, харбинским писателем и приятелем Перелешина. Из писем мне стала понятна настоящая причина, почему Перелешин в 1946 году снял рясу и вышел из шанхайской церкви. Покинув Беркли, я долго переписывалась со Шкуркиным, о чем я расскажу чуть ниже.

Последним человеком, у которого я взяла интервью в Калифорнии, был брат Перелешина Виктор Салатко. Из Беркли до его дома – два часа езды на машине. Виктор эмигрировал в США в конце 1930-х годов и служил во время Второй мировой войны на Аляске. Как выходец из России, он попал на Север. «Если бы меня послали служить на Тихий океан, я бы не вернулся», – добавил он. Когда я была у него в гостях, ему был 81 год, он был разговорчив и достаточно откровенен. По профессии Салатко был инженером. В Харбине он писал стихи. На мой вопрос, почему он бросил заниматься поэзией, ответил просто: «За строчку платили пять копеек, так что на гонорар за одно стихотворение можно было купить от силы буханку хлеба, а как же на это жить?» В начале пятидесятых он купил за 350 долларов визы в Бразилию для матери и брата, а потом сам долгие годы работал в этой стране на одну американскую компанию, чтобы быть с родными поблизости и материально им помогать. Перелешин в переписке с друзьями жаловался, что Виктор был против того, что он пишет стихи, требовал от него не писать по-русски, и что читать Пушкина ему приходилось тайком. Но Салатко считал свою помощь семье огромной: «Я фотограф семьи. Все фотографии мамы и Валерия сделал я». Кроме ежедневных расходов, он оплачивал лечение брата, из-за плохого зрения трижды попадавшего под автобус. Не мне судить об их отношениях, но думаю, что и без помощи Виктора Перелешин с матерью сводили бы концы с концами. Лишь на одну тему Виктор не хотел говорить – о гомосексуальности Перелешина. Во время нашей беседы Виктор сказал, что нашел после смерти Перелешина в архиве брата толстую ученическую тетрадь, в которой Валерий вел дневник. В письме от десятого мая 1998 года Виктор подтвердил, что он сам положил эту тетрадь в один из чемоданов, кото-

рые потом перевезли в Москву. Я пыталась разыскать эту тетрадь, но выяснилось, что никто, в том числе и Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Александр Жебит, под руководством которого составляли список посмертного архива Перелешина, и русский приятель Перелешина по Тяньцзиню и Бразилии Александр Кириллов, едва не ставший его наследником и душеприказчиком, никогда дневника не видели. Нет его ни в архиве Перелешина в ИМЛИ (Москва), ни в библиотеке Лейденского университета. Из-за потери этой рукописи и части писем Перелешина к матери мне до сих пор не удалось понять некоторые поступки Перелешина харбинского и шанхайского периодов. Есть люди, считающие, что такого дневника просто никогда не было. Я бы хотела думать так же, но чем тогда объяснить слова Виктора Салатко?

НЕРАСКРЫТОЕ ДЕЛО

До сих пор остается неясным один вопрос в биографии Перелешина – истинный характер отношений между ним и его гомосексуальным партнером, шанхайцем Лю Синем. Их связь длилась с 1946 по 1948 год, имя Лю Синя встречалось в «Поэме без предмета». Там говорилось, что Лю Синь – книготорговец и рабочий текстильной фабрики, а в примечаниях Перелешин добавил, что эта фабрика называлась Юн-ань («Вечное спокойствие»). Однако предприятие Юн-ань в Шанхае было не фабрикой, а большой компанией с собственным универмагом. Прочитав примечания, я решила лично поехать в Шанхай, чтобы собрать достоверные сведения о Лю Сине. В городском архиве хранятся книги зарплат компании Юн-ань 1940-х годов. Я проверила все записи с 1945 по 1947 год, но имени Лю Синя так и не нашла. Получалось, что Лю Синь в компании Юн-ань не работал, а Перелешин просто принял на веру его слова. Но в таком случае было непонятно, для чего Лю Синь обманывал своего русского друга? В поэме Перелешин описывал, как Лю Синь был арестован в 1947 году из-за того, что «пошел бороться за народ». В шанхайском архиве хранятся документы подпольной компартии города, в том числе и список арестованных коммунистов. Этот список находился в особом отделе архива, поэтому быстро получить копию не представлялось возможным, а я уже купила билет на поезд в Пекин и уезжала тем же вечером. Поэтому мне пришлось попросить сотрудников архива передать копию списка профессору Шанхайского университета Сун И, а та потом переслала список мне в Пекин. В этом документе 1947 года

я нашла и имя Лю Синя, и дату его ареста, что совпадало с тем, о чем писал Перелешин в «Поэме без предмета». Стихи оказались правдивы и достоверны. Кроме того, в списке говорилось, что Лю Синь вступил в компартию в 1945 году, то есть за год до знакомства с Перелешиным. Однако поэт никогда об этом не упоминал – ни в поэме, ни в переписке с друзьями. Вероятно, ему было неизвестно, что Лю Синь был членом компартии. Мне кажется, что, независимо от своей сексуальной ориентации, Лю Синь, в качестве члена подпольной компартии, преследуемой гоминдановскими властями, не мог скрывать от своих товарищей связи с иностранцем. Встречаясь со священником в черной рясе, он, безусловно, обращал на себя особое внимание. Если же они общались тайно, Лю Синь серьезно рисковал. Видимо, этими соображениями и было вызвано то, что Лу Синь дезинформировал Перелешина. Кроме того, Перелешин не объяснял в поэме причину их внезапного расставания. Это интриговало, ведь оба были глубоко привязаны друг к другу. В Шанхае я узнала, что Лю Синь умер в середине 1980-х годов, поэтому тайна их отношений так и осталась тайной.

Начиная искать Лю Синя, я надеялась, что мы с ним встретимся, и я смогу спросить его обо всем, что меня интересует, даже если у него не будет особого желания раскрыть передо мной душу. Тогда меня тревожило лишь одно: Лю Синь родился в 1920-х годах, а что, если он не говорит на мандаринском языке? Ведь Перелешин учился шанхайскому диалекту, которого я практически не понимаю! Этот вопрос отпал сам собой из-за смерти Лю Синя.

Подобную тревогу я испытала и в Хабаровске. В харбинские годы у большинства эмигрантских поэтов и писателей были псевдонимы. По неопытности я не обращала внимания на их настоящие фамилии, запоминала только псевдонимы. В Государственном архиве Хабаровского края, обращаясь к сотруднику архива за биографиями эмигрантских авторов, я не могла вспомнить их фамилий, а найти их по псевдонимам было невозможно. В то время электронная почта не была еще развита, а Интернет являлся чем-то новым и непривычным. Связаться с Харбином я не могла, в Хабаровске же помочь мне было некому. Но как я могла позволить себе провести время в Хабаровске безрезультатно? Сидя на скамейке архива, я изо всех сил пыталась вспомнить когда-то знакомые мне фамилии. Наконец, одна за другой, они стали всплывать из глубин памяти. Этот случай научил меня не только запоминать и псевдоним, и настоящую фамилию каждого автора, но и записывать все, что, возможно, могло бы мне когда-нибудь понадобиться.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ХАБАРОВСКЕ

Я никогда не думала, что первым русским городом, который я посещу, будет Хабаровск, стоящий неподалеку от места слияния рек Амур и Уссури. От Москвы он находится очень далеко, зато из него можно увидеть находящийся на другом берегу реки китайский уезд Фуюань. После моей поездки многие русские знакомые, не бывавшие на Дальнем Востоке, спрашивали меня о впечатлении от Хабаровска, и я всегда отвечала, что, прежде всего, это русский город. В самом деле, хабаровчане говорят по-русски с едва заметным акцентом, манеры у них несколько грубоватые, но кроме этого, ничто не показывает, что город находится на Дальнем Востоке. Как и москвичи, и жители других городов России, хабаровчане сохраняют свое культурное наследие, в том числе и здания, где жили и работали писатели, художники, музыканты и другие деятели культуры. Здания с мемориальными досками можно увидеть по всей России, но лучше всего мне запомнился один дом в Хабаровске. Стоит на тихой улице серое здание, без окон и дверей, остались одни стены с дверными и оконными рамами. Внутри – мусор, вокруг – сорняки. На стене висит доска: «В этом здании в 1935–1936 гг. работал Александр Александрович Фадеев, выдающийся советский писатель, один из организаторов дальневосточного отделения Союза писателей». На мой вопрос «Разве Фадеев у вас полностью забыт?» хабаровчане отвечали: «Нет, но для капитального ремонта здания нет денег». Я уверена, они говорили правду, что подтверждается еще одним случаем. Пока я была в Хабаровске, отмечался трехсотлетний юбилей российского морского флота. Вечером на улицах и на берегу Амура было полно народа, но кроме временной деревянной эстрады, на которой пели и играли музыку, были видны только слабоосвещенные корабли амурского флота. Долго ждали фейерверка, но так и не дождались. Люди огорченно разошлись по домам...

МОСКВИЧИ

В Хабаровске люди из культурных слоев общества дружелюбны и доброжелательны, но общаться с остальным жителями города приходилось с большой осторожностью. Когда я рассказывала об этом москвичам, они говорили: «Ну, это на Дальнем Востоке, а у нас все не так», однако, имея дело с большинством москвичей, нужно запастись необыкновенным терпением. Например, в

США не принято звонить знакомым после девяти часов вечера, в Москве могут позвонить когда угодно. Тем не менее, если звонишь вечером и пытаешься договориться о встрече на следующее утро, тебе обычно отвечают: «Перезвоните завтра утром!» Иногда же мне звонили и сообщали об изменении времени встречи накануне, поздним вечером.

Когда я была в Москве, чаще всего я встречалась с многолетним корреспондентом Перелешина Евгением Витковским. Нередко, после того, как мы с ним договаривались о встрече, встреча отменялась, и нам приходилось договариваться снова. Витковский с Перелешиным никогда не виделись, но переписывались с перерывами больше двадцати лет. Осенью 1997 года в архиве библиотеки Лейденского университета я прочитала около ста писем Витковского Перелешину с конца 1960-х до конца 1970-х годов, а зимой в архиве ИМЛИ нашла еще несколько десятков писем Витковского, написанных в последние годы жизни Перелешина. В 1970-е годы многие письма передавались через дядю Витковского, жившего в Западной Германии, но немалая часть писем пропала на почте. Разумеется, часть переписки попала в руки советских властей. Даже в 1996 году мое первое письмо Витковскому принесли ему домой милиционеры. Во время нашей первой встречи Витковский был несколько насторожен и прямо спросил: «А как вы, китайцы, относитесь к русской эмигрантской литературе в Китае?» Я поняла, что ему не хочется иметь дела с теми, кто относится к его любимой теме несерьезно.

Осенью 1997 года, приехав в Москву, я немедленно позвонила и другой собирательнице наследия русской эмигрантской литературы в Китае – Елене Таскиной, но увиделись мы только в феврале 1998 года, перед моим отъездом, после того, как она несколько раз отменяла встречу.

Таскина родилась в Харбине, вернулась в СССР в середине 1950-х годов, преподавала английский язык в средней школе и к моменту нашего знакомства была уже на пенсии. Однажды вечером она позвонила мне и предложила встретиться на следующий день в одиннадцать часов в каком-то клубе, членом которого она была в то время. В половине восьмого утра она перезвонила и сказала, что встреча в одиннадцать часов отменяется, что единственное возможное время встречи – через час на станции метро «Фрунзенская»! Тогда в Москве было больше 150 станций метро, и добраться до далекой и незнакомой мне станции за час было бы практически невозможно. К счастью, я ежедневно ездила в Научную библиотеку Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ),

а ГАРФ находится как раз около метро «Фрунзенская». Поэтому я знала, что как раз за час я сумею туда доехать. В часы пик поезда московского метро обычно не опаздывают, поэтому я обещала Таскиной, что приеду в половину девятого. Она поколебалась, но потом подтвердила, что будет ждать меня посередине платформы, а я узнаю ее по шубе и меховой шапке. Мне не было необходимо описывать свою внешность – в те времена в московском метро китайцев было мало. Положив трубку, я поспешила в метро, задержавшись у входа, чтобы купить цветы. Доехала я за 45 минут, то есть была на «Фрунзенской» вовремя. Выход на этой станции только один и обычно одновременно со мной выходило много пассажиров, которые шли к выходу. Как ни странно, именно в этот день я была единственным пассажиром, вышедшим из вагона, но на платформе стояли две старушки, обе в шубах и меховых шапках – обычном зимнем наряде русских женщин. Когда я выходила из вагона, обе они посмотрели на меня. Я не знала, к какой из них подойти, и пошла к выходу. Сделав несколько шагов, я повернулась и увидела, что одна из старушек следует за мной. Я подошла к ней и подарила цветы. Она поблагодарила, взяла букет, вытащила из сумки старую газету и аккуратно его завернула. К моему удивлению, когда я предложила ей пойти в кафе неподалеку от метро, чтобы спокойно поговорить в тепле и тишине, она отказалась и предложила беседовать на платформе, стоя. Разумеется, из-за шума поездов мы практически друг друга не слышали. Наконец, Таскина согласилась пойти со мной в вестибюль. Мы проговорили на холоде, у входа в метро, часа два. Женщина все время оставалась серьезной. В глазах сквозила нервозность. Время от времени старушка окидывала взглядом прохожих, убедиться, не следят ли за ней. Была она обычным продуктом советской системы. Впрочем, может быть, ее страх объяснялся тем, что некогда ей довелось быть эмигранткой.

ПОИСКИ СВЕДЕНИЙ ОБ АРСЕНИИ НЕСМЕЛОВЕ

В 1935 году русских беженцев в Маньчжурии обязывали регистрироваться в БРЭМ (Бюро по делам российских эмигрантов), находящемся под контролем японцев. Как житель Харбина был зарегистрирован и русский поэт Арсений Несмелов. После войны все регистрационные формы были захвачены советскими войсками и отправлены в СССР. В 1996 году я нашла регистрационную форму Несмелова в Государственном архиве Хабаровского края по его настоящей фамилии Митропольский. В ней Митропольский ука-

зал, что имеет двоих дочерей, а в одном из писем за 1936 год он писал, что у него в СССР есть две дочери, живущие со своими матерями. До этого мне было известно только об одной дочери Несмелова, Наташе, возвратившейся в СССР со своей матерью Худяковской в 1935 году; о существовании другой его дочери я никогда не слышала. В середине 1930-х годов Несмелов женился на Анне Кушель и жил вместе с ней и ее дочерью. Где оказалась Кушель с дочерью после развода с Несмеловым в 1936 году, я не знала и решила, что если они тоже уехали в СССР, то вторая дочь, о которой говорит Несмелов, могла быть дочерью Кушель. Если они в СССР не уехали, то у Несмелова до Худяковской была другая жена, от которой у него была еще одна дочь.

Для того, чтобы заполнить этот пробел биографии Несмелова и выяснить местонахождение Анны Кушель, я обратилась к Владимиру Шкуркину, внуку П.В. Шкуркина, живущего в Калифорнии. Он посоветовал мне начать поиски в США, так как каждый американец имеет номер социального страхования, и данные о его смерти могут быть найдены по этому номеру в Интернете. Действуя этому совету, я нашла в Соединенных Штатах только одну покойную по фамилии Кушель, которую звали Анной. Тогда Шкуркин на основании собственного опыта посоветовал мне обратиться к властям штата, в котором скончалась Анна Кушель и запросить официальное свидетельство о ее смерти. Я заплатила 13 долларов правительству штата Калифорния и после долгого ожидания получила от него ответ.

В свидетельстве о смерти Анны Кушель упоминалась некая Ирина Радченко, бывшая, по всей видимости, родственницей покойной. Шкуркин полагал, что через двадцать лет после смерти Кушель Ирина Радченко вряд ли живет по тому же адресу, который был указан в свидетельстве о смерти, но скорее всего, она осталась на Западном побережье Америки. Он помог мне найти адреса шести Радченко, проживающих на Западном побережье США и Канады. Я написала по каждому адресу письмо с просьбой сообщить мне, не является ли адресат родственником или родственницей Анны Кушель. Это было в октябре. Первым пришло мое собственное письмо, возвращенное мне из дома престарелых в Сан-Франциско. Оно лежало нераспечатанным в большом конверте вместе с письмом сотрудников, сообщавших мне, что находившаяся у них старушка по фамилии Радченко умерла месяц тому назад. Следующим вернулось еще одно мое письмо с пометкой: «Адресат выбыл». После этого я прожила в тревожном ожидании чуть больше месяца.

Но вот однажды, в середине декабря, во второй половине дня, у меня зазвонил телефон. Я подняла трубку – звонил муж Ирины Радченко. Прежде всего, я подумала, что и эта Радченко умерла, так как иначе мне позвонил бы не ее муж, а она сама. Я торопливо спросила звонившего, где его жена, на что он спокойно ответил, что она сидит рядом, но у нее проблемы со слухом, и поэтому она попросила его набрать мой номер. Услышав его слова, я вздохнула с облегчением, однако оказалось, что разговаривать с Радченко, дочерью Анны Кушель, очень сложно. Из-за ее глухоты она в основном говорила не о том, о чем я ее спрашивала. Мне повезло в одном – она ответила на мой главный вопрос, что они с матерью никогда не возвращались в СССР, то есть одной из двух дочерей Несмелова, о которых он писал в регистрационной форме БРЭМ и в письме 1936 года, была не она. Радченко достаточно долго рассказывала о своей жизни в Харбине в 1930–1940-е годы, в том числе и о своем первом замужестве. Кроме того, она сказала, что мое октябрьское письмо получила не она сама, а ее сын, который передал его ей только на День благодарения, то есть в конце ноября, когда приехал к ней на праздник. К концу нашего разговора муж Радченко снова взял телефонную трубку. Я подумала, что надо поблагодарить и его, и поэтому спросила о его имени и отчестве. К моему удивлению, он отказался от ответа и сказал сердито: «Вы уже слишком много спрашивали о нашей семейной жизни!» Очевидно, не слыша моих вопросов, он решил, что я спрашивала именно о том, о чем говорила его жена. Меня же, разумеется, интересовало только то, что было связано с жизнью Несмелова, а вовсе не семейная жизнь Радченко. Тем более, что дама не была дочерью Несмелова, и он не был женат на Радченко в Харбине. Впрочем, после того, как я выяснила, что нашла Ирину Радченко и узнала, что кроме Наташи, у Несмелова была еще одна дочь в России, мне было не до обид.

Через два дня я получила по электронной почте письмо с подписью «От Ирины Радченко». Я подумала: «А не мошенница ли это? К счастью, настоящая Радченко уже нашлась!» Однако, открыв письмо, я прочитала следующее: «Я была бы рада оказаться той, кого Вы ищите, но должна сообщить Вам, что только два года назад я вступила в повторный брак с господином Радченко, который недавно умер. Желаю Вам удачи и надеюсь, что Вы сможете легко и быстро найти мою тезку». Это письмо пришло из Канады. Я была очень благодарна этой Ирине Радченко, но подумала, как бы я была огорчена, если бы получила это письмо на три дня раньше!

АРХИВ ФСБ

Наверное, мне было предначертано судьбой написать и родной дочери Несмелова. Из-за того, что Несмелов во время войны служил властям Маньчжоу-Го, он был арестован советской армией в Харбине в 1945 году, отправлен в СССР и умер в тюрьме, но точная дата и точное место его смерти были неизвестны. До моей поездки в Москву осенью 1997 года я ездила в архив Центра русской культуры Амхерстского колледжа в штате Массачусетс, где хранятся архивы Несмелова и Перелешина. Сотрудник архива, эмигрант из Москвы, посоветовал мне обратиться в архив ФСБ, чтобы найти сведения о Несмелове.

Приехав в Москву, я встретилась с сотрудником Института российской истории АН России Юрием Мелиховым, который родился в Маньчжурии и вернулся в СССР в середине 1950-х годов. В 1990-х годах он основал в Москве Ассоциацию харбинцев. Я посоветовалась с ним о том, как искать материалы о русских эмигрантах в архиве ФСБ, и он познакомил меня с одним аспирантом института, изучавшим историю репатриантов. Аспирант, хорошо знакомый с ситуацией и материалами архива, сказал мне, что в 1993 году Российское правительство приняло новое положение об архивных материалах и постановило, что нужно иметь разрешение членов семьи тех, чьи документы исследуешь.

Я задумалась, как получить подобное разрешение и вспомнила, что в одном письме 1980-х годов Перелешин говорил Витковскому, что нашел в каком-то сибирском городке дочь Несмелова Наташу Митропольскую и познакомил его с нею. Я обратилась к Витковскому, получила от него адрес Наташи и написала ей письмо с просьбой разрешить мне ознакомиться с архивными материалами ее отца, но ответа не получила. Решив, что она не получила моего письма, я написала ей еще раз. Ответа по-прежнему не было. Год с лишним спустя Митропольская умерла. Только через несколько лет я случайно прочитала в книге одной из приятельниц Митропольской, что в последние годы жизни Наташа пыталась узнать дату и место смерти своего отца, но все архивы, к которым она обращалась, отвечали, что никакой информации у них нет. Как раз в это время она получила из Москвы письмо от неизвестной ей китаянки и была очень недовольна тем, что она, родная дочь Митропольского не может получить об отце никаких сведений, а тут в дело вмешивается какая-то иностранка! Автор книги пишет, что Митропольская так и не выяснила дату смерти отца. Но я знаю, что эта дата была ей известна, потому что я ее выясни-

ла и сообщила Митропольской через Витковского. Наверно из-за того, что она жаловалась на меня своей приятельнице, она никогда об этом факте не упоминала.

Дату и место смерти Несмелова я выяснила благодаря помощи того самого аспиранта Института российской истории. Он мне сказал, что можно написать письмо в архив ФСБ, на имя одного генерал-майора, а архив по правилам должен ответить мне в течение месяца. Кроме того, он объяснил, что письмо нужно не посылать по почте, а отнести в архив ФСБ, находящийся около станции метро «Лубянка» на Кузнецком мосту, и что архив находится за двойными воротами, первые обычно открыты в рабочие часы, а дежурные охранники стоят только за вторыми воротами со стеклом; между воротами на правой стене висит деревянный ящик, в который и надо бросить письмо. Хотя обратиться в ФСБ таким образом может любой человек, аспирант все-таки попросил меня никому не говорить, что я получила эти сведения от него. По его совету, во второй половине одного ноябрьского дня я приехала на Лубянку. Выходя из метро, вспомнила, что во времена Сталина там находилась тюрьма секретной полиции. Зимой в Москве темнеет рано. Было всего четыре часа дня, но уже зажглись уличные фонари. Я шла, утопая в снегу, по узкому Кузнецкому мосту и, наконец, нашла архив ФСБ без таблички у ворот. Я попробовала потянуть дверь. Несмотря на ее тяжесть, она легко открылась и через стекло на внутренних воротах я увидела охранников в форме. На правой стене действительно висел ящик. Я бросила в него письмо и услышала, как конверт со стуком упал на дно. Видимо, ящик был пустым: либо письма в тот день уже забрали, либо в последнее время писем никто не опускал. Выйдя на улицу, я облегченно вздохнула. Было темно, как глубокой ночью.

В начале января следующего,1998 года, то есть месяца через полтора, мне вдруг позвонила одна женщина из архива ФСБ. Она сказала, что личное дело Несмелова хранится в архиве Московской области ФСБ, личное же дело другого харбинского эмигрантского писателя, Бориса Юльского, также арестованного советской армией в 1945 году, и сведения о котором я тоже искала, хранятся в архиве ФСБ Иркутского края, и поэтому мне нужно послать запросы в эти архивы. Кроме того, я узнала, что если мне нужны только общие сведения, например, даты рождения и смерти, дата ареста, приговор и т.п., разрешения семьи не нужно. Я спросила ее, что же делать, если, как в случае Юльского, все члены семьи умерли или не найдены, а мне нужно получить более подробные сведения? Она ответила, что в любом случае без разрешения семьи мне

представят только общие данные. Я попросила дать адреса архивов, куда мне надо писать, но та ответила, что в этом нет необходимости, так как если я напишу на конверте «архив ФСБ такой-то области», то почта письмо доставит. Потом она предложила мне записать телефонный номер ее кабинета, но когда у меня появились вопросы, и я ей несколько раз звонила, никто и никогда не снимал трубку этого таинственного телефона.

К концу февраля того же года я получила ответ из Прокуратуры г. Москвы. Почему он пришел не из ФСБ, а от начальника «отдела реабилитации жертв политических репрессий», мне неизвестно. Еще более непонятно, что в письме говорилось, будто Несмелов умер до назначенного суда, и поэтому уголовное дело было прекращено, так что он не мог быть реабилитирован. Но ведь если это действительно так, почему мне написал начальник отдела реабилитации? Тем не менее я получила информацию о дате и месте смерти Несмелова. Я сообщила эти сведения Витковскому, а он тотчас же написал Наташе Митропольской. Я почувствовала облегчение – по крайней мере, дочь Несмелова узнала наконец, где и когда умер ее отец, которого она не видела с пятнадцатилетнего возраста. Тогда я еще не знала, что она недовольна моей деятельностью. Не знала я и о том, что она подумала, получив письмо Витковского.

Гораздо сложнее было найти сведения о другом харбинском писателе – Борисе Юльском. Сначала пришел ответ от Регионального управления по Иркутской области о том, что дело в отношение Юльского находится в Военной прокуратуре Забайкальского военного округа в связи с пересмотром по реабилитации, поэтому полный ответ на мой запрос будет дан только по возвращении архивного дела из Читы. В Москве я сняла комнату в двухкомнатной квартире в большом жилом доме. Тогда в Москве были серьезные проблемы с общественным порядком, поэтому у входа в подъезд сидел пенсионер-дежурный. Входя и выходя, я всегда здоровалась с ним, но он не знал моего имени. Когда письмо из Иркутска пришло, из-за ошибки сотрудника архива на конверте был указан неправильный номер квартиры. Почтальон не мог меня найти и отдал письмо дежурному, а тот, не стесняясь, немедленно его вскрыл и по содержанию точно определил, что это письмо мне. Тем же вечером он отдал письмо моей хозяйке. Вскоре мне предстояло уезжать из Москвы, а архивные материалы Юльского были все еще в Чите. Хозяйка сказала: «Не беспокойся, я тебе все перешлю, как только получу ответ». Честно говоря, тогда я думала, что надежд на это немного, но через пару лет, к концу 1999

года, я получила пересланное мне моей бывшей квартирной хозяйкой письмо, прочитав которое немедленно позвонила ей в Москву: «Посмотрите, мы с вами ждали так долго, а какой результат!» Оказалось, что Юльский был арестован в 1945 году, приговорен к десяти годам лишения свободы, сослан в Магадан, откуда через пять лет бежал, дальнейшая же его судьба неизвестна. Я ждала два года, и дождалась результата «судьба неизвестна», какая досада! Мы с хозяйкой по телефону подсчитали, что с тех пор прошло почти полвека, и если Юльский еще жив, то ему уже около девяноста лет. Разумеется, скорее всего, он умер от голода в горах и лесах Восточной Сибири. Ведь почти невозможно выбраться пешком из такого отдаленного места, да еще и в одиночку. Моя бывшая хозяйка тоже очень сожалела о том, что мне не удалось выяснить дальнейшую судьбу Юльского.

ПЕРЕЛЕШИН И ФБР

Весной 1950 года Перелешин иммигрировал из Шанхая в США, однако кто-то написал донос американским властям, и по прибытии в Сан-Франциско он был немедленно арестован. Через три месяца, после безрезультатных допросов, его репатриировали в Китай, предупредив, что въезд в США ему навсегда запрещен. Тогда его единственными документами были только советский паспорт и справки о выезде из Китая. В своих воспоминаниях Перелешин писал, что американцы заподозрили в нем советского агента, поскольку он работал на ТАСС, и якобы помогал основать китайскую коммунистическую партию, хотя в 1921 году Валерий был всего лишь восьмилетним ребенком (!). Перелешин считал, что доносчики – русские, его знакомые по Шанхаю. Однажды мой американский коллега-аспирант выразил недоумение: «Если у него был советский паспорт, почему же его не репатриировали в СССР?» Действительно, в то время у Перелешина не было китайской въездной визы, и по приезде в Тяньцзинь он был арестован и отправлен в тюрьму. Тогда я подумала, что на этот вопрос может ответить только американское правительство, которое знает и настоящую причину ареста Перелешина, и то, в чем его обвиняли.

В поисках ответа я вновь обратилась к Владимиру Шкуркину, и он снова помог. Он сказал, что можно запросить американское правительство относительно тех или иных его действий (это законодательное положение называется «наше право знать»). Для этого нужно скачать из Интернета соответствующую форму запроса,

заполнить ее и послать в правительственную организацию, которая должна ответить на запрос в течение двух месяцев. Делом Перелешина занимались различные правительственные организации – и вследствие того, что он получил иммиграционную визу в 1950 году, и потому, что снова подал заявление об иммиграции в 1968 году, но получил отказ от Министерства труда, и из-за того, что ему все-таки удалось побывать в США в 1974 году. Я решила послать запросы о причине ареста Перелешина в Службу иммиграции и натурализации, в отделение этой службы в Сан-Франциско, в Министерство юстиции, в Государственный департамент, в Министерство труда и в Государственный архив.

Вскоре я получила ответ из Министерства труда о том, что у них нет никаких записей, касающихся данного лица. Затем пришел ответ из Государственного архива, что у них хранятся документы только до 1973 года, то есть за год до приезда Перелешина в США. В ответе же из Государственного департамента говорилось, что все документы до 1975 года – на год позже, чем визит Перелешина в США, давно переданы в Государственный архив. После этого пришел ответ и из Сан-Франциско, в котором сообщалось об отсутствии каких-либо записей о Перелешине, и следовал совет обратиться в Государственный департамент...

К счастью, получая запросы, правительственные организации присваивают каждому делу номер, ссылаясь на который можно обжаловать в вышестоящие инстанции неудовлетворительные ответы. Изучив противоречивые ответы, я решила продолжать «обжалование». Когда я заполняла форму запроса, в ней, в том числе, был параграф, гласящий, что я могу получить до ста страниц ксерокопий материалов, но только в том случае, если они не будут использованы в коммерческих целях. В ответе из Государственного департамента говорилось, что я не соответствую этому критерию. Мне даже позвонили и объяснили, что правительство не имеет права разбазаривать деньги налогоплательщиков. Я сказала, что все понимаю, но повторила о необходимости иметь материалы о русском поэте только для того, чтобы включить их в диссертацию. Тогда мне посоветовали взять письмо-доказательство от декана моего факультета. Письмо действительно помогло, но на этот раз мне сказали, что они получают очень много запросов и придется ждать очереди. Ответ из Министерства юстиции был примерно таким же.

Началось долгое ожидание. Тем временем мне приходилось постоянно обращаться в вышестоящие органы. После двух с лишним лет ожидания я впервые получила пакет из ФБР при Министер-

стве юстиции США. Только тогда я поняла, что имею дело именно с этой организацией. Вскрыв пакет, я была потрясена: десятки страниц документов были практически полностью закрашены черной краской, так что на каждой странице оставалось всего несколько слов. Оказалось, что ФБР закрасило всю конфиденциальную информацию, например, фамилии частных лиц и названия неправительственных организаций, предоставляющих информацию правительству. Из нескольких оставшихся слов я поняла, что Перелешин был обвинен в том, что был «политическом корреспондентом ТАСС» и поэтому подозревался в угрозе национальным интересам США, за что и был арестован и выслан. Когда я наконец узнала об этом, моя затянувшаяся работа над диссертацией практически подошла к концу.

Впоследствии я получила документы из Министерства юстиции США, из которых узнала, что неприятности Перелешина в 1974 году действительно были результатом его ареста в 1950 году, причем тот (или те), кто на него тогда донес, по-прежнему выдвигал против Перелешина свои обвинения. Летом 1973 года Перелешин получил от Техасского университета приглашение участвовать следующей весной в международном поэтическом фестивале и планировал после фестиваля поехать в Вашингтон и Нью-Йорк навестить друзей. Тем не менее после долгих мытарств ему разрешили посетить только город Остин. Между прочим, среди документов, присланных мне из Министерства юстиции, была переписка Минюста с Государственным департаментом относительно визы Перелешина, хотя Государственный департамент утверждал ранее, что не имеет никаких сведений о Перелешине, датированных 1974 годом! Я решила написать туда еще раз с просьбой расследовать и выяснить, почему после депортации 1950 года Перелешину все-таки удалось приехать в США и почему ему дали визу, но не разрешили посетить другие города.

К моему большому удивлению, вскоре после этого мне опять позвонили из Государственного департамента. Меня не было дома, поэтому мне передали просьбу перезвонить, чтобы прояснить несколько вопросов устно. На следующее утро я перезвонила и больше часа проговорила с одним из сотрудников Государственного департамента. На несколько моих сложных вопросов он ответил откровенно. Во-первых, независимо от того, был ли Перелешин обыкновенным переводчиком или «политическим корреспондентом» ТАСС, тот простой факт, что он работал для ТАСС, сам по себе был уже достаточно серьезен для того, чтобы депортировать его из США в начале 1950-х годов, в эпоху Маккарти. Очевидно,

подавая заявление на иммиграционную визу в 1950 году в Шанхае, Перелешин скрыл факт своей работы на ТАСС. Во-вторых, в начале 1970-х годов, этот же сотрудник Государственного департамента сам работал в Посольстве США в столице Венгрии и выдавал визы членам правительства Венгрии, то есть коммунистам. По его словам, в 1970-е годы американцы уже поняли, какие глупости делались во времена Маккарти, политика смягчилась, и поэтому в 1974 году Перелешин относительно легко получил въездную визу – в этом не было ничего удивительного. В-третьих, Перелешин не раз говорил знакомым, что вначале американское консульство в Рио-де-Жанейро отказало ему в визе, и лишь потом, после того, как Госсекретарь США Киссинджер послал в Рио телеграмму, визу, наконец, выдали. Я относилась весьма скептически к возможности того, что сам Киссинджер послал такую телеграмму, но сотрудник Государственного департамента объяснил, что, скорее всего, это была телеграмма, посланная, в соответствии с правилами, за подписью Киссинджера так же, как теперь все документы, направляемые в посольства, консульства и представительства США, идут за подписью нынешнего госсекретаря.

Разумеется, сам Киссинджер никогда не вмешался бы в процесс выдачи туристической визы какому-то иностранцу. Причина же того, что в 1974 году Перелешину не разрешили посетить Вашингтон и Нью-Йорк, по мнению моего собеседника, была в том, что в 1970-е годы американцы были еще относительно консервативны и опасались иностранцев вроде Перелешина, побывавших в американской тюрьме. Затем я спросила, почему в 1950 году Перелешина как советского гражданина не репатриировали в СССР, а отправили в Китай, но на этот вопрос ответа у него не было. Он лишь высказал предположение, что, возможно, причиной этого решения послужило то, что Перелешин приехал в США из Китая. Таким образом, мы обсудили все документы, полученные мной из Министерства юстиции, касающиеся Государственного департамента. Сотрудник, с которым я разговаривала, обещал попытаться найти и прислать мне то, чего у меня еще нет. Через несколько дней он прислал мне электронное письмо, в котором говорилось, что я уже получила все документы, так что присылать мне больше нечего, но мне надо отправить ему электронное письмо с заявлением о том, что я отзываю свою просьбу, содержащуюся в моем последнем письме в Государственный департамент. По его словам, если они не отвечают мне письменно, это является нарушением процедуры, но если я добровольно отзову свою просьбу, то они, в соответствии с процедурой, могут мне не отвечать. Я, с одной сто-

роны, восхитилась его отношением к работе, но с другой, с грустью подумала о том, что бюрократизм вездесущ.

Визит Перелешина в США в 1974 году был вне темы моей диссертации, однако он был связан с его арестом в 1950 году и репатриацией в Китай, поэтому мне хотелось узнать о нем как можно больше. Документы в последнем пакете из Министерства юстиции касались, в основном, визита Перелешина в Остин. И в них бóльшая часть каждой страницы была замазана черной краской, но не замазанных слов стало все-таки больше. В письмах 1970-х годов, говоря о своей поездке в США, Перелешин повторял, что он был особенно осторожен и пробыл там всего одиннадцать дней, то есть меньше двух недель, на которые ему была выдана виза. Видимо, он больше не хотел иметь никаких неприятностей с американцами. Однако американцы по-прежнему не доверяли ему и размещали вокруг него «глаза» и «уши». В документах Министерства юстиции есть отчет университета Техаса о том, что Перелешин жаловался на трудности при получении визы, отчет туристического агентства об изменении даты его вылета, даже отчет о том, кто из сотрудников кафедры славистики Техасского университета вез его в аэропорт после поэтического фестиваля.

Все это полностью соответствует китайской поговорке: «Правосудие имеет длинные руки». Однако, когда Перелешин пересел на другой самолет в Майами на пути в Бразилию, агенты ФБР не явились в аэропорт своевременно, кроме того, в те годы у авиакомпаний не было компьютеров для регистрации пассажиров, так что бывший «агент» ТАСС вдруг исчез, и никто не знал, уехал ли он из США или задержался в стране незаконно. ФБР начало искать Перелешина везде и всюду и прекратило поиски только через полтора месяца, в конце мая, когда подтвердилось, что Перелешин действительно выехал из США. Фарс закончился комедией. Больше никаких документов, связанных с Валерием Перелешиным, в Министерстве юстиции не было. Думаю, что сам Перелешин был бы очень встревожен, если бы знал, что создал для ФБР так много проблем.

Вадим Моло́дый

ДОЛГИЕ БЕСЕДЫ С ЕВСЕЕМ ЦЕЙТЛИНЫМ

Болезнен ли интерес к феномену смерти? По-моему, интерес этот закономерен, если, конечно, думать о жизни и смерти всерьез.

Е. Цейтлин

Сильна любовь и дружба прежних дней,
И красота сильна. Но смерть сильней.

Джон Китс

...у каждого писателя, а точнее, у каждого человека, есть как минимум две жизни – жизнь внешних событий, жизнь социально-биологическая, которую у большинства людей можно изложить в нескольких строках, и жизнь событий внутренних, которую иной раз не вместишь и в роман.

Вот краткая биография, отражающая внешние события жизни Евсея Цейтлина (взято с сайта «Электронная библиотека Александра Белоусенко» http://www.belousenko.com/wr_Tseytlin.htm, дополнено списком книг, опубликованных позже):

Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. Горького (1969), Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького (1989). Кандидат филологических наук (1978), доцент (1980). Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры.

Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Основные работы Евсея Цейтлина собраны в его книгах: «Снег в субботу» (2012), «Послевкусие сна» (2012), «Шаги спящих» (2011), «Несколько минут после. Книга встреч» (2011; 2012), «Откуда и куда» (2010), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (1996, 2001, 2009, 2010, 2012; на немецком – «Rowohlt», 2000; на литовском – 1997), «Писатель в провинции» (М., «Советский писатель», 1990), «Голос и эхо» (1989,

2011), «Вехи памяти» (1987; совместно с Львом Аннинским), «На пути к человеку» (1986), «О том, что остается» (1985), «Долгое эхо» (1985; на литовском – 1989), «Свет не гаснет» (1984), «Жить и верить...» (1983), «Всеволод Иванов» (1983), «Сколько дорог у "Бронепоезда №14-69"» (1982), «Так что же завтра?..» (1982), «Всегда и сегодня...» (1980), «Беседы в дороге» (1977).

Начиная с 1968 г. публиковался во многих литературно-художественных журналах. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей.

Дважды эмигрировал – в 1990 году в Литву, в 1996 – в США.

В 1978 году был принят в Союз писателей СССР, в настоящее время является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба («Writers in Exile»).

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс), с 1997 года редактирует чикагский ежемесячник «Шалом».

Я думаю, что о человеке Евсее Цейтлине сказано достаточно. Давайте поговорим теперь немного о его творчестве, а вернее – об одной его книге. О той, которая касается главной проблемы бытия человека – смысла его жизни и его смерти.

Я имею в виду «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». Эта книга многократно обсуждалась русскими и зарубежными писателями, психологами, критиками и литературоведами, ей посвящались доклады на международных конференциях, в этой книге много тем, но я ограничусь лишь одной – темой смерти.

«Долгие беседы...» не вмещаются в рамки какого-либо жанра. Это и дневник автора, и исповедь героя, и собрание эссе, и повесть, и сборник рассказов. Но самое главное – это набор деталей, «конструктор», строительный материал, из которого каждый читатель может выстроить что-то для самого себя.

Книга появилась в результате бесед двух писателей – молодого и старого. Старый говорил, молодой вел дневник этих встреч. Вел беспристрастно, отстраненно, не пытаясь критиковать или оправдывать, но пытаясь *понять*.

К герою книги, человеку, которого автор называет «й», можно испытывать ненависть, презрение, жалость, сострадание, но любой из этих подходов непродуктивен. «й» – человек. Он заслуживает не ненависти или жалости. Он заслуживает *понимания*.

«й» сделал предателем, а, точнее – Исавом, продавшим за чечевичную похлебку свое первородство, человеком, отрекшимся от своего народа, своего имени, своего языка, страх физического уни-

чтожения, страх неминуемой, насильственной смерти. И предал он, в конце концов, самого себя. Для того, чтобы выжить, ему пришлось пожертвовать своим даром, убить в себе писателя, но не то же ли самое сделала почти вся советская литература? Исчезновение литературного стиля, начавшееся в тридцатых годах, привело к ее нивелированию, сглаживанию, обезличиванию, и писатели, обещавшие вначале очень и очень многое, превратились в винтики государственной литературы.

Книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не учит, как надо и как не надо *жить*. Вы не найдете в ней этических поучений и рецептов. Это книга о том, как *понимать,* это взгляд мудрого и беспристрастного наблюдателя, возвысившегося над суетой земной жизни.

Но вернемся к «й». Да, страх смерти заставил его отречься от самого себя**.** Но именно смерть, а точнее, подготовка к смерти, и даже еще точнее – эта пятилетняя исповедь, записанная на магнитофонные кассеты, принесла ему освобождение. От многого. В том числе и от страха.

* * *

Я не раз слышал упреки читателей в том, что в своих эссе и стихах уделяю слишком много внимания конечности земного бытия. Сомневаюсь, что этой теме можно уделить *слишком много* внимания. Во всяком случае, мне не известен ни один *настоящий* писатель или поэт, который не писал бы о смерти.

Выдающийся переводчик Анатолий Гелескул заметил однажды:

«Считается, что настойчивые мысли о смерти вредны и вообще признак душевного нездоровья. В таком случае человечество, начиная с первобытных мифотворцев, неизлечимо. Смерть – это стержень человеческих раздумий, гордиев узел мыслителей, поэтов и вероучителей, и раздумья о ней – скорей лекарство, чем болезнь».

Тем не менее есть немало людей, испытывающих панический страх не только перед смертью как событием, но и перед самим этим словом. Они затыкают уши, закрывают глаза и визгливо славословят «прекрасную земную жизнь».

Причины их страха очевидны – несмотря на собственную примитивность и убожество их земного прозябания, они каким-то врожденным инстинктом понимают, что никакой другой жизни у них не будет.

Интересно, что все эти люди испытывают непреодолимую страсть «прикоснуться к духовному». Один переписывает Библию кошмарными виршами, другой малюет омерзительные, напоминающие карикатуры из какого-нибудь антисемитского журнальчика, иллюстрации к Ветхому Завету, третий переводит стихи с языка, которого не знает, на язык, которым не владеет.

Я уже давно пришел к невеселому выводу, что далеко не каждый человек наделен бессмертной душой. Напротив, очень многие ее не имеют, и именно поэтому они отчаянно цепляются за данные им на время телесные оболочки и предъявляют претензии Богу...

Впрочем, мне проще выразить эту мысль в стихах:

Царство немощной похоти, вечной мигрени,
мир завистливых вздохов, терзающих слух,
склеп, где вьются по стенам горбатые тени
стариков подловатых и злобных старух,

где шарахнется в ужасе смерть-повитуха,
увидав в глубине этих мутных сердец,
не вместилища душ, а гноилища духа,
не рождение в вечность, а вечный конец.

О, как дорого им прозябанье земное,
как не хочется им уходить в никуда.
Копошенье червей в застоявшемся гное,
тина в топи, в канаве гнилая вода –

вот их жизнь. Но, вцепившись ей в горло когтями
в жутком страхе своем перед близким концом,
как повапленный гроб с требухой и костями,
каждый хочет пред Богом казаться истцом...

По сути, смерть является средоточием интересов любого мыслящего человека. По определению Иоанна Дамаскина, философия есть не что иное, как «помышление о смерти», и можно с уверенностью утверждать, что на земле не было ни философа, ни писателя, ни поэта, который хотя бы раз не задумался о том, чем завершится его земная жизнь, и не написал бы об этом.

Ну а то, что литература (как и вообще искусство) вдохновляется смертью, самоочевидно: нам не дано постичь смерть рассудком, но на уровне внерассудочного восприятия она постижима

для любого, кто способен чувствовать нечто, выходящее за рамки земного бытия.

Истинное произведение искусства «*строится вокруг смерти как события и его концептуального осознания, при этом само это событие неизменно становится ключевым художественным фактом действия. Смерть становится ключом к пониманию и осмыслению настоящего и будущего*» (*П.А. Новикова*).

Дело в том, что, как совершенно справедливо заметил Николай Бердяев, «*только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл только потому, что есть смерть, и если бы в нашем мире не было смерти, то жизнь лишена была бы смысла*».

А приблизиться к пониманию смерти мы способны в первую очередь именно в той знаковой системе, которой является *язык*. Мы ощущаем *что-то* настолько, насколько мы в это *верим*, а ведь вера в силу слова есть некое имманентное человеческое свойство. И настолько, насколько нам дано постичь в этой жизни *смерть*, мы постигаем ее благодаря *словам*.

Один из персонажей «Звездной мантии» Милорада Павича, бог повествования, которого давно уже нет среди живых, говорит, что «*после смерти живых существ дольше всего живет та часть их телесного состава, которая называется словом*». Это звучит достаточно туманно, но вспомните, что Словом был создан мір, и вы поймете, что именно имеется в виду.

Итак, что же такое смерть и как ее можно определить? Давайте сделаем это через сон, тем более, что тема снов и сновидений занимает в творчестве Евсея Цейтлина очень важное место (на творческом вечере была, в том числе, представлена одна из его новых книг «Послевкусие сна»):

Сон – взятая напрокат смерть, приоткрывшаяся на мгновение дверь в мір, не знающий невозможного и неподвластный времени.

Сон – прорыв в зазеркалье, падение вверх, лента Мёбиуса, по которой можно вечно переходить на другую сторону, так и не покинув своей.

Я попытаюсь пояснить то, что только что сказал: дело в том, что мір, в который нам предстоит в свое время перейти, для нас отнюдь не terra incognita, а хорошо знакомое место, в котором мы пребываем еженощно. Ведь Гипнос не только близнец Танатоса, но и его предшественник, заместитель и представитель.

Непонятная логика сновидений упряма... Если вдуматься, сны похожи на наши прошлые жизни... Куда мы отправляем-

ся ночью вслед за своими снами? – Наверное, очень далеко (Евсей Цейтлин).

Писатель доводит эту мысль до логического конца – можно сказать, что на самом деле сон и смерть – одно и то же. Ведь когда наше физическое тело спит, наше истинное «я» живет и действует в ином, нефизическом теле, которое оно займет после смерти.

Единственная разница между сном и смертью состоит в том, что во время сна наша связь с физическим телом не разрывается до конца, при смерти же мы теряем эту связь навсегда.

Универсальность темы смерти не делает, разумеется, каждого пишущего о ней настоящим писателем. Подняться до таких высот философских, психологических и духовных обобщений как это удалось автору «Долгих бесед в ожидании счастливой смерти», дано немногим. Я полностью согласен с Диной Рубиной – эта книга уникальна, прочитав ее, невозможно не задуматься о теме смерти в искусстве в самом широком смысле этого слова.

Старая истина: между жизнью и смертью нет никакого противоречия, точнее – это противоречие мнимо... СМЕРТЬ – ЭТО ВСЕГДА КАКАЯ-ТО ОШИБКА человека, которому природа предназначила жить очень долго. Чтобы победить старость, надо преодолеть одно из главных противоречий бытия – противоречие между нашим пониманием временности, тленности всего сущего и нашей стихийной верой в бессмертие. По сути – это противоречие между душой и телом (Евсей Цейтлин).

Значимость, величие художника определяется тем, до какого уровня бессознательного он спустился. Взявший себе собачью кличку ряженый, пучащий глаза и матерящийся со сцены, плавает на мелководье коллективного бессознательного *микросоциума делинквентов и аутсайдеров*. Национальный писатель (почитаемый в своей языковой среде, но абсолютно неизвестный за ее пределами) действует на уровне *национального* коллективного бессознательного. Но тот, кому удается спуститься в глубины *общечеловеческого* коллективного бессознательного, творит для всего человечества.

Именно поэтому я не считаю, что «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» – книга о «*рядовой судьбе еврейского гуманитария, вынужденного жить и творить в советском тоталитарном государстве*» – это так же неверно, как и расхожее мнение о том, что Достоевский открыл миру «загадочную *славянскую* душу».

Книга Цейтлина – это книга о человеке и его душе, полной нечистот, мерзости и грязи и, в то же время, стремящейся к вышнему и вечному. И неважно, кто этот человек по национальности и

где и когда он живет – примерить на себя судьбу «й» может и эскимос, и африканец.

Это книга о том, как любое общество – от безжалостно-тоталитарного до слюняво-либерального, загоняет каждого своего члена в те самые рамки, в которых не способен жить ни один уважающий себя человек.

И, наконец, это книга, с невероятной точностью и глубиной представляющая нам один из важнейших архетипов человечества – архетип смерти, ибо Евсей Цейтлин – настоящий художник, а настоящий *«художник – и это роднит его, по Юнгу, с пророком и другими аналогичными психологическими типами – это прежде всего человек, отличающийся незаурядной чуткостью к архетипическим формам и особо точно их реализующий» (С.С. Аверинцев).*

Герман Гессе в «Степном волке» четко сформулировал, что *«телесно любой человек есть единство, душевно – никоим образом»*. Понимать эти слова можно по-разному, но для меня они означают, прежде всего, несомненность сосуществования в человеческой душе (если, разумеется, человек ей наделен) света и тьмы, добра и зла.

Абсолютно справедливые слова уже упомянутого С.С. Аверинцева: *«Первая функция художника перед лицом общества – функция "целителя"»* – естественно, целителя душ, относятся к Евсею Цейтлину в полной мере.

Дмитрий Смирнов-Садовский

«ПЯТЬ ТИГРОВ»

О пяти переводах стихотворения Уильяма Блейка



Филипп Фирсов. Портрет Уильяма Блейка (2001)

Моему сыну Филиппу было 16 лет, когда он подарил мне этот карандашный рисунок, который с тех пор уже многие годы висит над моим письменным столом.

«Тигр», двенадцатая «Песня Опыта», – самое знаменитое стихотворение Уильяма Блейка и одно из величайших во всей английской поэзии. Вопросы, оставленные без ответа: кто создал эту зловещую красоту? Комментариев к этому шедевру написаны многие тома и замечательно то, что их авторы, хотя и разделяют восторженное отношение к нему, во многом не согласны друг с другом в его трактовке.

THE TYGER

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare sieze the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?

ок. 1789-1794, Лондон
Опубл.: самиздат 1794

Глубокий и неоднозначный смысл стихотворения находится здесь в совершенной гармонии с его поэтическим воплощением: его невероятно яркой образностью и особой звукописью: выразительностью вербальной мелодии, чёткостью характерного ритма, звонкими перекличками рифм и поразительным богатством инструментовки, которая сразу же определяется раскатистым «RRRR» в сочетании с твёрдыми «TTT» и «BB» первой строки: «TygeR TygeR, BuRning BRighT...» Все эти качества пропадают в подстрочнике и, тем самым, поэзия улетучивается:

ТИГР

Тигр, Тигр, пылающий огонь
В лесах ночи!
Чья бессмертная рука или чей взор
Сумели сотворить твою страшную симметрию?

В каких далёких безднах или небесах
Запылал огонь твоих глаз?
На каких крыльях дерзнул он воспарить?
Что за рука посмела схватить этот огонь?

И чьё плечо, и чьё искусство
Смогли скрутить сухожилия твоего сердца?
И когда твоё сердце начало биться,
Чья ужасная рука и чьи ужасные стопы?

Что за молот? что за цепь?
В какой печи был твой мозг?
Что за наковальня? Что за устрашающий зажим
Посмел ухватить эти смертельные ужасы?

Когда звёзды побросали вниз свои копья
И залили небеса своими слезами,
Улыбнулся ли он, глядя на свою работу?
Тот ли он самый, кто сделал Агнца?

Тигр, Тигр, пылающий огонь
В лесах ночи!
Чья бессмертная рука или чей взор
Дерзнули сотворить твою страшную симметрию?

Чтобы воспринять этот текст как произведение искусства, голого смысла или подстрочника оказывается недостаточно – необходим поэтический перевод. Не могу подсчитать, сколько раз я обращался к переводу этого удивительного творения Блейка. Впервые я прочёл его по-английски в 1968 году и мои первые попытки перевода относятся к тому времени. Тогда же в 60-х годах я прочёл оба варианта перевода С. Я. Маршака – 1915 и 1959 годов. Меня удивило, что в обоих этих вариантах по семь строф, тогда как в оригинале их всего шесть. Но я понял, что это не прихоть Маршака: русский текст просто не вмещался в тесные рамки английского оригинала и, пытаясь скрупулёзно передать все его детали, переводчик вынужден был добавить эту дополнительную строфу. Однако для себя я считал такой метод неприемлемым. Позднее мне попался опубликованный в 1921 году перевод К. Д. Бальмонта, который, хотя и уложился в шесть законных строф, полностью исключил из него последний катрен. Затем я прочёл интереснейшую статью Сергея Сухарева «Два „Тигра“ (о 2 переводах стихотворения Уильяма Блейка)», подробное исследование этих переводов Бальмонта и Маршака. Мне многое нравилось и у того, и другого переводчика, но я не мог отрешиться от чувства, что читаю не столько Блейка, сколько Маршака или Бальмонта. Я понял, что один перевод не отменяет другого, а наоборот, наличие разных переводов помогает глубже проникнуть в суть стихотворения, написанного на чужом, не вполне понятном языке. Составляя самодельный домашний сборник своих переводов из Блейка в 1979 году, куда вошло 43 его стихотворения, я поместил в нём следующий перевод:

ТИГР

Тигр! Тигр! Тёмный лес
Озарил твой яркий блеск,
Меж деревьями взвилась
Симметричных линий вязь.

Где нашёл, о Тигр, ты
Эти страшные черты?
В небесах иль под землёй
Создан взгляд ужасный твой?

Что за мастер тебя свил
Из стальных упругих жил,
Зубы заточил, как нож,
Что людей приводят в дрожь?

Где отважный тот кузнец
Огневых твоих колец?
Где тот молот, где тот горн,
Что в тебя вдохнул огонь?

Неужели тот же Бог,
Что ягнёнка сделать смог,
Создал твой оскал клыков –
Вспышки молний, грома рёв?

Тигр! Тигр! Тёмный лес
Озарил твой яркий блеск,
Так откуда же взялась
Симметричных линий вязь?

(1973, Москва)

Я был счастлив, что каким-то образом сумел, хотя бы отчасти, передать своё ощущение от стихотворения, которое мне так нравилось, и, вместе с тем, я видел свои недочёты, они сразу бросались в глаза, и особенно меня смущала пятая строфа, которую я вскоре поменял:

В час, когда из влажных глаз
Звёзды слёзы льют на нас,
Улыбнётся ли Творец
Грозных тигров и овец?

(1979, Москва)

Мой перевод хромал не только в отношении содержания, смысла, но явно уступал оригиналу по своей звукописи. Поэтому в январе 1980 года, я решил полностью его переосмыслить. Стихотворение было как бы переоркестровано для другого, более мощного состава, скажем, с преобладанием медных духовых и ударных инструментов, и приобрело более терпкое звучание:

ТИГР

Тигр! Тигр! Пламень жгучий
Засверкал в ночи дремучей,
Чья рука, чей пылкий взор
Начертали твой узор?

Где чудовищная сила,
Что, смеясь, огонь схватила,
Что скрутила из лучей
Кольца огненных очей?

Где живёт кузнец могучий,
Под землёй или за тучей –
Чародей, что оживил
Сплав твоих железных жил?

Чьё кипучее горнило
Гордый разум распалило,
Тучный молот, что ковал
Сердца пламенный овал?

А когда с небесной кручи
Вновь ударит гром гремучий,
Завершеньем грозных игр
Будет Агнец или Тигр?

Тигр! Тигр! Пламень жгучий
Засверкал в ночи дремучей,
Чья рука, чей дерзкий взор
Начертали твой узор?

(22 мая 1980, Руза)

Тогда же я впервые положил английский текст этого стихотворения на музыку. Песня вошла в вокальный цикл «Пугающая симметрия» для голоса и органа. Позднее я сделал ещё не менее пяти вариантов своей музыкальной интерпретации этого стихотворения. Но тут я обнаружил, что мой русский перевод плохо ложится на эту музыку, в основном, из-за женских окончаний в нечётных парах строк, отсутствующих в блейковском оригинале. Так появился ещё один эквиритмичный вариант:

ТИГР

Тигр! Тигр! Жгучий жар
Разгорелся, как пожар,
Чья бессмертная рука?
Твои раскрасила бока?

Как обрёл, о Тигр, ты
Эти страшные черты?
В небесах иль под землёй
Взор свирепый создан твой?

Где кузнец тот, что сложил
Спираль твоих упругих жил?
Каким он молотом ковал
Сердца пламенный овал?

Как сумел он сделать ум
Для твоих угрюмых дум?
Как раздул он жаркий горн,
Что вдохнул в тебя огонь?

В час, когда грустнеет лес,
Слезинки капают с небес,
Улыбнулся ли Творец
Сердитых тигров и овец?

Тигр! Тигр! Жгучий жар
Разгорелся, как пожар;
Чей же, чей же дерзкий взор
Замыслил зверский твой узор?

(1984, Руза)

В 2001 году я вернулся к этой версии, и переделал в ней многие детали:

ТИГР

Тигр! Тигр! Жгучий жар
Разгорелся, как пожар;

Где рука, где пылкий взор?
Что начертали твой узор?

Как обрёл, о Тигр, ты
Эти страшные черты?
В небесах иль под землёй
Взор свирепый создан твой?

Где кузнец тот, что сложил
Спираль твоих упругих жил?
Каким он молотом ковал
Сердца пламенный овал?

Как вложил он в гордый ум
Цепь твоих угрюмых дум?
Как сумел он горн раздуть,
Чтоб огонь в тебя вдохнуть?

В час, когда грустнеет лес
И стрелы слёз летят с небес,
Улыбнётся ль наконец
Создатель тигров и овец?

Тигр! Тигр! Жгучий жар
Разгорелся, как пожар;
Где рука, где дерзкий взор,
Что начертали твой узор?

(6 января 2001)

Понимая, что и этот вариант далёк от идеала, я продолжал над ним «колдовать», и в 2010 году сделал совершенно новую версию. В таком виде перевод помещён на сайте Евгения Витковского «Век перевода»:

ТИГР

Тигр, о Тигр, во мгле ночной
Страшный сполох огневой!
Кто бессмертный мастер сей
Соразмерности твоей?

Где глаза твои зажглись, –
Что за бездна? что за высь?
Чьи парили там крыла?
Чья рука огонь взяла?

Как дерзнула та ладонь
В сердце превратить огонь?
Как забилось сердце вдруг
В мощной хватке грозных рук?

Молот чей? из кузни чьей?
В пламени каких печей?
Кто ковал и закалял
Мозга яростный металл?

Звёзд лучистый хоровод,
Влагу слёз на небо льёт;
А Творец твой, рад ли он?
Им ли Агнец сотворён?

Тигр, о Тигр, во мгле ночной
Страшный сполох огневой!
Кто бесстрашный мастер сей
Соразмерности твоей?

(2010, Сент-Олбанс)

Из всех предыдущих вариантов этот, как мне кажется, наиболее полно отражает детали смысла оригинала, но, конечно, во многом отличается от него. Между оригиналом и переводом никогда не бывает и не может быть знака равенства. Перевод – это всегда что-то другое, вполне самостоятельное, лишь отталкивающееся от оригинала: попытка передать какие-то его основные черты в иной языковой системе. Это субъективное впечатление переводчика – совершенно другой личности, с другой культурой, интересами, кругозором, человека, живущего в другую эпоху и, как правило, в другой стране. Я люблю это занятие, которое составляет мой досуг уже больше сорока лет. И если у меня останутся время и силы, не исключено, что через какое-то время я снова почувствую внутреннюю необходимость вернуться к этому замечательному стихотворению и перевести его заново.

18 февраля 2014, Сент-Олбанс

Философические письма



Олег Комков

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ИКОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ XX ВЕКА:

КОНЦЕПЦИИ *СОЗЕРЦАНИЯ* В.А. КОМАРОВСКОГО и И.А. ИЛЬИНА

Эстетическая проблематика в русле отечественного религиозно-философского дискурса первой половины XX века должна, на наш взгляд, анализироваться в такой диахронической перспективе, которая учитывала бы как мощь длительной ортодоксальной христианской традиции, восходящей к святоотеческим и евангельским истокам, так и сокрытый в этом дискурсе глубокий потенциал для дальнейшей эволюции теорий творчества в современную эпоху радикально меняющихся ценностных установок. Следует признать, что русская религиозная философия в целом замкнула многомерный трансисторический континуум духовного делания, обнаружив пути нового углубленного развития того способа мышления и миросозерцания, который впервые вошел в человеческую культуру с новозаветным Откровением и восточной патристикой. От Г.С. Сковороды до А.Ф. Лосева мы наблюдаем уникальный опыт построения (выражаясь языком о. П. Флоренского, можно было бы сказать точнее – «воспостроения») синтетического, объединяющего мистико-интуитивное и рациональное начала, видения мира и культуры на новом эпохальном витке бытия. Конечно, нового мистического богословия здесь не было и не могло быть дано, и опыт этот был, как хорошо известно, весьма разноречив и разнолик, охватывая при этом не только философию, но и гениальнейшие страницы русской литературы и критики, – и все же это был значимый опыт постижения жизни религиозной мыслью, и в нем отпечатлелись фундаментальные характеристики древнего и чистого процесса познания истины, веками сохранявшиеся в русском религиозном сознании и формах сакральной культуры: мистическая иконичность, анагогическое возведение сердца и разума, этика и телеология духовного преображения. Отсюда – наш принципиальный интерес к проблемам религиозной философии искусства в разных ее ипостасях (включая художественную кри-

тику), неотделимой от целостной христианской метафизики и антропологии и способной в третьем тысячелетии послужить основой новых открытий в области глубинных измерений человеческого существования.

В эстетических концепциях выдающегося русского иконописца и искусствоведа XX столетия графа Владимира Алексеевича Комаровского и крупнейшего религиозного мыслителя русской эмиграции Ивана Александровича Ильина проблематика художественной культуры осмысляется на основе одной из ведущих категорий трансцендентальной религиозной феноменологии – категории *созерцания* – и обнаруживается внутренняя, подчас глубоко скрытая, преемственность классическим традициям восточнохристианского умозрения. Теоретические выкладки Комаровского непосредственно вливаются в магистральное направление русской религиозно-эстетической мысли, сохраняя при этом свою самобытность и отчетливость, и, несмотря на недостаточную разработанность, являют собой контуры стройной и плодотворной концепции, укорененной в многовековом опыте патристики. В этом смысле значимость текста Комаровского «Письмо об иконописи (о. Сергию Мечеву)», на наш взгляд, трудно переоценить. Что же касается эстетических воззрений Ильина, то здесь, с одной стороны, очевидно, что за его яркой и поэтичной философской эссеистикой (мы имеем в виду его знаменитые статьи об искусстве и литературную критику) стоит основательно продуманная и прочувствованная система; однако, с другой стороны, подлинная христианская духовная преемственность в мысли Ильина может показаться спорной вследствие специфики испытанных философом влияний[1]. Мы надеемся, что анализ, проведенный в рамках указанной выше парадигмы и направленный на сопоставление двух ценных и чрезвычайно близких по духу взглядов на проблему созерцания, поможет достичь некоторой ясности в данном вопросе, актуальность которого для целого ряда междисциплинарных исследований духовной культуры не нуждается в комментариях.

Категория созерцания издревле являлась в христианском умозрении своеобразным стержнем, связывавшим метафизику, теологию, антропологию и эстетику. От античного платонизма через неоплатоников к святоотеческому богословию протянулась в истории европейской культуры линия, характеризовавшаяся нарастанием мистического напряжения на путях перехода от внеличностного космологизма к христианскому личностному духов-

1 См., напр., критику Ильина у В.В. Зеньковского (*Зеньковский В.В.* История русской философии. М., 2001. С. 777–781).

ному опыту[1]. Этой в широком смысле мистической линии и принадлежит то понимание созерцания, которое вошло неотъемлемым элементом в духовный облик христианского Востока, достигнув здесь апогея в сочетании интуитивной цельности и структурной расчлененности, а затем, размежевавшись с западноевропейской традицией, укоренилось в восточнославянских культурах. В самых общих чертах это мистическое созерцание (θεορία) трактуется как специфическая форма познания, в основе которой лежит целостное, внечувственное и сверхлогическое постижение глубинной сущности вещи, последней реальности бытия, а в христианстве – также постижение нетварных энергий, в которых Бог открыт человеческому уму и которые пронизывают актуальную действительность. Б.В. Раушенбах со свойственными ему лаконичностью и четкостью формулировок писал в связи с этим следующее: «Существуют два пути познания: путь логического мышления и путь созерцания. Логическому мышлению, преимущества которого достаточно очевидны, присущ, однако, существенный недостаток: оно идет от одной частности к другой путем строгих умозаключений, но при этом всегда остается в плену рассматриваемых частностей. Созерцание лишено этого недостатка. Оно дает картину хотя и лишенную подробностей, но зато обладающую свойством полноты. Более того, в некотором отношении созерцание имеет безусловное преимущество перед логическим мышлением. <…> Ведь в красоте созерцаемых вещей просвечивает высшая красота Творца; их надо видеть не только такими, какими они являются в повседневной жизни, но и метафорами высшего бытия…»[2] Приведенное суждение высказано Раушенбахом в контексте рассмотрения свойств средневекового иконологического мышления (со ссылками на Дионисия Ареопагита), однако путь к мистическому созерцанию начался гораздо раньше. При этом, в отличие от чисто гносеологической трактовки интересующей нас категории, нам представляется важным подчеркнуть ее онтологический и антропологический аспекты; в этом ракурсе созерцание может быть понято как *способ существования субъекта*, характеризующийся переживанием его реальной причастности (высшему) бытию и органически цельной вневременной и внепространственной стяженностью актов познания. Возможность и эмпирическая

1 Этот аспект культурной диахронии был исчерпывающе раскрыт в работах А.Ф. Лосева (см., в частности: *Лосев А.Ф.* История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. М., 1992. С. 207–214; 409–414).

2 *Раушенбах Б.В.* Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001. С. 271.

реализация такого способа существования неуклонно, хотя и в разной степени, выявляются в истории культуры посредством высокого духовного тоноса рефлексии, «умного делания» и художественного образотворчества.

Рассмотрим несколько примеров. Еще в платоновском «Федре» разворачивающаяся перед взором читателя изумительная картина пребывания душ в царстве вечных идей включает в себя созерцание как своего рода предикат описываемого состояния субъекта: «Отправляясь на праздничный пир, они (души. – *О.К.*) поднимаются к вершине по краю поднебесного свода… Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины… останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба. <…> Мысль бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает… подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии» (247b – e)[1]. Разумеется, у Платона это специфическая мифология, служащая одним из средств выражения его учения об идеях, однако характер созерцания как существования в мистической причастности бытию налицо уже здесь, несмотря на известную иррелевантность этого аспекта в общем платоновском контексте; трансцендентность актов познания по отношению к наличной эмпирии также вполне очевидна. Это некоторым образом предвосхищение той экстатичности созерцания, которая по-разному разовьется впоследствии в позднем эллинизме и в восточной патристике. Сюда же в какой-то мере можно отнести и столь же известный платоновский тезис о поэтическом творчестве, осуществляемом в исступлении («Ион» 533d – 534d)[2], которое, вероятно, подразумевает состояние, близкое к созерцанию подлинных причин вещей, – хотя настоящими созерцателями вечных идей на земле являются философы, объединившие в себе все художества и ремесла и управляющие на основе своего созерцания государством[3].

1 *Платон.* Федон, Пир, Федр, Парменид / Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; Примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. М., 1999. С. 156.

2 См.: *Лосев А.Ф.* История античной эстетики: Высокая классика. М., Харьков, 2000. С. 105–106.

3 См. там же. С. 188–189.

В целом, однако, концепции созерцания как таковой у Платона еще не было. Впервые она со всей отчетливостью фиксируется в ряде трактатов Плотина, выступая существенным компонентом нарастающего в неоплатонизме мистического трансцендентализма. Французский исследователь П. Адо (P. Hadot) вдохновенно пишет о том, что созерцание у Плотина есть не только высший способ постижения «неподвластной рассуждению» жизни в ее сущности и глубин нашего чистого «я», но и онтологический принцип самой жизни во всем многообразии ее форм: «Ибо сама жизнь, на всех ее уровнях, есть созерцание. <...> Сама Природа, принцип телесной жизни, есть созерцание... <...> Природа созерцает то, что Душа показывает ей из мира Форм. Но Душа сама созерцает мир Форм, и то, что она передает Природе, есть лишь естественный результат этого созерцания. <...> ...через созерцание можно сразу прийти к тому, чего люди с трудом добиваются обходным путем, – к восприятию Красоты. <...> ...нет больше различия между внешним и внутренним восприятием. Уровень рефлексии и восприятия превзойден, мы вышли на уровень интуиции и созерцания. Теперь мы чувствуем, что Жизнь есть непосредственное созерцание себя»[1]. Предикативность созерцания в понимании основ жизни интерпретируется далее у Адо в контексте раскрытия переживания «Божественного присутствия» в плотиновском космосе. Вместе с тем онтологический и антропологический аспекты созерцания у Плотина отмечены языческим стремлением к преодолению эмпирических границ личности и растворению в пантеистической стихии бытия, хотя этим и подчеркиваются присущие мистическому созерцанию моменты *экстаза* и *сопричастности*. Впрочем, последнее отчасти укоренено в общеязыковой античной традиции употребления слова θεορία, означавшего, по определению А.Ф. Лосева, «просто интуитивное представление о том или ином осмысленно сформированном и всегда наглядно данном предмете»[2] и связанного с отождествлением мысли о бытии и самого бытия[3]. Однако даже само по себе это свойство античного мышления говорит о многом; Плотин же в своей теории идет гораздо дальше обыденности. В частности, мы читаем: «все истинно-сущее [возникает] из созерцания и есть созерцание, а возникшее из него возникло вследствие того, что оно созерцает и само есть созерцательные данности»; «порождения, исходящие

1 *Адо П.* Плотин, или простота взгляда. М., 1991. С. 40–43.

2 *Лосев А.Ф.* История античной эстетики: Поздний эллинизм. М., Харьков, 2000. С. 532.

3 См. там же. С. 533.

от созерцания, [имеют цель] в осуществлении лика… и другой созерцательной данности»; «вообще все, будучи подражанием творящего, творит созерцательные данности и лики… <…> Ибо творить какое-либо бытие значит творить форму (eidos), а это значит наполнять все созерцаниями» (III 8, 7, 1 – 27)[1]. Резюмируя цитируемый трактат, А.Ф. Лосев определяет созерцание как совокупность априорных форм становящегося сознания бытия («созерцательного» бытия), как лежащий в глубине природы «принцип осмысления всякого живого самосознающего предмета»[2]. В другом месте у Плотина читаем об «умной красоте» как тождестве созерцаемого и сущего, а также о нахождении созерцающего красоту субъекта «между абсолютным тождеством себя и самораздвоением» (Лосев): «Если кто-нибудь из нас не в состоянии созерцать самого себя, он, охваченный… богом, когда выносит вовне для созерцания предмет своего видения, тем самым себя выносит вовне и видит себя как изукрашенный образ божий. Когда же он отбросит этот образ, хотя и прекрасный, придя к единству *с самим собою* и уже не раскалываясь, тогда он есть *вместе все едино* с этим безмолвно присутствующим богом и существует с ним – насколько может и хочет. <…> Да и как может кто-нибудь находиться в прекрасном, не созерцая его? Именно, созерцая его как другое, он еще не в прекрасном, но [только] став им, он… в собственном смысле пребывает в прекрасном» (V 8, 11, 1 – 24)[3]. В этом фрагменте с предельной насыщенностью выражена экстатическая сопричастность созерцающего созерцаемому на фоне абсолютно безличных для Плотина категорий *бога*, *образа божия*, *прекрасного*; однако едва ли античность знала более мощное художественное осмысление созерцания. Наконец, принципиально важно для нас то, что подобная экстатическая сопричастность идеальному творящему началу через мистическое созерцание является в эстетике Плотина основой творчества[4], охватывающего собой всю человеческую жизнь.

Переходя к вопросу о категории созерцания в восточной патристике, следует отметить два существенных момента. Во-первых, в отличие от внеличностного космологизма античности, субъектом созерцания у Св. Отцов является человеческая *личность* как форма бытия, сохраняющая свою цельность, самобытность и уникальность на всех этапах и уровнях духовного опыта; объектом же

1 Там же. С. 543–544 (пер. А.Ф. Лосева).
2 Там же.
3 Там же. С. 582–583.
4 См. там же. С. 302. Лосев ссылается здесь на работу О. Беккера (*Becker O.* Plotin und das Problem der geistigen Aneignung. Berlin, 1940).

созерцательной сопричастности выступает Божественная, горняя реальность как совокупность явленных для человеческого постижения свойств абсолютной надмирной Личности Бога и сотворенных Им невещественных природ. Во-вторых, такое созерцание, предстающее как способ существования личности, характеризует собой одно из самых высоких духовных состояний человека, достигаемое по преимуществу путем *аскетического подвига*, отречения от соблазнов наличного чувственного мира. Поэтому момент «субъект-объектного» тождества в созерцании есть приобщение Божественной благодати, внимание Откровению и видение «сущих» как отпечатков Божественной славы, а человеческой природы как изначально носящей в своей последней глубине образ Божий. При этом образ Божий понимается как онтологическая реальность, а не как плотиновское видение себя вовне, преодолеваемое на пути восхождения к растворению в «умной красоте». После абсолютного символизма «Ареопагитик», теоретически постулировавшего апофатическую и катафатическую стороны Богопознания, мистическое богословие Восточной Церкви устойчиво декларирует созерцание в линиях антропологического трансцендентализма и персоналистической телеологии. Приведем некоторые характерные тексты. Преп. Максим Исповедник, развивая теорию абсолютного символизма, пишет в «Мистагогии»: «Для обладающих (духовным) зрением весь умопостигаемый мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов. А весь чувственный мир при духовном умозрении представляется содержащимся во всем умопостигаемом мире, познаваясь (там) благодаря своим логосам. <...> ...символическое созерцание умопостигаемого посредством зримого есть одновременно и духовное ведение и умозрение видимого через невидимое»[1]. Преп. Максим трактует созерцание, по сути, как глубокое и благоговейное переживание личностью своего существования в универсуме целостно сопряженных феноменов и «логосов» (идей вещей), пронизанном благодатью Творца. Величайший мистик Востока преп. Исаак Сирин определяет созерцание как «ощущение божественных таин,

1 *Максим Исповедник.* Творения. Кн. 1. Аскетические и богословские трактаты. М., 1993. С. 160. См. также комм. А.И. Сидорова на с. 302: «...восходя от явленности («феноменальности») бытия к его идеям («логосам»), мы вновь возвращаемся к этому бытию, но только уже не в его явленности, а в его смысловой и духовной сущности, и замыкаем тем самым круг познания». Этот замыкаемый круг познания и есть созерцание во всей своей полноте.

сокровенных в вещах и в их причинах»[1], характеризуя при этом и антропологический его аспект: «...добродетель есть тело, созерцание – душа, а та и другое – один совершенный человек, соединяемый духом из двух частей, из чувственного и разумного»[2]. Высшим состоянием личности является у Исаака Сирина *молитвенное созерцание*, при котором молящийся «становится телом бездыханным, придя в восторг»[3]. Это уже Божественный экстаз (ἐκστασις, преддверие преображения личности. Систематизатор исихазма св. Григорий Палама в «Триадах в защиту священнобезмолвствующих» называет саму христианскую веру «превосходящим любое чувство и любое разумение созерцанием нашего сердца» (II 3, 40)[4], описывая само состояние созерцания следующим образом: «Когда, превзойдя всякую умственную энергию, ум становится незрячим по преизбытку зрячести, он исполняется прекраснейшего блеска, благодатно укореняясь в Боге и через сверхумное единение неизреченно обретая и созерцая в нем самом и через него самого самовидящий свет» (II 3, 56)[5]. В исихиастической традиции исследуемая категория вообще раскрывается наиболее ярко ввиду подчеркнутости моментов экстатического трансцензуса, анагогического восхождения от чувственной эмпирии в область умопостигаемого, причастности свету как зримой духовным оком нетварной энергии Бога. Последователь Григория Паламы св. Каллист Ангеликуд трактует созерцание не как состояние, а как действие, или деятельность ума, что, впрочем, не противоречит рассматриваемой парадигме, поскольку в рамках этой деятельности ум, по Каллисту, изменяет свой способ существования (это почти плотиновская структура, только преображенная в христианском свете): «Для божественного единения необходимо божественное подобие; для божественного подобия необходима деятельность ума, то есть созерцание. Но созерцание тотчас восходит к мысли о Боге... и созерцательный ум имеет Бога прямо перед собою, Бог же есть премирное единое. А уму естественно становиться по деятельности таковым, каковое он видит... <...> Ибо ум, говорит Петр Дамаскин, *принимает окраску соответственно тому, что он созерцает*»[6].

1 *Исаак Сирин, преп.* Слова подвижнические. М., 1993. С. 14.
2 Там же.
3 Там же. С. 60.
4 *Григорий Палама, святитель*. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995. С. 227.
5 Там же. С. 243.
6 Уцелевшие главы *Каллиста Катафигиота*, обдуманные и весьма высокие, о божественном единении и созерцательной жизни / Пер. Н.А. Леонтьева, редакция А.Ф. Лосева, выборочная сверка с греческим А.Г. Дунаева, при-

Здесь отчетливо выражена не просто сопричастность, но *преображение ума* в созерцании, в состоянии Богообщения.

Вместе с тем мистическое созерцание в христианской традиции связывается не только непосредственно с аскетической практикой, но имеет и весьма значимое эстетическое измерение, сохраняя в нем все свои характерные черты. Это эстетическое измерение входит в святоотеческую иконологию и теорию религиозного искусства, во многом обусловивших развитие европейской художественной культуры. Так, «чувственное созерцание» фигурирует у Св. Иоанна Дамаскина в его «Защитительных словах против порицающих святые иконы»[1]; «чувственность» в контексте исконного абсолютного символизма христианской эстетики, питающейся от мистического богословия, указывает на то, что личность входит в созерцание через контакт с материальным изображением на иконе, чтобы совершить анагогический путь к постижению первообраза и тем самым достичь состояния того синтетического ведения, о котором писал преп. Максим Исповедник. У преп. Феодора Студита есть мысль о том, что наличная действительность мира передается в образе (иконе) не в своем земном способе существования, но в подлинной смысловой (эйдетической) сущности, в качестве Божьего замысла[2], т.е. образ представляет собой своего рода «созерцательную данность», или *лик*. Это тот феноменологический момент созерцания, который связан с реальным и обязательным *узрением* сущности вещи, будь то платоновская идея, плотиновская форма (эйдос) или логос Максима Исповедника.

Развившись в византийской традиции, эстетическая трактовка мистического созерцания перешла в русскую культуру и сохранилась там не в рефлективной форме, но в живом опыте религиозного искусства, а оттуда (хотя и не только) была воспринята некоторыми направлениями русской философской мысли. В путях западноевропейской культуры возрождение категории созерцания наблюдалось в идеалистической философии, например, у Фихте и Шеллинга (обнаруживая значительное сходство с неоплатонизмом[3]) – однако это было уже совсем не то созерцание, т.к. разра-

---

меч. Н.А. Леонтьева, В.В. Бибихина и А.Г. Дунаева // Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения Святых Отцов-исихастов. М., 1999. С. 40.

1 *Преподобный Иоанн Дамаскин*. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. М., 1993. С. 9.

2 См.: *Левшун Л.В.* История восточнославянского книжного слова XI–XVII вв. Минск, 2001. С. 53.

3 См.: *Лосев А.Ф.* Указ. соч. С. 761.

батывалось оно в русле абсолютизации субъекта и его рассудочной способности. Поэтому мы в настоящей статье минуем Запад и обращаемся непосредственно к выбранным нами представителям русской религиозной эстетики, у которых категория созерцания вводится прямо и стоит в центре их концепций.

«Письмо об иконописи», отправленное православным иконописцем и теоретиком искусства графом *В.А. Комаровским* московскому священнику С. Мечеву из Вереи в 1930 году[1], являет собой опыт восстановления святоотеческих традиций богословия культуры и творчества в условиях секуляризма сознания XX столетия и в этом смысле наследует сочинениям таких крупных мыслителей, как князья Е.Н. и С.Н. Трубецкие, о. П. Флоренский, о. С. Булгаков и др. Проблематика работы охватывает наиболее существенные моменты философии иконы не только как произведения религиозного искусства, но и как таинства, в котором обнаруживается и осуществляется реальная связь человека с Богом. Начиная с анализа онтологических свойств иконописных образов в их противопоставлении «натуралистической» живописи, Комаровский вводит и определяет понятие «*иконописного тела*», противополагая ему тело «живописное» по степени и форме воплощения онтологичности. Эта весьма важная для искусствознания и четкая постановка проблемы, несомненно, требует специального исследования. Далее Комаровский переходит к проблеме творческого созерцания как необходимого условия для рождения художественного образа, трактуя эту проблему в контексте своей теории *диатаксиса* и по силе интуиции выходя из области иконописания к масштабному охвату всей иерархии художественных и творческих актов. Завершается работа яркими мыслями о современном Комаровскому состоянии иконописного искусства и о путях его дальнейшего развития, сохраняющими свою насущную остроту и по сей день. Оставляя ряд мыслей Комаровского для отдельного обсуждения, сосредоточимся на центральной идее.

Творческое созерцание, по Комаровскому, есть экзистенциальная категория, тесно связанная с диатаксической организованностью жизни личности. Ссылаясь на святоотеческую традицию, Комаровский определяет *диатаксис* как «свойство, характе-

1 О В.А. Комаровском см.: *Сергеев В., Комаровская А.В.* В.А. Комаровский (1883–1937) – иконописец XX столетия // Златоуст. Духовно-просветительский журнал Товарищества русских художников. 1993. №2. С. 241–251. Там же далее опубликовано «Письмо об иконописи». В настоящей статье мы цитируем его по другому изданию (см. ниже).

ризующее степень глубины созерцания и высоты созерцаемого»[1], т.е. *чин* творчества, или творческое устроение личности. Речь идет о понимании чина как принципа трансцендентально обусловленной упорядоченности форм и структур бытия: Св. Отцы в этом смысле говорили равно и о благоустроении космоса, и о благоустроении человека. Сюда относятся, в частности, различные антропологические концепции, основанные на соответствии телесно-душевной организации человека Божественным ипостасным символам, а также ряд практик чинопоследовательного структурирования жизненного времени (например, круги богослужений и колокольные звоны в православной культуре). Следуя данному пониманию, Комаровский предлагает расположить созерцание как способ существования личности, определяющий комплекс жизненных явлений, в двухмерной системе координат, отображающей глубину и высоту диатаксиса. По глубине диатаксис имеет два порядка: первому соответствует «глубокое» созерцание, второму – «поверхностное». Диатаксис высоты созерцаемого – трехуровневый: на первом уровне располагается созерцание «высочайших» образов, на втором (ниже) – «средних», на третьем – «низших». Диатаксическая система координат (или «шкала», как ее называет сам Комаровский) позволяет наглядно уяснить, что созерцание трактуется здесь именно как экзистенциальный момент жизни личности в той мере, в какой сама личность творит эту жизнь, и охватывает весь универсум ее возможных состояний. Вместе с тем характерно, что тот или иной диатаксис созерцания «не имеет прямого отношения к нравственному строю человека, то есть, например, созерцание глубокое высших образов не означает непременно высоты духовной и нравственной, с другой стороны, в чине поверхностных созерцаний могут быть святые»[2]. И далее: «Личность на всех ступенях нравственного и духовного развития развертывается в свойственном ей чине. Таким образом, ''диатаксис'' не совпадает в порядке высоты с понятием добра и зла»[3]. Итак, диатаксис есть некая неизменная внеэтическая (сугубо структурная) данность; однако этот детерминизм диалектически сопряжен с этической и творческой свободой личности: диатаксис здесь является своего рода пространством и условием осуществления свободы, а созерцание, в нем

1 *Комаровский В., граф*. Письмо об иконописи (о. Сергию Мечеву) // Православная икона. Канон и стиль. К Богословскому рассмотрению образа. М., 1998. С. 155.

2 Там же. С. 155–156.

3 Там же. С. 156.

разворачивающееся, есть само это творческое осуществление, в котором высота созерцаемых образов и уровень проникновения в них (или *за* них) влияют на общее положение личности в духовной иерархии бытия. В аспекте восприятия и оценки личностных актов (в т.ч. художественных) характер (или «форма») созерцания и его диатаксис, определенным образом сформулированные, могут, по мысли Комаровского, выражать подлинную живую реальность, или структуру, действия или эстетического феномена: «можно сказать про любое явление творчества, что оно такого же ''диатаксиса'', то есть, например, такая-то картина есть ''поверхностное созерцание высокого образа'' или такому-то человеку, писателю или иконописцу свойственно такое-то созерцание – он такого-то диатаксиса»[1].

Содержание указанных порядков, или чинов, созерцания и формулы самих созерцаний раскрываются у Комаровского весьма неоднородно и нерасчлененно, свидетельствуя об интуитивной эйдетичности его мысли при некоторой нестабильности терминологии. Впрочем, добиться здесь стабильности в творческой опоре на обширную и живую мистическую традицию крайне тяжело. Разница между двумя порядками диатаксиса по глубине излагается сразу же следом за вышеприведенными тезисами. При поверхностном созерцании (второй порядок) «творческая энергия движется по направлению к поверхности образа, которая и является целью и предметом постижения и воплощения образа, обтекая и характеризуя его со всех сторон всеми доступными средствами. <...> В этом случае поверхность является пределом созерцания, которое, так сказать, возвращается и творчески претворяется в подсознании художника. Создается поверхностный образ, может быть, высокого предмета, но говорящий **об образе**»[2]. «Визуализируя» эту отвлеченную характеристику, можно представить, что личность в данном случае совершает свой творческий и жизненный путь в пространстве, загражденном со всех сторон непроницаемыми «образами», поверхностями вещей, пространстве, составленном из «пределов», – что и отражается соответственно на продуктах творчества; созерцание здесь есть сопричастность лишь вещам, и мистическое восхождение к смыслу крайне затруднено. Напротив, при глубоком созерцании «творческая энергия проникает за пределы этой поверхности, входит в глубину образа, видит в этой глубине и непосредственно восходит до первообраза и, творчески созерцая этот первообраз, делается той лестницей, тем проводни-

1 Там же.

2 Там же (выделено Комаровским).

ком, сорастворяющимся с этим первообразом, который таинственно, через творческую энергию, претворяется и воплощается»[3]. Это не что иное, как абсолютный символизм иконологического мышления, рождавшего шедевры религиозного искусства на протяжении более чем десяти веков. «Сорастворение» творческой энергии с первообразом в терминах Комаровского означает, очевидно, особый акт познания вещи, осуществляемый при мистическом созерцании и позволяющий явить первообраз в художественном образе, или лике. Это видение умопостигаемого мира через чувственный с возвращением к умозрению «видимого через невидимое» (если вспомнить формулировки преп. Максима Исповедника). Это «сорастворение» есть, наконец, реальное изменение способа существования ума (паламитская структура), становящегося «таковым, каковое он видит» (св. Каллист Ангеликуд), и творчески являющего свое видение как неслиянное и нераздельное единство смыслового и выраженного бытия. Естественно, что для иллюстрации различия между глубоким и поверхностным созерцанием Комаровский обращается к сопоставлению древней и новой (с конца XVI в.) иконописи: в первом случае церковному сознанию предстоит возможность совершить восхождение к созерцанию горней реальности, во втором – созерцается лишь периферия образа, поверхность, «плотяность», выражением чего в иконах служат фрязь и живописная техника.

В качестве примера святоотеческого прототипа разделения созерцания по высоте созерцаемых образов можно провести аналогию с дихотомией «вещественного» и «духовного» созерцания у св. Исаака Сирина[4]. Хотя подлинно духовное созерцание (без участия чувств), по Исааку Сирину, возможно только после смерти, приблизиться к нему человек может и при жизни. Св. Григорий Палама приводит в «Триадах...» цитату из преп. Исаака: «у нас есть два душевных ока, и неодинакова польза от владения ими: ...одним зрением мы видим скрытое в природных вещах, то есть Божию силу, Его премудрость... другим же зрением видим славу Его святой природы, когда Бог благоволит ввести нас в таинства духовные» (II 3, 15)[5]. В определенной мере под видением скрытого в природных вещах можно усмотреть соответствие созерцанию «средних» образов у Комаровского, под постижением же славы Божией – созерцание «высочайших» образов. Что касается «низших» образов, то этот третий уровень диатаксиса по высоте, вероятно, предполага-

3 Там же.

4 См.: *Исаак Сирин*. Указ. соч. С. 394.

5 *Григорий Палама*. Указ. соч. С. 204.

ет некую совокупность искаженных форм бытия, фантазматических данностей (призраков, идолов), вплоть до откровенных образов зла. Глубокое созерцание, в котором осуществляется постижение этих реальностей, способно вскрыть их искаженную или мнимую (отрицательную) сущность, но таит в себе и опасность ввергнуть созерцающую личность в пучину инфернального небытия. Возможно, что в иерархии «высочайших», «средних» и «низших» образов Комаровский следует известной трихотомии о. П. Флоренского *лик – лицо – личина*; во всяком случае, эта трихотомия позволяет четче представить данное измерение исследуемой диатаксической системы координат. *Лик*, по Флоренскому, есть откровение высшей духовной сущности, образа Божия, реальная явленность вечного смысла в мистическом созерцании; *лицо* – «то, чем являются нам реальности здешнего мира», феномен, понимаемый «как посредничающее между познающим и познаваемым, как раскрытие нашему умозрению сущности познаваемого»; *личина* – бессубстанциальная, мертвая маска, закрывающая и вместе с тем опустошающая предмет изнутри, своего рода лик навыворот[1]. Можно сказать, что в системе Комаровского высший уровень глубокого диатаксиса (первого порядка) предполагает непосредственное созерцание ликов (сюда относится, главным образом, иконопись), второй уровень – созерцание лиц (вероятно, этот уровень охватывает наиболее обширный комплекс творческих исследований наличного бытия: философию, светское искусство, художественную литературу[2], науку – ибо, по слову Св. Отцов (напр., Дионисия Ареопагита), наука также есть постижение Божественной премудрости через «рассмотрение сущих»), наконец, третий уровень – созерцание личин (возможно, что здесь предполагаются всевозможные – философские, художественные, научные – исследования, раскрывающие природу патологических форм[3]: в част-

1 См.: *Флоренский П.А., священник*. Иконостас // *Он же*. Сочинения. В 4 т. Т. 2. С. 433–435.

2 Мы применяли концепцию Комаровского в сопоставительном анализе образов иконописца в «Запечатленном ангеле» Н.С. Лескова и «Неупиваемой Чаше» И.С. Шмелева: лесковский Севастьян-изограф предстает как созерцатель ликов (по высоте своего чина), а шмелевский художник Илья Шаронов – как созерцатель образа Божия в человеческих лицах (см.: *Комков О.А.* Образ иконописца в русской художественной традиции («Запечатленный ангел» Н.С. Лескова и «Неупиваемая Чаша» И.С. Шмелева // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001. № 1. С. 118–134).

3 См. наш анализ личины в «Портрете» Н.В. Гоголя, где «страшный фантом» ростовщика оказывается символом инфернальной лже-реальности

ности, из области наук сюда может быть отнесено большинство разделов медицины в той мере, в какой она касается диагностики и выявления структуры соматических и психических патологий). То же касается и трех уровней диатаксиса второго порядка (поверхностное созерцание) – с соответствующими выводами для результатов творчества.

Критически осмысляя теоретические предпосылки, заложенные в концепции Комаровского, хочется отметить один спорный момент этой концепции – ее статичность. Утверждаемая Комаровским неизменность творческого устроения (диатаксиса) для личности и целой эпохи сама по себе, как указывалось выше, не противоречит свободе реализации идеального образца, заданного для человека и культуры; диатаксис – это форма осуществления созерцания, а само созерцание не есть еще вся личность, но только ее творческий момент, один из способов существования. Другие измерения личности – этическое, социальное и т.д. – предполагают, в рамках трансцендентальной религиозной антропологии, свою диатаксическую структуру; таким образом, во всей совокупности своих измерений личность может находиться одновременно на нескольких ступенях различных диатаксических шкал. Однако даже в отношении только интересующей нас системы координат творческого созерцания непроходимость границ между уровнями и порядками диатаксиса сомнительна. Вероятно, этот аспект просто остался у Комаровского неразработанным. Очевидно, что переход как поверхностного, так и глубокого созерцания от одного уровня образов (по высоте) к другому и третьему вполне осуществим при определенных условиях; более того, созерцание гениальной творческой личности способно вместить весь универсум явлений бытия в его «вертикальном» измерении – «и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье», по Пушкину. Точно так же и переход созерцания от поверхностного диатаксиса к глубокому возможен в процессе общего духовного роста личности; в системе христианского мировоззрения такой качественный «скачок» традиционно осмысляется как плод благодатного просвещения душевных очей. Подобный динамизм нисколько не размывает сущностного содержания категории чина: личность растет в свойственном ей чине, но на определенном этапе может произойти своего рода «земное» преобра-

и средством десубстанциализации личности художника (*Комков О.А.* Традиции православного иконологического мышления в русской литературе XIX – нач. XX вв.: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков, И.С. Шмелев. Автореф. дисс. канд. культурологии. М., 2001. С. 17–19).

жение – и она переходит в другой чин (как было с апостолом Павлом). Впрочем, в этом отношении концепция Комаровского, возрождая ныне почти утраченный способ мышления, ставит больше вопросов, чем дает ответов. Актуально для нас, однако, то, что эта концепция, эксплицирующая, пусть и довольно схематично, интуиции сознания, жаждущего возвращения к цельности и чистоте миропонимания, обладает высоким эвристическим потенциалом: диатаксическая структура творческого созерцания, обогащенная дальнейшим дифференцированием, четкими критериями и живой диалектикой, отражающей реальное становление личности и социума, может, бесспорно, стать методологической опорой анализа многочисленных форм индивидуального творчества и своеобразия различных культурных периодов, эпохальных и региональных направлений, течений, традиций.

Если в концепции Комаровского мы наблюдали прямую связь с христианскими основами понимания творческой личности, то в эстетике *И.А. Ильина* эта связь проявляется опосредованно, хотя и с несомненной очевидностью. В своих статьях по искусству Ильин обращен преимущественно к формам секулярного художественного творчества, осмысляемого им в свете его духовного идеала – цельной и жизненной философской мысли, или философского делания, осуществляемого из глубины внутреннего личностного опыта. В свое время В.В. Зеньковский сурово критиковал Ильина за гегельянство и имманентизм, замкнутость в пределах мира, за непонимание сущности религии как выхода к трансцендентной вечности, к иному образу бытия, к Богообщению вне всяких мирских оков – эстетических, культурных, социальных и т.п. По Зеньковскому, Ильин только пользуется «религиозной фразеологией» при внутренней своей чуждости религиозному мировоззрению, при отсутствии ощущения трансцендентности Бога, при абсолютизировании (в духе Гегеля) того, что дано в мире и в сознании[1]. Известно, однако, что Ильин прошел путь от действительно гегельянских построений к критике гегелевского панлогизма и «абсолютного имманентизма» и постоянно приобщался к традиции самобытной русской мысли, во многом питавшейся из христианского источника. На наш взгляд, Зеньковский очень тонко и остро прочувствовал опасный внутренний соблазн у Ильина, ведущий к ограниченности, но остался односторонен и несправедлив в оценке; обращенность Ильина к миру видится нам связанной с подлинным переживанием просвещенности, пронизанности мира и человека Божественной благодатью, с тем любовным стремлением к приня-

1 См.: *Зеньковский В.В.* Указ. соч. С. 780–781.

тию и преображению личности и культуры, которое сам Зеньковский не раз отмечал в истории русского духа (например, у архимандрита Феодора (Бухарева)[1]). Только в этой перспективе можно верно воспринять, в частности, положительный и своеобразный опыт Ильина-эстетика и Ильина-культуролога.

Отцы Церкви, опираясь в определенной степени на античную традицию, склонны были связывать слова θεορία (*созерцание* – от глаг. θεάομαι) и Θεός (*Бог*) – для них созерцание по своей изначальной сути было «Божественным»[2]. В русском слове *созерцание* ничего похожего нет, зато есть другое – прямое указание на ту *со-причастность* познающего познаваемому, о которой мы уже неоднократно упоминали выше и которая характеризовала не что иное, как чистоту и непосредственность древнего мышления. Ильин, как никто другой, с поэтической чуткостью своего «поющего сердца» воспринял глубину русского слова, именующего это всеобъемлющее состояние души, столь свойственное, по его собственным замечаниям, русскому народу в понимании жизни и искусства[3] и отнюдь не предполагающее никакой пассивности или пустого претерпевания, но рождающее творческие акты любви и созидания. Поэтому на протяжении всего жизненного пути созерцание оставалось для Ильина в равной мере и основой философии (работы «Религиозный смысл философии» (1914–1923), «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» (1943)), и лоном настоящего художества, и скрытой силой всех других форм человеческой деятельности. Однако только в поздний период творчества Ильин пришел к зрелому и окончательному формулированию своей трактовки созерцания на принципах восточнохристианской антропологии, оставив в истории мысли категорию *сердечного созерцания* и тем самым наследовав мистической традиции «метафизики сердца» как глубинного средоточия личности, хотя и продолжал выражать содержание своего духовно-философского опыта в самобытном стиле, объединившем «европейскую» дискурсивность и абстрактность с поэтической широтой метафорики и лиричностью. Г.Я. Стрельцова отмечает, что Ильин «вводит особый духовный феномен – ''сердечное созерцание'', от развитости и силы которого зависит уровень духовности как отдельной личности, так и человеческой культуры в целом. ''Сердечное созерцание'' – самая глубокая и благородная способность человоческого существа, выс-

1 См. там же. С. 306–310.

2 См.: Уцелевшие главы *Каллиста Катафигиота*... С. 29.

3 См.: *Ильин И.А.* Собрание сочинений: В 10 т. М., 1994–1999. Т.6. Кн. 3. С. 61–63.

ший гнозис на основе духовной любви к возвышенным и достойным предметам. Это и духовное ведение, и ясновидение, и "вчувствование в Совершенство", и творческая интуиция, и живая совесть, и свободно-ответственное предстояние перед Богом. "Луч созерцающего сердца" может быть присоединен к любому культурному акту, сообщая ему измерение духовности, откровение истины и творческую мощь» [1].

Обратимся прежде всего к пристальному рассмотрению того, что пишет Ильин о сердечном созерцании в своей работе «Путь к очевидности» (1957), где данной категории посвящена специальная глава. Предваряя непосредственное изложение своей концепции созерцания, утрату которого он с горечью ощущает в современной культуре, Ильин прямо указывает на мистические корни этого понимания и тем недвусмысленно задает читателю направление мысли и чувства: «Надо доверить все свое творчество и всю свою судьбу – этой благодатной, евангельски-христианской силе сердечного созерцания, издревле жившей в восточном Православии...»[2]. Далее, условно различая в человеке шесть душевных сил, или «способностей» – восприятие, мышление, инстинкт, волю, силу воображения и жизнь чувства, – Ильин показывает их слепоту, бездуховность и немощь в условиях отсутствия жизни сердца: чувства служат похотям тела; голое, механистически-конструктивистское мышление превращается в «скептический рассудок», в «орган лжи и мнимых доказательств»; инстинкт, представляющий собой таинственную силу в биологическом отношении, ведет человека «звериными тропами»; воля, не имеющая духовной опоры и верного критерия для выбора, остается холодной, жесткой и безлюбовной силой, ведущей к дьяволу; воображение оказывается «приятной и развлекающей способностью», духовно-безразличной и беспредметной[3]. *Преображение* этих душевных способностей возможно только силой любви, идущей из сердца – подлинного мистического центра человеческой жизни, духовно направляющего все ее высшие проявления. Именно в процессе такого одухотворяющего изменения, по Ильину, воображение превращается в предметное видение, или сердечное созерцание. Следом за этим, однако, Ильин сильно углубляет свою трактовку созерцания, обнаруживая при этом некоторую категориальную нечеткость, – впрочем, в рамках его эссеистического стиля эта нечеткость вполне естественна, и дифференцированность мысли и переживания требу-

1 Русская философия: Словарь /Под. ред. М.А. Маслина. М., 1999. С. 437–438.
2 *Ильин И.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 537.
3 См. там же. С. 538–540.

ет реконструирования, которое мы и попробуем предпринять. Духовная любовь, овладевающая человеком, образует в нем «новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его»[1], – орган созерцания. Способ жизни, обретаемый таким образом личностью, Ильин именует *предметным вчувствованием* в мир, которое, охватывая все душевные способности, при наличии художественного дарования, способно довести восприятие до «*художественного отождествления с сущностью вещей и человека*»[2], до гениального творческого «всеведения». Очевидно, что «изобретение» нового органа есть метафора преображения, при котором личность со всеми своими качествами переходит в иную форму существования, в духовное, сердечное измерение (это как бы мирской аналог подлинно мистического святоотеческого перерождения – но это отнюдь не профанация, равно как и не поучение, а попытка творчески увидеть в мирском состоянии души исконный Божественный свет), – и вот, то, что личность *необходимо* осуществляет в этом духовном измерении, есть созерцание сердца, или просто созерцание. Следовательно, созерцание нельзя в строгом смысле назвать одной из способностей или высшей из способностей души – оно есть поистине то, в чем определяются содержания этой души.

Ильин дает несколько развернутых формулировок, постепенно приближающих читателя к глубинной сущности созерцания. Следуя за этими не вполне расчлененными тезисами, попытаемся их помыслить, по возможности восстанавливая их диалектическую структуру.

1). «*Созерцать* значит приблизительно то же самое, что "смотреть" или "рассматривать"; но созерцание есть *духовное* смотрение и видение, которое способно очищать, символически углублять и творчески укреплять чувственный взгляд человека»[3]. Итак, созерцание не есть только смотрение, т.к. смотрение – однонаправленный акт (от субъекта к объекту), созерцание же одновременно направлено и от объекта к субъекту, оказывая на последнего духовное воздействие. Однако созерцание, по существу, не есть и *только* духовное смотрение – по той же причине: можно духовно смотреть, но оставаться на уровне взгляда и, может быть, впечатления или суждения, но не принимать в себя рассматриваемых содержаний.

2). «*Созерцать* значит приблизительно то же самое, что "наблюдать"; но созерцание есть такое наблюдение, которое *вчувству-*

1 Там же. С. 541–542.
2 Там же. С. 542 (здесь и далее в цитатах курсив Ильина).
3 Там же. С. 543.

ется в самую сущность вещей»[1]. Об этом «вчувствовании» мы уже упоминали и еще встретимся с ним ниже[2]. В этом тезисе мы видим, что созерцание не есть только наблюдение, т.к. наблюдение лишь фиксирует реальность в сознании, не охватывая личности как состояние. Созерцание же есть нечто иное – то, в чем наблюдение как бы переходит свои эмпирические пределы, и тогда начинается «вчувствование».

3). «Созерцание можно было бы условно охарактеризовать, как "*воображение*"; но только созерцать – значит взирать *интенционально*; поэтому созерцание призвано вживаться в образы мира или в объективный состав каждого предмета – *ответственно и сосредоточенно*»[3]. Воображение может пониматься двояко: в обыденном смысле это, как правило, плод фантазирующего сознания, «измышление» образа (что, по сути, никак не связано с онтологической семемой слова); в смысле же духовно-мистическом (в котором термин используется, например, в восточнохристианской иконологии) оно означает воплощение умопостигаемого содержания (предмета) в зримом образе. Ильин близок, разумеется, ко второму пониманию. Однако созерцание не есть и духовно-мистическое воображение, поскольку предшествует ему: прежде чем вообразить, нужно уже созерцать предмет и испытывать необходимость его воплощения. Ильин, пользуясь в целях философской иллюстративности категорией интенциональности (идущей от Ф. Брентано и Э. Гуссерля), определяет воображение как вхождение («вживание») в образ и тем самым сближает, но не отождествляет этот акт с созерцанием.

4). «Созерцание… сродни "фантазии"; но только созерцающая фантазия руководится *духовной любовью*. Поэтому она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдает свою "интенцию" – в смысле "направления" и в смысле "интенсивности" – любимому духовному предмету»[4]. Ильин раскрывает здесь духовную несостоятельность романтической и неоромантической фантазии и трактует

1 Там же.

2 «Вчувствование» у Ильина не следует путать с популярной в первой трети XX века «теорией вчувствования» немецкого философа и психолога Т. Липпса, согласно которому красота привносится в объективную действительность чувствами и мыслями субъекта. Нужно помнить о радикальном отличии предметной феноменологии Ильина, пронизанной, в числе прочего, трансцендентальной метафорикой света, от западной субъективистской культуры мысли.

3 *Ильин И.А.* Указ. соч. С. 543.

4 Там же.

эту способность души почти как мистическое воображение, рассмотренное в предыдущем пункте. Ясно, что созерцание не есть фантазия – напротив, фантазия (как свойство субъекта в новоевропейской традиции) может стать «созерцающей», если она направляется сердечной любовью.

5). «Можно было бы определить *созерцание* как *непосредственное восприятие* (''по-ятие'' или ''по-н-ятие''), но только в том смысле, что оно предается *тотальному вживанию в любое жизненное содержание*. <...> Созерцающее вчувствование может предаться... любому предмету... При этом оно всегда обращено к *реальностям*, которые избираются и воспринимаются силою духовной любви»[1]. Безусловно, созерцание не есть только восприятие, пусть и «непосредственное», т.к. восприятие есть единичный или, во всяком случае, дискретный акт; созерцание же не является дискретным внутри себя. Как и все другие душевные способности, восприятие *в созерцании* «предается вживанию» в предмет, т.е. фактически теряет дискретность психического механизма и трансформируется в некий «непосредственный», сверхэмпирический акт.

Таким образом, сердечное созерцание, по Ильину, не есть в собственном смысле ни смотрение, ни наблюдение, ни воображение, ни фантазия, ни непосредственное восприятие. Оно представляет собой некую реальность, которая преображает эти имманентные личностные свойства и акты силой духовного света, идущего от человеческого сердца. Созерцание есть рождающееся в мистической глубине личности условие начала духовного роста и его поддержания, самый последний, интимнейший слой духовного переживания всякой эмпирии и сверхэмпирии. Иначе говоря, созерцание есть сама *жизнь сердца*, открытого миру, любовному общению, сопереживанию, стремящегося к познанию Божественной премудрости и славы во всем предстоящем человеческому взору и уму. Отсюда понятно, почему в философии Ильина созерцание вполне эксплицитно распространяется на все сферы человеческой деятельности (у Комаровского, как мы видели, этот аспект оставался в значительной мере неразвернутым, требующим «домысливания»): оно открывает «интеллектуальное видение» в познании, «предвидение событий» в этике и политике, «символически-художественное видение» в искусстве, «интуицию правосознания» в юриспруденции, исследование «самосути» в науке, проникновение в сердца людей в пастырском служе-

1 Там же.

нии, «силу индивидуализирующего вчувствования» в медицине, доступ к детскому переживанию в педагогике[1].

Именно в свете этого итогового, зрелого понимания созерцания у Ильина мы предлагаем подойти (как бы ретроспективно) к соответствующим моментам его более ранней эстетической концепции, изложенной прежде всего в работе «Основы художества. О совершенном в искусстве» (1937). Хотя речь здесь идет о *творческом созерцании*, очевидно, что это то же самое сердечное созерцание, сущность которого Ильин специально сформулировал позже. Творческое созерцание утверждается в эстетике Ильина как корень всякого подлинного художества, тот фундамент, на котором зиждется гениальность и без которого голый талант (дар *изображения*) не способен создать настоящее произведение искусства. Уже в этой работе Ильин говорит об универсальности созерцания, показывая его роль в религиозной аскетике (и обнаруживая при этом глубокое знание и понимание христианской мистической традиции), в науке, в добродетели, в политике. Но, пожалуй, кроме религии – самого лона рождения созерцательного способа жизни, – наибольшую значительность и яркость проявления созерцание обретает в искусстве. В одном месте Ильин характеризует дар созерцания как «некую *повышенную впечатлительность духа*: способность восторгаться всяческим совершенством и страдать от всяческого несовершенства»[2]. Это звучит, как кажется на первый взгляд, совсем по-романтически. Однако далее выясняется, что Ильин говорит непосредственно о мистическом переживании высшего бытия как Божия таинства и о переживании мира как совокупности открывающих это таинство (ревелятивных), как бы «прозрачных» символических форм: «Созерцающий не задерживается взором на поверхности явлений, хотя видит и эту поверхность с тем большей зоркостью, остротою и точностью, чем глубже он проникает в их сокровенную сущность; а это означает, что он не просто "наблюдает обстоятельства" (быт!), но созерцает скрытые за ними "существенные обстояния" (бытие!)»[3]. И если есть здесь своего рода «романтизм» мысли, то он столь же древен, сколь и жажда человеческой души соединиться с абсолютным Благом. Единственный способ приобщиться *бытию* – это созерцать его. Человек, впрочем, может не отдаваться созерцанию бытия, бежать от него по каким-то причинам, – настоящий же поэт, напротив, только погружается в это созерцание, им живет и его «укрепляет» и «рас-

1 См. там же. С. 544.
2 Там же. Т. 6. Кн. 1. С. 101.
3 Там же.

тит». Таким образом, читая Ильина, мы в существенной степени возвращаемся к той исконной первозданности самосознания, которая по-разному оформлялась в интуициях античности и в христианском богословии. Ильин пытается выйти из оков рассудочности и субъективизма к укорененной в личности мистике уже не романтическим или неоромантическим путем, но посредством строгого, лаконичного, даже аскетичного символизма.

Объектом творческого созерцания[1] является *художественный предмет* – самый глубокий слой художественной формы в эстетической теории Ильина, представляющий собой «то духовное содержание, которое художник почерпает из объективной сущности Бога, человека и мира с тем, чтобы облечь его в верные образы и воплотить в точной эстетической материи»[2]. Безусловно, в этой формулировке чувствуется гегелевское влияние, особенно в том, что в одном ряду стоят *сущности* Бога, человека и мира (далее Ильин даже ссылается на одну метафору Гегеля). Однако здесь подчеркивается лишь принципиальная *объективность* существования художественного предмета, который есть не что иное, как последний феномен бытия, «чистое» явление смысла (в эстетическом измерении), ибо представляет собой все-таки компонент структуры, но никак не само-по-себе-бытие. И только через этот последний символический феномен дух – а точнее, в данном случае, сердце – в созерцании поистине неизреченным образом приходит в соприкосновение и в подлинное «сорастворение» с бытийственными «обстояниями». Эта проблема, бесспорно, должна быть освещена в специальном исследовании о составе художественной формы у Ильина; здесь же приведем один характерный фрагмент, описывающий состояние творческого созерцания: «Художник есть прежде всего *очевидец мировых тайн и духовных обстояний*. <...> Это видение и эту очевидность художник получает в созерцающей медитации, т.е. в сосредоточенном и целостном погружении души (и чувства, и воображения, и ощущений, и воли, и мысли) в развертывающиеся перед ним обстояния мира. В этой медитации он художественно *отождествляется с самосутью мира* (природы и духа), с его *предметным составом*, с его *субстанциальным естеством*...»[3]. Подробно комментировать этот отрывок в свете вышесказанного едва ли необходимо; отметим лишь, что употре-

1 Здесь мы, как и в нескольких местах ранее, уже метонимически переносим термин *созерцание* на комплекс разнообразных совершающихся в нем и из него личностных актов, что вполне естественно.

2 *Ильин И.А.* Указ. соч. С. 148.

3 Там же. С. 145.

бление слова *медитация* здесь чисто окказионально[1], зато подчеркивается художественное – т.е. *символическое* – «сродство»[2] с сущностью мира в его идеальном измерении. Это может быть понято только как трансцендирование свойств души, преодоление законов эмпирического мира, уход «в другой план бытия», как выражает это сам Ильин. При этом акцентируется религиозно-мистическая *медиумичность* созерцающего сердца[3]: «Господь есть как бы художник мира, а творящий художник – Его духовный "зритель", "слушатель" и "читатель"»[4], внимающий Богу духом. То «*переживание откровения*», которое составляет «священный смысл художества»[5], должно сначала состояться в творящей личности как созерцание, а после создания произведения воспринимающий его человек приобщается к услышанному художником откровению посредством собственных созерцательных актов.

Рассматривая концепцию творческого созерцания в общем контексте эстетической теории Ильина, можно поставить вопрос о наличии в данной концепции какой-либо иерархической структуры, аналогичной диатаксической системе координат у Комаровского. Поскольку Ильин во всех своих построениях отталкивается от *объективно-бытийствующего*, просвечивающего сквозь художественный предмет, – будь то трансцендентная сфера высших смыслов или, напротив, низшие, животные содержания («обстояния») души в их пределе – то проблема трансцендентальной детерминированности способа существования творящего, равно как и воспринимающего, субъекта и иерархичности созерцания здесь также актуальна. Ильин бывает склонен к неоправданной категоричности, просто-напросто отказывая тому или иному художнику в подлинном даре созерцания, т.е. в способности проникнове-

1 Ильин иногда употребляет это слово как синоним созерцания в работе «О тьме и просветлении» (см. там же. С. 362–363).

2 Ср. категорию *сродности* у Г.С. Сковороды, которая достигается, как об этом пишет М.А. Маслин, «в результате самопознания, постижения человеком своего духа, природы, предназначения, призвания. <...> Приближение к сродности Сковорода трактует как особую разновидность познания – не доктринального, а практического, годного к применению в жизни, связанного с самостоятельным поиском правды, с "деланием". <...> Узнать тайные пружины скрытого от глаз механизма развития человека, мироздания и означает, по Сковороде, познать сродность» (Русская философия: Словарь. С. 479).

3 Ср. концепцию медиумичности человека у преп. Максима Исповедника (см.: *Thunberg L.* Man and the Cosmos. The Vision of St. Maximus the Confessor. N.Y., 1985).

4 *Ильин И.А.* Указ. соч. С. 154.

5 Там же.

ния в глубинный слой формы, а через него, как мы видели, – к бытию (например, отрицается созерцание у Бенедиктова, Рубенса, Веронезе). Можно обладать глубоким созерцанием, но не иметь способности к выражению – таковы молитвенники-подвижники и философы[1]; а можно, наоборот, иметь «талант», но быть лишенным созерцания. Однако, строго говоря, в подобной категоричности Ильин противоречит сам себе. Если созерцание есть жизнь сердца, то личность *им* живет; умереть в буквальном и абсолютном смысле слова человеческое сердце (как мистический орган) может только в момент абсолютного окончания бытия, – что выходит за пределы не только любого дискурса, но, наверное, и созерцания. Сердечное созерцание как онтологическая и экзистенциальная реальность не может быть отрицаемо – естественно говорить в этом случае о его расположении по каким-то ступеням или уровням. Ильин преодолевает свою непоследовательность (хотя и не до конца) и дает возможность (в основном имплицитно) мыслить созерцание, в т.ч. творческое, диатаксически и, более того, динамически. Нельзя прибавить себе таланта – однако «силу своего духовного созерцания художник может укрепить, углубить и очистить»[2]. Можно говорить здесь о движении творческой личности в процессе духовного роста по определенным уровням созерцания «вглубь», проводя аналогию с соответствующим измерением созерцания у Комаровского. В системе Ильина такое измерение глубины созерцания может быть связано с тремя основными пластами художественной формы: первый уровень (назовем его условно «созерцанием материи»), сопоставимый с «поверхностным» созерцанием, по Комаровскому, ограничен чувственным, пространственно-временным обликом *вещей* и их субстратом (который в художественном преломлении становится, в терминах Ильина, *эстетической материей* – это звучащее слово, язык, поющий инструментальный звук, скульптурные и архитектурные материалы, цвета, краски, линии, человеческое тело в танце и театре); второй уровень (обозначим его как «созерцание образов»), не вычленявшийся в схеме Комаровского, есть переживание чувственных и нечувственных образов как форм, определяющих актуальный состав данных сознания; наконец, третий уровень («созерцание художественных предметов»), аналогичный «глубокому» созерцанию Комаровского, есть уже уровень мистического, сердечного жизнесозидания в универсуме идеально бытующих духовных обстояний, зримых в своей последней глубине.

1 См. там же. С. 94–95.

2 Там же. С. 99.

На первом уровне жизнь сердца настолько слаба, настолько сращена с психофизиологической эмпирией, что личность способна приобщиться лишь экстенсивности материальных масс: примерами такого «поверхностного» созерцания могут служить некоторые течения современной поп- и рок-музыки, культура дискотек, низкий эротизм и культ силы (где в центре всего стоит обессмысленное тело, не несущее в себе даже элементарного говорящего образа), безвкусная линеарность урбанистической архитектуры и т.п. На втором уровне личностному переживанию доступна смыслосодержащая форма – однако, если личность задерживается на данном уровне, то эта форма также остается лишь «поверхностью», кладущей предел созерцанию; современная массовая культура вообще не идет дальше этого уровня. На третьем же уровне можно говорить о подлинном творчестве в сорастворении с субстанциальностью художественного предмета; поэтому настоящий художник созидает именно *из* этого созерцания и в свете его видит остальные слои формы (поистине – «круг познания» преп. Максима Исповедника). Вместе с тем глубокое созерцание человека, воспринимающего произведение искусства, также проходит этот круг, проникая сквозь материально данные образы к соединению с тем, что узрено художником, и вновь возвращаясь к целостному охвату формы в ее единораздельности.

Что касается распределения созерцания по высоте созерцаемого, то у Ильина мы находим соответствующую дифференциацию в сфере художественных предметов, или, точнее, «объективных обстояний», которые становятся художественными предметами в глубоком созерцании поэта. Есть обстояния, созерцаемые в Боге («благодать», «откровение», «пучина милосердия», «неопалимая купина», «необуреваемое пристанище») – высшая область созерцаемого; есть обстояния, присущие и Богу, и человеку («любовь», «милость», «прощение»); ниже располагается область созерцаемого в человеке («молитва», «страсть», «преступление», «совесть», «ревность», «бессонница»); наконец, еще ниже (не в смысле этическом и обязательно безблагодатном, но в смысле своей онтологической «ниши» в бытии) находятся обстояния, созерцаемые в человеке и в природе («томление», «гроза», «тревога», «мрак», «страдание», «озаренность», «вознесенность»). Вместе с тем ряд обстояний может охватывать всю высоту иерархии: «покой», «глубина», «гармония», «чистота» оказываются присущи и Богу, и человеку, и природе[1], хотя и в разном качественно-феноменальном преломлении. Таким образом, уровень и качество глубокого созер-

1 См. там же. С. 146.

цания могут быть зафиксированы и прочувствованы, или пережиты, а следовательно, и описаны через феноменологию духовных обстояний. Для уровней «поверхностного» созерцания – образов и материи – Ильин не дает дифференциации по высоте, однако она может быть сформулирована в процессе анализа конкретного художественного материала. Опыт практического использования своей теории, в т.ч. рассматриваемого нами аспекта, Ильин дал в работе «О тьме и просветлении» (1959). В предлагаемой здесь Ильиным интерпретации произведений Бунина, Ремизова и Шмелева можно вычленить исходный для анализа план творческого созерцания, из которого выстраивается весь художественный акт писателя. Так, можно сказать, что у Бунина Ильин обнаруживает глубокое созерцание низших человеческих и природных обстояний, пребывание сердцем в сфере «родового, полового инстинкта»[1], а также созерцание на уровне чувственных образов, объектом которого могут быть и высокие обстояния, вплоть до святости (данные, однако, лишь во внешней, поверхностной живописности); у Ремизова – глубокое созерцание юродивого, в котором сердце «видит в человеке и мире некую первозданную тьму»[2] и воплощает ее в художественной фантасмагории; наконец, у Шмелева – глубокое созерцание высших человеческих и Божественных обстояний – благодатного страдания, очищающей скорби и святости, образа Божия в человеке и мире.

Вдумчивое и внимательное вчитывание позволяет увидеть за вдохновенно-поэтическими строками Ильина-публициста и критика сложную диалектику становления творческого созерцания и рождающегося из него творческого процесса – «сердечную мысль» Ильина-эстетика, философа и культуролога, содержащую в себе огромный герменевтический потенциал.

В завершение отметим, что наши замечания претендуют на данном этапе лишь на пролегомены к постановке проблемы, которая заключается в необходимости постижения глубоких и ценных, но чрезвычайно трудноуловимых в рационалистическом дискурсе планов преемственности и развития мировой духовной традиции, основанной на мистериальной символичности видения человека и космоса. Решение этой проблемы в будущем, на наш взгляд, откроет новые перспективы понимания основ культуросозидающей деятельности.

1 Там же. С. 233.
2 Там же. С. 327.

НАШИ АВТОРЫ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, СЕРГЕЙ (Украина, Харьков) – поэт, переводчик с английского, французского, испанского и португальского языков.
АТЛАНОВА, ЕЛЕНА (Узбекистан, Ташкент) – поэт.
АФАНАСЬЕВА, ВЕРОНИКА (Россия, Санкт-Петербург) – поэт, шумеролог, переводчик с шумерского и аккадского языков.
БАБАНСКАЯ, АЛЁНА (Россия, Москва) – поэт.
БАЛАШОВА, ЕЛЕНА (Россия, Чухлома) – поэт, эссеист.
БАСОВА, ИРИНА (Франция, Париж) – поэт, эссеист.
БЕКИШЕВ, ЮРИЙ (Россия, Кострома) – поэт.
БЕЛИКОВ, ЮРИЙ (Россия, Пермь) – поэт.
БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, ТАТЬЯНА (Австралия, Сидней) – филолог, переводчик, организатор культурных проектов.
БУГРОВ, АЛЕКСАНДР (Россия, Кострома) – поэт, прозаик, эссеист.
БУДНИЦКИЙ, ИЛЬЯ (Россия, Екатеринбург) – поэт.
БУРАЧЕВСКАЯ, ДИНА (Россия, Москва) – поэт.
ВИТКОВСКИЙ, ЕВГЕНИЙ (Россия, Москва) – поэт, прозаик, переводчик, эссеист.
ВОРОЖБИТ, НАТАЛЬЯ (Украина, Киев) – драматург.
ДРАГУНСКАЯ, КСЕНИЯ (Россия, Москва) – драматург, прозаик.
ЕСЕНОВСКИЙ, МИХАИЛ (Россия, Москва) – прозаик, поэт.
ЕФРЕМОВ, ГЕОРГИЙ (Литва, Россия) – поэт, переводчик, публицист, автор рецензий и литературно-критических статей.
ЖЕЛЕЗЦОВ, АЛЕКСАНДР (Россия, Москва) – режиссер, драматург, эссеист.
ЖЕРДЕВ, ГЕОРГИЙ (Россия, Санкт-Петербург) – поэт.
ЖУКОВ, ИГОРЬ (Россия, Москва) – поэт, прозаик.
КАМОВНИКОВА, НАТАЛЬЯ (Россия, Санкт-Петербург) – поэт, переводчик с английского, немецкого и болгарского языков.
КЛУГЕР, ДАНИЭЛЬ (Израиль, Реховот) – поэт, прозаик, переводчик, эссеист, теоретик и историк детектива.
КОЗЛОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ (Россия, Новотроицкое) – поэт, прозаик.
КОЛОВА, ОЛЬГА (Россия, Кострома) – поэт.
КОМКОВ, ОЛЕГ (Россия, Москва) – поэт, переводчик, культуролог, герменевт.
КОТЛИКОВ, РУДОЛЬФ (США, Чикаго) – прозаик, поэт, художник.
КРОТКОВ, АНДРЕЙ (Россия, Москва) – поэт, прозаик, эссеист, переводчик с английского и французского языков.
КУЗНЕЦОВА, АЛИНА (Россия, Кострома) – поэт.
КУЗНЕЧИХИН, СЕРГЕЙ (Россия, Красноярск) – поэт, прозаик, эссеист.

КУЗЬМЕНКОВ, АЛЕКСАНДР (Россия, Нижний Тагил) – поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, художник.
ЛЕВИНА, МИРИАМ (США, Атланта) – прозаик.
ЛЕОНОВИЧ, ВЛАДИМИР (Россия, Кострома) – поэт, переводчик.
ЛИ МЭН (США, Чикаго) – профессор University of Chicago. Ведущий специалист по русской эмигрантской литературе Харбина.
МАЗУРОВА, АННА (США, Хайленд Лейкс) – прозаик.
МАНИН, ДМИТРИЙ (США, Менло Парк) – переводчик с английского, шотландского и французского языков.
МАНИН, ФЕДОР (США, Чикаго) – поэт, переводчик с русского на английский язык.
МИЧКОВСКИЙ, ОЛЕГ (Россия, Екатеринбург) – переводчик с английского, немецкого и галисийского языков.
МОЛО́ДЫЙ, ВАДИМ (США, Чикаго) – поэт, эссеист.
МОНАХОВ, ВЛАДИМИР (Россия, Братск) – поэт, прозаик, публицист, журналист.

НЕХОРОШЕВ, АЛЕКСЕЙ (Россия, Москва) – поэт.
ПАВЛОВСКАЯ, АННА (Россия, Москва) – поэт.
ПОТЕХИН, СЕРГЕЙ (Россия, село Ко́стома Галичского района Костромской области) – поэт, скульптор.
РАЗУМОВ, ЕВГЕНИЙ (Россия, Кострома) – поэт, прозаик, эссеист.
СЛЕПУХИН, СЕРГЕЙ (Россия, Екатеринбург) – поэт, прозаик, эссеист, художник.
СМИРНОВ-Садовский, ДМИТРИЙ (Великобритания, Сент-Олбанс) – композитор, поэт, переводчик.
СОБАКИН, ТИМ (Россия, Москва) – поэт, прозаик.
СТАРИКОВСКИЙ, ГРИГОРИЙ (США, Нью-Йорк) – поэт, эссеист, переводчик с древнегреческого, латинского и ряда современных языков.
СТЕПАНСКАЯ, АННА (Израиль) – прозаик.
ТАМБИ УРУ (США, Нью-Йорк) – поэт, прозаик.
ТВЕРСКАЯ, ЕЛЕНА (США, Пало Алто) – поэт.
ТИШИНКОВ, ДМИТРИЙ (Россия, Кострома) – поэт, прозаик.
ТЮРИН, ВЯЧЕСЛАВ (Россия, Лесогорск) – поэт.
ХАБАРОВ, АЛЕКСАНДР (Россия, Москва) – поэт.
ЧЁРНЫЙ, АНТОН (Россия, Санкт-Петербург) – поэт, переводчик, эссеист.
ШИШКИН, АЛЕКСАНДР (Россия, Москва) – поэт.
ЯБЛОНСКИЙ, АЛЕКСАНДР (США, Бостон) – прозаик.
ЯСНОВ, МИХАИЛ (Россия, Санкт-Петербург) – поэт, прозаик, переводчик.

Содержание

От редактора 3

Светлой памяти Рафаэля Левчина (1946–2013)

Вадим Моло́дый 8
Олег Комков 11

Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет

Рафаэль Левчин 19
Олег Комков 25
Вероника Афанасьева 28
Ирина Басова 31
Андрей Кротков 33
Григорий Стариковский 37
Елена Тверская 40
Георгий Жердев 42
Елена Атланова 44
Тамби Уру 46
Алёна Бабанская 50
Алексей Нехорошев 52
Анна Павловская 54
Александр Хабаров 56
Наталья Камовникова 59
Георгий Ефремов 62
Юрий Беликов 65
Сергей Слепухин 69
Алексей Козловский 71
Сергей Кузнечихин 74
Вячеслав Тюрин 78
Владимир Монахов 85
Александр Шишкин 91
Илья Будницкий 93

Не рифмой единой

Рафаэль Левчин. КАМЕНЬ КАМНЯ 97
Андрей Кротков. ВОЛОСЫ ЛОРЕЛЕИ 99
Анна Мазурова. ВИВАРИЙ. *(Отрывок из романа «Транскрипт»)* 115
Александр Яблонский. ИМПРОВИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРОГОГО КОНТРАПУНКТА И ПОСТЛЮДИЯ. *(Два отрывка из романа)* 133
Рудольф Котликов. НОВЕЛЛЫ 145
Мириам Левина. НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ 152
Анна Степанская. ПЛУТ 158
Сергей Слепухин. ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ 172
Татьяна Бонч-Осмоловская. ТИШИНА. ДЕНЬ-НОЧЬ. НЕСЛОМЛЕННЫЙ 178
Даниэль Клугер. ИГРОК 184

Ружье на стене

Рафаэль Левчин. РАЗГОВОРЫ В ШАРАНТОНЕ 193
Наталья Ворожбит. По заказу Королевского Шекспировского Театра. ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 214
Александр Железцов. ТРИ ПРИКОЛА – ТРИ ПРИТОПА 285
Ксения Драгунская. НАРОДЫ 289

Век перевода

Рафаэль Левчин 296
Мирослав Валек (1927–1991)
Наталья Камовникова 299
Дженни Джозеф (р. 1932)
Г.К. Честертон (1874–1936)
Димчо Дебелянов (1887–1916)
Владимир Леонович 302
Галактион Табидзе (1892–1959)
Отар Чиладзе (1933–2009)
Шота Нишнианидзе (1929–1999)
Алио Мирцхулава (1903–1971)

Антон Чёрный 305
Теодор Крамер (1897–1958)
Евгений Витковский 309
Фернандо Пессоа (1888–1935)
Сергей Александровский 316
Редьярд Киплинг (1865–1936)
Григорий Стариковский 320
Секст Проперций
Олег Комков 326
Йован Дучич (1874–1943)
Олег Мичковский 329
Фрэнк Белнэп Лонг (1901–1994)
Роберт Саути (1774–1843)
Льюис Кэрролл (1832–1898)
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832)
Дмитрий Манин 333
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889)
Оскар Уайльд (1854–1900)
Редьярд Киплинг (1865–1936)
Федор Манин 339
Николай Гумилев (1886–1921)
Nikolai Gumilev. Giraffe
Николай Олейников (1898–1937)
Nikolai Oleinikov. The Bagel

Поэтическая ойкумена (поэты Костромы)

Ольга Колова 342
Владимир Леонович (1933–2014) 343
Елена Балашова 345
Юрий Бекишев 346
Александр Бугров 347
Алина Кузнецова 348
Евгений Разумов 349
Сергей Потехин 350
Дмитрий Тишинков 352

Собакиада

Тим Собакин 354
Игорь Жуков 359
Михаил Есеновский 362
Дина Бурачевская 365
Михаил Яснов 368

Школа злословия

Рафаэль Левчин. ХАЗЕРЫ И ДРУГИЕ ВОРЮГИ 373
Александр Кузьменков. ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
(Э. Лимонов. В Сырах. – СПб.: «Лимбус Пресс», 2012) 381

Свободной композиции игра

Даниэль Клугер. ЖИД И ШПИОН 389
Евгений Витковский. АПОСТЕРИОРИ 396
Ли Мэн. ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ 419
Вадим Моло́дый. ДОЛГИЕ БЕСЕДЫ С ЕВСЕЕМ
ЦЕЙТЛИНЫМ 445
Дмитрий Смирнов-Садовский. «ПЯТЬ ТИГРОВ».
О пяти переводах стихотворения Уильяма Блейка 452

Философические письма

Олег Комков. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ИКОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭСТЕТИКИ XX ВЕКА: КОНЦЕПЦИИ СОЗЕРЦАНИЯ
В.А. КОМАРОВСКОГО и И.А. ИЛЬИНА 462

Наши авторы 489

С48 Слова, слова, слова: Литературный альманах. 2014. № 1. – Чикаго; М.: Водолей, 2014. – 496 с.

ISBN 1502382210
ISBN 9781502382214

Литературно-художественный альманах «Слова, слова, слова» (Чикаго–Москва) – независимое издание, выходящее на средства тех, кому небезразлична судьба русской культуры. Альманах содержит разделы поэзии, прозы, драматургии, критики, эссеистики, детской поэзии и философии. Раздел «Поэтическая ойкумена» посвящен поэтам Костромы. Наряду с современными авторами в альманахе представлены Серебряный век и ранняя эмиграция.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Слова, слова, слова

Литературный альманах. 2014. № 1

Технический редактор *А. Ильина*
Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 15.03.14. Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Гарнитура Constantia
Печать цифровая. Печ. л. 31. Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: http://www.vodoleybooks.ru
E-mail: info@vodoleybooks.ru

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами
Президента Российской Федерации
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.
Контактные телефоны: 650-38-80
http://izv.ru

Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»
119019, Москва, ул. Н.Арбат,7
тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»
101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1
тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»
119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1
тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»
125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1
тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»
Москва, ул. Волхонка, 18 / 2
тел. (495) 201-36-45

Книжный магазин «Русское зарубежье»
109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2
тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжный магазин «Фаланстер»
109012, Москва, М. Гнездниковский пер.,12\27
тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»
E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20